

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1948

4

---

1948

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXIV

№ 4

Апрель, 1948 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>АЛЕКСЕЙ НЕДОГОНОВ</b> — Биография, стихотворение	3
СЕМЕН КИРСАНОВ — Два стихотворения	5
КОНСТ. ФЕДИН — Необыкновенное лето, роман. Продолжение	8
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Четыре стихотворения. Перевели с белорусского Ярослав Смеляков, К. Титов и Яков Хелемский	81
ВАДИМ ЛУКАШЕВИЧ — Зеленый океан, повесть	88
АРКАДИЙ РЫВЛИН — Душа корабля, стихотворения	138
СИНКЛЕР ЛЬЮИС — Королевская кровь, роман. Перевела с английского М. Абкина. Предисловие Т. Мотылевой	140

### КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

АН. ТАРАСЕНКОВ — Заметки о поэзии	196
К 18-й годовщине со дня смерти В. В. Маяковского	
С. КАРОВ — Забытые строки. (Маяковский в Прессбюро ЦК РКП(б) в 1923—1924 гг.)	215
ЛЮБОВЬ ФЕЙГЕЛЬМАН — Маяковский в славянских странах	232
С. БОРЩЕВСКИЙ — Щедрин и Достоевский. (Из истории их идейной борьбы)	251

### Литературные портреты

НИКОЛАЙ МАСЛИН — Вениамин Каверин	272
-----------------------------------	-----

### На зарубежные темы

ТАМАРА МОТЫЛЕВА — Легенда о Толстом	291
-------------------------------------	-----

### Книжная полка

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ — Поэт и его кругозор	312
НИКОЛАЙ ГАБИНСКИЙ — Разоблачение правого социалиста	314
Ф. АЛЕКСАНДРОВА — Блуждания в фактах и датах	315
Г. ЛЕНОБЛЬ — Книга действенной ненависти	317
КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Неправда рядом с правдой	318

---

### ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва



---

## БИОГРАФИЯ

**АЛЕКСЕЙ НЕДОГОНОВ**

★

Я не помню детской колыбели.  
Кажется:  
я просто утром встал  
и, накинув бурку из метели,  
по большой дороге зашагал.

Как я мог пройти такие дали? —  
Увеличь стократно все пуги!..  
Где я был?  
В газетах не писали.  
Где я шел?  
По звездам не найти.

Только очень помнится,  
что где-то  
под Мадридом,  
непогодь кляня,  
у артиллерийского лафета  
встал пушкарь, похожий на меня.

А потом на Финском,  
в штурмовые  
ночи, под раскатами огня, —  
там, где мы вперед прошли живые,  
пал стрелок, похожий на меня.

И еще я помню, помню внятно:  
над бессмертьем друга своего  
с ротою салютовал трикратно  
я,  
лицом похожий на него.

Где сейчас я?  
Не ищи на карте...

Только люди говорят, что я  
в Греции,  
в Чанду  
и в Джокьякарте  
в дьявола стреляю из ружья!

Ангелы спасенья не витали  
надо мною на Большой войне:  
силы Родины меня питали —  
талисман возмездья  
был при мне.






И сразу —  
                   грек  
                           за пулемет  
 уже берется,  
                   чтобы  
 заокеанский самолет  
 вогнать  
                   в последний штопор!  
 Так  
                   сблизили  
                           свои сердца  
 и обратили в порох —  
 два коммуниста,  
                           два бойца  
 на параллели 40, —  
 друг другу  
                   до конца верны,  
 от Шаньси до Эпира,  
 на двух фронтах  
                           одной войны  
 за будущее мира.

### Студентка

Зала гулкий полукруг  
                   вверх  
                           восходит  
                                   лестницею.  
 Знаменитейший хирург  
                   здесь  
                           читает лекцию.  
 Грустно  
                   вузовка сидит  
                           в лекционном зале.  
 По таблицам не следит.  
                   Слушает?  
                           Едва ли.  
 Медсестрой была она  
                   на войне  
                           когда-то...  
 Помнит —  
                   вынесла одна  
                           из огня солдата.  
 А сейчас  
                   сквозь коридор,  
                           дверь и колоннаду —  
 слышит канонаду с гор  
                   и в дыму Элладу.  
 По Москве  
                   метель метет,  
                           как войска в походе.  
 В комсомольский комитет  
                   девушка приходит.

Говорит  
    секретарю  
    или заместителю:  
— Я вам правду  
        говорю!  
    В Грецию пустите!  
Ей в ответ  
    спокойный бас —  
    тоном  
        уговаривающим:  
— С монархистами  
        без вас  
    справятся товарищи...  
А она:  
    — Я не могу  
        не помочь товарищам!  
И в окне  
    Олимп в снегу —  
    туча проплывающая.  
— Я бы,  
    девушка,  
        и сам —  
хоть сегодня, в танке!  
Комсомолки есть и там —  
    смелые!  
        Гречанки!  
И ребята есть у них —  
    сердцу дорогие...  
Кстати...  
    Может, надо книг  
    вам — по хирургии?  
И она  
    спешит домой  
    с мокрыми глазами,  
осушить глаза,  
        и в бой —  
    в завтрашний экзамен.  
Но к теплу ее души  
    прижимаясь,  
        греется  
в горной  
    сумрачной глуши  
    раненая Греция.  
И плывут  
    раскаты с гор  
    в синеве рассвета —  
к колоннаде,  
    в коридор  
    университета.





---

---

# НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО

Роман \*

КОНСТ. ФЕДИН

★

22

**В** очень тяжелой обстановке, которая сложилась для Красной Армии в результате весенних и летних наступательных действий Деникина, командование Южного фронта разработало, в соответствии с указанием главкома, план контрнаступления. Основная идея плана заключалась в нанесении белым глубокого удара левым крылом Южного фронта через донские степи в общем направлении на Царицын и Новороссийск. С этой целью двум армиям, которые были сведены в ударную группу, ставилась главная задача — наступать на Царицын и далее через Дон, а на смежную группировку (к западу от главной) план возлагал вспомогательный удар от Воронежа на Купянск. Эти наступательные операции были обеспечены значительным превосходством над Деникиным в пехоте, орудиях и пулеметах, тогда как кавалерия белых по-прежнему имела огромный численный перевес.

Решившие участь Деникина события, которые начали развёртываться поздней осенью в соответствии со сталинским планом, показали, что летний план главного и фронтового командования в основной своей идее наступления через Дон на Новороссийск был стратегически порочен, и это стало сказываться вскоре же после августовской попытки приведения плана в жизнь.

Чтобы сорвать готовившийся маневр красных, Деникин сам перешел в наступление. Он прибег почти одновременно к двум операциям, поручив их бывалым и старательным слугам контрреволюции — казачьему генералу Мамонтову и генералу добровольцев Кутепову.

В августе четвертый Донской кавалерийский корпус под командованием Мамонтова численностью около восьми тысяч сабель, с орудиями, бронев автомобилями и пешим отрядом до тысячи штыков прорвал под Новохоперском линию советского фронта. Деникин ставил корпусу первоначальной задачей овладение железнодорожным узлом Козлов с целью разрушения и расстройства глубокого тыла Южного фронта Красной Армии. Затем он эту задачу изменил и дал корпусу направление на Воронеж с тем, чтобы разбить Лискинскую группу Красной Армии, к северо-западу от Новохоперска. Мамонтов приказания Деникина не выполнил и, пройдя фронт, повел корпус прямо на север, по направлению к Тамбову. Деникин пытался свернуть Мамонтова на запад, но безуспешно. С каждым днем уходя все дальше от живой силы Красной

---

\* Продолжение. См. «Новый мир» №№ 1, 5, 9 и 12 1947 года.

Армии, сосредоточенной на фронте, мамонтовский корпус быстро углублялся в тыл и на восьмой день марша захватил Тамбов.

В намерения Мамонтова входило поднять крестьян против советской власти. Убедившись с первых дней в неуспехе этого замысла, Мамонтов обратил силы своих полков против крестьян и населения, встречавшего его враждебно. Весь рейд сразу принял вид ожесточенной карательной экспедиции, сопровождаемой порками, повешениями и в то же время нещадными разграблениями складов и военных запасов, которые увозились обозами кавалерии, наряду с несметной добычей от погромов в деревнях и городах. Эти обозы тянулись по дорогам на многие версты, и, в конце концов, заботы о спасении награбленного и о новых грабежах загородили собой цели, которые могли иметь для белых собственно военное значение. Постепенно Мамонтов растрчивал боеспособность своей кавалерии. Тревожимые ударами красноармейских частей, мамонтовцы, однако, совершили налет на Козлов и Раненбург, повернули к западу и, пройдя Лебедяню, только в конце месяца двинулись на юг, к Воронежу.

С самого начала внезапного и угрожающего рейда донцов все, кому знакомо было июльское письмо Ленина, вспомнили строки, теперь вдруг изумившие безошибочностью предвидения. Ровно за месяц до мамонтовского прорыва Ленин писал: «Особенностью деникинской армии является обилие офицерства и казачества. Это тот элемент, который, не имея за собой массовой силы, чрезвычайно способен на быстрые налеты, на авантюры, на отчаянные предприятия, в целях сеяния паники, в целях разрушения ради разрушения».

Кирилл Извеков был тоже изумлен этой конкретностью предвосхищения событий. Ему казалось, что его товарищи и он лично были чуть ли не прямо предупреждены о предстоящем налете именно четвертого Донского кавалерийского корпуса под командованием Мамонтова, и непростительно оставили предупреждение без внимания. Ни у его товарищей, ни у него — казалось Кириллу — не было никакого оправдания, что прорыв Мамонтова застал их врасплох: нехватало, чтобы заранее было указано, какого числа и в каком месте фронта прорыв будет совершен! Ведь в том же письме Ленин требовал исключительных мер предосторожности: «В борьбе против такого врага необходима военная дисциплина и военная бдительность, доведенные до высших пределов. Прозевать или растеряться — значит потерять все».

Проверяя свою работу, Кирилл убеждался, что исполнял все, на что способны были его силы в том положении, которое он занимал. Но он думал, что должен бы выполнить гораздо больше и что он даже именно «прозевал» вместе с другими и навлек несчастье, обрушенное на фронт и тыл налетом Мамонтова.

После ухода Рагозина на фронт возросла до беспокойства уверенность Кирилла, что будь он тоже в рядах армии, было бы лучше и для него, и для общего дела. Беспокойство это превратилось в тревогу, когда стало известно о новом прорыве белых.

Первый армейский корпус добровольцев под командованием Кутепова, перейдя на центральном участке Южного фронта в наступление, прорвал фронт на стыке двух соседних советских армий и, после ожесточенных боев, вынудил отойти одну в направлении на Курск, другую на Ворожбу. Последствием было то, что часть войск, которым предстояло содействовать вспомогательному удару Красной Армии от Воронежа на Купянск, оказалась неспособной это сделать.

И тем не менее, спустя пять дней после прорыва Мамонтова и три дня после прорыва Кутепова, ровно в середине августа, главком Крас-

ной Армии и командование Южного фронта начали наступление против Деникина по плану, разработанному до этих прорывов.

Как подавляющее большинство советских (в том числе военных) работников, Извеков не знал, что начавшееся наступление должным образом не подготовлено ни в организационном, ни в оперативном отношении. Наоборот, он был необычайно обрадован самым фактом перехода Красной Армии к активным действиям на юге и считал за очень хороший знак и за выражение силы, что наступление было предпринято как бы вопреки контрманеврам белых и началось с успехов. Его лишь насторожило то, что руководство борьбой с мамонтовской конницей было возложено на командование главной ударной группы, выделившей для этого две стрелковых дивизии: это не могло не ослабить удара Красной Армии в основном направлении, вниз по Волге и к Дону. И он с волнением следил за развитием налета мамонтовцев, которые продолжали топтать на тамбовщине поля и людей.

Едва поступали новые сообщения с фронтов, Кирилл бросал дела и развешивал карты, какие удалось раздобыть, начиная от школьных, кончая земскими трехверстками, стараясь точнее установить передвижения войск и угадать развитие дальнейших операций. И по мере роста начальных успехов Красной Армии, он больше и больше завидовал Рагозину.

Углубленным в такое чтение карт его застала раз вечером Аночка. Она вошла в кабинет, забыв постучать, и остановилась в замешательстве, потому что Кирилл принял ее за свою помощницу и спросил, не подымая головы,— в чем дело? У него свисали на брови отросшие волосы, казавшиеся чернее обычного в низкой тени абажура, а ровный сжатый рот и подбородок сильно освещались лампой, и было видно, что он не брит.

— Ну, в чем же дело? — повторил он громко и оторвался от карты.

Почти сейчас же он выбежал из-за стола к Аночке, схватил ее руку и, только поздоровавшись, сказал другим, нетвердым голосом:

— Вы как здесь очутились?

— Мне сказали — можно... Нельзя, да?

— Можно, можно! Я не к тому. Я не понял, откуда вы взялись. Я вас ждал... То есть хотел повидаться с вами. Насчет одного дела... очень надо...

Он говорил быстрее, чем всегда, и уже заметил, что путается. Как на спасительную надежду, он оглянулся на карты и, снова ухватив аночкину руку, повлек неожиданную гостью к столу.

— Откладывал разговор со дня на день — нет и нет времени. И как хорошо, что вы пришли. Смотрите, кстати, что происходит.

Он держал ее левой рукой, а правую протянул над картой, застилавшей весь стол.

— Это — Волга. Видите? Вот уже где наша флотилия. Еще денек — и Камышин наш. Понимаете? Врангель пятится. А отсюда нажимает наша кавалерия (он показал на запад и надавил на плечо Аночки, тесня ее влево). Конный корпус Буденного. Слыхали? Нет? Вот он куда нацелен, видите? Против донской конницы Сутулова. Если мы ее опрокинем, то получится...

Он еще потеснил Аночку, она вдруг отстранилась, он взглянул на нее и сказал потише:

— Словом, получится очень хорошо.

Он говорил ей только о том, что его возбуждало и обнадеживало, умалчивая о скрытой тревоге сердца, и не поднимал глаз к северу карты, чтобы не толкнуть Аночку к тому же. Рассказывая же об отрядных

событиях на Волге, он все время произвольно думал об угрозе событий к северо-западу от Саратова — на Тамбовщине, потому что мамонтовцы буйствовали к этому дню уже в Козлове, прямая дорога на Москву была перерезана и связь оставалась только кружным путем, через Пензу. Он решил непременно отвести аночкино внимание от этих омрачающих событий, был уверен, что скрывает от нее именно эти события, ничего, кроме них, и не признался бы, что не меньше озабочен тем, чтобы скрыть свое волнение от неожиданной ощутимой близости Аночки.

Он копнул свои карты, вытащил наверх маленькую и опять подвинулся к Аночке.

— Это я показывал направление Камышин—Царицын. А смотрите западнее. Наша другая группировка. Фронт пять дней назад, видите? А вот какой клин мы вколотили. Вот красная линия. Здорово, а? Если так пойдет дальше, то через неделю мы — в Купянске. Смотрите.

Он хотел слегка нагнуть Аночку к столу, но она сказала:

— Я хорошо вижу. Только почему в Камышине мы будем через день, а в Купянске через неделю? Ведь до Камышина вон еще сколько, а Купянск совсем рядом.

— Да, — сказал Кирилл, немного отходя в сторону, — это, конечно, большая неприятность. Но тут главное осложнение в том, что... карты разных масштабов. (Он потрогал свою небритую верхнюю губу). На маленькой карте и далекое кажется близко.

— Значит, надо воевать по маленькой карте, — улыбнулась Аночка. Он засмеялся. Она спросила и деловито и озорно:

— Вы говорите — собирались меня увидеть. Чтобы посвятить в стратегию, да?

— Нет, без всякой стратегии.

— Ну, как же так, если вы — стратег?

— Плохой стратег. Иначе я воевал бы по маленькой карте... с вами, во всяком случае.

— Вы собрались со мной воевать?

— Не с вами, собственно, а за вас.

Она опять улыбнулась не лукаво и не озорно, а с торжествующим удовольствием женщины, которая наслаждается тем, что шутя привлекла к себе все внимание мужчины. Но она в тот же момент как бы одернула себя и отклонила наивное кокетство разговора:

— У вас, правда, дело ко мне? Я тоже пришла по важному делу.

— Мне нужно поговорить с вашим братом.

— С Павликом?

— Насчет его приятеля — Вани Рагозина. Помните—Рагозин, у которого вы хлопотали о деньгах, тогда... с Цветухиным? Так вот, у него есть сын...

— Странно... — почти в смятении перебила его Аночка. — Как это совпало! Я — тоже по поводу Павлика. Он пропал.

— Пропал?

— Третьего дня поутру ушел и больше не возвращался.

— И вы искали его?

— Отец заявил в милиции, расспрашивал, кого мог, на берегу...

— Может что-нибудь известно Дорогомилову?

— Арсений Романович говорил со всеми товарищами Павлика, и ничего не узнал. Никаких следов. Ужасно.

— Ну, разумеется, — сказал Кирилл грубовато, с желанием подбодрить Аночку, — вам, поди, бог знает что лезет в голову: исчез, погиб, и еще что! Просто, удрал на фронт. Он же грозил, что удерет.

— Но ведь это не утешение! Он совсем маленький, и — конечно — не снесет головы.

— Вы, что, серьезно думаете, что таких вояк пропускают на фронт?

— А как же, если он туда убежал?

Она взялась за спинку стула и опустилась неожиданно тяжело для своего легковесного хрупкого тела.

— Послушайте, Аночка, — начал Кирилл, но она не дала ему говорить.

— Я знаю, что я, я виновата! При маме этого ни за что не случилось бы! Она так любила Павлика! А я совсем забросила его. Ведь он ребенок, понимаете, он еще совсем ребенок!

Она уткнула лицо в острый сгиб своего локтя, попрежнему держась за спинку стула.

— Вы сама ребенок, — сказал Кирилл, подходя к ней ближе.

Это будто разжалобило ее, она обиженно пробормотала себе в руку, едва не всхлипывая:

— Я хотела вас позвать на репетицию, у нас скоро генеральная репетиция, а теперь я знаю, что провалюсь, знаю, знаю, непременно провалюсь!

Он договорил еще суровее, боясь, что вдруг она расплечется:

— Не выдумывайте. Какое событие — репетиция! Прекрасно сыграете свою Луизу, или кого там? И я еще буду вам хлопать. Подумаешь! Невидаль какая — Луиза! Я хочу сказать — ничего не стоит сыграть вашу эту Луизу. А Павлика... Я должен был разыскивать одного, ну, буду разыскивать двоих. Уверен, его притащат к вам с милицией. Не первый такой герой.

Аночка приподняла голову.

— «Не первый такой герой! Разложить бы да всыпать пару горячих!» — сказала она, очень похоже подражая упрямому баску Кирилла, и он отвернулся, чтобы сохранить серьезность.

— Завтра с утра я пояду на ноги милицию, все будет сделано, — сказал он мягче.

— Правда? — почти весело спросила она. — Правда, по-вашему, я должна хорошо сыграть свою роль?

Он не ждал такого поворота.

— Если играли до сих пор...

— Откуда вам известно, что я играю Луизу?

— Спрашивал у мамы.

— Все-таки, значит, вспоминали обо мне?

— Все-таки да.

— И поэтому не видались со мной два месяца?

— Не может быть!

— Семь недель и три дня.

— Вы считали? — еще больше удивился Кирилл.

— А вы потеряли счет?

Он с сожалением повел рукой на бумаги и карты, из-под которых не видно было стола.

— Понимаю, — сказала Аночка, — не до того...

У нее медленно поднялись брови, и в этом невольном движении разочарования было столько горечи, что он смолчал.

— Надо идти. Спасибо вам. Я очень, очень боюсь за Павлика!

— Я провожу вас.

— Что вы, разве можно? — возразила она и, совершенно повторяя его жест, показала на стол.

— Постоите, постоите, — сказал он, разыскивая глазами и не находя свою кепку. — Я хочу пройтись так, как тогда, на бахчах.

— И потом скрыться на два месяца?

— Тем более хочу. Пошли!

Так и не найдя кепки, он вышел с непокрытой головой.

Прохладная тьма окутала их — вечера уже полнились предчувствием осени, их очарование казалось строгим и грустным. Воздух был крепок. Отчетливо наплывал прямой улицей долгий, зовущий гудок парохода.

Кирилл взял Аночку под руку. Второй раз держал он тонкую кисть, в которой прощупывалась каждая косточка. Ему пришла мысль, что, вероятно, часто эта рука ищет опоры и опускается от усталости. Но в резких сгибах кисти он будто услышал скрытое упрямство.

— Вам холодно... без фуражки?

— Вы совсем не то хотели спросить, — сказал он.

— Почему вы думаете? — тотчас возразила она, и запнулась, и прошла несколько шагов, ожидая — что он ответит.

— Я почему-то должна придумывать, как с вами заговорить, — сказала она, не дождавшись. — Наверно потому, что вы не хотите говорить о самом важном. Погодите, погодите! Я знаю, вы непременно сейчас спросите: а что самое важное? Правда?

Он усмехнулся и спросил:

— В самом деле, что самое важное? Сейчас, например, разыскать Павлика, верно?

— Да, конечно, — согласилась она чересчур поспешно. — Но вы не досказали мне тогда, в автомобиле, помните?.. Вы совсем не жалеете, что расстались с Лизой?

— Ах, вот оно, самое важное!.. Я не люблю возвращаться к прошлому.

— Она вышла второй раз замуж. Недавно. Когда вы уже вернулись в Саратов. Вы слышали? Это не прошлое, а настоящее.

— Но это такое настоящее, которое не должно меня касаться.

— Не должно? Или действительно не касается?

— Вы только в этом случае придира или вообще?

— Вообще! — безжалостно утвердила она.

Он снова усмехнулся, но будто с неохотой, и долго молчал.

— Чтобы с этим кончить, раз это вас занимает, — сказал он вполголоса, — я действительно перестал вспоминать о Лизе. Сначала себя заставлял, потом это вошло в привычку — не вспоминать.

— Значит, вы еще любите ее? — с нетерпением спросила Аночка, дернув рукой, точно собравшись высвободить ее, но тут же раздумав.

— Откуда это значит? Той Лизы, которую я любил — сколько лет назад, я уж и счет потерял, — той Лизы, может, и не было вовсе.

— Но ведь это же чепуха, — даже с некоторой обидой сказала Аночка и на этот раз решительно вытянула руку из его пальцев.

— Почему чепуха? Была наша с ней юность, наша надежда.

— Конечно, чепуха. Если было, значит есть. А если нет, значит вы просто неустойчивый человек.

— Вот верно! Неустойчивый!

Ему стало очень весело, он громко рассмеялся, и Аночка вдруг мягко вложила свою кисть ему в ладонь, словно и не отнимала руку, и они шли дальше, уже ничего не говоря, но чутко слушая друг друга, хотя слышен был только мерный хруст пыли об асфальт под ногами.

Когда они добрались до дома Аночки, она хотела проститься у калитки, но Кирилл сказал, что войдет во двор. Она подошла к освещенному окну — постучать, и вскрикнула:

— Господи! Смотрите!

Кирилл шагнул к ней.

На кровати сидел Павлик. Даже в тусклом свете видны были разводы на его щеках — он плакал и растер слезы по грязному лицу. Рыжеватые волосы торчали, как перья потрепанной птицы. Он быстро наматывал на палец обрывок бечевки и сдерживал его.

Против него за столом восседал Парабукин с превосходным видом родителя, уличившего беспутное чадо в постыдстве. Он барабанил пальцами и метал гневные взоры на сына.

Впустив Аночку, он сразу заговорил, не уделяя внимания Извекову.

— Явился! Явился! Голод не matka. Кроме отца, никто этакому финтифлюю кофее не поднесет. В кого пошел, негодник, а? Мать была труженица, мыла его, поросенка, чистила. Сестра — примерная девица, вот-вот ему кормилицей будет, заместо матери. Отец... ну, что ж отец?

Тут Парабукин искоса глянул на дочь и ее спутника, осанился, пригладил бодрым взмахом руки взъерошенную гриву и бороду, и в этот момент обнаружилось, что он несколько отступает от общепринятого равновесия и подплясывает против своей воли.

— Отец тоже не какой-нибудь бессовестник, всю жизнь за семью гсре мыкал...

— Погоди, папа, — сказала Аночка. — Где ты пропадал, Павлик?

Она, как вошла, смотрела на брата, не отрываясь, глазами, светящимися от любви и потрясения и выразившими такой чистой, из души рвущийся упрек, что Павлик низко пригнул голову и перестал крутить свою бечевку.

— Чего ж годить? Я его уже исповедовал, ~- проговорил Парабукин и, раскрыв бугристую длань, потряс рукою увесисто и гордо. — И он мне свою морскую фантазию выложил полностью. В военморы, говорит, захотелось! Я ему прописал военморов!

Аночка бросилась к Павлику, прижала к себе его голову. Он с облегчением уткнул нос в ее грудь. Вздвогнув, он затем притих, и пальцы его опять старательно завертели бечевку.

— Забрался в пароходный трюм, доплыл до Увека, там его, миленьша, выкатили с бочками на сушу. Зачем, спрашиваю, поехал? Думал, говорит, морское сражение посмотреть. На каком, спрашиваю, море или на озере? А он мне: это военная тайна!

— Как мог ты, Павлик? — все еще в неусмиримом волнении сказала Аночка, приглаживая его вихры.

— Я, сознаётся под конец, решил с военморами жизнь положить за революцию. Вот шлюндрик! Что с ним делать, а?

— Разве не прав я был? — сказал Извеков. — Зов времени. Дети слышат его лучше взрослых — на фронт, на фронт!

Павлик оторвался от сестры на чужой голос, стремительно осмотрел и тотчас вспомнил Кирилла. Ободренный его неожиданной поддержкой, он с жалобой и вызовом стрельнул золоченым своим взглядом на отца.

— Кабы я один — еще так. А то все Ванька Красила-мученик. Небось, сам увязался на катере, прямо во флотилию, на коренную. А мне говорит: ты, Пашка, вали на каком ни на есть пароходе до Увека. Флотилия буде там мазут брать, я тебя подберу. Я прождал два дня, а флотилия и е думала на Увек заходить. Нужен ей Увек!

— Ай-ай, к кой тебе несолидный товарищ попался, — серьезно сказал Извеков. — Уж не Ваня ли это Рагозин?

— А кто же? Ему хорошо. Его все военморы знают!

— Неужели ты ни капельки не раскаиваешься? — отшатнулась от брата Аночка.

Он опять опустил голову: самой тяжелой укоризной было ему страдание сестры.

Так просто отыскался один беглец и, словно по росе, проступил след другого. Кирилл мог быть доволен. Он уже решил простаться, но Парабукин, сбитый со своей роли благородного отца, обратился к нему довольно высокомерно.

— Извиняюсь, вы будете театральным сослуживцем моей дочери, или что другое?

— Это сын Веры Никандровны, — сказала Аночка, — ты ведь знаешь, папа.

Парабукин сразу низвергся из-за облаков на трезвую землю, оправил мешковидную свою толстовку и отозвался с некоторым подобием изысканности:

— Знаю более по служебному высокому положению. Насколько читаю вашу подпись под разными декретами. А так же, как ваш подчиненный, являясь сотрудником Утильотдела.

— Да, я все не соберусь в этот ваш отдел, — сказал Кирилл. — Что там у вас происходит? Вы, говорят, книги уничтожаете?

— Ни восьмушки листа без разрешения! Только согласно инструкции. Макулатуру церковных культов, своды царских законов — это да. Капитальную печать — скажем, отчет акционерного общества или рекламу.

— А будто пакеты из географии не клеили? — злорадно ввернул Павлик.

— Молчи. Тебе еще рано понимать. Не из географии, а из истории. Потому это бывшая история, которой больше не будет. Отмененная история. У нас в науке разбираются. Если что имеет значение — в сторону. Не имеет — в утилизацию. Корочки от книжек — на башмачную стельку. Испечатанные страницы — на пакет. Чистую бамагу — для письма.

— Обязательно приду к вам. Очень меня занимает ваш отдел, — сказал Кирилл.

— К нам самые сведущие люди заходят. И не обижаются. Настоящие библиотеки составляют из книг. (Парабукин сильно нажал на «о»).

— Вот, вот, — улыбнулся Кирилл и протянул руку Павлику. — До свиданья, боевой товарищ. Мы с тобой, придет время, повоюем, войны на наш век хватит. А пока все-таки не огорчай Аночку, не надо, ладно?

Павлик не сразу решил подать руку, потом опасливо приподнял ее, не отнимая локтя от бока, и проворно отвернулся.

Аночка вышла проводить гостя. Волнение ее улеглось, она даже прихорошилась, успев причесать стриженую свою голову в то время, как Кирилл простался с мальчиком.

— Надолго? — спросила она лукаво, когда они задержались в темноте у растворенной двери.

— До завтра. Хотите — завтра? — предложил он, будто вспомнив первую свою оплошность и решив не откладывать новую встречу в долгий ящик.

Он опять удивился — как хрупка и тонка была ее кисть, и вдруг нагнулся к этой руке, непохожей ни на одну другую в целом свете, и дважды, торопливо и неловко, поцеловал ее.



— Что вы! — воскликнула она, отступая в сени, и уже из-за двери неожиданно прибавила: — Такой колючий!

Он сейчас же пошел прочь, некрупным, но сильным своим шагом. Он был рад и поражен, что так получилось, что он поцеловал ее руку. Никогда прежде не мог бы он себе представить, что поцелует женщине руку: это было что-то либо светское, либо ничтожное, рабское, и допускалось людьми, которые не имели с Извековым ничего общего. Чуждый этот жест (если случалось со стороны увидеть его, где-нибудь на вокзале) отталкивал Кирилл, и он рассмеялся бы над собой, если бы вообразил, что когда-нибудь попробует подражать унижительному для женщины и приbedняющему мужчине обычаю. Особенную дикость приобретал в его глазах поцелуй руки теперь, когда с женщины спадали все пути принижения и предрассудков. Нет, уж если галантное целование руки вздумал бы кто отстаивать, то пусть женщина и здесь была бы совершенно равноправна и прикасалась бы губами к руке мужчины, выражая ему свою приязнь. Нет, нет, Кириллу было совершенно враждебно целование женской руки. Его только наполняло счастье, что он поцеловал руку Аночки — изумительную руку необыкновенной девушки! Его поцелуй не имел никакого подобия с пошлой манерой, принятой хлыщами. Он поцеловал не руку, а какую-то особую сущность Аночки, так притягательно скрытую в руке, он поцеловал Аночку, конечно, самую Аночку! — не всё ли одинаково в ней достойно поцелуя — лицо, шея, рот или рука? Он завтра скажет Аночке об этом чувстве равноценности для него каждой дольки ее тела, завтра, завтра, — как хорошо, что уже завтра!

Он шел обратно той дорогой, где только что они проходили вместе, и в нем повторялось, шаг за шагом, пережитое ощущение близости Аночки, остро подсказываемое мерным хрустом пыли под ногами в темноте пустынных улиц. Вот так хрустело, когда они шли вместе. Так хрустело под ее ногами. Он шел негромко и неразборчиво. У него не было слуха, но если он запевал для одного себя, ему нравилось, и он казался себе музыкальным. Завтра, завтра — означало его пение. Завтра, завтра — отвечал он мыслям о поцелуе. Завтра, завтра..

Он застал в своем кабинете несколько товарищей. Одни курили, сидя на подоконниках, другие рассматривали карты, которые Кирилл показывал Аночке. Он всех знал, и сразу понял, что их собрала неожиданность.

— Куда запропастился? — спросил один из них.

— Никуда особенно. Видишь, без кепки, — сказал он, заставляя себя обычным шагом пройти к своему месту и окидывая взглядом стол.

Он тотчас заметил телеграмму, воткнутую стоймя за чернильницу. Пока он читал, все молчали. У него сжался и точно постарел рот. Он сложил телеграмму надвое, не торопясь опустился в кресло.

— Ты не садись, — заметили ему, — нас ждет председатель, он назначил совещание.

— Так, так. Ну, пойдемте, — сказал он с безусловной уверенностью, что все сразу за ним пойдут, будто это он сам назначил совещание, и быстро двинулся через кабинет в соседнюю комнату.

Только к концу следующего дня Кирилл выбрал минуту, чтобы послать Аночке записку, в которой сообщил, что встречу приходится отложить дня на два. Когда он писал — дня на два, он не верил, что это так, и все же не мог написать ничего другого. Он, правда, добавил,

что ужасно хочется увидиться, и решил, что такая приписка, ничего не объясняя, всё искупит.

Нельзя было загадать не только на двое суток вперед, как сложатся события, но и на два часа. Ночь прошла в совещаниях, телефон и телеграф работали не переставая: городу угрожал новый мятеж — с севера — и перерыв последней железнодорожной связи с Москвой — через Пензу.

Формировавший в Саранске Пензенской губернии красную дивизию донцов, командир ее — бывший казачий полковник Миронов отказался подчиниться Революционному военному совету. До этого он перестал считаться с Политическим отделом дивизии, и на самовольно созданных митингах, внушая казакам и крестьянам, что он спасает революцию, натравливал их против Советов и большевиков. Вызванный от имени Реввоенсовета в Пензу, он ответил вооружением своих частей и ультиматумом, который требовал, чтобы его беспрепятственно пропустили на фронт. Он ставил себе целью пробиться на соединение с Деникиным. Рейд Мамонтова, достигавший к этому времени высшей точки в своем проникновении на север, создавал удобную обстановку для мятежа, и встречный рейд мироновцев с севера на юг по тылам Красной Армии оказал бы Мамонтову серьезную услугу. Это была авантюра предателя в духе батьки Махно, еще весной перебежавшего на сторону белых.

Арестовав и посадив в тюрьму советских работников, Миронов, во главе казачьих частей, выступил из Саранска на Пензу. В пути он разослал по деревням своих агитаторов, подбивая крестьян на восстание. Он задержался в селе Макарьевском почти на полсутки, и это дало возможность стянуть советские войска, чтобы помешать его продвижению к прифронтовой полосе и покончить с ним в тылу.

Пензенская губерния была объявлена на осадном положении, власть перешла к крепостному военному совету, в уездах учреждались революционные комитеты. Деревенские коммунисты, вооруженные вилами и топорами, начали стекаться в уездные города, объединяясь для отпора изменившей дивизии. Налаживалась разведка, устраивались мастерские, где приводили в порядок неисправное оружие. Стали брать на учет лошадей и села. В Пензе вели запись добровольцев в рабочий полк. В самых глубоких и спокойных углах губернии происходила мобилизация большевиков, и сотни людей становились под ружье.

Спустя четыре дня после выхода Миронова из Саранска, его отдельные отряды, при попытке переправиться через Суру, были взяты под пулеметный огонь и обращены в бегство. Еще тремя днями позже около тысячи мироновцев выслали делегатов в Красную Армию и сложили оружие, заявив, что хотят вернуться в ее ряды.

Миронов с оставшейся частью мятежников продолжал марш к Южному фронту, оттесненный от Пензы, обходя ее, соприкасаясь с северными уездами Саратовской губернии и держа направление на Балашов. Силы его таяли, он шел, не в пример Мамонтову, осторожно, не решаясь заходить в города. В результате стычек или из нежелания сражаться, от него откалывались либо просто сбегали группы и кучки казаков, уходя в леса и рассеиваясь по деревням и селам. Эти шайки наводнили окрестные места его следования, сам же Миронов, с бандой в пятьсот человек, был окружен и взят в плен Красной конницей в Балашовском уезде через три недели после измены, в середине сентября.

В первые дни мятежа немисливо было, конечно, предвидеть, насколько он разрастется и скоро ли окончится. Своею вспышкой он угрожал Саратову не только потому, что потеря Пензы означала утрату кружного пути на Москву ( в то время как прямой был перерезан на-

ходившимся в районе Козлова Мамонтовым), но и потому, что северные уезды Саратовской губернии прямо входили в орбиту мятежа. Красный петух мог забить крыльями в ближнем тылу, на севере, в то время как на юге атели пожары, зажженные деникинским фронтом. Из пензенского события мятеж мог каждый час сделаться событием саратовским.

Наступление на Южном фронте только, словно бы, начинало развертываться. В день, когда вспыхнул мироновский мятеж, матросы Волжской флотилии ворвались в Николаевскую слободу, против Камышина, а на другой день Красная пехота заняла Камышин. Тем ожесточеннее встречал Кирилл известия об аванюре Миронова. Еще больше, чем прорыв Мамонтова, ошеломила его внезапность угрозы с севера. Саратов в непрерывной череде потрясений напоминал Кириллу больного, который не успевал одолеть одну болезнь, как на него наваливалась другая. Не успевали миновать «Окопные дни», когда горожане толпами ходили на рытье траншей, как объявлялись «Недели фронта» с их нескончаемыми мобилизациями. Это был кризис в кризисе.

И все же надо было отыскивать силы там, где они, казалось, иссякли.

Городской гарнизон, истощенный усилиями, которые понадобились на оборону от Врангеля и переход против него в наступление, мог выделить для борьбы с мироновцами лишь небольшие отряды.

Один такой отряд отправлялся в Хвалынский уезд и был — как сказал о нем военный комиссар — может и не плох: до полуторы сотни добровольцев и мобилизованных последнего призыва, сведенные в роту. Предстояло решить вопрос о командире: измена Миронова снова поднимала споры об отношении к бывшим офицерам царской армии как военным специалистам. При обсуждении кандидатуры военком назвал Дибича, отличившегося по формированию, но служившего в Красной Армии недавно и в боях не проверенного.

— Да что же я толкую, — добавил военком, — Дибича рекомендовал товарищ Извеков, он, наверно, скажет.

Кто-то заметил полушутливо, что если, мол, Извеков рекомендовал, пусть он и проверит свою рекомендацию в деле: дать его к Дибичу комиссаром! Замечание так бы и осталось не слишком серьезным, но общая мысль в эту минуту искала человека недюжинного и решительного, на которого можно было бы возложить полномочия более важные, чем комиссарство в роте, вплоть до права образовать на месте и возглавить революционный комитет, если бы обстоятельства потребовали. Назначением Извекова на маленький пост разрешилась бы большая задача, и полушутка прозвучала кстати.

Кирилл сказал кратко:

— Дибича я видел в боях с немцами. Командир мужественный и не аферист, пошел служить к нам, а не к белым вполне сознательно. Я за него ручаюсь.

На этом с вопросом о доверии Дибичу было кончено, — не потому, что не нашлось охотников перетряхнуть прошлое бывшего офицера, а потому, что сразу повели разговор об Извекове, тут же утвердили его комиссаром, и на него, в глазах всех, легла ответственность не только за Дибича или за роту, но будто и за события, которые могли произойти в Хвалынском уезде.

Часом позже Василий Данилович — уже командир сводной роты — явился, чтобы договориться с Извековым о подготовке предстоящего похода.

— Что значит человек на своем месте, — встретил его Кирилл, — даже румянец выступил! И ведь овать я с вами в одной части!

— Только вы с повышением, а я не дотянул и до старого, — сказал Дибич.

— Горюете? Вам на подносе счастье подается: не пройдет недели, как вы у себя дома, в своем Хвалынске.

— И как еще почетно, — улыбнулся Дибич, — с оружием в руках! Вот только не пришлось бы дом-то с боем брать.

— А что ж особенного? И возьмем! — сказал Кирилл. — Вот вам карандаш, садитесь.

Он развернул карту Волги, и тотчас с удивительной живостью увидел, как Аночка клонилась над этой картой, следя за его пальцем, и как он старался привлечь ее внимание к действиям на юге, чтобы она не подняла голову на север. Теперь он подогнул южную половину вниз.

Но начали не с карты. Дибич рассказал, чем была в действительности рота, аттестованная, как «может, и не плохая». Красноармейцы не закончили даже ускоренной подготовки, старых солдат среди добровольцев числилось меньше половины, люди нуждались в одежде, сапогах, винтовок нехватало. Стали составлять списки потребного оружия, снаряжения, обмундирования, провианта. Когда подсчитали, сколько времени нужно на сборы, и выяснилось, что не меньше трех суток, Кирилл сказал:

— Плохо у нас получается. Мы должны это дело сократить вдвое.

— То есть как?

— А так, чтобы послезавтра на рассвете выступить.

— Я готов хоть сейчас выступить, да с чем? Палок в лесу нарезать — и то время надо. А тут придется каждую щель по цейхгаузам облизать.

— Придется проворнее лазить.

— И так мы с вами чуть ни на минуты все рассчитали.

— Пересчитаем на секунды.

— Легко сказать. Я не первую роту сколачиваю.

— Наша рота особого назначения.

— Тем основательнее ее надо снабдить.

Кирилл посмотрел на Дибича тяжелым взглядом из-под осевших на переносье бровей.

— Вот что, Василий Данилович. Условимся, что бой уже начался. А в бою ведь у нас разногласий не будет, правда?

— Тут не разногласия, а простая арифметика.

— Значит, простая непригодна. Пересчитаем по арифметике особого назначения. Я беру на себя самое трудное. Что, по-вашему, труднее всего получить?

— Два пулемета нужно? Связь нужна? А попробуйте раздобыть провод.

— Хорошо. Попробую. Связь будет за мной. Срежу, на худой конец, вот этот аппарат, — сказал Кирилл, вдруг зачем-то стукнув ладонью по телефону.

— Один аппарат — еще не связь, — возразил Дибич.

— Найдем сколько надо. Дальше что?

Они перебрали и перечиркали свои списки, разделили между собой намеченную работу и взялись за карту.

Роте предстояло идти по большаку на Вольск и оттуда на Хвалынск. Это составляло двести двадцать верст. Дибич клал на весь марш пятеро суток, с привалами и ночлегами. На хорошем пароходе передвижение отняло бы день. Но все суда были брошены на южную операцию, и пароход мог подвернуться только случайно. Поэтому Извеков предложил следовать на Вольск поездом (что больше чем удваивало путь до этого

города, но сокращало время), а остаток дороги до Хвалынска — маршем. Такой комбинированный переход занял бы трое суток.

— Если не подведет чугунок, — сказал Дибич. — Пары-то разводят дровишками.

— Нарубим, — сказал Извеков.

— И если Миронов не двинет от Пензы на юг и не перережет железную дорогу где-нибудь под Петровском.

— А для чего нас посылают? Будем драться там, где встретим противника.

— Нас посылают в Хвалынск. В Петровск пошлют других. Мы обязаны выполнить свою часть задачи.

— Задача в том, чтобы переломать ноги Миронову, а на какой станции мы их переломаем — не существенно.

— Напрасно так думать. Большая разница — кто кому навяжет бой, кто выберет время и место боя. Мы имеем дело с конницей. И она уже выступила. А мы будем готовы к маршу только на третьи сутки. Нас легко предупредить.

— Не на третьи, — поправил Кирилл, — а через полтора суток. И у нас больше шансов не быть предупрежденными, а предупредить самим, если мы перебросим роту по железной дороге.

— У меня нет возражений. Все равно неизвестно, что будет через трое или двое суток, — проговорил Дибич очень тихо и замолчал.

Неожиданно он побледнел и сказал с волнением:

— Вы начали о разногласиях. Давайте договоримся сразу. Вы мне доверяете или нет? Если нет, то не теряйте времени — вам нужен другой командир.

— Я вам доверяю, — спокойно ответил Кирилл.

— Вполне?

— Вполне.

— Благодарю. Тогда еще вопрос. Кто из нас будет командовать?

— Вы.

— Я хочу знать — не кто будет поднимать цепь в атаку, а кто будет определять тактику боя, я или вы?

— Мы вместе.

— Это значит, что я обязан присоединяться к тому, как вы решите, да?

— Нет. Это значит, что мы оба будем вникать в убеждения друг друга и находить согласие. Притом я потребую к себе такого же полного доверия, какого вы требуете к себе.

— А в случае расхождений?

Дибич глядел на Кирилла разожженными нетерпением глазами, все еще бледный, и Кирилл вспомнил, каким увидел его в этом кабинете первый раз — больного, измотанного судьбой и противящегося ей изо всех своих остаточных сил.

— Вы в Красной Армии, — ответил он, — устав ее не тайна. Но вряд ли между нами возможны расхождения. Во-первых, я не сомневаюсь в превосходстве ваших военных познаний и буду полагаться на них. А во-вторых, у вас ведь одинаковые со мной цели.

Кирилл подвинулся к нему и тепло досказал:

— Вы меня простите, я никогда не заставлю страдать ваше самолюбие.

Дибич, вспыхнув, махнул рукой.

— Я заговорил не потому... Просто, чтобы раз навсегда... И чтобы к этому не возвращаться. Чтобы вы знали, что я ставлю на карту жизнь.

— На карту? — воскликнул Кирилл. — Зачем? Мы не игроки. Ваша жизнь нужна для славных дел.

— Я понимаю, понимаю! — отозвался Дибич с таким же порывом. — Я хотел, чтобы вы знали, что я во всем буду действовать только по убеждению, и никогда из самолюбия или еще почему... Так что если я с вами разойдусь в чем, то...

— Но зачем, зачем же расходиться? — сказал Кирилл, поднявшись и вплотную приближаясь к Дибичу. — Давайте идти в ногу.

— Давайте, — повторил за ним Дибич, — давайте в ногу.

Они улыбались, чувствуя новый приток расположения друг к другу и радуясь ему, как всякому вновь открытому хорошему чувству.

— Я вот еще что придумал, — сказал Кирилл. — Ежели какая непредвиденная задержка в наших сборах, то вы отправляетесь с эшелонном, а я доделываю здесь необходимое и нагоняю роту в Вольске, на автомобиле.

— Откуда же автомобиль?

— А это я тоже беру на себя.

— Ну, я вижу, с таким снабженцем, как вы, не пропадешь! — засмеялся Дибич.

Уже когда он уходил, Извеков задержал его на минуту.

— Я хотел спросить, что это за человек — Зубинский, вы не знаете? Военком дает нам его для связи.

— Бывший полковой адъютант. Форсун. Но исполнительный, по крайней мере — в тылу.

— Ты, говорит военком, будешь за ним, как за каменной стеной.

— Ну, если уж прятаться за каменную стену... — развел руками Дибич.

— Так как же, брат?

— Людей нет. По-моему — надо взять.

С этого момента начались стремительные сборы в поход. Это были ночи без сна и день, казавшийся ночью, как сон — когда спешишь с нарастающей боязнью опоздать, и все собираешь, собираешь вещи, а вещей, которые надо собрать, остается все больше и больше, словно делаешь задачу по вычитанию, а уменьшаемое растет и растет.

Зубинский носился по улицам на отличном вороном жеребце, в английском, палевой кожи, седле. Он был прирожденным адъютантом, любил выслушивать приказания, выполнял их точно и с упоением, доходившим до жестокости. Он покрикивал на всех, на кого мог крикнуть, сажал под арест, кого мог посадить, действовал именем старших с необычайной легкостью, как будто все, у кого он был под началом, в действительности ему подчинялись или состояли у него в закадычных приятелях. Перехваченный щегольской портупеей, в широком, как подпруга, поясе, со скрипучей кобурой маузера на бедре, он был подстать своему жеребцу. Не зная ни секунды передышки от трудов, он не уставал хлестать свою будто нарисованную внешность: разговаривая, он чистил ногти; на полном скаку лошади — сдергивал фуражку и поправлял на помаженный пробор; расписываясь в бумагах, проверял свободной рукой пуговицы френча и пряжки своей гладко пригнанной сбруи. И походя он все чистился, отряхивался, одергивался, точно перед строем.

— Да, молодой человек, — внушал он каптенармусу, который был, но, меньшей мере, старше его в полтора раза, — если цейхгауз не отгрузит мне пятьдесят подсумков к тринадцати часам ноль ноль, то вы через ноль ноль минут сядете за решетку на сорок восемь часов ноль ноль! Это так же точно, как то, что мы живем при советской власти.

Свои угрозы он с удовольствием приводил в действие, его с этой стороны знали, и он достигал успехов. Полезность такого человека в определенных обстоятельствах была очевидна.

В канун выступления роты Извеков решил навестить мать, чтобы проститься. Он велел ехать по улице, где жили Парабукины. Он думал только взглянуть на ту дорогу, которой недавно прошел под руку с Аночкой.

Машина гнала перед собой белый свет, засекая в воздухе неровную волну дорожных выбоин, и полнолуно озаряла палисадники. Деревья словно менялись наскоро местами. Кирилл не узнавал, но угадывал очертанья кварталов. Вдруг он тронул за локоть шофера и сказал — «стоп».

Один миг он будто колебался, потом распахнул дверцу и выпрыгнул на тротуар.

— Подождите, я сейчас.

После блеска фар на дворе показалось непроницаемо темно, так же темно, как было, когда он вошел сюда с Аночкой, и так же скоро, как с нею, он различил в глубине освещенное окно. Прежде чем подойти к нему, он подумал, что это нехорошо, что этого нельзя делать, но не мог перебороть желания с точностью повторить недавно пережитые минуты. Он медленно приблизился к стеклу и заглянул через короткую занавеску.

Аночка была одна, и маленькая комната почудилась Кириллу обширнее той, которую отчетливо запечатлела его память.

Аночка стояла у кровати. В слабом мигании лампы бледность ее лица то притухала, то странно усиливалась, как будто кровь все время живо бросалась к ее щекам и тотчас снова отливала. Губы ее дрожали. Она что-то шептала. Худоба высокой ее шеи стала очень заметной, и какое-то болевое напряжение, как у певца, который берет едва доступную ему верхнюю ноту, крылось в темной жилке, проступившей у нее от ключицы кверху. Казалось, вот-вот вырвется у Аночки еле удерживаемый крик.

Она и правда вдруг закричала. Руки ее вскинулись, и — словно кто-то безжалостно потащил ее за эти вытянутые в надежде тонкие руки — она ринулась через всю комнату и с разбега упала на колени.

Она упала на колени перед накрытым плетеной скатертью круглым столиком, на котором высилась швейная машина в деревянном колпаке. Она протянула к этому колпаку руки, скрестив их в мольбе, и начала мучительно выталкивать из себя перегонявшие друг друга беспамятные восклицанья. Она явно потеряла рассудок, и видеть ее отчаяние было невыносимо.

Кирилл с силой ухватил жиденькую раму окна, готовый вырвать ее и влететь в комнату. Но странное движение Аночки остановило его: она обернула лицо к окну, неспеша всмоглась в пустоту комнаты, спокойно поправила прическу жестом, похожим на мальчишеский — запустив пальцы в свои короткие волосы, — и опять повернулась к столу.

Почти сейчас же она зажала лицо ладонями, потом снова простерла руки, до непонятности быстро поднялась и пошла к окну скованным шагом разбитого несчастьем человека. Страдание придавило ее жалкие девичьи плечи, оцепенение ужаса глядело из немигавших глаз. Никогда Кирилл не мог бы вообразить, что у Аночки такие огромные страшные глаза.

Она все шла, точно эта убогая комната была бесконечной, все тянулась к окну трепещущими бессильными пальцами. Он сделал шаг в сторону от света. Он увидел, как шевельнулась занавеска: Аночка

тронула ее кончиками пальцев. Он расслышал стон: «Останься! Останься! Куда ты! Батюшка! Матушка! В эту страшную минуту он нас покидает»...

Кирилл крепко провел ладонью по лбу.

«Бог ты мой! — вздохнул он освобожденно. — Ведь она играет! Играет, наверно, свою Луизу!»

Он не мог удержать неожиданный смех и громко постучал в дверь.

Тотчас послышался голос:

— Это ты, Павлик?

— Это я, я, — крикнул он.

Она впустила его молча. Он смотрел на ее изумление, вызвавшее краску к ее щекам, и вдруг всем телом почувствовал счастье, что его приход поднял в ней смятение.

— Какой вы хороший, что пришли, — словно укрепила она его в этом ощущении.

— Я должен был притти.

— Когда я получила вашу записку, я поняла, что вы не придете. Отчего вы такой веселый?

— Веселый? — спросил Кирилл.

Он как вошел смеясь, так с губ его все не исчезала улыбка.

— Ну, скажем, потому, что я не хочу повторять мину, с какой обычно приходят прощаться. Перед расставаньем.

— Прощаться? — сказала она с тревогой.

— Да вы не пугайтесь. Ничего особенного. Я должен поехать по одному делу.

— На фронт?

— Нет. Так. На небольшую операцию.

— Против этого самого Миронова, что ли?

Он ничего не ответил от неожиданности.

— Что же вы за друг, если у вас от меня тайны?

— Почему — тайны?

— Если вы верите в меня, не надо скрывать...

Она сказала это с детским укором, ему стало неловко, он отошел от нее, но сразу вернулся и взял ее руку выше локтя. Тогда отошла она и села у того столика, накрытого плетеной скатертью, перед которым Кирилл видел ее на коленях.

— Значит, так и не посмотрите нашу репетицию, — с грустью выговорила она.

— Я видел... как вы репетируете...

Она тяжело подняла брови.

— Только что, — договорил он, опять улыбаясь.

— Вы шутите.

— Нисколько. Хотите, повторю вашу реплику?

Он попробовал, довольно неудачно, изобразить ее стон: «Останься! Останься! Куда ты?..»

Она мгновенно закрыла глаза руками и вскрикнула:

— Вы подсматривали в окно!

Он испугался ее крика и стоял неподвижно. Она нагнула голову к столу.

— Как вы могли! — пробормотала она в свои согнутые локти.

— Честное слово, я только на минутку заглянул, — сказал он растерянно.

Она распрямилась, опять своим спокойным, но словно мальчишеским жестом поправила волосы.



— Ну, хорошо. Если уж видели репетицию, то приходите на спектакль. Вы ведь вернетесь к спектаклю? Куда вы все-таки уезжаете? Я угадала, да? Кем вы туда едете?

Сам не зная — зачем, он сказал:

— Я буду председателем ревкома. Слышали, что это такое?

Она всмотрелась в него изучающим взглядом чуть сощуренных глаз и спросила:

— Вы больше всего любите власть?

— Смертный грех властолюбия, да? — насмешливо сказал Кирилл.

— Нет, это не грех, если... на пользу человечеству.

— Так вот наша власть на пользу человечеству. Согласны вы с этим?

— Да.

— Значит, можно любить власть?

— Разумеется. Я спросила не об этом... вы не поняли. Я спросила — вы любите власть больше всего?

Он глядел на нее сначала строго, затем черты его, будто в накаляющемся луче света, смягчились и приобрели несвойственную им наивность. Не догадка ума, а волнение сердца подсказало ему, что Аночке совсем не важно в этот миг существо разговора и что только еле угадываемые оттенки слов доходили до ее внутреннего слуха.

— Нет, — проговорил он, уже всецело отдаваясь своему волнению, — я вас понял.

Она резко отвернулась, потом еще быстрее обратила к нему удивительно легкое лицо — свободное от недоумений, и он, подойдя, просто и сильно замкнул ее в свои руки, как в подкову. Короткий момент они оба пробыли без движения. Затем она с настойчивостью отстранила его, и он, как будто издали, услышал повторяющиеся упрямые слова:

— Когда вернетесь... когда вернетесь... не сейчас...

Он увидел ее первую улыбку в эту встречу — ее обычную, немного озорную, но вдруг словно и печальную улыбку.

— Я могла бы, и правда, повторить, что вы слышали через окошко: «Останься! Останься!..»

Она сама приблизилась к нему, в его неопущенные руки, и он услышал жаркое, незнакомо пахучее ее лицо.

Она проводила его, спустя недолго, до ворот. Шофер включил мотор, который забил всполох в беззвучии вечера. Взрыв этого шума полон был предупреждающего, грозного беспокойства. Аночка сказала Кириллу, мягко касаясь губами его уха:

— Я жду непременно на первый спектакль.

Он ответил неожиданным вопросом:

— А почему Цветухин выбрал эту пьесу?

— Как — почему? Это же поймет каждый человек — как люди страдали от насилий знати!

— Ах, да! — шутливо спохватился он, но сразу, точно учитель, поощряющий ученика, одобрил серьезно: — Совершенно верно, поймет каждый человек.

Он сжал на прощанье ее пальцы.

В машине он не мог отделаться от назойливой мысли: вот он уезжает в то время, как Аночка остается с Цветухиным. Опять возникло в нем раздражение против этого человека, и опять он убеждал себя, что нет оснований раздражаться. Самое тягостное заключалось в том, что жизнь повторяла один раз испытанное положение, в котором преимущество снова было на стороне все того же Цветухина. Тот оставался,

Кирилл должен был уезжать, когда ему ужасно хотелось жить, ужасно хотелось — потому что душу его осветила торжествующая ясность: он любит и любим! Неужели и правда пустозвону Цветухину суждено омрачать Кирилла в самые счастливые мгновенья жизни?

— Да никогда! Да ни за что!

— Что вы говорите? — спросил шофер.

— Давно работаете за рулем, говорю я, а?

— А что? Разве недовольны, как веду?

— Нет, ничего... Мотор знаете хорошо?

— Не могу похвалиться, чтобы очень. Справляюсь.

— Так, так...

Дома Кирилл не застал Веры Никандровны — она отлучилась на какое-то собрание и скоро должна была вернуться.

Кирилл решил приготовить к отъезду. Он долго искал чемодан и наконец обнаружил его под кроватью матери. Он принялся вынимать из него вещи сначала поспешно, потом все медленнее, пока вовсе не остановился на предметах, которые увели его воображение далеко в прошлое.

Сложенный любовно чертеж речного парсхода, в продольном и поперечном разрезах, белыми линиями по выгоревшему, некогда синему фону; портрет Пржевальского и портрет Льва Толстого, два таких разных и таких схожих мудреца, изведывающих своими взорами землю и человека, — эти трогательные бумажные листы заставили Кирилла переселиться в жилище своей юности. Он вспомнил, как мальчиком строил корабли и суденышки фантазий и плавал в неизвестные земли будущего. Вспомнил, как потом попробовал найти к этим землям дорогу в действительности и как пересекли ему поиски на первых шагах. Вспомнил домашний обыск, жандарма, который сорвал со стены и швырнул на пол Пржевальского: верхние уголки портрета были надорваны с тех пор, и Кирилл неторопливо расправил их ногтем. Он вспомнил, что этот вечер ареста был вечером последнего свидания с Лизой. И хотя он знал, что весь путь с того вечера и всю дорогу от фантазий к действительности он прошел в твердом согласии со своими желаниями и не хотел бы пройти иначе, ему стало больно, что он так много и так часто в жизни оставался один на один с собой.

На дне чемодана он нашел полотняный конверт с фотографиями. Здесь были спрятаны старые снимки. Он увидел себя крошечного — не старше, чем полуторалетнего — в длинном платьице с кружевным воротником. Это было едва ли не первым живым воспоминанием Кирилла — как он очутился у чернобородого дяденьки, который сперва дал ему лошадку с мочальным хвостом, сказал «ку-ку» и спрятался под черным одеялом, а потом вылез из-под одеяла и отнял лошадку, и он изо всей мочи кричал, ни за что не соглашаясь с ней расстаться. На карточке он сидел, крепко вцепившись в эту лошадку, и лицо его было смешно-сердито.

Вдруг Кирилл услышал шаги на лестнице. Он быстро вышел в другую комнату. Только тут, остановившись и прислушиваясь, он заметил, что дышит часто и громко.

Он справился с собой и вернулся в комнату, где разбирает чемодан.

Вера Никандровна стояла неподвижно около вороха выложенных на стол вещей. Он подошел к ней, молча обнял ее. Они долго не говорили, остановив глаза на этой беспорядочной куче предметов, которые будто участвовали в их бессловесной беседе. Потом Кирилл поцеловал мать в холодный и немного влажный висок.

— Что же ты не говоришь — когда? — спросила она, с трудом произнося непослушные слова.

— Сегодня ночью. Времени еще не знаю.

Она отвела его в сторону, к окну, и, внезапно потеряв голос, шёпотом сказала:

— Ну, посиди... посиди со мной...

Было очень тихо, и ясно слышался со стола запах лежалых вещей и тепло большой ровно горевшей лампы. Ее отсветы кое-где на мебели казались тоже теплыми и наделали всю комнату спокойной прелестью обжитого дома.

Так мать и сын просидели в безмолвии несколько минут. Потом Вера Никандровна помогла Кириллу собраться в дорогу, и они вместе вышли на улицу. Уже прощаясь, Вера Никандровна призналась, что все время ждала этой минуты, и все-таки застигнута ею врасплох. Кирилл и без такого признания видел, что это так, и спешил скорее уехать, чтобы излишне не испытывать самообладание матери. Она смотрела вслед убегавшим по дороге огням автомобиля и, когда они исчезли, долго еще стояла, не шелохнувшись, в полной темноте.

На рассвете Извеков провожал свою роту. Она отправлялась эшелонном во главе с Дибичем. Кирилл должен был выехать в течение дня, как условились, на автомобиле и присоединиться к роте в Вольске. Ему предстояло забрать с собой медикаменты, бинокли, запас револьверных патронов — то, что не успели получить за слишком короткое время сборов. С ним отправлялись Зубинский и один доброволец-большевик, которого Кирилл прочил себе в помощники.

Совсем незадолго до выезда Зубинский отрапортовал, что все готово, но автомобиль капризничает, и ехать на неопределенно долгий срок с малоопытным шофером рискованно.

— Бенц в неумелых руках — дело опасное. Что если сядем на полдороге?

— Какой же выход? — спросил Кирилл.

— Если вы похлопочете, вам наверно не откажут дать шофера-механика.

— Есть такой?

— Есть. Механик вашего же гаража Шубников. И водитель великолепный. Спортсмен.

Кирилл выдержал долгую паузу, прежде чем что-нибудь сказать. Вечерний разговор с шофером сейчас же пришел на память: ехать с человеком, который сам говорит, что не может похвастать знанием мотора, ехать не на прогулку, а в поход, было бы по меньшей мере глупостью. Но имя Шубникова вызвало в Кирилле протестующую неприязнь. Он пристально взгляделся в Зубинского. Тот стоял на вытяжку, ожидая приказания, и глаза его высекали преданную решимость служаки.

— Хорошо, я сейчас позвоню, — сказал Кирилл, и добавил про себя: — «Чёрт с ним, если это необходимо!»

Через полчаса машинистке был продиктован приказ об откомандировании Виктора Семеновича Шубникова в личное распоряжение товарища Извекова в качестве шофера-механика.

В биографии Шубникова, как она сложилась после его женитьбы на Лизе, отыщется немало драгоценных подробностей. Мерцалов, например, считал его фигурой, достойной отражения в хронике русских нравов на рубеже революции. А среди газетчиков помельче Мерцалов слыл за че-

ловека, у которого есть что прибавить к подобного рода описательным сочинениям, все еще недостающим нашей литературе. Однако даже краткое изложение жизни Шубникова составило бы особую главу. Здесь достаточно привести две-три черты деятельности одного из представителей теперь вымершего или переродившегося типа не слишком крупных, но полных беспокойства дельцов, к каким принадлежал Виктор Семенович.

Он был из самых ранних автомобилистов в городе. Машиной, по виду близкой к фаэтону, он пугал лошадей и приводил в шумный восторг мальчишек. Бездельники на всю улицу подражали пронзительному рожку с черной каучуковой грушей, приделанному снаружи кузова вместе с рычагами тормоза и скоростей, которые напоминали механизм железнодорожной стрелки. Когда появились более удобные автомобили, Шубников приобрел новый, а старый пустил в прокат.

Рядом с биржей лихачей на дутых шинах, у подножия памятника «царю-освободителю», прокатный самоход часами ожидал любителей острых ощущений. Извозчики, не предчувствуя судьбы, ожидавшей их сословие в жестокий век двигателя внутреннего сгорания, смеялись над картонкой с обозначением таксы, которую шофер вывешивал на автомобиле. Они держались кучкой в той стороне, где высился бронзовый крестьянин-сеятель, предназначенный иллюстрировать царское обращение манифеста: «осени себя крестным знамением, православный русский народ...» Шофер, со своей таксой, стоял в надменном одиночестве по другую сторону памятника, близ Фемиды. Она символизировала в данном случае не столько правосудие, сколько бесстрашие истории, и не желала смотреть из-под своей повязки на конкуренцию двух эпох. Победителями вышли извозчики. Витенька Шубников, со свойственным ему нетерпением, очевидно, переоценил завоевательную способность неразвитой техники. Любители обгонять трамвай по асфальтовой мостовой остались верны лихачам, и прокат такси прогорел.

Войну Шубников отбывал дома. Призывная комиссия выдала ему белый билет ввиду эпилепсии. Припадки с ним на самом деле бывали, но только из озорства и лишь в той мере, в какой он считал нужным помучить ими Лизу либо разжалобить тетушку Дарью Антоновну. Он хороводил с военными чиновниками и врачами в кабинетах зимнего сада Очкина и дружил с интендантами.

На второй год войны Дарья Антоновна скончалась, и ее богатство нераздельно перешло к Витеньке. Это очень ослабило на нем поясок — не на кого стало оглядываться. Он все больше погуливал с барыньками и уже совсем не давал покоя Лизе наигранной ревностью. Впрочем, как случается с избалованными, себялюбивыми существами, он и правда мог ревновать Лизу к чему угодно, даже до настоящего страдания, до плача с истериками.

Наконец Лиза ушла от него. Он сразу кинулся под сень закона, стал гулять с консисторскими писарями, с адвокатами, и дело совсем было наладилось — он уже ожидал привода жены с сыном и возмещения урона мужниной чести. Но пришел Февраль, дело замялось, потом — Октябрь, и все расходы на восстановление домостроя пошли прахом.

Надо сказать, после смерти тетушки Витенька не только гулял и занимался семейными страданиями. Наоборот, предприимчивая натура ощутила острый вкус к размаху. Он привез из Москвы великолепного «мерседес-бенца», повергшего в конфуз богачей-мукомолов, не говоря о всяческих властях, ездивших если не на лошадках, то на машинах глубокой довоенной давности. Потом он отстроил конюшню, продал иноходца и купил пару рысаков-фаворитов, один из которых тут же взял

первый приз на бегах. Затем он продал коллекции почтовых марок, медалей, монет, продал яхту и купил сильную моторную лодку. На Зеленом острове, во время пикника, он договорился войти в компанию, которая собиралась строить сарпинковую фабрику. С серьезным лицом он заседал на учредительских собраниях будущего акционерного общества.

Но вдруг, под веселую руку, он поспорил с каким-то загульным фельетонистом московского «Раннего утра», что берется основать копечную газету, которая через два месяца забудет в губернии всех конкурентов. Взявшись за это заманчивое дело, он ушел в него с головой.

Он набрал живописный штат репортеров с красными носами, удивительно знавших мрачный и темпераментный быт гор, барачников, пристаней, базаров, ночлежек. Фельетонист, рассчитав, что ему выгоднее проиграть пари, чем выиграть, подрядился писать для газеты сыщицкий роман приключений. Легендарный орехово-зубовский атаман-разбойник Василий Чуркин стал в газете чем-то вроде героя на жаловании. О нем собирались песни, анекдоты, ему посвящено было научнообразное описание вариантов народных драм и представлений театра-петрушки, воспевующих чуркинскую славу.

Сам Витенька литературных склонностей в себе не замечал. Он не собирался также хвастать своей образованностью. Ему ничего не стоило спутать Фермопилы с Филиппинами, и он это помнил. Но он давал газетке направление, названное им «мимополитическим», и у него был свой девиз: «народ любит скандал». Поэтому все поножовщины, банкроты, пожары, громкие бракоразводы, схождения трамваев с рельс ярко освещались уверенными перьями. Театр для газетки почти не существовал, но личная жизнь артисток считалась негаснувшей злобой хроники. Успех цирковых борцов или кинофильмов, которые именовались «лентами», быстро подпал под зависимость от витенькиного издания. Дешевое для читателей, оно скоро стало дорогим для всех, кто жил процентами с человеческого любопытства.

Гонорар своему штату Витенька нередко выплачивал водочкой в «Приволжском вокзале». Речной трактир настолько пробуждал поэтическое чувство, что лучше всего именно здесь придумывались похождения провинциальных шерлок-холмсов на потребу подписчикам, и фантазия издателя участвовала в общем деле наравне с тружениками изящной литературы. Даже менее заносчивый характер, нежели Шубников, убедился бы на этом сочинительстве, что воистину горшки обжигают не боги. Витенька же спяна так воспарил, что уверял, будто не пишет романов и стихов единственно за отсутствием свободного времени, и когда кто-то попробовал восстать в защиту Аполлона, он блеснул единственным своим произведением лирического жанра, подписав его псевдонимом У б и к о н. Стишок начинался так:

Отрываясь от земли,  
Несется дух и ввысь взлетает,  
Оставив страсти позади,  
В эфире легком он ныряет.

Вскоре, однако, Шубников остыл к печатному слову и во-время продал газетку, отчасти по бездоходности (перед революцией меньше стали помещать рекламы), отчасти в неясном предчувствии лозунга, который впоследствии поверг на землю нырявших в эфире легком газетчиков-спортсменов. Лозунг гласил: «Вся власть Советам!»

С приходом этой власти капитал Шубникова подлежал полностью отчуждению в пользу государства. Шаг за шагом Витеньку лишили текущих счетов в банках, магазинов, рысаков, домовладения и «мерседес-

бенца». Бенца он жалел больше всего. Он было всплакнул, когда явились увозить машину из гаража, но тут обнаружилось, что неопытный шофер не может завести мотора, и бывший хозяин, в припадке негодующего презрения, сам кинулся к автомобилю и ухарски доставил его к месту новой стоянки. Прощаясь со своим любимцем, он поцеловал его в ветровое стекло.

С этого часа он втайне следил за судьбой автомобиля, знал всех его многочисленных пользователей, и если встречал мчащимся по улице, словно окаменевал и долго глядел бенцу вслед. Он дружил с шоферами, давал советы, как содержать машину, и был убит горем, узнав однажды, что бенца помял грузовик. Его пригласили чинить поломки, и он проявил себя находчивым мастером. Примерно, в годовщину революции его приняли в гараж Совета, и он скоро успел прослыть незаменимым механиком.

С виду Шубников очень опростился. У него еще оставалось кое-что от туалетов шеголя, но он носил рабочий комбинезон, сменил усы колечком на усы кисточкой, любил класть на стол промасленные руки и говорить, что, мол, нам к труду не привыкать.

Меркурий Авдеевич дивился бывшему своему зятю — как он легко обрел подобающую условиям наружность. Пока Шубников надеялся, что Лиза вернется к нему, он забегал к сыну с игрушками, исподтишка настраивая мальчика против Лизы. После развода он пренебрег этой игрой, и в душе был рад, что встретил революцию необремененный узами семьи. Но к тестю он продолжал наведываться. Он чувствовал признательность за то, что, прощая Лизу в силу отеческой слабости, Мешков считал его более правым, чем свою дочь. И хотя Шубников не был единомышленником Меркурия Авдеевича, однако верил в него, как в безопасного собеседника, и только с ним говорил без оглядки. Они выступали друг перед другом в роли поучителей, но Мешков искал спасение в кротости, а Шубников не намеревался капитулировать перед действительностью, уверенный, что урок истории скоро кончится и люди будут поставлены на свои природные места.

— Вы, папаша, не дипломатичны, — говорил он, — не усваиваете каприза современной даты. Покуда они наверху, мы должны их одобрять. Обстоятельство преходящее. Пускай думают, что мы изумляемся ихней гениальности. А там увидим.

— Это, милый, за грехи наши наказание, — возражал Мешков. — Долготерпению господню настал конец. А ты говоришь — каприз даты! Что же, по-твоему, нынешней датой господь решил наказать, а завтрашней помилует? Нет, ты покайся, смирись, возложи крест на свои плечи, потрудишься в поте лица за один кус хлеба насущного. Тогда всемиростивец, может, и сжалится.

— Потрудиться — не новость. Вы вот всю жизнь трудились, а толку что? Труд это есть средство самозащиты, папаша. В самом труде, если вы хотите знать научную точку зрения, ума нет, в нем только печальная необходимость. Из нее никакой премудрости не выкроишь.

— Хочешь и х перехитрить? Они, милый, хитрее, чем нам первоначально показалось.

— Чем они, папаша, хитрее? Не замечаю.

— Тем, что из-под тебя твою телегу выдернули, да тебя же в нее впрягли, и ты их возишь.

— Я их вожу до поры до времени.

— Это они тебя в хомуте держат до поры до времени, покуда ты с ног не сбился.

Перепалки эти иногда доходили до решительных размолвок, но Шубников снова являлся к тестю и опять подбивал на споры.

Перед удалением в скитскую жизнь Меркурий Авдеевич еще раз излил себя Виктору Семеновичу и окончательно убедился, что новый зять — Анатолий Михайлович — много достойнее старого. Ознобишин, вместе с Мешковым, объяснял происходящее гневом Божиим, а Шубников говорил, что мол дело отца небесного — вносить в нашу жизнь неустройство, а наше дело — заботиться о своей судьбе, насколько хватит смекалки.

— Никогда я, папаша, не поверю, что вам нравится господне наказание. А если не нравится, и вы недовольны — какое же возможно примирение? Это все лицемерие.

— Ты, Виктор, хулитель, — сказал Мешков на прощанье. — И я теперь рад, что Лизавета отняла у тебя сына. Иначе ты развратил бы отрока безбожием. Смотри, береги свою голову.

— Уж если не уберегу, то отдам недешевой ценой.

— А цену кто получит? Тебя-то ведь не будет?

— Посмотрим, кто будет...

Назначение ехать за шофера в Хвалынский грянуло на Виктора Семеновича громом из ясного неба. Едва он узнал, чем вызвана поездка, как на бенце отказались работать аккумуляторы. Бенца он обожал, но не настолько, чтобы ради его сохранности подавлять мионовский мятеж.

В Саратове Шубникова слишком хорошо знали, и за пределами города ему угрожало гораздо меньше превратностей. Но это — в равных, так сказать, в мирных условиях. В сопоставлении же тыла и фронта дело круто менялось. В Саратове, на самый худой случай, могли припомнить Витеньке его капиталы, или его газетку, или его купеческие грешки, а шальные пули на фронте относились к биографиям безразлично в гражданскую или какую иную войну.

Зубинский — приятель Шубникова по ночным похождениям с интендантами — держался иного мнения о фронтовых перспективах.

— Ты не блажи, — ответил он Виктору Семеновичу на его перепуг. — Умные люди давно гасят свечи, прячут огарки по карманам. Игра перестает окупаться. Если белые нагрянут в Саратов — разговор короткий: на советской службе был? И готово. Культурному человеку еще хуже: вы, скажут, понимали, что делали. А на фронте в критическую минуту — тут тебе и поле, и лес, и хуторок какой, и своя линия, и неприятельская. Большой выбор.

— На линиях не в подкидные дураки перекидываются. Там стреляют.

— А тебе что? Не будь и ты дураком. Стреляй... на своем «мерседес-бенце», — ухмыльнулся Зубинский и, сняв с обшлага пушинку, кончил начальнически: — короче говоря, машина должна быть в безукоризненном состоянии!

Виктор Семенович понял, что попал, как мышь в таз, и нельзя ждать, чтобы кто-нибудь пособил выкарабкаться. Наоборот, под горячую руку начальство не посчитается ни с чем. Поэтому бенца Виктор Семенович подал точно к назначенному часу, с усердием помогал увязывать багаж, а когда появился Извеков, козырнул ему, ничуть не уступая в изяществе Зубинскому.

Кирилл обошел автомобиль кругом.

— Все исправно?

— Горючего полный бак и бидон. Запасных два ската. Слабое место — мотор. Изношенность порядочная. Но, как говорится, господь не выдаст...

У Виктора Семеновича выработалась за последний год блаженная улыбочка, выражавшая нечто среднее между простодушием рубахи-парня и умилением льстеца.

Кирилл взглянул на него пристально:

— Мы будем требовать с вас, а не с господ.

— Понятно. Я ведь только ради поговорки...

Зубинский предложил Извекову переднее место, но он сел позади, рядом с добровольцем. Посмотрев на чаёв, он приказал ехать.

В пути на машине есть время многое заново понять, охватить успокоенным взором происходящее. Толчок к размышлениям дают прежде всего пространства.

За Саратовом они то унылы, то даже грозны своим однообразием. Едва миновали небогатые пригородные роши насаждений — возрастом немногим больше полутора десятка лет, — как потянулись лысые холмы, разделенные оврагами, с нищими купами тополей и вётел около разбросанных на вёрсты и вёрсты селений. Надо было бы обсадить дороги березой, раскинуть по низинам темные дубовые леса вперемежку с мохнатой сосной — прикрыть охровую наготу земель питательной тенью бора. Как вольно вздохнули бы нивы, если бы извечные степные ветра вместо жгучей суши принесли бы на пашню и рассеяли боровые туманы! Как сверкнули бы поднявшиеся в буераках зеркала родников, как заиграли бы на заре росы, какой звон подняли бы речки! Это была мечта безвлажных пространств, расстилавшихся перед Кириллом. С детских лет он разделял тоску своего края, грезил о дубравах на этом нескончаемом плато. Теперь, припоминая из детства, какими он себе рисовал будущие леса, Кирилл удивился. Фантазия уносила его тогда в парки причудливых тропических растений, словно приподнятых над землей и оберегающих ее пышно-соединенными кронами аллей. Эти странные парки возникали в воображении скачком — оно отталкивалось от голых степей и попадало прямо в кружевное плетение лиан. Мечтагеля не занимали переходы. Вдруг степи покрывались парками. Как парки сделались — неинтересно. Фантазия наслаждается спелым плодом, не заботясь — кто насадил и вырастил его Сорви и вкушай, плод сладок и душист, хотя бы плод далекого будущего, а печальные глины, поросшие полынью, отвращают от себя неискушенную мысль. Сейчас Кириллу казались удивительными похожие на каменноугольную флору тропические декорации, увлекавшие детский ум. Он занят был тем, что в детстве не существовало для воображения. Он думал о переходах — о том, что надо сделать для обогащения степей. Как напоить их? Какие деревья насадить по оврагам, какие на холмах? Где та порода, которая устоит от суховея? Сколько ветряков, сколько водочерпалок соорудить в уезде, чтобы он из степного стал лесным? Как объединить деревни, села и повести их к преобразению земли? Довольно ли десяти тысяч людей, чтобы создать уход за десятью миллионами деревьев? Много ли это, мало ли — десять миллионов? Через какое время лес перестанет требовать у человека влаги и сам станет ее источником? Нет, это была не мечта о переустройстве края, и может быть это нельзя назвать даже думами, а только — решением задачи, расчетом, черновым вычислением. Мечта устройства будущего становилась делом устройства, мечтатель становился деятелем. И все-таки, все-таки! — вдруг мелькали в уме Кирилла разросшиеся дубравы, и где-то очень, очень далеко за синевой лесов, на один миг, приподнимались над землей гигантские тропические парки детства.

А дорога извивалась вправо и влево, змеилась вверх и вниз, не боясь наскучить, не заботясь о какой-нибудь пище для мечтаний. И то жел-



тые глинистые, то бледные меловые круглоголовые холмы чудились пузырями, вспухшими на чреве земли от солнечного обжога. Поля уже повсюду убрали, и только кое-где поблизости деревень кучились бесцветные скирды.

Зубинский медленно обернулся, неуверенный — можно ли нарушить чересчур долгое молчание.

— Я хотел спросить, товарищ Извеков, как прикажете мне именоваться?

Кирилл, словно пожалев, что мешают его мыслям, не отзывался, разглядывая длинное и будто изогнувшееся в повороте лицо Зубинского. Что это был за человек? Что побудило его идти одним путем с Извековым? Кто соединил их на этом пути — общие противники или общие друзья?

— Именуйтесь по имени-отчеству, — ответил, наконец, Кирилл и усмехнулся.

— Я понимаю! — громко засмеялся Зубинский. — Но в смысле служебного положения?

— А как вы себе представляете свое служебное положение, в чем будут ваши обязанности?

— Я понимаю так, — сказал убежденно Зубинский и повернулся удобнее, навалившись локтем на спинку сиденья, — я буду при вас исполнять обязанности строевого адъютанта. Буду писать релянции.

— Это что еще?

— Описание боя. Дневник военных действий. Вы, как командир...

— Я не командир...

— Я понимаю. Но, говоря прямо, как фактический командующий, будете отдавать общие приказания, командир будет вести бой, а я буду представлять вам релянции.

Кирилл долго смеялся, покачиваясь от толчков машины, потом остро посмотрел в глаза Зубинского, так что тот подобрал локоть, поерзал и сел прямее.

— Вы будете делать то, что я вам прикажу и что вам прикажет наш командир товарищ Дибич.

Зубинский проговорил как бы менее убежденно, но с достоинством:

— Разумеется, исполнять приказания мой долг... Но хотелось бы, чтобы вы очертили мне круг обязанностей, чтобы я знал. Строевой адъютант нес, например, в полку обязанности начальника команды связи: ординарцы, разведчики, телефонисты...

— Вот это я вам и дам, — быстро перебил Извеков и опять посмотрел в глаза Зубинского. — Кроме разведчиков...

Они снова надолго замолкли. Дорога укачивала и клонила в дрему, но не давала задремать, встряхивая на выбоинах. Шубников изредка ворчал, однако вел машину искусно Зубинский опять обернулся.

— Я все восхищаюсь, как вы быстро снарядили и отправили отряд, товарищ Извеков. Без сучка, без задоринки. Талант организатора. Редко другой такой найдется.

Извеков не ответил.

— Вам армией командовать, — продолжал Зубинский, — честное слово! В городе даже не могли понять: занимали такой пост, и вдруг вам дают роту...

— Обиделись за меня?

— Не то что обиделись, а не совсем понятно. Я считаю — не экономно. Крупные силы нужны в крупном деле. Смотрите, какие пошли успехи в международной революции. Вот где арена! А в нашем захолустье — это все возня с клопами.

— Интересная мысль, — сказал Извеков. — У вас, что же, своя стратегическая идея, да?

— Я думаю, — глубокомысленно произнес Зубинский, — я думаю, что правильно было бы сосредоточить все силы против украинской контрреволюции, ликвидировать ее и повернуть весь фронт на запад. Нас бы там подхватил гребень мировой волны.

— Интересно, — повторил Извеков. — А пока повернуться спиной к Деникину и Колчаку, чтобы они соединились и ударили нам в тыл с Волги. Так я понимаю?

— Конечно, мы кое-что потеряем, поворачиваясь спиной к востоку. Но то, что мы повернулись сейчас спиной к западу, станет нам гораздо дороже: упустим момент, он больше не вернется. Волна спадет.

— Да у вас целый план. Довольно распространенный, правда: славны бубны за горами!

Зубинский вскинулся возразить, но в этот момент автомобиль дал жестокий рывок и покатился на обочину, с визгом удерживаемый тормозами.

— Прокол! — воскликнул Шубников и с досадой распахнул свою дверцу.

Все начали выходить из машины.

Стояли высоко над рекой с ленивыми оползнями берегов и сумрачными шиханами, которые сонно сторожили округу. Солнце уже ложилось, тени возвышенностей придавали местности вид застывший и траурный. Безветрие было полным. Где-то горько посвистывал парящий кроншнеп.

Шубников взялся за смену резины, как заправский шофер — без раздумий и ладно. Извекову он понравился бережливостью движений. Зубинский тщательно оправлял и перетягивал на себе свои опояски. Доброволец, всю дорогу не вымолвивший ни слова, следил за ним недружелюбно.

Кирилл несколько раз вынул часы, прохаживаясь по береговому обрыву. Проехали уже больше половины пути, но остановка подрывала этот успех. Понемногу Кирилл начала раздражать возня Шубникова с колесом, расчетливость его работы стала казаться умышленной — он что-то слишком долго накачивал камеру.

— Давайте поживее, в очередь, — предложил Кирилл.

— Отчего же? — согласился Зубинский и принялся изящно расстегивать портупею.

Наблюдая его плавные жесты, Извеков чувствовал, как росла и тебила душу неприязнь к особе этого вышколенного франта.

— Так, значит, у вас нет охоты возиться с клопами? — спросил он Зубинского.

— Я говорил не про себя. Я — простой исполнитель, человек, так сказать, лишенный инициативы родом своей службы.

— Не скажите. Вам инициативы не занимать. Что это там вы задумали с выселением Дорогомилова из квартиры?

— А-а! Вам пожаловались? Но это дело мне подсказано самим военкомом. У нас недостает помещений для призывных пунктов. Я изъездил весь город. А ведь квартира Дорогомилова, собственно, городская, казенная квартира. И очень удобная.

— Для вас?

— Не для меня, а...

— А вы лично хорошо устроены?

— В отношении жилья? Отвратительно!

— И квартира Дорогомилова вам понравилась?

— Не понимаю, почему я, военный работник Красной Армии, должен ютиться где-то на горах, в тесовой лачуге...

— Когда Дорогомилов живет в удобной квартире, — досказал Кирилл.

— Я же не беру себе квартиру. Это сплетни. Я надеялся, военком разрешит призывному пункту выделить для меня комнату.

— И вы доложили военкому об этих планах?

Зубинский вздернул плечами. Он уже стоял в одной фуфайке, и вывернув снятый френч, опустил его на аккуратно сложенные при дороге свои ремни и маузер. Он пошел к автомобилю, взял из рук Шубникова насос, вытянул поршень, приостановился с растопыренными локтями, сказал:

— Вы, товарищ Извеков, мало меня знаете. Зубинский доводит дело до конпа, прежде чем докладывать. Какой толк, если я сейчас доложу, что шофер качает воздух? Будет готово — я отrapортую: товарищ комиссар, машина исправна, можно отправляться!

Он энергично навалился на поршень...

Проехали, после этой остановки, еще около часа, когда мотор вдруг стал давать перебой. Шубникову пришлось им заняться (не ладилось с зажиганием), и опять все вышли на дорогу.

Кудрявые палисады деревушки тянулись по сторонам большака. Народ высыпал посумерничать на улице, автомобиль скоро собрал вокруг себя любопытных ребятишек.

Зубинский скучая отошел к крестьянам, которые держались поодаль. Вернулся он к машине возбужденным, что-то даже для своих привычек слишком усиленно охорашиваясь.

— Слышно что новое? — спросил Извеков.

— Новости с бородой царя Гороха, товарищ комиссар. Медвежья берлога! Торговался, хотел достать молока. За деньги не дают — на соль меняют. Скорее бы Вольск!.. Как у тебя, Шубников?

Виктор Семенович попенял, что не было времени заняться мотором перед отъездом и надо теперь просматривать контакты.

— Жалко бенца, заперешь такой ездой.

Мотор, однако, заработал, и снова все расселись по местам. Никто не заговаривал. Дорога шла на восток, уже темный и остуженный. Чаше начали попадаться перелески, иногда массивные, глухие. Зажгли свет. Мир сразу сузился до обрубленной по сторонам яркобелой прорези, навстречу которой, медленно вырастая и мигом рушась в мрак, неслись придорожные столбы.

Вблизи города, на виду у станционных огней, мотор опять отказал. Шубников выругался. Ровная тьма опоясала машину, как только выключили фары. Зубинский карманным электрическим фонариком взялся светить Виктору Семеновичу, который, подняв капот, уткнулся в мотор.

Кирилл, подавляя злбу, шагал по обочине, то скрещивая руки на груди, то закладывая их за спину. Внезапно он остановился.

Сложенные над мотором лица Шубникова и Зубинского были освещены неподвижным лучом фонарика. Зубинский, опустив глаза, рассерженно что-то говорил Шубникову, отвечавшему кратко и недовольно. Мотором они явно не занимались. Необычайными показались Кириллу ноздри Зубинского — очень остро прочерченных, почти вывернутых над кончиком носа линий.

Кирилл окликнул добровольца, тихо сказал ему, чтобы он не отходил далеко, и подошел к Зубинскому.

— Пока мы тут возимся, надо узнать, известно ли на станции, где находится эшелон. Ступайте, справьтесь.

— Слушаю, товарищ комиссар.

— Дайте фонарик, я посвечу шоферу.

— А как же мне, товарищ комиссар, по незнакомой дороге?

— Ничего, приглядитесь. Станция видна.

Зубинский молча ушел.

Кирилл приблизился к мотору.

— Ну, что у вас, в конце концов, происходит?

— Ума не приложу! — с отчаянием вздохнул Шубников.

— А вы приложите, — сказал Кирилл.

— Свечи в полном порядке, а искра потерялась. Нет хуже изношенных моторов. Другой раз такой ребус загадают, дьявол их раскусит!

— Подержите-ка, — сказал Кирилл, передавая фонарик Шубникову, и нагнулся над магнетом.

— Магнетом в исправности! — быстро сказал Шубников и отвел свет в сторону.

— Светите ближе, — приказал Кирилл.

Он снял крышку прерывателя-распределителя.

— Да что смотреть, я уж смотрел! — воскликнул Шубников, тоже берясь за крышку.

Кирилл оттолкнул его руку, взял ключ и начал отвинчивать гайку прерывателя. Шубников погасил фонарик. В тот же момент он ощутил крепкую хватку на своих пальцах: доброволец, навалившись сзади, держал его за руку, вырывая фонарик. Свет снова вспыхнул. Кирилл спокойно отвинтил гайку и вскинул глазами на Шубникова: прерыватель отсутствовал.

Доброволец навел луч на Шубникова. Нижняя губа Виктора Семеновича прыгала, пошлепывая, будто он пытался что-то проговорить и не мог.

— Кто вынул прерыватель? — спросил Извеков.

— Что я... враг себе? — вдруг охрипнув, вымолвил Шубников.

— Себе не враг.

— Я сам ничего не понимаю, — сказал Шубников, откашливаясь и стараясь улыбнуться.

— Я понимаю отлично, — сказал Кирилл. — Револьвер есть?

— Нет.

Кирилл ощупал его карманы.

— Садитесь в машину... Нет, нет, не за руль! Садитесь назад!

Виктор Семенович послушался без пререканий. Пока он влезал и усаживался, свет фонарика следовал за ним, потом угас. По обе стороны автомобиля встали Извеков и его помощник.

Долго никто не проронил ни слова. Печальным вздохом скользнул над головами полет полуночника, и дважды разнесся его замогильный крик. Дружнее застрекотали кузнечики. С прохладным течением воздуха наплыл запах обожженного кирпича. Со станции прилетел тоскливый гудок паровоза. Ее огни стали ярче видны. Кирилл сказал неторопливо:

— Не подозревали, что я кое-что смыслю в моторе, да?

— Ну как не подозревать! — будто с облегчением откликнулся из машины Шубников (голос его уже окреп). — Я хорошо помню, что по образованию вы — техник.

— Вон как! На что же вы рассчитывали?

— Даю вам честное слово — ничего не понимаю!

— Значит, прерыватель вынут Зубинским? О чем вы с ним толковали, а?

— Да ничего не толковали. Ругал меня, что не могу найти причину неполадки. Я, говорит, тебя рекомендовал товарищу Извекову, а ты, говорит, выходишь идиотом.

Опять наступила тишина, и ночь как будто еще больше углубилась.

— Вот уж, правда, на полную безграмотность надо рассчитывать, чтобы вынуть прерыватель, — сказал Шубников.

Кирилл промолчал.

— Напрасно меня подозреваете, я репутацией своей дорожу, — укоризненно говорил Виктор Семенович. — Это вы просто так, лично против меня настроены, товарищ Извеков. Из личных соображений.

— Что еще за чушь?! — сказал Кирилл.

— Я тоже думал — чушь, пустяки. Все, мол, давно забыто. А получается не так.

— Что — не так?

— Получается — не можете простить, что Шубников вам тропинку перешел. А ведь когда было? — травой поросло. Видно, у вас сердце неотходчивое.

— Перестаньте плести.

— Я уж давно успел от того счастья отказаться, за которое мы с вами, по неопытности, тягались. Я ведь ушел от Елизаветы Меркурьевны, товарищ Извеков. Не за что на мне вымещать сердце. Может, я своим несчастьем с Елизаветой Меркурьевной вас от большого разочарованья избавил, — кто знает?

— Довольно! Молчать! — с лютой злобой крикнул Кирилл.

И все время безмолвный доброволец вдруг прогудел хмурым голосом, как спросонок:

— Закуси язык! Ты!

Прошло не меньше получаса, пока на дороге наметилась приближающаяся тень человека, который шел вымеренным маршевым шагом. На свету все резче проступал очерк френча раструбом от пояса и контур галифе, как два серпа рукоятками книзу.

Кирилл дал Зубинскому дойти почти до автомобиля и зажег фары. Зубинский сожмурился, поднял к глазам руку, сказал:

— Свои, свои, товарищ комиссар.

— Ну, что? — спросил Извеков.

— Поезд с эшелоном находится на последнем перегоне, прибьет минут через двадцать. А как с машиной?

— Благодарю вас, — сказал Кирилл. — Снимите ваше оружие.

— Как — снять?

— Дайте сюда оружие, говорят вам!

— Вы смеетесь, товарищ Извеков.

Зубинский шагнул вбок, выходя из полосы света. Кирилл достал из кармана револьвер.

— Снять маузер!

Зубинский своим изысканным жестом начал медленно отстегивать громоздкую кобуру. Слышно было, как поскрипывал пояс.

— Может быть, вы все-таки снизойдете объяснить мне, что произошло? — спросил он вызывающим, но несколько кокетливым тоном

Кирилл схватил маузер и вырвал его у Зубинского, едва кобура была отстегнута.

— Это вы мне объясните, что произошло. Когда я вас спрошу...

Арестованным приказали откатить автомобиль на обочину: машину приходилось бросить на какое-то время в темноте ночи. Затем попарно двинулись большаком — позади Извеков с добровольцем, который, насадив на деревянную кобуру маузер, держал оружие наизготове.

Еще оставалось далеко до станции, когда их перегнал грохочущий на стрелках поезд, и по числу вагонов Кирилл признал эшелон Дибича. Они застали роту в разгар выгрузки.

Дибич так обрадовался Извекову, словно расстался с ним бог весть когда, а не на рассвете минувшего дня, и — для обоих неожиданно — они обнялись.

— В роте полный порядок. А вы доехали хорошо?

— Обогнали собственную телегу.

— Поломка?

— Небольшая. Хотя натолкнулись на каменную стену. Помните? — с усмешкой сказал Кирилл.

— Каменную стену? — не понимая, переспросил Дибич, и вдруг раскрыл глаза: — Зубинский?!

— Да. Я вас прошу, пошлите пару коняжек из обоза — пусть подвезут бенца к вокзалу. Сдадим его пока станционной охране, что ли...

Кирилл рассказал о происшествии, добавив, что арестованных необходимо взять с собой до места назначения, и там разобрать дело.

— Наши первые потери в личном составе, — сказал Дибич, выслушав рассказ.

— Первые потери нашего противника, — поправил Кирилл.

— Успех разведки, — улыбнулся Дибич, глядя на Извекова с шутивным поощрением.

— Ошибка разведки, — тоже улыбнулся Кирилл, — к счастью, вовремя исправленная.

— Я вас подвел, не отговорив братья Зубинского.

— Я поторопился, — строго закончил Извеков. — Буду осмотрительнее. А сейчас давайте действовать: мы должны еще затемно быть на марше.

## 25

Оставалось меньше однодневного перехода до Хвалынского, когда ранним утром разведка Дибича обнаружила красноармейский разъезд и узнала от него, что близлежащее село Репьёвка захвачено какой-то бандой. Разъезд был выслан маленьким хвалынским отрядом, пришедшим для подавления мятежа.

Подобные мятежи случались нередко, разжигаемые реакционными партиями, которые опирались на деревенских богатеев и рассчитывали на поддержку контрреволюции крестьянством. Иногда это были разрозненные вспышки, не вышедшие за пределы волости или одного села. Иногда мятеж распространялся на уезды или даже целые губернии.

Так на средней Волге возникло ранней весной этого года обширное брожение в соседних уездах Симбирской и Самарской губерний, получившее известность под именем Чапанного восстания. (Чапаном зовется верхняя одежда волжских крестьян, в иных местах называемая аязом, армяком. Ходит шуточная побасенка: «Мы ехали?» — Ехали. «На мне чапан был?» — Был. «Я его сняла?» — Сняла. «На воз положила?» — Положила. «Да где ж он?» — Да чаво? «Да чапан». — Да какой? «Да-ть мы ехали?» — Ехали. «На мне чапан был?» — Был.. И так далее, как в сказке про белого бычка). За чапанами стояли партии правых и левых эсэров, выбросившие лозунг «освобождения Советов от засилия коммунистов» в целях мнимой защиты конституции РСФСР. Для большей мистификации чапанами раздавались знамена с провокационными надписями: «Да здравствуют большевики! Долой коммунистов!» Кроме того, восставшие кулаки оснастили свою агитацию призывами к защите православия. Чапаный комендант города Ставрополя

Долинин первое свое воззвание к крестьянскому населению начал словами: «Настало время, Православная Русь проснулась», — и закончил: «Откликнитесь и восстаньте, яко с нами бог». Имя бога комендант начертал по правилу новой орфографии, со строчной буквы (очевидно, во внимание к объявленной приверженности Советам), но борьба за всевышнего, за иконы и за всяческую святость составляла важное подспорье в действиях чапанов, и тот же Долинин предписывал в одном из объявлений: «Приказываю гражданам, что по приходе в присутствие головной убор должен быть снятым, так как это есть первый долг христианина». Чапанное восстание было подавлено местными силами через неделю после возникновения. Но отзвуки его еще долго таились в разбросанных деревенских углах лесного и степного Поволжья.

Богомольный разбой чапанов был частью российской Вандеи, так и не объединившейся в целое, несмотря на множество отчаянных попыток в годы гражданской войны — на Волге, на Украине, на черноземной Тамбовщине — обратить крестьянскую массу в стан контрреволюции. Мятежи случались грозные, затяжные, стоили большой крови. Но им не суждено было вылиться в решающие битвы. Участь будущего удерживалась в руках регулярной Красной Армии, сильнейшим противником которой оставались регулярные армии белых. Кулаческие восстания вспыхивали и разгорались, гасли и тлели в зависимости от событий на фронтах, и часто это были только крошечные угли, рассеянные бурей войны, зароненные в неведомую глушь деревень.

Едва разведка Дибича принесла донесение, что в Репьёвке находится противник, как была установлена связь с хвалынским отрядом, вышедшим на подавление мятежников. Во главе отряда стояли военком и член уездного исполнительного комитета, которым было известно о движении из Саратова сводной роты. Встреча командиров отряда и роты произошла на широком бугре, к югу от Репьёвки, откуда хорошо видна была вся местность.

Репьёвка находилась в низине, оцепленной с севера и юга отлогими холмами. Село густо затенялось садами, переходившими на западе в покрытую лесом материковую возвышенность. На востоке тянулись береговые кряжи, крутизна которых обрывалась к Волге. Низину пересекал большак. Спускаясь с южного и северного холмов, от большака отбегал проселок, терявшийся в садах, а потом, в виде главной улицы, деливший Репьёвку надвое. В центре села через бинокль виделась базарная площадь — с церковью под васильковыми куполами, с волостной избой, трактиром, школой, ссыпным амбаром.

Позиционное положение мятежников казалось крайне невыгодным в охваченной высотами ложбине. Единственное преимущество занятого ими села составляли сады и близость леса. О численности мятежников соседние деревенские обитатели говорили спорно: кто ценил число в полсотню, кто в сотню человек. О происхождении банды тоже нельзя было судить с точностью. Одни говорили, что это зеленые, то есть дезертиры, явившиеся из леса. Другие уверяли, что — мионовцы. Третьи божились, что — репёвские кулаки, отказавшиеся сдавать хлеб по государственной разверстке. Скорее, правы были все вместе, хотя сведений о мионовском мятеже не поступало, кроме слуха, принесенного хвалынцами, — что Мионов разбит на Суре и конники его разбегаются.

Было принято решение о совместных действиях роты и отряда под командой Дибича и о создании революционной военной тройки, в которую вошли Извеков и хвалынские военком и член исполнительного комитета. Дибич тотчас, в сопровождении верховых, поехал выбирать по-

зиции, а ревтройка приступила к решению очередных дел — сразу же, как обычно, возникла неизбежная очередь дел.

Первым в этой очереди Извеков доложил дело о саботаже шофера Шубникова и бывшего офицера Зубинского. Преступление было подсудно военному трибуналу. Правомочия такого суда в обстановке мятежа ложились на ревтройку, и она признала, что разбирательство не может быть отложено.

Эта высшая власть мгновенно зародившегося маленького фронта, в ряду десятков других фронтов, расположилась в крестьянской избе с оконцами на волнистые прибрежные горы, которые покоились в безветренном чистом полдне.

Когда в избу ввели Зубинского, воцарилась длительная тишина. Зубинский осунулся за время пешего перехода, но запыленный его костюм попрежнему казался недавно разглаженным и ловко облегал прямой корпус. На нем не было пояса и портупеи, и на фуражке не адела рубиновая звезда. Он глядел на Извекова, не мигая.

Кирилл сказал:

— Вы находитесь перед революционной военной тройкой, которая вас судит за совершенное вами преступление против советской власти. Назовите себя полностью по имени и расскажите о своем происхождении.

Зубинский выполнил требование без запинки. Кончив, он вздернул бровь и спросил с подчеркнутой субординацией:

— Разрешите узнать, какое преступление вы хотите мне вменить?

— Вы обвиняетесь в злостном саботаже. Желая нанести вред Красной Армии, вы умышленно вывели из строя принадлежащий сводной роте, в которой вы служили, автомобиль.

— Каким образом? — удивился Зубинский.

— Объясните суду, что вы сделали, чтобы причинить поломку машине.

— Я не могу объяснить то, чего не делал.

— Какую цель вы преследовали, тайком вынуд прерыватель из магнето?

— Я первый раз слышу, что существует какой-то прерыватель. Где он находится? Может быть, сидя с шофером, я задел что-нибудь ногой? Я ничего не понимаю в машинах. Я понимаю в лошадях.

— Вы отвечайте: зачем понадобилось испортить машину? — нетерпеливо спросил военком.

— Я не могу на это ответить, потому что это дико — портить машину! Я предпочитаю ездить, а не ходить.

Извеков проговорил настойчиво:

— Мы находимся на фронте. Вы — военный, и понимаете, что происходит. На войне мало времени для следствия. Отвечайте кратко. О чем вы шёпотом договорились с Шубниковым во время подстроенной остановки, когда он смотрел мотор?

— Я не хотел говорить громко, что он — болван. Я говорил, что ему не сдобровать, если он не найдет поломку. Мне стыдно перед вами, товарищ комиссар...

— Я вам не товарищ.

— Ну, я понимаю, в данный момент — граждане судьи, так? Я сказал Шубникову, что отвечаю за него перед товарищем Извековым. За свою рекомендацию.

— С какими намерениями вы рекомендовали Шубникова?



— Его считали классным механиком. Я думал — это так и есть. А потом, признаться, рассчитывал, что уж за своей собственной машиной Шубников ухаживать постарается. Чай, жалко!

Зубинский одернулся и чуть заметно повел уголком губ. Кирилл вскинул на него настороженный взгляд.

— Что значит — собственной машиной?

— Бенц был его собственностью. До революции.

— Почему вы это от меня утаили?

Оба других члена тройки, точно по сговору, повернули головы к Извекову. Он взял карандаш и завертел им, пристукивая по столу то одним, то другим концом.

— Я с седла не слезал двое суток, — ответил Зубинский. — Некогда было особенно размышлять. Рассчитывал, Шубников не подведет. А получилось...

— Что получилось? — пытливо спросил военком.

Новое обстоятельство вселило в Извекова смущение. Он все постукивал карандашом. То, что он взял Шубникова в поход, словно оборачивалось теперь против него самого. Он обязан был ближе узнать Шубникова, а не отмахиваться только потому, что этот человек был ему лично неприятен. Недоставало времени, это правда. Но спросить — какое отношение имеет Шубников к автомобилю, для этого не надо было времени. Теперь следствие усложнилось. Впрочем, не наоборот ли? Не упрощалось ли? Что должен вообще делать следователь? Искать решение задачи собственными умозаключениями? Подсказывать обвиняемым возможные выводы из дела? Что другое, а Кирилл не готовил себя к работе следователя. И вот он — следователь и одновременно судья. Прежде, как будто, эти функции строго разделялись. Может быть, только по видимости? Судья ведь тоже ведет следствие, которое является окончательным, решающим для вынесения приговора. Кирилл должен расследовать, судить, вынести приговор. По долгу совести перед революцией. Это не дознание, не следствие в прежнем понимании, не суд по царскому своду законов. Это суд революции. И Кирилл не следователь такого-то класса. Не коллежский ассесор. Он — революционер. Он должен думать не о букве, но об интересах, которым служит, о кровных интересах революции. И, таким образом, дело саботажников Шубникова и Зубинского...

Вдруг Кирилл остановил нервное движение руки. Он держал карандаш и глядел на остро отточенный графит, которым были немного испачканы кончики пальцев. Он слегка улыбнулся.

— Что же получилось? — повторил он вслед за военкомом и, вынув платок, стал медленно стирать графит с пальцев.

— Получилась ошибка... — отвечая тоже легкой улыбкой, сказал Зубинский.

— Не ошибка, а преступление, — суровее проговорил Извеков.

— Если преступление, то не мое.

— Чье же? Яснее.

— Не знаю. Речь ведь обо мне и о Шубникове. Я не совершал преступления.

— Вы обвиняете Шубникова?

— У меня нет оснований.

— Вы давно знакомы с ним?

— Одно время я увлекался бегам, он тоже. Потом он увлекся автомобилем, и мы выдalisя только случайно. Он спортсмен.

— Он спортсмен! — вдруг вскрикнул член исполкома и покосился на Извекова точно с сожалением и какой-то неожиданной догадкой.

— Нельзя представить, что Шубников нарочно испортил машину. Все равно, что я лошади насыпал бы в овес стекла.

— Однако ведь испортил? — спросил Извеков.

— Может, он, правда, пожалел бенца, — будто между прочим предположил Зубинский. — Боялся, поди, что на фронте машина погибнет.

— Понятно, — еще более нетерпеливо, чем раньше, выговорил военком. — Вы показали, значит, что автомобилю причинена поломка, чтобы его нельзя было применить на фронте.

Зубинский поднял выделанные плечи своего необыкновенного френча.

— Если бы я капельку был в этом уверен, я сам поставил бы Шубникова в ту же минуту к стенке!

— По-моему, ясно, — сказал военком.

Все члены тройки переглянулись, и Кирилл приказал увести Зубинского.

Допрос Шубникова протекал в неуловимо-изменившемся настроении суда, внесенном самим обвиняемым. Виктор Семенович держал себя вполосненно, озирался на конвойного, будто все время ждал какой-то внезапности, перебивал сам себя, не досказывал начатое. Он словно не мог угадать, какой надо взять голос — повыше или пониже. Одно он понимал ясно (и это горело в перетревоженных его глазах), что дело идет о всей его судьбе, которую вот тут же могут навсегда загасить легко, как спичку. Показывая о своем сословии и прочем, он остановился и спросил в полнейшем недоумении:

— Как такое — судить на дороге? Судят в установлениях, в городе, по форме. А тут и чернильницы нет!

Ему объяснили, что он на военной службе, но он запротестовал:

— Никогда не был! Освобожден по эпилепсии. Эпилептик. Белобилетник. Вот смотрите.

Он вытянул из-за жилетки кипу бумажек, поношенных и свежих, разбросал их по столу, ища и не находя, что нужно. Руки его плохо слушались.

Член исполкома собрал бумажки, отдал их Шубникову, сказал:

— У меня к обвиняемому один вопрос, к делу не имеющий, правда, отношения. Так, ради частного интереса. Посколько я сам любитель спорта. Скажите, Шубников, это верно хвастал здесь нам Зубинский, что он в Саратове первый спортсмен был по автомобильной езде?

— Врет! — вскричал Шубников, замахав руками.—Он все врёт! И не садился за руль! Какой он спортсмен! Он и лошади дутый. Всегда потихоньку вызывал, на какую лошадь я ставлю. Спросите в Саратове... я говорю, правильный суд может быть только в городе. Там свидетели. Они скажут, кто у нас первый автомобилист!

— А кто? — спросил член исполкома.

— А свидетели покажут, кто! Шубников, вот кто!

— Зубинский, значит, не понимает в автомобилях?

— Он в портных понимает! — с презрением вырвалось у Шубникова, но он осекся, тускло уставился на Извекова и сбавил тон: — Нынче моторы стали каждому доступны. Немудрено научиться.

Не отводя взора от Извекова, он блаженно ухмыльнулся:

— Бывает, человек не автомобилист, а в моторе разбирается. Может, и Зубинский так же вот... Он для меня загадочный.

— Вы спортом занимались на собственном бенце? — спросил член исполкома.

Шубников обернулся на дверь, подумал.

— На разных марках.

— Бенц, который вы поломали, принадлежал прежде вам?

— Я не ломал. Зачем ломать? И марка по-настоящему не «бенц», а «мерседес-бенц», если вы спортом занимались.

— Отвечайте на вопрос: это ваш бенц? — спросил Извеков.

— Не мой, а советский, — опять поднял голос Шубников. — Зубинский, что ли, наговорил? Ну да, был мой. Был мой, ходил как часы Мозера.

— А потом вы его испортили?

— Я! Все я, я! Без меня было бы у саратовского Совета кладбище, а не гараж. На мне на одном все ремонты, а говорят — я ломаю. Я советскую собственность поддерживаю. Советская собственность живет короче частной в четыре раза. Это статистика установила, если хотите знать. Я предупреждал товарища комиссара, когда выезжали, что мотор изношенный. Кто изнасил? Я, что ли? Я нанялся в гараж жизнь советской собственности поддерживать. У меня сердце кровью обливается, когда вижу, как с советской собственностью...

— Остановитесь, — перебил Извеков. — Зубинский показал, что вы вынули прерыватель, чтобы сделать машину негодной для похода.

— Зубинский врет! Он фанфарон, разве вы не видели? — закричал Шубников, наскоро вытирая ладонью рот. — Он ни черта не понимает в моторе, а говорит, что я там что-то сделал. Врет!

— Он не понимает в моторе и, стало быть, не мог вынуть прерывателя, — продолжал Извеков. — Значит, он правильно показал на вас. Признаете вы себя виновным?

Шубников огляделся, на один миг застыл, потом начал чаще и чаще обжимать губы рукой, как будто ему мешало говорить слюнотечение. Глаза его потемнели.

— Раз вы сами не отвечаете, зачем вы это сделали, тогда нам остается положиться на Зубинского. Он показал, что вы намеревались уберечь свою бывшую собственность и для этого вывели мотор из строя. Ответьте теперь: вы собирались затем дезертировать, да?

— Ну, ладно, — тихо произнес Шубников и потрянул головой. — Ладно. Зубинский наврал, чтобы меня потопить. Он думает, если я из купцов, так мне не поверят. Ладно. Он тоже не пролетарий. Ладно.

— Говорите яснее.

— Я говорю ясно, — громче, но малораздельно, сказал Шубников. — Как на присяге. Перед евангелием. И прошу записать. Хоть карандашом, все равно. Записывайте.

Он расстегнул ворот рубашки. На губах его двумя белыми точками показалась густая слюна. Он дышал громко, и слова вырывались скороговоркой.

— Зубинский хотел перебежать к белым. Я не хотел. Он угрожал, сказал, что пустит мне в затылок пулю. И что никто не узнает. Сказал, что на машине можно в одну ночь докатить до белых.

— Когда он это сказал? — спросил Извеков.

— На остановке. На последней. Он узнал в деревне, что в Пензе белые. Мужики уже ждут. Когда мы стояли у деревни, они сказали. И что идут на Саратов. Все кончено с красными, сказали ему мужики.

— Кто идет на Саратов?

— Белые. Мироновцы. Он не успел толком пересказать. Торопился. Сказал, что рассуждать поздно. Вот и все. Все он. Зубинский. Вот. Теперь пусть.

Шубников вздохнул на всю избу.

— И он велел вам вынуть прерыватель?

— Он сказал: ты ковырни там, что надо.

— И вы вынули прерыватель?

— Товарищи! — вскрикнул Шубников. — Товарищ Извеков! Как вы можете говорить, будто я вынул! Это под револьвером, под страхом смерти! Да разве я волен был вынуть или не вынуть?

— Вы вольны были во-время заявить мне об измене, — сказал Кирилл. — Когда Зубинский ушел на станцию, он был больше не опасен для вас.

— Так ведь Зубинский унес с собой на станцию прерыватель в кармане! — с отчаянием воскликнул Шубников.

На мгновение все смолкли.

— Но вы обманывали меня и покрывали Зубинского, — сказал Кирилл.

Шубников наклонился, словно готовясь упасть на колени.

— Виноват. В этом виноват. Побоялся. Не думал, что вы, товарищ Извеков, великодушно поверите. Все равно, думал, из личных наших отношений не захотите простить.

— О каких отношениях вы? — жестко сказал Кирилл, и лицо его стало медленно желтеть.

Опять оба члена тройки пристально посмотрели на него.

— Не буду же я в данном обществе рассказывать, — пробормотал Шубников со своей простецко-покорной улыбочкой.

— Вы еще наглец к тому же! — не выдержал Извеков. — Признаете ли вы, что у вас с Зубинским был сговор в Саратове — перебежать к белым?

Шубников вытянул руки, словно обороняясь, и на миг остался в этой позе:

— Нет, нет, не предумышленно! То, что я здесь показал, — святая правда. Жертва чрезвычайной обстановки. Действовал под угрозой. И все. Сам никогда бы на это не пошел. Я — человек слова. Раз взялся служить советской власти, значит служу.

Военком сказал мрачно:

— По-моему, ясно. Обвиняемый умышленно привел машину в негодность и признался, что сделал это своими руками.

— То есть как — своими? Моими руками насильник действовал! Ничего не я! Я жертвой сделался! За какую вину меня на одну доску с Зубинским ставите?

— Вы узнаете из приговора, за какую вину отвечаете, — сказал Кирилл и взглянул на конвойного: — Уведите его.

— Как из приговора?! — захлебываясь и налегая на стол, выдохнул Шубников. — Из приговора поздно! Я хочу сейчас. Чтобы очевидно, чья вина. Если меня преступником выставляют, я требую очной ставки!

— Я полагаю — излишне? — обратился Кирилл к членам тройки.

— Излишне? — на неожиданной истеричной ноте вскрикнул Шубников. — Что ж, выходит, Шубникова жизнь излишняя! Вам-то она, товарищ Извеков, наверное всегда была излишняя! Не можете мне Лизу простить! Теперь я к вам в руки попал, да? Выместить злобу решили, да?

— Я вас заставлю молчать! — тихо перебил его вопли Кирилл.

— Рот мне затыкаете, а? Из личной ненависти, а? Не-ет! Не на такого напали!

Шубников рванул на себе и отодрал ворот рубахи. Губы его дергались, взгляд блуждал мрачно. Вдруг он закатил глаза, взвизнул и, побелевший, не сгибая колен, со всего роста повалился на пол. Его начало корчить, голова запрокинулась, дыхание почти остановилось, только изредка выталкивал он кряхтящие стоны. Бумажки высыпались у него из-за пазухи и усеяли половицы.

Все встали и молча смотрели за ним. Военком неспеша скрутил цыгарку, закурил и, подымливая, косил глазом на искажаемое гримасами лицо Шубникова.

— Может, его — на воздух? — спросил взволнованный Извеков.

Ему не отозвались, и еще минуты две, так же молча, все продолжали наблюдать припадок. Потом, в спокойствии, но немного брезгливо, военком сказал:

— Такие нам знакомы. Есть, которые гораздо натуральнее работают. Даже врачи затрудняются.

Он отошел к окну, полуобернул назад голову и, сквозь дым, процедил:

— Вставайте, Шубников. Все ясно.

Но Виктор Семенович забился еще сильнее.

— Оттащите его в сени, — приказал Извеков, и конвоир приставил винтовку к косяку, подхватил Шубникова подмышки и выволок его из горницы.

В начавшемся после этого совещании вся тройка единодушно признала, что вина Шубникова установлена полностью тем, что он один физически выполнил акт саботажа. Что же касалось Зубинского, то соучастие его в деле устанавливалось лишь косвенно свидетельством Извекова о разговоре Зубинского с Шубниковым в момент совершения вредительства. Показания Шубникова на Зубинского могли быть продиктованы стремлением облегчить свою вину. Не исключалась даже и клевета, как месть за то, что Зубинский выдал Шубникова. Кроме недостаточности улики против Зубинского (в виновности которого тоже никто не сомневался), возникла опаска, что за человеком такого пошиба могут тянуться хвост других преступлений и что скорое решение помешает их раскрытию. Постановили поэтому дело Зубинского выделить и, если позволят обстоятельства, препроводить арестованного в Саратов.

В совещании не проявилось никаких разногласий, и уже встал вопрос о мере наказания, когда вдруг Извеков заявил, что он примет те предложения, которые будут на этот счет сделаны, но подписать приговор Шубникову отказывается.

Произнося это слово — отказываюсь — Кирилл был готов встретить изумление. Но как только оба члена тройки смолкли, он невольно опустил взгляд и притих так же, как они. Потом он превозмог себя и, не дожидаясь расспросов, прибавил:

— Должен отказаться по личным мотивам.

Но слова его не разрешили, а как будто еще затянули тяжелое безмолвие.

— Вы оба слышали, Шубников утверждал, будто я свожу с ним личные счета. Я не хочу, чтобы у вас или у кого бы то ни было осталась тень подозрения, что это так.

— Но ведь ты судил? — сказал, наконец, военком.

— Я не мог предвидеть, что мое право судьи будет подвергнуто сомнению. В сущности, подсудимым сделан отвод судье.

— Хэ! — усмехнулся член исполкома. — Какое тебе дело до этого отвода? Контрреволюционеры отводят всю революцию.

— Я не о признании нашего права белогвардейцами. Но революционер должен быть вне подозрений, что действует хотя бы косвенно из личных мотивов.

— Да что у тебя с ним, любовные дела? — бесцеремонно спросил военком.

Как всегда, смуглость Кирилла, если он бледнел, переходила в желтизну и сейчас приняла даже зеленоватый оттенок. Глаза его необычно вспыхнули.

— Вот именно, — сказал он, нажимая на каждый слог.

— Жену увел? О Лизе-то говорил, а?

— Это лишний разговор.

— Да ты что, против высшей меры, что ль? — воскликнул член исполкома.

Кирилл отошел к окну. Оба товарища повернули следом за ним головы, и все увидели, как через улицу конвойный повел Шубникова, довольно бойко маршировавшего.

— Вон твой подзащитный, здоровёхонек! — сказал военком.

Кирилл быстро обернулся:

— Я защищаю не его, а всех нас против него!

— Хочешь выйти с чистыми руками?

— Разве вы делаете не чистое дело? Но чистоту дела угрожают запятнать кривотолки подлеца. И я не имею права это допустить.

— Словом, уклоняешься, — чуть язвительно заметил член исполкома, — поддаешься на провокацию.

Кирилл шагнул к двери, взялся за скобку.

— Если хотите, пусть моим поступком займется партия... Против ли я высшей меры? Нет. Считаю, что другой применить нельзя. Но подписи моей под приговором Шубникова не будет.

Он стукнул носком сапога по двери и вышел.

Оглядевшись, он, кроме связного красноармейца, сидевшего на крыльце, нигде не заметил людей из роты — дворы, улица, дальние холмы за деревней были пусты. Он перешел дорогу, миновал две-три избы и очутился перед садом с разваленным плетнем. Он вошел в сад.

Тут никто не хозяйствовал. Среди заросших осотом лунок корягами торчали когда-то расколотые тяжестью плодов стволы яблонь; в междурядьях кусты крыжовника зло топорщили свои колючие плети, увитые цветущим белым вьюнком.

Кирилл остановился перед сломанной яблоней. Обломок молодого ствола вышиной по грудь нес на себе большую ветвь, простертую, точно человеческая рука, вбок и вверх и страстно засыпанную листом. На одной половине ствола древесина была совсем обнажена и уже засыхала, на другой — лента коры подогнула свои края внутрь, сляясь плотно прикрыть еще живую часть ствола.

Кирилл положил руку на мозолистый слом дерева. Ему казалось, что все внимание сосредоточилось на мельчайших впечатлениях, которые давал заброшенный сад. Но за поверхностью этих впечатлений непрерывно работала мысль о том, не уступил ли он мимолетной слабости и не правы ли его товарищи, говоря, что он уклонился от выполнения долга. Кому-то он должен будет дать отчет в своем поступке. Кто-то будет его судьей, как он был судьей Шубникова.

С необыкновенной яркостью увидел Кирилл направленный на него взор Ансчки. Конечно, она, может быть, не скажет, но непременно подумает, что Кирилл ненавидел личной ненавистью мужа Лизы. Может, придется встретиться в жизни с самой Лизой. И она, наверно, не скажет Кириллу, но подумает: это он отправил на тот свет отца моего мальчика. И мать Кирилла тоже, может быть, промолчит, но отведет глаза в сторону и подумает: было бы лучше Кириллу не порождать молвы, что он мог действовать из личных побуждений. А разве у тех же товарищей, которые разбирали с ним дело Шубникова, не останется в памяти, что в это дело замешалась какая-то интимная история Извекова? Любовная

история, как выразился военком, то есть что-то недоступное постороннему глазу, скрытое, потайное.

Но неужели факт неподписания приговора имеет какой-нибудь смысл, кроме чисто внешнего? Шубников сам себе вынес приговор своим преступлением. Кирилл со всей глубиной убежденности находит правильной для Шубникова высшую меру наказания. Меняется ли что-нибудь по существу оттого, что Кирилл не даст своей подписи? Да, меняется многое. Меняется то, что отказом подписать приговор, Кирилл разоблачает клевету, будто Шубников — его жертва. Разоблачается ложь, которая стремится нанести вред солдату революции и, значит, самой революции. Нет, нет, Кирилл прав!

Внезапное предположение обеспокоило Кирилла: а что, если Шубников останется жить? Ведь могут же судьи применить более мягкую меру наказания? Не будет ли тогда Шубников торжествовать, что его провокация увенчалась успехом?

Кирилл туго зажал в кулаке обломанный ствол яблони. Ощущение руки вернуло его к внешнему миру. Он опять оглядел засыпанную сытым листом ветвь. Странно было, с какой жаждой жизни эту ветвь простирали к небу жалкий обломок ствола. Дерево было обречено на гибель, но с тем более жгучей страстью цеплялось оно за существование и последней, уродливой лентой коры, почти уже с невероятной силой обилия, питало, насыщало единственную еще пышную ветвь. Выживет ли она? Нет. Какой-то крошечный срок она еще будет набирать новые почки, высасывая свои остаточные соки, когда уже омертвеет и превратится в полено исковерканный ствол. Потом она сбросит с себя пожухшие листья, чтобы никогда больше не зазеленеть. Если уж нужно возрождать такой полуумерший сад, то первым делом надо выкорчевывать старые пни и поднимать заново всю землю.

Кирилл сказал вслух:

— Нет, конечно, присудят к высшей мере...

Вдруг он услышал сухой выстрел.

Он осмотрелся. Позади соседнего с садом двора он увидел амбар и перед ним — красноармейца с винтовкой, который, в необычайной спешке, бросился к двери амбара и начал вытягивать засов. В ту же секунду Кириллу пришла на ум догадка, что в амбаре содержатся арестованные — в этом направлении, конвойный повел Шубникова после допроса. Кирилл побежал на помощь.

Это был крепкий бревенчатый сруб, с узкими прорезями под крышей вместо окон, из тех ладных небольших амбаров, какие ставят крестьяне либо впритык к дворовым навесам, либо на задах, поодаль от двора, и куда сыпают зерно.

С утра здесь поместили Зубинского с Шубниковым, и они, впервые после ареста, получили возможность переговорить без помехи. Пока шли из Вольска, в колонне и на привалах, они все время находились на людях.

Перед допросом разговор их сначала носил недружелюбный характер. Шубников обвинял Зубинского в торопливости, а Зубинский всю неудачу взваливал на Шубникова, слишком грубо-очевидно, в расчете на дремучую глупость, нарушившего работу мотора. Понимая, что печального положения, в каком они находились, попреками не изменишь, Зубинский и Шубников замирились и попробовали обдумать побег. Они пришли к выводу, что необходимо выждать, когда рота будет втянута в дело, а пока кругом тихо — понапрасну не испытывать судьбу. Затем разговор уклонился в лирику, и особенно Шубников изливал свою душу,

вспоминая о золотых недавних днях. Под конец, скучно пережевывая пшеницу, которую наскребли в закроме, он даже всхлипнул:

— Сколько талантов пожрала проклятая междоусобица! Возьми меня. Какой талант! Эх, какой талант! А что толку, когда в наших исторических данных все дарование целиком уходит на то — как бы увернуться от тюрьмы?!

— Вот и не увернулся, — подлил масла Зубинский.

— По чьей вине? По твоей!

Опять они поссорились.

Для обоих было неожиданностью, когда явился конвой и неизвестно куда увел Зубинского. Он успел только шепнуть Шубникову — «не признавайся, в случае чего!» Возвратившись, он сказал, что судит ревтройка и что он все обвинения начисто отрицал. «Смотри, держись», — напутствовал он Шубникова.

После допроса их уже не сдерживали ни осторожность, ни надежда, что они еще будут друг другу полезны. Ожесточение было единственным чувством, которым они пытались подавить отчаяние. Если бы они не набросились друг на друга с низкими ругательствами, им оставалось бы только трястись от ужаса. Страх они переключили на ярость. С ненавистью Шубников твердил, что Зубинский — предатель.

— Что заладил? Я сказал правду, что не понимаю в машине. Больше ничего.

— Нет, ты соврал, что ты первый гонщик на моторах! А раз ты такой, выходит, ты сам и навредил.

— Они тебя, дурака, вокруг пальца обвели.

— Выкручивайся. Кто же, получается, прерыватель в кармане унес, а?

— Не знаю, что у тебя в карманах напихано.

— А я знаю, что ты в свой карман сунул! И Извекову это тоже понятно, коли хочешь знать.

— Ты что, наклепал? — вдруг почти вежливо спросил Зубинский.

— А ты думаешь, я за тебя под расстрел пойду? На простофилю нарываюсь, хват!

— Может, я за тебя итти должен?

— Ты за себя пойдешь!

— Ну, ваше степенство, плохо еще вы мои карманы изучили.

— Не отвертись! Как ты меня, так и я тебя! Потопить собирался! Я тебя скорее на дно пушу. Теперь уж известно, что я твоему насилию уступил. И что ты — перебежчик.

— Ценой моей головы жизнь себе покупаешь? — холодно сказал Зубинский. — Ну, так и чёрт с тобой, с собакой!

Шубников увидел в полумраке, как Зубинский ткнул руку за френч, подмышку, и тотчас выхватил назад. Виктор Семенович успел только раскрыть рот.

Зубинский убил его одним выстрелом в упор с необыкновенной легкостью и сделал два ровных шага к свету, проникавшему через прорезь отдушины в амбар. Осмотрев на себе френч и галифе, он обмахнулся от пыли левой рукой, а правую, сжимавшую револьвер, поднял вровень с грудью, ожидая, когда распахнется дверь: засов уже гремел, плохо поддаваясь усилиям постового.

Зубинский выстрелил, едва проглянул в амбар яркий свет, но сейчас же был сбит с ног красноармейцем, придавившим его винтовкой поперек груди.

В это мгновенье подбежал Кирилл и стал вывертывать из судорожно сжатых пальцев Зубинского плоский холодный кольт. Сухо треснул еще



один выстрел. Потом оружие перешло к Извекову. Зубинского перевернули ничком и заломили ему локти за спину. Красноармеец сказал Кириллу, что снаружи у амбара сложено надранное лыко. Длинной сырой лентой липовой коры Зубинскому скрутили руки.

Шубников лежал назвничь, широко разбросав ноги. Смертельная рана в голову была почти бескровной.

Постовому красноармейцу пуля поцарапала плечо, рукав его гимнастерки побагровел. Кирилл хотел поднять с пола винтовку. Солдат отстранил его.

— Не полагается. Вы, товарищ комиссар, скажите, чтобы меня сменили. Я с поста не могу.

Кирилл один привел Зубинского в избу.

Только теперь спохватились, что арестованные не были как следует обысканы: у Зубинского обнаружили внутренний карман, пришитый к френчу подмышкой, где он хранил кольт. На разбор всего события ушло не больше четверти часа. Тройка нашла, что содержание Зубинского под стражей во фронтовой обстановке опасно. По совокупности преступлений его приговорили к расстрелу.

У ротного писаря достали чернил, но перо было вязкое и грязное. Кирилл старательно вычистил его.

Он первым подписал приговор прямым своим разборчивым почерком, с резким хвостом вниз у буквы «з».

## 26

Поутру другого дня Извеков и Дибич прорысили по позициям, осматривая расположение роты и отряда.

План Дибича, принятый тройкой, вытекал из благоприятных особенностей местности и состоял в кольцевом окружении мятежников. Хвалынский отряд остался на месте, которое занимал в момент встречи с ротой, немного спустившись с перевала северного холма под прикрытие погоста, заросшего березами. Роте принадлежали главные позиции. Часть ее отделений залегла на восток от Репьёвки, за большаком, и предназначалась для лобового удара. Другая часть растянулась по южному холму, довольно кустистому, переходившему на западе в лесной массив.

Этот лес на материковой возвышенности был мало доступен с флангов из-за густоты и отсутствия троп. Единственная лесная дорога шла прямо из Репьёвки и находилась в руках мятежников. Лазутчикам удалось заметить на заре передвижение противника по этой дороге: банда садами отступила из села и заняла лесную опушку на возвышенности, оставив в Репьёвке только свой заслон.

Выяснилось, таким образом, что, во-первых, полное окружение трудно достижимо из-за природного препятствия с запада и, во-вторых, что противник готовится либо принять бой в лесных условиях, либо рассеяться в глубине бора. Извеков поэтому предложил усилить фланговые кулаки в расчете на преследование врага в лесу. Дибич согласился и ускакал на большак—снять несколько отделений с восточной линии.

Кирилл остался на южном холме, спешился и пошел перелесками вдоль позиции.

Дымки утренних костров уже исчезли, и красноармейцы занимались кто чем—порознь и горстками в три-четыре человека. Кирилл удивился, как маловнушительны были эти группы, какой реденькой цепочкой легла линия вокруг окрестности, которую предстояло захватить с боем. Когда рота двигалась колонной по шоссе, она казалась плотной силой.

Из-за кустов крушины пахло теплом притухшего угля, и в тот же момент донесся певучий и задорный голос:

— Был у меня кобель—умом насыпан! Гоняли мы с ним зайцов.

— Постой, ты чем кроешь?—перебил другой голос поважнее.

— Козырем, чем!

— Ты зубы не заговаривай, про кобеля! Козыри вѣни, а не крѣсти,

— Ах, вѣни! — сказал задорный. — За вѣни извиняюсь. Вѣней нет.

Кирилл шагнул вперед и, сквозь листву, разглядел поодаль костра двух красноармейцев с поджатыми по-татарски ногами. Они играли в «простого дурака», шелкая картами по шанцевой лопате, служившей вместо стола. Он сразу признал обоих.

Еще в первый день по выходе из Вольска Кирилл невольно обратил на них внимание, и Дибич рассказал ему об этих разнолетках, друживших крепче ровесников.

Ипат Ипатьев и Никон Карнаухов во время войны служили в одной роте и в одном бою были ранены. Из госпиталя Ипат вышел раньше и опять попал на фронт, а Никон, встретив Октябрь в Москве, решил перед возвращением в деревню скопить деньжонок и занялся торговлей в разнос. Но сколько ни торговал, денег у него не прибавлялось—они дешевели скорее, чем он накидывал цены. Он все же околачивался в городе, и однажды, во время облавы на Сухаревке, его прихватил патруль, в котором был Ипат—красногвардеец. По-приятельски он выручил Никона. Угодив вскоре на фронт против чехов, Ипат был ранен в глаз, явился на лечение в Москву, демобилизовался, и Никон поселил его в своем углу. После этого они не разлучались.

Оба были саратовские, но разных уездов. Деревня Ипата находилась под белыми, в деревне Никона была советская власть. По приезде в Саратов Ипат узнал, что попасть домой нельзя, и уговорил Никона пойти добровольцем в Красную Армию. Никон уступил неохотно — бродячая жизнь осточертела ему, он тянулся домой. Но Ипат обладал беспокойным духом убеждения, и Никон, всегда возражая, поддавался его предприимчивости.

На марше, возвращаясь не раз к рассказу об Ипате и Никоне и наблюдая их, Кирилл напомнил Дибичу когда-то изумившее толстовское разделение солдат на типы. Они отнесли Никона к типу покорных, а Ипата к типу начальствующих. Но к старым чертам русских солдат и в Никоне и в Ипате с очевидностью прибавились новые. Никон был расчетливым мечтателем и покорялся обстоятельствам, чтобы вернее уберечь свою мечту и выйти к ней, при случае, наверняка. Ипат был типом начальствующего с явными особенностями времени — типом начальствующего революционного солдата, именно красногвардейцем, взявшим за воинский образец бойцов-рабочих Пройдя Карпаты, отступив до Орши, приняв участие в изгнании немцев из Украины и в преследовании мятежных чехословаков, он относился к войне с притязанием понимать ее до самого корня и немного сердито, как к препятствию, которое, хочешь не хочешь, надо взять.

Глядя сквозь листву на картежную дуэль, Кирилл припомнил рассказ Дибича о первой встрече с Ипатом во Ртищеве и попутный разговор о Пастухове.

— Он тоже хвалынский,—сказал о Пастухове Дибич.

— Но в Хвалыnsk он не захотел, — заметил Кирилл. — Ипат-то его раскусил. Вы знаете, что Пастухов удрал из Саратова к белым?

— Я знаю, что он уехал...

Дибич не договорил, потом с какой-то виноватой тоской вздохнул:

— Жена у него красавица! Вот вернусь домой — найду себе Асю...

Он застенчиво покосился на Извекова, своротил коня с дороги и ускакал назад — подогнать отстающий от колонны обоз.

Между тем, с лихим вывертом рук хлопая картами по лопате, игроки продолжали переговариваться:

— Был он, брат, такой богатей, — докладывал Ипат, раздвигая зажатый в щепоть карточный веер, — такой богатей, что вымочит в пиве веник да в бане и парится. Да-а...

— А кралей короля не крой.

— Это я хлопа покрыл... А под светлое воскресенье один раз... так велел мочить веник в роме. Пил когда ром? Нет? Это, брат, тройной шпирт. Сто семьдесят градусов... Так вот. Послал купить рома в ренсковой погреб. Доставь, говорит, прямо на полók... И зажги, чтобы горел. Ром-то. И мочи. Веник-то... Вот ты опять же и выходишь дурак! Со вчерашним сьдмьой раз.

— Вчерашнее считать, так ты тоже не шибко умный, — сказал Никон, бросая карты и отваливаясь на локоть.

— Я беру чистый баланц. Семь раз. Соображение у тебя не пряткая. Недаром в Москве проторговался.

— А у тебя какая особенная соображение?

Ипат выпрямил ноги, лег на спину и сказал, взбросив глаза к небу:

— У меня есть всего два соображения. Как бы поохотиться, это первая. А вторая — как бы устроить правильную жизнь.

— Ты устроишь!

— Мы устроим.

— Это как же?

— Это вот как. Чтó не делится—то, чтобы было общее. Скажем— лошадь не делится, тогда чтобы она и твоя, и моя, и еще чья. Чтобы каждый запахал, забороновал. Это есть соображение.

— У тебя лошадь есть?

— Нет.

— Вот и видно, — оскорбленно сказал Никон и тоже повалился на спину. Подумав, он спросил:

— А чтó делится?

— Чтó делится, тó поровну.

Никон опять примолк.

— Я в городе повидал, — обратился он, словно бы к новой мысли, — понимаю, откуда она идет. Перекроить да перерезать. Перекройщики.

— А почему тебя жить оставили?—совсем неожиданно и свирепо спросил Ипат.

— Остерегался. Кабы не остерегся, ту же минуту бы — хлоп, и готово! Город мужикам салазки загинает.

— А чтó ты без города?

— А он без меня?

— Железо на лемеха надо? Сейчас кузнец — в город. Зубья на борону. В город. Ободья на колеса. Опять же в город.

— Это причина торговая. А ручкой вертеть кто будет? Вот она, главная вещь!—хитро сказал Никон.

— Согласие с мужиками имеется—сейчас совместно за ручку. И сразу тебе—полный поворот!

— Совместно! — насмешливо переговорил Никон.—Либо баба в доме голова, либо мужик. Совместно!

Кирилл выступил из кустов, поздоровался. Оба собеседника привстали на корточках. Ипат сказал довольноно:

— Товарищ комиссар.

— Может, присесть желаете? — конфузливо предложил Никон, растягивая за полу валявшуюся на траве шинель и прикрывая ею карты.

— У нас вышел спор, — живо начал Ипат.

— Брось, — отмахнулся Никон, — нужна наша болтовня!

— Нет, погоди! Как в настоящее время имеется союз пролетариев с деревенской народной беднотой, — без заминки сказал Ипат, переходя на язык, который, по его мнению, был более естественным в обращении с комиссаром, — то Никон сомневается, за кем теперь главная правление будет? Потому как, говорит, либо баба, либо мужик голова, а совместно в одном хозяйстве не получается.

— Есть старая пословица, — ответил Кирилл. — Водой мельница стоит, да от воды ж и рушится.

— Это как понимать? — осторожно спросил Никон.

— Вот и понимай! — тотчас с восхищением вскричал Ипат. — Народ... он все в действие приводит. Но ты его направь на колесо. Направишь неверно, он тебе всю плотину скovyрнет.

— Да ты что вперед лезешь? Пусть товарищ комиссар объяснят.

— Он верно говорит, — сказал Кирилл. — Направлять должна разумная передовая сила. Такая сила в руках рабочих.

— Видал? — опять торжествующе вмешался Ипат. — Возьми теперь белых. Идут к мужикам, а желают помещиков. Направляют куда не надо. Вот на их голову все и оборотилось.

Он с гордостью уставил почти совершенно белый свой взор на Извекова, ожидая дальнейшего одобрения. Кирилл кивнул ему. Тогда, поощренный, он задал личный вопрос, как человек, вошедший в доверие:

— Вы будете, видать, из образованных. И мы тут любопытствуем: был у вас какой умысел, что пришли к трудящей революции? Или может так почему?

Кирилл не успел ответить.

Винтовочный выстрел раздался в низине, быстро сдвоенный и строенный эхом в лесу, и затем с окраины Репьевки был открыт недолгий беглый огонь по большаку и по холмам. Чуть в стороне жикнула пуля, дробно пробив себе дорогу через листву.

Никон вскочил, шагнул назад, но остановился, сказал:

— Товарищ комиссар, отойдите за деревце. Так стоять очень на видимости.

Ипат легонько откинул полу шинели, подобрал с травы карты, аккуратно, насколько поддавались обтрепанные края, сложил колоду и спрятал в нагрудный карман, застегнув его на пуговицу.

— Интересуются определить наши линии, — проговорил он вдруг медлительно, на стариковский лад. — И обманывают опять же, будто ихнее нахождение в селе. А сами вона где!

Он показал отогнутым большим пальцем на лесную опушку.

— Вашим флангом командует сам комроты, — сказал Кирилл, — а мое место за большаком. Мы сегодня должны покончить с бандой.

— Как прикажете, тогда и покончим, — снова ретивым и певучим голосом откликнулся Ипат.

Он проводил Кирилла до лошади и готовно придержал стремя, помогая сесть в седло.

По пути Кирилл встретил Дибича, который вел группу бойцов, снятую с большака. Дибич был весел и крикнул издали:

— Нервничает неприятель-то! Не терпит больше молчания. Мы заговорим!

Остановившись на минуту, Кирилл и Дибич сверили свои часы, потом командир подал руку открытой ладонью вверх, комиссар громко ударил по ней, и, улыбаясь друг другу, они разъехались.

Еще ночью натянуло серых туч, они слились в завесу и осели, стало накрапывать. Безветренный, обкладной дождь—из конца в конец горизонта — тонкий, как туман, внес в окрестности новые особенности, она начала на глазах меняться. Сразу посвежело, бойцы, лежа под насыпью шоссе, принялись раскатывать шинели, чтобы укрыться от дождя.

Кирилл обошел цепь, выбрал себе место посредине и лег. Все чаще он поглядывал на часы, и все медленнее, казалось, двигались стрелки.

Наступление должно было начаться правым флангом с северного холма. Хвалынскому отряду дана была задача перерезать дорогу из Репьёвки в лес и, развернувшись на запад, продвигаться садами к лесной опушке. К этому моменту приурочивалась атака Репьёвки в лоб цепью из-за большака, в расчете уничтожить заслон мятежников, отрезанный хвалынцами в селе. Решающая третья часть операции возлагалась на левый фланг, которому предстояло выйти с юга лесом в тыл главной позиции противника.

Весь план представлялся Кириллу абсолютно ясным, и он настолько уже взгляделся в местность и примерил к ней все действия, что по его убеждению они не могли произойти иначе, нежели по плану.

Но чем ближе подходила минута, когда правофланговому отряду назначено было открыть огонь, тем беспокойнее становилось Кириллу. Дождь затушевывал холмы, а лес уже отделяло от Репьёвки сплошное пасмурное полотнище. И, напряженно глядя через бинокль на погост с потемневшими березами, Кирилл чувствовал, что требуется все больше и больше усилий, чтобы лежать неподвижно и не показывать красноармейцам своего беспокойства.

Знакомый голос прозвучал поблизости Извекова.

— А где комиссар?

Он, не приподнимаясь, повернулся набок.

Ипат, держа одну винтовку за плечом, а другую — наперевес, вел впереди себя безоружного Никона.

— К вам, товарищ комиссар, — сказал он громко, остановившись под дорожной насыпью и удерживая Никона за рукав.

— Ты как ушел с позиций? — быстро спросил Извеков, не сразу поняв неожиданную сцену и удивляясь виду обоих бойцов.

В глазах Ипата, выпяченных и точно остекленных, светилась безумная решимость. Он был бледен, голова его высоко вылезла из воротника гимнастерки на обнаженной худой шее.

— Товарищ командир приказал доставить к вам дезертира Карнаухова на полное ваше решение.

— Как — дезертира?

— Да брось ты, — промямлил Никон, глядя в землю.

— Разршите доложить?

— Скорей.

— Мне его беседы который раз сомнительны, товарищ комиссар. Тут в соседнем уезде его деревня недалеко, откуда он родом, Никон Карнаухов, товарищ комиссар.

— Короче.

— Я коротко. Он и говорит, что всю мол войну провоевал, цел остался, а тут мол к порогу родному дошел — голову складать приходится. От каждого человека, говорит, какой ни на есть след останёт-

ся. Один скамеечку, заметь, сделает, другой ступеньки к речке откопает. А какое, говорит, от тебя наследство, кроме тухлого мяса?

— Да что он сделал-то? — нетерпеливо глянув на часы, погоропил Извеков.

— У меня один глаз, а я, думаю, тебя сквозь вижу! Ты, спрашиваю, в атаку пойдешь либо нет? Сам, говорит, ступай. И облаял меня. А я, вишь, к себе в деревню пойду. Ах, ты так, думаю! Сейчас его винтовку — хватать! И говорю: нет, ты, дезертирская душа, не в деревню к себе пойдешь, а к стенке! Вот куда! И прямо его к командиру. Командир мне приказание: доставь комиссару, как комиссар решит, так и будет. Расстрелять его, товарищ комиссар, к чёртовой матери! — ожесточенно кончил Ипат.

— Ну, ясно, а что ж еще? — сказал Кирилл, отворачиваясь и глядя через дорогу и потом — снова на часы.

— Ага! Слышал? — устрашающе шагнул Ипат к Никону.

— Ты что? Перед боем вздумал товарищей предавать, а? — спросил Кирилл.

— Это все он выдумал, товарищ комиссар, — умоляюще сказал Никон. — Он горячий.

— Выдумал? — закричал обозленно Ипат. — Ступеньки к речке выдумал?

— Он давно пужал нажаловаться. Не одобрял меня. Известно, спорили. Для одного разговора только, товарищ комиссар. Вроде в карты от скуки...

Никон держался на ногах неустойчиво, как человек в новых валенках, переминаясь, и лишь изредка с укором поднимал бегающие низко глаза на Ипата.

— Так, значит, в атаку, Карнаухов, не пойдешь? — спросил Извеков.

— Как не пойти, товарищ комиссар! Служба! Не хуже Ипата солдатом был.

Кирилл хотел что-то сказать, но пулеметная очередь вопросительно разрешила насыщенное влагой пространство, оборвалась, и следом враспыленную зашелкала винтовочная стрельба. Били справа — это Кирилл тотчас уловил. Он только не понял направление огня. Он глубоко набрал в грудь воздуха и не сразу мог выдохнуть. Словно острая боль приостановила его сердце, и все, что он видел, в этот миг приобрело удивительную зримость и чем-то особо озаменованное выражение.

— А за кого ты бьешься, я тебе говорил? — спросил Ипат снисходительнее, но с оттенком презрения. — За себя бьешься. От нас пойдет новый народ. Говорил я тебе, нет?

Кирилл обернулся. Будто из другого мира взглянув на этих бойцов, он повторил в уме последние расслышанные и непонятые слова, и вдруг понял их: от нас пойдет новый народ. Он спустился с насыпи.

— Если покажешь себя молодцом в бою — прошу, Карнаухов. Если нет — вини самого себя.

Он положил на плечо Ипату руку.

— Отдай ему винтовку. И смотри за ним. Передаю его тебе на руки. А сейчас — бегом, на свои места!

— Я по-смотрю-у! — пропел Ипат с ликованием.

Кирилл уже не видел, как они оба, прижимая локтями закинутые за плечи винтовки, побежали солдатской рысцой вдоль линии стрелков.

В бинокле погост стоял попрежнему, как застывший, но словно расчлененный на мельчайшие подробности, в которые упорно всматривался Кирилл. Он все хотел распознать направление стрельбы — куда били, по селу или по лесу? — и распознать никак не удавалось, особенно

после того, как вразброд взялась отвечать на обстрел Репьёвка, а за ней — дружнее, но глуше — скрытая дождем лесная позиция банды.

Кирилл перевел бинокль на село. Почти сейчас же, в нечаянную паузу стрельбы, до него долетели странные взвизгивания, и он увидел над полем, отделяющим шоссе от Репьёвки, мечущиеся черные стаи галок и грачей. Птицы врассыпную кружились над селом, отлетая от васильковых куполов церкви и возвращаясь к ним, и странный визг, соединенный с граем, все сильнее вплетался в ружейный треск и в короткие строчки пулеметного стука.

Все, что затем произошло, показалось Кириллу последовательным нарушением того плана, который он заранее так отчетливо себе представлял, хотя все время он старался выполнять его с неотступной точностью.

Хвалынский отряд поднялся с исходной позиции прежде положенного срока после начала обстрела. Кирилл различил на фоне берез бегущие с холма по погосту маленькие фигуры, которые, спускаясь, исчезали в зелени садов. Этот момент должен был по плану определить начало атаки с большака. Но этот момент пришел раньше, чем ждал Кирилл, и с мыслью, что все теперь не так, как нужно, он поднял над головой револьвер и, помахивая им и оглядывая вправо и влево свою цепь, прокричал: «вперед!» Голос показался ему совершенно непохожим на тот, который хотелось услышать. Выскочив на дорогу, Кирилл пересек ее, сбежал вниз, оглянулся, увидел высыпавших на шоссе, почудившихся ему страшно высокими и растерзанными в своих шинелях нараспашку, красноармейцев, и закричал еще раз: «вперед, за мной!»

Он побежал полем, держа револьвер над головой и прислушиваясь. Сзади и по сторонам от него раздавался топот грузных ног, вверху взвизгивали продолжавшие кружить птицы. Он не ощущал своего тела, хотя ноги непрерывно натывались на борозды и кочки распаханного поля. Он что-то закричал опять и опять.

Уже добежали до половины поля, когда из-за репьевских сараев ажнул по атакующим ружейный залп. Кирилл на бегу осмотрелся. Второй слева от него красноармеец мгновенно стал, точно налетев с разбега на незримое препятствие, сделал поворот всем корпусом назад и упал навзничь.

— Ложись! — крикнул Кирилл, махнув рукой книзу и падая. — Огонь по сараям!

Он еще не успел докричать команды, и не вся цепь еще легла на землю, как в ответ на залп защелкали, чаще и чаще, винтовки. Он выпустил всю обойму револьвера по какому-то амбарчику и заложил новую.

Ближний к нему стрелок — усатый, тяжелый малый в фуражке, передвинутый козырьком на затылок, — сказал:

— По коноплям цельте. Ишь, расступаются конопля?

Он отвернулся от Кирилла и крикнул спокойно, как кричат за общей работой:

— За коноплями гляди! На огородах!

Зоркость его озадачила Кирилла: он не сразу отыскал взглядом темные полосы конопляников, кое-где подымавшиеся до крыш сараев. Но стрелки уже нащупали цель и вели по ней частый огонь.

Кирилл вдруг заметил человека, который прытко выскочил из-за угла строения и побежал через проулок. С никогда небывалым физическим желанием охотника по зверю — не промахнуться! — Кирилл выцелил этого бегущего человека, но он мигом исчез. Вслед за ним так же быст-

ро перебежали проулком двое других, потом еще и еще, и усатый малый, как будто разочарованно, сказал, щелкая затвором:

— Тикают.

Кирилл вскочил на ноги и поднял цепь. Обгоняя его, красноармейцы добежали до огородов и, перекидывая ружья и сами перескакивая, либо переползая через заскрипевшие плетни, бросились по грядам, топчая лопухие качаны капусты. Цепь все больше сгруживалась в кучки, устремляясь в проходы между сараев, с непрерывной стрельбой и возникшими без всякой команды грозно-отчаянными криками «ура».

Кирилл бежал вместе со всеми и так же, как все, кричал и стрелял. Он видел несколько человек с винтовками, пролетевших стремглав по сельской улице, в которых он инстинктивно признал врагов, и в которых не мог стрелять, потому что менял обойму. Ему попались по дороге к этой улице два других человека, которые лежали рядом, уткнувшись лицами в землю. Он перепрыгнул через них.

Он помнил только, что должен вывести бойцов на базарную площадь и там, в центре села, перебить или захватить живьем всех, кто сопротивлялся.

Но когда он выбежал на площадь, раздалась встречная беспорядочная стрельба. Он наскоро огляделся, отыскивая укрытие для своих бойцов. В это время на другой стороне площади, высыпая из поперечных улиц, из-за церкви, из-за разбитой волостной избы, появились бойцы хвалынского отряда с такими же криками «ура», с какими выбегали за Кириллом его стрелки.

Это было решительно непонятное нарушение плана. Отряд должен был отрезать Репьевку от лесной дороги и, не входя в село, наступать на главную позицию противника.

Кирилл побежал к хвалынцам, узнать — что происходит. Но они, не обращая на него никакого внимания, продолжали бежать площадью, на ходу заряжая ружья и попрежнему крича. Он думал перехватить последнего из них и стал махать ему револьвером. Он почти настиг его у волостной избы. И тут остановился.

На самой дороге, поперек грязных колеи, лежало распластанное тело. Это была девушка с широко раскинутыми руками, в изорванном насквозь мокром от дождя и облепившем тело лиловом платье. Череп ее от лба и почти до затылка был рассечен, откинутая светлая коса — втоптана в колею. Верхняя половина лица — уцелевшая часть лба, закрытые глаза, переносица — все было черно от запекшейся и загрязненной крови. Но начиная от ноздрей — очень тонких линий, приподнятой над ровными зубами молодой губки до подбородка и красивой шеи — все это было чисто и как-то особенно мягко, как у спящей, которая, кажется, вот-вот глубоко вздохнет.

Кирилл глядел на убитую выросшими недвижимыми глазами. Необъяснимо отчетливо в ее подбородке и шее, запыленных светящимися каплями дождя, ему виделись подбородок и шея Аночки, когда она, слушая, откидывала голову чутким поворотом.

Он расслышал всполощенный гай и визг вылетевшей из-за церковных куполов стаи галок и встрепенулся всем существом.

Площадь опустела. Красноармейцы, смешавшись в общую массу, бежали по большой улице между редко расставленных изб.

До сих пор Кирилл сверял происходящее с теми заданными в уме действиями, к которым себя готовил. Теперь поднялось в нем до полного господства единственное стремление уничтожить и уничтожить всех, кто отвечал за кровь распластанной на грязной дороге девушки. Он сорвался с места и полетел вдогонку за своими бойцами.



Стало очевидно, что засевший в Репьёвке заслон мятежников бежал к южному холму, в надежде рассеяться по кустам. В одиночку люди стали показываться на склоне, отстреливаясь и торопясь скрыться. Но преследование велось беспощадно.

Кирилл, пробежав село и очутившись на проселке, увидел, как один из бандитов — в неподпоясанной рубаше и простоволосый — кинул ружье, поднял руки, но в тот же момент свалился наземь. Вслед за этим и другие начали поднимать руки, а стрельба наступавших не прекращалась, и Кирилл тоже стрелял, не разбирая — бросали оружие те, в кого он бил, или отстреливались.

К этому времени со стороны леса уже катился то слитный, то прерывистый шум боя, и по отдаленности огня можно было заключить, что фланг Дибича начал действовать.

Отдышавшись после почти непрерывного бега и придя в себя, Кирилл приказал братья сляющихся в плен. К нему подвели первую захваченную пару парней. Он встретился с их наполненными ужасом и жалкими глазами и тотчас отвернулся.

— Мионовцы? — выговорил он, не в силах разжать зубы.

— Не-е! Зеленые, — вместе ответили они со страшной поспешностью, чтобы скорее утвердить победителя в том, что ранг их банды самый захудалый.

— Сколько вас всего штыков?

— Меньше сотни не намного.

— Пулеметы?

— Один «максим».

Выделив охрану для пленных, которых продолжали приводить, Кирилл дал приказание собраться и построиться, хвалынцам — отдельно. Не спрашивая, он по наличному составу хвалынцев понял, что эту маленькую группу отделили от отряда для поддержки захвата Репьёвки. Среди них не было потерь. В строю у Извекова не досчитывались семерых. Санитар доложил, что четверем легкораненым сделал перевязку, и перечислил их на память. Стали называть по фамилиям убитых, и Кирилл удивился одной из них: Португалов.

— Который это, Португалов?

— Белоусый. Он один с такими усами.

— Здоровый малый? — спросил Извеков, сразу припомнив своего соседа по цепи, с таким спокойствием крикнувшего, чтобы целили по коноплям.

Кирилл неистово выругался и погрозил туда, откуда доносилась стрельба.

— Дело не кончено, — крикнул он, обращаясь к строю. — Месть за наших товарищей!

Он скомандовал итти за собой.

Молчаливо, не в ногу, прошли селом с затворенными у всех дворов воротами и с мертвыми окошками изб. Несмотря на то, что быстро приближались к лесной позиции, затихавшая стрельба как будто отдалялась и становилась все менее сосредоточенной. На выходе из садов встретился связной, которого Дибич выслал узнать о положении в селе. Кирилл едва начал говорить с ним, как на лесной дороге раздался конский топот, и сам Дибич вылетел из-за поворота.

Это было первое весело-оживленное, даже радостное лицо, какое увидел Кирилл за время боя.

— Вы что, на подмогу? Ну как у вас? Готово? Поздравляю! — разгоряченно и без пауз крикнул он, осаживая лошадь. — Есть потери? Ах, чёрт! Пленные? Сколько взяли? А мои ловят негодяев по лесу. Здоро-

во мы их зажали! Вожака прикончили. Пулемет захватили. Всё, как по-писанному!

Глядя на Дибича и не успевая отвечать, Кирилл неожиданно для себя тоже увидел, что все выполнено, как по-писанному. Ему только тут стало ясно, что происходившее вовсе не было нарушением плана, а было предельным беспокойством и желанием, чтобы план не был нарушен.

— А почему вы не верхом? Где лошадь? — продолжал расспросы Дибич.

— Хорош бы я был, если бы верхом повел в атаку по полю, — сказал Кирилл.

— Ах, верно! Я совсем окосел! — засмеялся Дибич. — Вы вон как себя разделили! Ползли, да?

Кирилл первый раз осмотрел себя. Грудь и живот, колени и голенища сапог были вымазаны землей, руки исцарапаны в кровь. Он не помнил, когда поцарапался, и не ощущал никакой боли.

Надо было уступить дорогу: из леса вели пленных. Снова Кирилл столкнулся с глазами, в которых искательное выражение соединилось со смертельным ужасом. В сборных отрядах, потерявшие, кроме чуть уловимых остатков, всё, что в них некогда было солдатского, люди эти тащились мрачным шествием отверженных. И вот где-то рядом с ними Извеков нечаянно схватил взгляд острый и гордый — одержимый веселым вызовом, белый взгляд. Он узнал его.

Ипат Ипатьев с другими красноармейцами конвоировал захваченных в плен зеленых.

— Могу доложить, товарищ комиссар, — выкрикнул он, не сбавляя шага. — Никон Карнаухов бился плечом к плечу, как красный воин!

— Он жив?

— Живой, товарищ комиссар.

— А! Ну, хорошо. Скажи ему, что хорошо.

Кирилл усмехнулся Дибичу, и оба поняли друг друга.

— Обращенный! — сказал Дибич, тоже улыбаясь.

Они договорились о дальнейших действиях, и Дибич ускакал..

Через день в Репёвке состоялись похороны жертв мятежа. Банда вкуче с сельскими кулаками перед отходом в лес учинила расправу над заложниками — председателем волостного совета, продовольственным комиссаром, прибывшим из города, и учительницей — той девушкой, труп которой остановил Кирилла на дороге, во время атаки. Вместе с ними хоронили павших в бою красноармейцев.

Восемь прямых, как ящики, гробов, сколоченных из неструганых досок, стояли на церковной паперти — самом высоком месте, хорошо видном для всех. Собралось много народу из окрестных деревень, да и Репёвка опомнилась после грозы — со всех дворов вышли на площадь люди, и кучки детей, перешептываясь, с любопытством сновали в толпе.

Было очень ветрено, дождь переставал и снова принимался. Красное знамя, склоненное над открытыми гробами, тяжело покачивалось. Чем-то осенним веяло от березок и пахучих сосновых веток, которыми украсили паперть. К украшениям этим крестьянские девочки прибавили бумажные кружева, вырезанные из старых газет — желтой оберточной бумаги — и набитые вокруг гробов.

Кирилл одно время долго смотрел на приподнятый тонкий подбородок убитой девушки. Лицо ее тянуло к себе, он должен был повернуться, чтобы не видеть его, и поднял глаза. Бурые тучи мчались низко, словно приземляя небосвод на окрестные холмы. Село казалось опущенным на дно громадного котла, исторгнувшего кверху клубы дыма.

Кирилл должен был открыть митинг, и опять пробежал взглядом по гробам. Ветер шевелил белыми усами Португалова, и спокойное лицо солдата будто хотело улыбнуться.

Стало очень тихо, когда Кирилл проговорил первое слово — «Товарищи». Но несмотря на тишину, он почувствовал, что его не слышат. Впервые он не мог совладать с голосом. И вдруг ему сжали горло слезы.

Потом гробы были подняты на плечи, и толпа двинулась с пением на другой конец площади, к приготовленной братской могиле. Три ружейных залпа ударили в небо, опять испугнув позабывших недавнюю тревогу птиц. Лес, не спеша, ответил на салют рокотом эха. Народ открыл головы.

Часом позже хвалынцы провели селом пленных, построенных в колонну. Их пропустили мимо себя сидевшие на конях Извеков с Дибичем.

Пленные успели подтянуться. В осанке больше сквозило то общесолдатское, что делало их чем-то похожими на своих конвоиров. Шаг их говорил, что наступило покорное изнеможение духа, но ужас смерти миновал.

Появившееся в них сходство с красноармейцами словно обидело Кирилла, и лица пленных попрежнему отталкивали его и наполняли тоскливой злобой. Сжав брови, он следил, как колонна вышла из Репьёвки и потянулась проселком к большой дороге, в город. Потом он повернул лошадь и, не сказав ни слова Дибичу, отъехал прочь: предстоял еще суд над репьевскими кулаками.

## 27

Выкупанная дождями окрестность казалась невиданно яркой в тот солнечный день, когда Извеков с Дибичем выступили по большаку на север.

Осенние краски уже заметно вкрапились повсюду, но еще не перешили общего землисто-зеленого фона. Трава оживилась после мокрых дней, вдруг по-майски налившись изумрудом. На ее сверкающих лужках особенно выпукло виднелись желтые лапы кленов. На черемухе одиноко вспыхивали от солнца прозрачно-малиновые, повисшие, как капли, листья. Перерытая земля огородов была лиловая, а рядом с ее устало-спокойным цветом буйно отливали перламутром кудлатые гряды капусты.

Все эти отдельные пятна потерялись в неудержимом размахе пространства, едва Кирилл взял подъем изволока и, сидя в седле, оглянулся назад.

Слева уплывали вдаль береговые кряжи, вперемежку голые и курчавые, которыми начинались меловые Девичьи горы, уходившие на юг, к Вольску. За ними кое-где горела Волга. Справа дубравились угольники и овалы чернолесья, чем дальше по материковой возвышенности — тем более темные, загадочные, как бор. Внизу, чуть в сторону от большака, расстелилась Репьёвка, обернутая в слитную зелень садов.

При виде этого сельца, угнездившегося среди живописного сожительства холмов и перелесков, в сияющей чистоте утра и в такой тиши, что за версту слышно было кукареканье петухов, Кирилл нечаянно для себя застыл. Не поддавалось никакому уразумению, что в этом селе, будто нарочно созданном для вечного мира, только что пронесся кровавый ливень, ужаснувший тех, кого он застиг, и что сам Кирилл должен был окунуться в этот ливень.

Он сидел в седле неподвижно, опустив удила, и казался себе очень маленьким перед лицом пространства, которое невозможно было сразу окинуть взором, и перед тем громадным по значению событием, в котором участвовал трое истекших суток. В эту минуту он отдавал себе ясный отчет, что в охватившей Россию гражданской войне событие где-то под Хвалынском обречено на безвестность и затеряется в общей памяти, как затерялась Репьёвка на карте земного шара. Но он так же отчетливо понимал, что это событие, обреченное на безвестность, составляет неотъемлемую тысячную часть из той тысячи частей, из которой слагается история. И, рассуждая так, он одновременно чувствовал, что ничтожное для подавляющего большинства людей событие в Репьёвке для него выражает сейчас неизмеримо много, как бы заменяя собою ход истории, и он не в силах во всей глубине уразуметь это событие, как не может сразу охватить взором все пространство, перед ним раскрывшееся с холма. Неожиданно вспомнил он поговорку: войну хорошо слышать, да тяжело видеть.

Он медленно отвел глаза от Репьёвки. К нему шагом подъезжал Дибич.

— Какое спокойствие вокруг, а? — сказал Кирилл, чтобы отвлечь себя от того, что видел в Репьёвке, и все продолжая думать о ней.

— Чудо! И ведь с каждым шагом я ближе к дому, — обрадованно ответил Дибич, придержал лошадь и тоже оглянулся назад.

По большаку, наклонившись и тяжело сгибая колени, поднимались изломанным строем красноармейцы. Это был небольшой отряд, человек в пятнадцать. Уже стало твердо известно, что нигде в уезде не возникло какого-нибудь непрерывного фронта, но что малочисленные шайки из числа разбитых на Суре мироновцев пробираются к Волге и производят налеты на деревни, угрозами и обманами увлекая крестьян к бунтам. Поэтому рота Дибича была поделена на отряды, которым ставилась задача очистить ближайшую окрестность от шаек. Рота должна была затем соединиться в Хвалынске, куда направлялся и отряд во главе с Извековым и Дибичем, сохранявший значение центра для всех разбросанных групп.

Отойдя верст на пять от Репьёвки, отряд свернул с большой дороги на проселок. Путь пересекали овраги, заросшие кустарником и буерачным лесом. Там, где тянулись участки чистого леса, дорожные колеи были бугорчаты от выпиравших на поверхность корней борového дуба, и бугры мешали итти.

К ночному привалу красноармейцы притомились, кое-кто заснул, не дожидаясь ужина. Ипат с Никоном раздували костер. Мальчуганы из деревни, возле которой остановился лагерь, сначала издали, потом все решительнее подступая, следили за тем, что делалось. Винтовки, составленные в козла, не давали их любопытству покоя.

Кирилл лежал на траве, закинув руки под голову. Серые вершинные сучья водяного дуба чередовались с сосной, стрельчатым тыном иззубрившей закатное небо. Пахло грибной сыростью низины.

Вдруг насторожившись, Ипат бросил возню с костром.

— Слыхали?

Кирилл вслушался, но ничему не мог внять, кроме плавного мычанья пригнанного на деревню стада. Ипат с задором подмигнул:

— Сейчас он у нас заговорит!

Он встал, прижал ко рту ладонь, и на нутряной, необыкновенно высокой ноте завыл. Скатываясь исполволь книзу, вой становился все сильнее, в то же время как-то противоестественно уходя в самого себя, точно заглатываемый животом, пока не перешел в басистый страш-

ный рык. Ипат побагровел от усилия, глаза его вылезли из орбит и, налитые кровью, заискрились в зрачках. Он оборвал рык отвратительным звуком, похожим на рвоту.

Одни красноармейцы спросонья вскочили и забранились, другие начали смеяться. Какой-то мальчик выкрикнул с восторгом:

— Эх! Вот матерущий!

Ипат погрозил ему, и потом, как регент, махнул растопыренными пальцами на своих товарищей, чтобы притихли.

Минуту спустя далеко в лесу повис ответный вой, почти с точностью на той ноте, с которой зачал подвывать Ипат. И так же, но словно еще отвратительнее наполняя весь лес перекатами рыка, вой оборвался на судорожном извержении звериного нутра.

— Сама старуха, — важно и снисходительно проговорил один из мальчуганов.

— Ага, это она, — подтвердили другие.

— Видать, много у вас их развелось? — спросил Кирилл.

— Поди-ка, сосчитай! Целый выводок на натёке держится.

— Далеко? — нетерпеливо спросил Ипат.

Взгляд его перебежал с Кирилла на детей, потом на тот клин леса, где будто еще раскатывался волчий голос, и опять на детей, и снова на Кирилла. Он совсем забыл думать о костре, и в лице его появились несовместимые выражения рассеянности и сосредоточенности. Важный мальчик толково ответил:

— Рядом. Сейчас за опушкой буровичник — буровика растет, а за ней — натёк: лесные ручьи растеклись. Там и волчишня, на натёке на самом.

— А что, товарищ комиссар, с утра облаву не разрешите поставить? — беспокожно спросил Ипат. — Весь выводок возьмем. Прибылые щенки теперь подросли, крупные будут. А может и переярки за матерью ходят. Я с ребячьих лет волчатник.

Мысль эта тотчас вызвала страстное оживление. Все разом заговорили, что, конечно, дело плевое — взять выводок, что надо только хорошенько обмозговать, как расставить стрелков, да побольше собрать загонщиков. Нашлись и кроме Ипата охотники, которым доводилось бывать на облавах, или такие, которые явно подвирали и хвастали, так что мигом вспыхнул спор, перебиваемый рассказами о разных случаях на волчьих охотах.

— Что ж, ваша деревня многих овечек не досчитывается? — опять спросил мальчиков Кирилл.

— И-и-и! Овцы да гуси — что! Как начали выгонять сютину — корову зарезали! Потом нашли рога да два копыта. Все косточки расташили.

— Почему же вы их не перебьете?

— Палками, что ли?

— А ружьишек в деревне нет? — невинно спросил Дибич и взглянул на усмехнувшегося Кирилла.

— Были. Да весной отобрали, и дробовики, и винтовки. После чапанного бунта.

— Разве у вас чапаны были?

— Нет, у нас нет, мы советские, — отозвались парнишки в несколько голосов.

— У нас не чапаны, у нас азямы, — сказал важный мальчик, и все его приятели заулыбались шутке.

— Правда, — сказал опять с нетерпением Ипат, — разрешите, товарищ комиссар, наутро обложить. Я бы сходил, повабил, определил бы ихнюю точку нахождения.

Кирилл, посмотрев на Дибича, увидел, что и командиру тоже хотелось бы попытать счастья на охоте — он так же, как красноармейцы, глядел вопрошающе, в ожидании согласия.

— Нет, придется отложить, — сказал Кирилл так, чтобы все услышали. — У нас, товарищи, есть дело, которое не терпит. Облава нас задержит. Отвоюем, тогда уж поохотимся вволю.

— Эх! — даже крикнул Ипат и, быстро отходя в сторону, запел на весь лагерь: — Да мы их в один бы мах взяли! Тут и фокуса нет никакого! Не флачки развешивать! Не медведя на овсы ждать!

И долго еще звенело его пенье вперемежку с возгласами красноармейцев, возбужденных соблазном редкого удовольствия, каким для всех казалась возможная и напрасно упускаемая облава.

Ночь прошла тихо. Только дважды противно распорол округу тоскливый, еще более страшный, чем вечером, вой, и Кирилл, просыпаясь, различал в темноте приподнявшегося человека, который, видно, маялся и не мог спать.

Перед утренней переключкой Кирилл сразу заметил отсутствие Ипата. Но тут, один за другим, прискакали двое связанных с донесениями отрядов. Нигде в ближайших окрестностях противник не был замечен, в деревьях царило спокойствие, и продвижение шло нормально.

Приняв рапорты, Извеков с Дибичем вернулись к отряду, и к ним подбежал Ипат. Все на нем кривилось: фуражка — козырьком на ухо, пояс — пряжкой набок, на ворота нехватало пуговиц, и видно было, что он черпнул голенищами воды. Он выпалил, не переводя духа:

— Рукой подать, товарищи командиры! Вот за этими березками сейчас брусничная полянка, за ней дубняк, а там мочажина, сосонкой прикрытая сперва реденько, потом гуще. Вот в самой гущине они, как есть, и находятся...

— Постой. На поверке ты был? — остановил его Кирилл.

— Точно так. Угодил как раз, как меня выкликали, — ответил Ипат, улыбаясь виновато и хитро.

— Прыткий. Кто тебе разрешил отлучаться?

— Так я же не отлучался, товарищ комиссар. Тут рукой подать. Все равно, что оправиться сбегать.

— Смотри. В другой раз...

— Так ведь тут случай! Весь выводок у нас в руках. Жалко не взять, товарищ комиссар, а?

Ипат глядел на Кирилла белесыми своими глазами, умоляющими, полными страстной жажды действовать.

Кирилл никогда не охотился на волков. Но в Олонецких лесах, в такую красную пору осени, ему не раз, бывало, случалось побродить с крестьянами, промышлявшими ружьишком. Нельзя было с любовью не вспомнить этих блужданий по золотым просекам, с пищиком в зубах, которому доверчиво отзывались трепетнокрылые порхающие рябцы. Кирилл глянул на лес. Утро было серое, но безветренное, и словно еще краше светились на березах первые зажелтевшие концы недвижно-опушенных веток.

— Там что, болото? — спросил он.

— Какое! — воскликнул Ипат, почуяв, что дело приняло другой оборот. — Какое болото! Так себе, потное место!

— Как же ты на потном месте увяз по колено?

— Да не увяз! Оступился в оконце. Ручеек растекся, полоем таким, вода собралась в ямке, я не приметил, оступился.

— Отстанем мы с твоими волками, — по виду недовольно сказал Кирилл и перевел взгляд на Дибича.

— Нагоним да еще перегоним, — уверенно сказал тот. — Наш маршрут самый прямой, раньше всех отрядов в Хвалынске будем.

— Ну, налаживай! — отмахнулся Кирилл и слегка приструнил: — Но чтобы на все дело не больше двух часов.

— Да мы, будьте покойны, — раз-два! — с упоением вскричал Ипат и, то срывая с головы фуражку, то опять кое-как нахлобучивая ее, кинулся к обступившим его красноармейцам.

Однако наладить облаву было не так легко. Все стрелки наотрез отказались итти загонщиками, каждый требовал, чтобы его поставили в цепь.

В деревне мужики тоже упрямылись. Когда одному сказали, что мол, чудак-человек, тебе же будет хуже, если твою корову зарежут волки, он не торопясь сплюнул и ответил:

— А мою уж зарезали.

Началась торговля — кому итти.

— У кого больше скотины, тот пускай и идет, — говорили бедняки.

— Эка бестолочь, — кричал Ипат. — У кулака убудет — ему не страшно, а ежели у кого одна скотина, с чем он останется?

— На трудловинность положено брать сперва зажиточных, пускай они идут первые и в облавщики.

Вспомнили, что в прежнее время охотники всегда выставляли загонщикам вина. Но тут красноармейцы обозлились: они сами бы не прочь выпить, и — по справедливости — им надо бы поднести за то, что они перебьют зверя, а у мужиков, поди, полны жбаны самогона!

Только ребятишки рвались наперебой в дело, но и здесь не обошлось без раздоров и даже без плача: одних охотники взять соглашались, другим, по малолетству, итти запретили.

Наконец обе партии были готовы — человек до тридцати загонщиков, с палками в руках, и четырнадцать стрелков. Ипат обратился к ним со степенным наставлением:

— Операция будет, стало быть, такая...

Его выслушали, не прекословя. Он брал на себя расстановку номеров, а Никону поручал руководить загонком.

Партии, выступив и миновав березняк, разбились, и охотники пошли влево, загонщики вправо, гуськом, соблюдая полную тишину.

Кирилл шел по стопам Ипата. На брусничнике кое-кто попробовал присесть, пощипать ягоды, но Ипат, обернувшись, свирепо затряс кулаком. Началось дубовое мелколесье, за ним короткая, по пояс, сосонка, которую приходилось осторожно раздвигать. Потом ступили на сырую почву, сапоги зачвакали, Ипат все оборачивался, тараща глаза, и по безмолвно прыгавшим губам его было понятно, какие избранные почтения читал он нарушителям тишины.

Вдруг на затянутой осокой плешине он остановился, пальцем подозвал Кирилла и указал на маленькие зеркальца ржавой стоячей воды в траве.

— Молодые нарыли себе колодцы, для водопоя, — прошептал он на ухо Кириллу. — Вон по краям когтями нацарапано.

Он долго прислушивался к безмолвию, накренив голову на вытянутой шее.

— Сейчас мы повабим, убедимся, где они, — шепнул он.

Опять, как вечером, он прижал ко рту ладонь и завыл. Медленно наполнял ни с чем несравнимый звук бездонные мешки и карманы лесной чаши, пока не захватил всего леса, не растекся и не исчез высоко над макушами деревьев. Долго этот мрачный зов оставался безответным. Затем, как отдаленное эхо, зародился в глубине леса и стал взбираться к небу тягучий отзыв зверя. Это взвыла волчица.

Но, странно — голос шел совсем не оттуда, откуда ждали его охотники: волчица обнаружила себя у них за спиной, вне круга, который собирались оцепить облавщики. Ипат вытянулся стрункой, напрягая слух, стараясь, в то же время, сообразить — можно ли поправить дело, и уже понимая, что оно непоправимо, если волчица увела за собой весь выводок.

Тут неожиданно заголосил впереди по-собачьему высокий лай молодых волков, рьяно и вперебой ответивших матери.

— Здесь! — почти вслух выговорил Ипат.

Он не в силах был удержать своего торжества, кровь хлынула к его лицу потоком, и он с усердием закивал товарищам, что все, мол, будет ладно.

Волки лаяли фальцетами с лихим подвыванием, все более забиячливо, и быстро приближались к охотникам, так, что многие невольно вскинули винтовки, готовясь их встретить.

— Это они на добычу: мать с добычей, — шепотом объяснил Ипат.

В этот момент Кирилл щелкнул затвором. Сухой, не очень громкий металлический треск настолько был чужд естественности природных лесных звучаний, что волки сразу примолкли.

Ипат в необычайном страхе, исказившем его белый взгляд, смотрел на виновника. Кирилл, подавленный, стоял с открытым ртом, и над бровями его заблестел пот. Казалось, минуту Ипат не знал, что делать. Потом он овладел собой и торопливо, но с крайней настороженностью начал разводить и ставить стрелков на номера.

Цепь заняла линию двух заросших просек, и на самом скрещении этих просек Ипат поставил Кирилла, а рядом — Дибича. Это было верное место: сюда вели (как он выразился) «ихние преспекты» — нахоженные выводком тропы.

Кирилла прикрывала низкорослая сосна. Он нашел в ее мохнатых ветках просвет, дававший необходимую видимость участка. Через этот подзор он стал изучать отдельные коренастые стволы редкого дуба, путаную заросль бузины и столбами подымавшися над подлеском золоченые сосны. Елок почти не было, но одна, не больше человеческого роста, лежала сваленной около гнилого пня и почему-то надолго остановила внимание Кирилла.

Смушение его прошло, хотя, нет-нет, еще возникал в памяти испуганный взгляд Ипата, и неприятно мешала мысль, что если облава сорвется, то обвинят в этом непременно Кирилла, потому что он щелкнул затвором.

Он устал держать навесу винтовку и опустил ее к ноге. Тишина была нетронутой. Желтоплёкий ремез обследовал ближнюю сосну, вьюном забираясь вверх по стволу. Пискнув, он перелетел на сваленную елку, потом умчался в чащу, и за ним погналась стайка таких же юрких птиц, вынырнув неизвестно откуда. У Кирилла похолодели промокшие ноги, он осмотрелся — нельзя ли присесть.

Тогда беззвучие пересек далекий выстрел, который будто раздвоился на вздох и присвист, и вздох глухо побежал от дерева к дереву, а присвист удальски махнул в поднебесье.



Неспеша и неровно, точно закапываясь в глубину бора, а потом всплывая к его вершинам, занялись вопли, непохожие на людские. В первую за тем минуту можно еще было уловить визги мальчишек, звонкое улюлю мужиков. Но все быстрее, быстрее гиканье, свист, крики, стук палок по деревьям срастались в сплошной вал неподобного гула.

— Улю-у-у-у-ууу!..

Загонщики всей лавой двинулись на стрелков.

Тотчас как сигналом разнесся выстрел, Кирилл поднял винтовку и, принагнувшись к своему подзору, начал остро разглядывать вдруг точно подмененные новыми кусты подлеска. Всякий сучок, всякий лист сделался изумительно отчетлив, и словно озадаченная неподвижность деревьев была несвязуема со страшным зыком, ломавшим воздух. Чудилось, будто корчуют сразу весь лес, и выдираемые из земли корни и сама земля стонут и вопят от боли.

Упал одинокий выстрел в цепи.

Стон на секунду чуть ослабел, но сейчас же набрал еще больше отчаянной силы. Кирилл слышал, как в теле его сжалась каждая мышца. И вдруг его словно окатило изнутри студеной водой: справа по цепи, там, где прозвучал одинокий выстрел, открылась беспорядочная пальба.

Было похоже, будто дети захлопали по лопухам свистящими прутьями. И каждый удар по лопуху ожогом отзывался на Кирилле. Он все больше давил прикладом в плечо и смотрел, смотрел перед собой, боясь моргнуть глазом, так что веки защипало солью выступивших слез.

Тогда под сваленной елкой, которая уже привлекала его внимание, под самой звездочкой ее верхушки, мелькнуло светлосе пятно. И тут Кирилл как будто оглох: не стало мигом ни шума загонщиков, ни стрельбы винтовок — весь мир вместился и замер в этом пятне.

Лобастая, с широко расставленными куцыми ушами морда волка выглядывала на просеку отливавшими черным лаком глазами. Вобрав голову в приподнятые лопатки, зверь чуть заметно крался.

Внезапно он дал легкий прыжок, растянув плавное тело над елкой будто перелив себя через нее.

Прицел был взят Кириллом до этого мгновенья, но палец нажал на спуск в самый момент прыжка. Волк взвизгнул вместе с выстрелом. Еще находясь в полете скачка, он рванул головой к задней ляжке, словно огрызаясь на преследователя. Потом он упал. Дважды он схватил себя за ляжку, и вырванные клочья шерсти разлетелись от его хрипучего дыхания. Он пополз влево от Кирилла, часто перебирая передними лапами и волоча раненый зад. Иногда он по-щенячьи южал.

Кирилл видел, что подранок может уйти, и готов был ко второму выстрелу. Но пока волк переползал просеку, было рискованно стрелять, потому что где-то совсем близко стоял на своем номере Дибич. Этой короткой нерешительности было достаточно, чтобы волк выполз из круга за линию стрелков. Он скрылся в кустах.

Все чувства Кирилла сразу после выстрела ожили и горячо заработали опять. Пальбы уже не было, крики загонщиков утихали. Он сошел с номера и кинулся догонять волка. Он увидел сквозь листву его шубу и расслышал рычанье. Волк сидел, упершись выпяченными вперед лапами. На спине его топорщилась черная ость вставшей шерсти. Отвисший лиловый язык и пасть были облеплены светлым пухом.

В секунду, когда Кирилл разглядел эту облепленную пухом пасть, треснул выстрел, и Кирилл, почти не целясь, со вскидки, тоже выстре-

лил. Голова волка сделала поклон, и он как бы с осторожностью лег набок.

Все было кончено. И, однако, Кирилл не двигался с места.

Сойдя с номера, он нарушил правило. Дибич мог видеть подранка и стрелять по нему, не замечая подходящего Кирилла. Это была опасность. Предупредить ее можно было только немедленным выстрелом, хотя торопиться было излишне, потому что волк уже сел, явно не в силах уйти далеко. К тому же выстрел отпугнул бы других волков, которые еще могли выйти на прочие номера. Но к опасению, что Дибич выстрелит, не видя Кирилла, прибавилась боязнь, что кто-то другой добьет подранка и возьмет трофей. Надо было стрелять!

Только теперь, после того, как волк был убит, Кирилл стал вникать во все эти молниеносные соображения, толкнувшие его к выстрелу. И только тут он вдруг понял, что мимо всех соображений его толкал подсознательный страх перед раненым, смертельно ожесточенным зверем. И едва он признался себе в этом страхе, его охватил стыд, и он почувствовал, что все его тело залито жарким потом.

— Ну как? Готов? — услышал он оклик Дибича.

В голосе этом было столько счастливой гордости, что Кирилл напугался: а что если подранок прикончен вовсе не им, а Дибичем? Ведь первым-то стрелял Дибич!

— А у вас есть? — вместо ответа спросил он, все еще не двигаясь.

— Е-е-есть! — так же гордо отозвался Дибич, и Кирилл услышал неподалеку шелест раздвигаемых кустов.

Тогда он сорвался с места и подбежал к своей добыче. Слыша, как колотится сердце, он с дикой радостью ухватил волка за ухо, приподнял его толстолобую полупудовую голову и бросил оземь.

— У-у-ух, не-чи-стый! — гудел он упоенно, то расталкивая волка ногой в мягкое, пустое брюхо, то будто одобрительно теребя колючий мех его загривка.

Дибич вышел из зарослей, сияющий, быстрый, взял зверя за заднюю лапу и повернул с боку на бок.

— В окорок угодили? А я — слышали? — с одного выстрела под лопатку!

— Так ведь у меня как вышло, — воскликнул Кирилл и неудержимо-пылко начал в подробностях объяснять, как выстрел совпал с прыжком волка, как волк стал уползать и как пришлось его добить. Он только не сказал, что стрелял по сидячему зверю.

Несколько загонщиков приблизились на голоса и с любопытством обступили добычу. Один из них — с кровоточащей царапиной поперек щеки и с разорванным рукавом — мазнул пальцем по щеке и, показывая кровь, проговорил:

— Оборвались все об сучья. Одними спрысками не обойтись вам, товарищи.

— Радоваться надо, что покончили с чертягами, — весело сказал Кирилл, награждая волка добрым пинком сапога.

— Оно, кому радованье, кому что иное, — ответил загонщик, пробуя приладить рванье на рукаве и потом сощуриваясь на Кирилла: — Чуть не упустили, выходит, волчонка-то? Далеконько за линией стреляли...

— Почему упустил? — сердито остановил его Кирилл, и опять принялся повторять сначала все, как было. Жар его не спадал, а все больше распался.

Сломав молодую сосну и оборвав ветки, загонщики проделали жердичку между связанных лап волка и понесли его на плечах. Кирилл шел

позади, с чувством триумфа поглядывая на волчью морду, черным носом бившую об землю, и говоря, говоря краше и краше все подходившим из леса загонщикам об удивительном первом своем выстреле и по-малкивая о втором.

Было взято четыре волка-перейрка. Их свалили в кучу. Похожие друг на друга, как могут быть похожи только близнецы, они лежали в своих наполовину уже зимних шубах, изжелта-серые, в черноватых подпалинах по хребтам и лапам, со светлым подшерстком снизу и с боков. Глаза у них были крепко зажмурены, будто, издыхая, все четверо противились взглянуть на белый свет.

Когда окружившие их кольцом стрелки и загонщики разобрались, кто и как убил своего волка, раздался чей-то насмешливый вопрос:

— А что ж Ипат? Пустой?

Огляделись — туда, сюда: Ипата не было. Стали звать — никто не откликнулся. Начали спорить — где Ипат стоял. Никто толком не знал, потому что он разводил по номерам, а где сам стал — никому невдомек было полюбопытствовать. Даже тот, кого он поставил на номер последним, не помнил, куда затем Ипат пошел: как будто направо, а может и налево. Заспорили и о том, кто первый выстрелил в цепи, когда двинулись загонщики. Каждый уверял, что первым стрелял кто-то другой.

— Да зачем вы пальбу-то подняли? — спросил Дибич. — Припаса извели — хватило бы на оборону целого взвода. Охотнички!

— Мы, товарищ командир, беглым огнем, чтобы наверняка!

Тогда выступил перепуганный Никон и сказал, что, по его мнению, стрельбу открыл Ипат.

— Как мы, послы моего сигнала, погнались, так вскорости я слышу — раз! — жигануло и вроде сразу хлипнуло. Ишь, думаю, — Ипат: у него ружье с хлипом. Он еще мне говорит наемни, что мол у ружья ствол простуженный, с трещинкой. Он стрельнул, а погода ребята по-ошлись палить по всей цепи! Ипат с краю бил, с самого фланга.

Пререканья так встревожили Кирилла, что почти не осталось следа ни от чувства триумфа, ни от неловкости за какую-то конфузную промашку, ни от стыда за мимолетный страх. Он будто впервые понял, что один отвечает за всю охоту и за все, что бы ни случилось с Ипатом. Да не с одним Ипатом. Он был тем сознанием, которое взяло на себя ответственность за каждого человека — от Дибича до последнего деревенского мальчугана, ради забавы увязавшегося с облавщиками в лес.

Нарядив красноармейцев пройти всей линией, которую занимали стрелки, Кирилл взял с собой Никона и направился туда, где — по догадке — мог стоять Ипат. Они осмотрели множество укрытий в кустах, какие могли привлечь охотника, они кричали, они прислушивались к далеким голосам товарищей, наконец вернулись назад и встретились с теми, кто ходил искать вдоль просек. Ипата не нашли.

Загонщики подняли на плечи трофеи, и за ними двинулась вся вереница людей.

По пути Кирилл сказал Дибичу:

— Неужели его могли невзначай пристрелить? Ведь бывалый парень. Немыслимо!

— Я думаю другое, — ответил Дибич. — Не встретит ли он нас сейчас в деревне?

Кирилл остановился от недоуменья.

— Не удрал ли Ипат от позора: выставил себя первейшим волчатником, все сам затеял, а как раз у него добыча ушла между пальцев!

— Ну, это слишком тонко, — убежденно возразил Кирилл, и все-таки задумался, и чем ближе подходили к лагерю, тем больше обнадеживала его высказанная Дибичем мысль.

Однако в деревне ожидало разочарование — Ипат не возвращался. Так же скоро, как разлетелась весть, что красноармейцы перебили выводок волков, крестьяне узнали об исчезновении на охоте одного стрелка. Невозможно было выступить в поход, не разыскав пропавшего, и Кирилл, после совещания с Дибичем, снова отправил в лес поисковую партию.

Время подходило к полдню. Кирилл сидел в избе у растворенного окна, дожидаясь обеденной похлебки. Слышно было, как озорничали ребяташки вокруг сваленных под сараем волков да люто брехали на звериный дух попрятавшиеся собачонки. Что часто случается бабьим летом, с утра затянутое небо днем стало веселеть, и мягкое солнце без теней осветило землю.

В эту минуту Кирилл рассмотрел троих путников, вышедших из леса по дороге в деревню. Они шли в ряд нескорой походкой. У одного был в руке узел, двое других несли на плечах мешки. Когда они немного приблизились, сделалось видно, что позади выступает еще один человек, которого передние собою все время заслоняли. Потом можно стало различить, что человек с узлом что-то прижимает свободной рукой к груди и, видимо, ему это неудобно, потому что он кособочит.

Уже неподалеку от деревенской улицы трое передних расступились, обходя рытвину, и Кирилл увидел, что четвертый человек, отставая шагов на пять, держит наперевес винтовку. Почти тотчас Кирилл высунулся за окно, узнав в человеке с винтовкой Ипата.

Не отрывая своих издалека белеющих глаз от конвоируемых людей, Ипат ступал жестким шагом, чуть вразвалку. Ружье вздрагивало у него в руках, отвечая шагу.

Кирилл вышел на крыльцо избы. Крестьяне и красноармейцы собирались у открытых ворот, молчаливо ожидая пришельцев. Мальчишки вбежали с улицы во двор, оборачиваясь и наступая друг другу на пятки.

Когда Ипат ввел подконвойных в ворота, он по-солдатски выступил вперед и взял винтовку к ноге. Через его распахнутую гимнастерку виднелась блестящая от влаги грудь, удивительно светлая рядом с медно-алым загаром лица. Рапорт его звонко прозвучал на весь двор:

— Принимайте, товарищ комиссар. В лесу мной задержанные неизвестные численностью три человека. Один названный неизвестный раненый в оконечность при попытке от меня к бегству.

Двое арестованных были преклонных лет. Бородатые, довольно испытые, они казались очень усталыми, и оба, как только остановились, бросили наземь запачканную поклажу — холщевой мешок и перехваченный веревкой тюк. Третий тоже опустил свой небольшой узел, с трудом нагнувшись и сразу подхватив замотанную окровавленной тряпкой руку. Приподняв эту раненую руку повыше, он затем снял кепку, вытер ладонью мокрую, совершенно лысую голову и поправил съехавшие с переносья очки.

И как только он обнажил лысину и сквозь очки глянул вверх, чтобы рассмотреть на крыльце возвышавшегося комиссара, Кирилл поднял брови, откачнулся и крепко прислонился к косяку плечом.

Лысый же продолжал глядеть на него через очки в металлической тонкой оправе, нисколько не изменившись в лице, а только опять подержав снизу раненую руку.

— Поставить к ним караул, — тихо приказал Кирилл. — И обыскать.

Происшествие, о котором Ипат доложил Извекову, рисовалось так. Заняв крайний в цепи охотников номер, Ипат начал приглядываться в ту сторону, откуда, в ответ на подвыванье, долетел голос волчицы. Он рассчитывал, что она должна выйти на лай молодых волков, и не ошибся. Наверно почуяв неладное в том, как оборвался лай, она пробиралась к логову с большой осторожностью, однако подошла близко к линии стрелков. Едва разнесся крик загонщиков, она метнулась назад, и тут Ипат заметил ее и выстрелил. Взять старого зверя ему было лестно. Он махнул рукой на облаву. Он обнаружил кровь на кустах там, куда стрелял, и побежал по следу ушедшего подранка. По мере отдаления от места облавы, следы крови попадались все реже, пока совсем не потерялись. Но Ипат упрямо продолжал искать. Давно уже притих лес после гая облавщиков, а он все рыскал, забираясь в самую чащобу. И вот в густой поросли лещины глаз его поймал пятно, которое он принял сперва за настигнутую цель, и чуть было не выстрелил. Но пятно оказалось мешком с кладью, рядом лежали узел и тюк, а за ними, скорчившись, прятались люди. Ипат заставил их вылезти, забрать пожитки, и повел арестованных лесом, крепче сжав винтовку и отвечая на прекословья единственным оправдавшим себя в веках афоризмом: «там разберут!» Пока он сообразил, в каком направлении следует идти, утело порядочно времени. Один из задержанных, когда проходили мимо лесного буерака, кинулся под откос. Ипат разрядил в него ружье, ранил в руку выше кисти и угрозой нового выстрела принудил выбраться из оврага. Он дал беглецу перевязать рану рубахой, которую тот извлек из своего узла, и после этого весь марш до деревни продолжался без приключений, — выглянувшее солнце довело Ипата, куда надо.

Перед тем, как арестованных посадили в амбар, Кирилл велел задать им вопрос: откуда они идут и далеко ли держат путь. Они ответили, что все трое идут из города Хвалынска в заволжье. Выслушав Ипата, Кирилл принял решение доставить арестованных в Хвалыньск, но сначала дознаться об их намерениях. Он велел привести в избу того из этой тройки, кто назовется хвалынским старожилом. Дибичу он ничего не сказал о своем замысле, но просил присутствовать на допросе.

Степенного вида бородач, в шерстяном платочке вокруг шеи, заправленном под глухой ворот сильно ношенного пиджака, сказал Кириллу о себе, что он — из хвалынских мешан, что у него за Волгой, на малом Иргизе, родственники, и он направляется к ним. На вопрос — зачем он прятался со своими спутниками в лесу, он ответил, что все трое испугались шума и стрельбы и думали отсидеться, а лесом шли для сокращения дороги. Когда Кирилл начал допытываться, кто же эти спутники и давно ли старику они известны, тот сказал, что они в Хвалынске люди новые, но он с ними знаком, и один из них даже стоял у него на квартире.

— Это который ранен, да? — спросил Кирилл.

Нет, раненого старик знал мало. По фамилии он Водкин, в Хвалынске поселился года два назад, родом будто пензенский, владеет садочком, купленным по приезде.

— У вас, значит, после революции поселился?

— Словно бы после. А может и в войну.

— Ну, вы собрались к своим родственникам. А у попутчиков ваших тоже на Иргизе родня?

По словам старика, попутничество было довольно случайно: он и его квартирный постоялец вознамерились податься на Иргиз потому, что

там спокойнее, а Водкин присоединился к ним в расчете вывезти из заволжья две-три семьи пчел — тамошняя пчела славится. Знал же он Водкина потому, что тот приходил к нему менять на очках оправу (старик немного ювелирничал).

— Прежде он золотые носил очки-то? — спросил Кирилл.

— Помнится, будто золотые.

— Кто же ваш постоялец?

Постояльцем у старика был человек православного исповедания, приехавший в Серафимовский скит, с желанием принять впоследствии монашество, но пока не нашедший там пристанища из-за тесноты. Братия очень стеснена — народу притекает все больше, а скиток маленький. Фамилия этого человека — Мешков.

— Саратовец?

— Да, оттуда.

— Зовут не Меркурием Авдеевичем?

Дибич, чутко следивший за разворотом дела, не мог бы определить — кто в эту минуту был больше изумлен — старик ли, услышав вопрос, или Извеков, получив утвердительный ответ.

Кирилл сидел неподвижно, точно ему требовалось крайнее усилие воли, чтобы возвратить себя из бесконечной дали к тому, что находилось перед его взором. Потом он велел увести старика и заметил Дибичу:

— Я думал, в этой троице у меня найдется один старый знакомец. А выходит, кажется, двое. Странно.

— Что это за антик такой — Меркурий?

— Попросту русский Меркул... Посмотрим, посмотрим, — опять задумался Кирилл.

Ввели Водкина. Он раскачивал туловищем, прижимая руку к груди.

— Нельзя ли показать меня фельдшеру? Рана не дает покоя, — сказал он, опускаясь на скамью.

Кирилл долго глядел на него. Это был человек на шестом десятке, с примечательной головой — сдавленная с боков, она сильно выпиралась вперед лбом, а на затылке, очень похожем на отражение лба, имела математическую шишку. Желтоватые ресницы ободками вычерчивали пристальные, недовольные глаза.

— Санитар перевяжет вам руку, — ответил Кирилл после молчания. — Почему вздумали бежать, когда вас задержали?

— Решил, что попал к бандитам.

— Со страха, значит?

— Да. Рассказывают, сюда стали забредать из соседнего уезда какие-то мироновцы.

— Как же вы отважились на путешествие, когда кругом эти страхи?

— Нужда. За Волгой обещали пару ульев. Я пчелками занимаюсь.

— Ах, пчелками? И давно?

— Не очень. На старости надо чем-нибудь промышлять.

— Чем же раньше изволили промышлять?

— Я был ходатаем по делам в Наровчате.

— По судебному ведомству, стало быть?

— По гражданским делам, частный ходатай.

— Только по гражданским? — немного выждав, поинтересовался

Кирилл.

— Исключительно.

— Документа у вас никакого не найдется?

— Вам не передали? У меня сейчас при обыске отобрали.

— Паспорт?

— Да. Бессрочный паспорт.

— Что же в нем обозначено?

— Вы бы посмотрели. Ничего особенного. Уроженец города Пензы. Сын личного гражданина. Место жительства — Наровчат. Род занятий — писарь. Я начинал писарем, так и проработал.

— Значит, до Хвалынска в Наровчате проживали?

— Почти всю жизнь.

— А в Саратове не жили?

— В Саратове не бывал. В Симбирске, в Самаре—случалось. В Пензе, конечно. В Москву раз ездил. Третьяковскую галерею осматривал. Живопись уважаю очень.

— По фамилии вас?

— Водкин. Иван Иванович Водкин.

— Одна фамилия?

— То есть, как? — удивился допрашиваемый.

— Я в том смысле, что бывают двойные фамилии. Одно лицо носит две фамилии.

— А-а! Бывают. Вот, родом как раз хвалынский, наполовину однофамилец мой, Петров-Водкин. Может, слышали? Известный живописец.

— Вот, видите, — привстал Кирилл, — какой удачный пример! Не наполовину, а почти полное совпадение!

— Почему совпадение? — обиженно проговорил Водкин.

— Другая-то фамилия у вашего однофамильца на букву «п»!

Кирилл насилу удерживал в голосе рвущееся наружу торжество. Водкин обнял кистью правой руки жесткую от высохшей крови перевязку и опять закачал туловищем.

— Болит? — спросил, изучая его пальцы, Кирилл.

Дибич беспокойно отвернулся к окну.

— Болит, — терпеливо подтвердил Водкин, но сейчас же еще с большей обидой прибавил: — Не понимаю вас, товарищ комиссар, о чем вы хотите дознаться. Так с советскими гражданами не поступают. Арестовали неизвестно за что, да еще, вдобавок, раненому в помощи отказываете. Это все не законно.

— Старый законник! — быстро воскликнул Кирилл. — Не сомневайтесь, санитары мы вам дадим. Закон будет соблюден. Только не тот, который блюли вы.

— Это мне не в укор. Я хоть и маленький человек, а всегда готов был постоять за правого.

— Постоять вы умели, — убежденно согласился Кирилл, все еще не отрывая взгляда от руки Водкина. — Хватка у вас была поострее, чем теперь. Вы ведь отращивали да полировали свои коготочки-то, а?

Водкин перестал раскачиваться и сокрушенно покачал головой.

— Вы хотите меня кем-то другим выставить. Или, правда, приняли за другого?

— Нет, почему же? Именно за того, кто вы есть.

С улыбкой и будто раздумьем Водкин посмотрел на свои загрязненные пальцы.

— Нынче приходится все делать, как садовому мужику. А прежде, конечно, руки чище были.

— Ну, особенно чисты они у вас никогда не были.

— Не знаю, о чем вы...

— Хотя раньше у вас, правда, было как-то все изящнее. Золотые очки, к примеру.

— Золотых я не носил.

— Ну, как так. Когда вы задумали перебраться в укромный Хвалынский, вам ведь пришлось всё менять — от гардероба до паспорта. А очки купить новые не успели. Торопились, наверно. И вот эта оправа на вас — это уже хвалынская. Но очки можно поменять, хотя и с опозданием. А голову-то не подменишь! Вот ведь какая неприятность.

Водкин развел обеими руками, забыв о ране, но тотчас, впрочем, опять прижал замотанную руку к груди.

— Вы, кажется, действительно, жестоко на мой счет заблуждаетесь, товарищ комиссар.

Кирилл вскочил, оттолкнув ногой табуретку, и нацедил сквозь зубы воздуха, готовясь крикнуть. Но, вместо крика, произнес очень отдельно и гораздо спокойнее, чем все время говорилось:

— Наши биографии переплелись довольно туго, хотя между ними... собственно, никакого сходства. Вы постарались начать мою биографию. Я вашу постараюсь закончить (он примолк на секунду и затем будто выстукал по буковке на машинке) ... господин жандармский подполковник Полотенцев.

— Боже мой, что за убийственная ошибка, — прошептал Водкин и зажал здоровой рукой лицо.

Дибич, который все время с болезненным напряжением ожидал какой-то необычайной развязки, громко ахнул и потянулся руками к Кириллу.

— Ошибки никакой, — сказал ему Извеков, пожелтевший от бледности и странно тихий. — Этот человек вполне овладел притворством. Он артист. Я его лично знаю: он некогда препроводил меня в Олонецкую губернию.

— Если вы убеждены, что это он, то... я поражаюсь вам, — торопливо сказал Дибич. — Чего вы с ним забавляетесь? Ведь не находите же вы в этом удовольствия?

— Нет, разумеется, — усмехнулся Кирилл. — Скорее, противно... И все же, честное слово, когда подумаешь, чего только не проделывали эти господа в недавние времена... да и сейчас еще кое-где проделывают, то... можно даже увлечься!

Полотенцев открыл лицо. Оно было совершенно прежним, только неяркие с желтизной бровки взбежали кверху над очками. Он сказал в каком-то слащавом разочаровании:

— Ваша слепая ошибка может мне стоить многого, я отдаю себе отчет, и тем более должен сохранить мужество, как это ни трудно. Однако если уж вы искренно принимаете меня за... жандарма! то ведь жандармы были извергами, исчадием! Как же вы... Извините, я обращался к вам, как к товарищу, но теперь, когда вы столь недоказательно обвиняете меня... (он беззвучно и как-то в нос посмеялся). Вероятно, со временем будет какое-нибудь величание, соответствующее высокоблагородию или светлости. Может быть — ваша справедливость или ваша безусловность, ну, я не знаю, хе-хе! Так вашей справедливости едва ли пристало следовать худым примерам проклятого прошлого. Всем этим исчадиям, которые позволяли себе измываться над беззащитными при дознаниях...

— Прорвало! — вскричал Кирилл, не давая Полотенцеву досказать тираду и рассмеявшись. — Старая желчь взбурлила! Помню, слишком хорошо помню, — вы были джентльмен иронический! И не без остроумия, чёрт побери, нет, нет, не без этого! Оно вас выдало не меньше даже головы с шишкой.

— Все это может показаться увлекательно, как вымысел, — скромно возразил Полотенцев, — однако несколько по-детски увлекательно.



Чересчур косвенно, на неубедительном для закона единоличном, мнимом опознании. Прямого же ничего нет. И, позвольте вас разуверить, ничего не может найтись.

— Найдется, когда мы вас доставим к месту вашего проживания. Не в Наровчат, конечно, а в Саратов. Наровчат вас только отвергнет, как Водкина. Зато Саратов примет, как Полотенцева.

— Ничего это не может дать, кроме излишних испытаний для меня.

— О, только не излишних, совсем, совсем не излишних, — с глубокой убежденностью воскликнул Кирилл.

Четверо красноармейцев во главе с Ипатом внесли в избу разобранные узлы арестованных. Ипат выложил на стол документы, деньги, чаши вороненой стали и серебряные, с ключиком на шнурке, потом взял у Никона жестяную банку, которую тот держал с благоговейным почтением, и так же благоговейно поставил ее на особом расстоянии от других вещей.

— Оружия при обыске не обнаружено, а вот издесь имеется капитальная сила, — доложил он, постукав ногтем по жестянке, и значительно оборотился к красноармейцам.

Кирилл хотел придвинуть банку к себе, но рука его остановилась на ней, и он вопросительно поднял глаза на Ипата. Ипат выпятил нижнюю губу, важно вскидывая голову: мол смотри сам, я говорю — не шутка!

Это была обыкновенная круглая банка с осетром на крышке, опоясанным надписью: «Астраханская малосольная». Однако вес жестянки оказался непомерно большим. Кирилл с одного края приподнял крышку и сразу опять закрыл.

— У кого обнаружено? — спросил он.

— В самом этом нутре, — возбужденно сказал Никон, показывая распоротую подушку, — промежду самого пера.

— Это которого вы еще не опрашивали, — разъяснил Ипат.

Кирилл повел головой на Полотенцева.

— Ты, Ипат, его привел, я с тебя за него и спрошу. Лично тебе приказываю: стой на чеку и береги, как зеницу ока.

— Я свою зеницу берегу вдвойне: она у меня одна...

Как только Полотенцева увели и оставшийся в избе Никон, с помощью другого красноармейца, взялся раскладывать на полу пожитки арестованных, Дибич шутливо мигнул на жестянку.

— Адская машина?

Кирилл подозвал красноармейцев. Все обступили его. Он открыл крышку, зажал ладонью банку и опрокинул.

На ладонь, покрыв всю ее, увесисто высыпалась горка золотых, и верхние монеты масляно сползли на стол, как зачерпнутое сухое зерно с лопаты. Он тихо вытянул из-под золота руку. Чуть звонкий шелест металла мягко держался в воздухе, пока горка, оседая, будто растекалась по столу.

— Мамынька, родимая! Тыш-ша! — ошалелодохнул Никон.

— Приданое! — протянул другой красноармеец.

— Меркурий, вот он где, Меркурий, — бормотал Дибич.

Никто не отводил вдруг выросших очей от золота, только Кирилл рассеянно смотрел на всех по очереди. Он отошел затем к окну, постоял, вернулся к столу. Вскользь, улыбнувшись, он сказал Дибичу:

— Вы не угадаете, о чем я сейчас вспоминаю. Это многое мне объясняет, очень многое...

И он дотронулся пальцами до золотых, и они с тонким звуком еще шире распространились на столе.

— Мамынька! — безголосо, одними губами повторял Никон.

Третий арестованный, когда его привели, казался совсем убитым. Весь его стан как бы тонул в костюме, который его облачал, хотя было видно, что одежда не с чужого плеча, и владелец прежде хорошо знал, что шил. Давно не стриженные волосы и борода спутались, увеличивая смятенность убогого, словно просящего лица. Но в глазах, под растрепанными крылами бровей, светился до странности тихий восторг, будто человек этот заслуженно торжествовал достигнутую справедливость, в которой не сомневался.

Глядя особенным этим взором на Извекова и вовсе не замечая золота, он сел на краешек скамьи.

— Мешков, Меркурий Авдеевич?

— Да.

— Вы давно из Саратова?

— Третью неделю.

— Погостить в эти места или на постоянное жительство?

— Полагал навсегда.

— Почему же оставили родной город?

— По своему желанию удалиться в обитель. Но прибыл, и не мог быть устроен. Келья, которую мне обещали в скиту, оказалась занятой, и я пока стоял на городской квартире.

— И, видно, не понравилась квартира?

— То есть, зачем я опять в дорогу тронулся? От беспокойства. Беспокойные вести пришли, что к Хвалынску фронт приближается. Я искал уединения старческим дням своим, и забоялся, что мечтание мое нарушится.

— Кто же ваши мечтания должен оградить в заволжье? Казаки?

— Почему казаки? — спросил Меркурий Авдеевич странным голосом, как будто сделавшим реверанс. — И в помыслах не было.

— Да ведь за Волгой-то казаки?

— Так далеко я не собирался. Меня малым Иргизом прельщали — будто бы туда война не дойдет, места спокойные. Хотя мне не очень по душе.

— Что ж так?

— Там люди больше старой веры. Квартирохозяин мой тоже кулугур. Вот и приходится раскаиваться, что дал себя смутить: эго он меня уговорил итти.

Кирилл качнул головой, показывая на золото:

— Ваше собственное?

— Да, — сказал Меркурий Авдеевич, не только попрежнему не глядя на деньги, а еще больше отвернувшись и, однако, нисколько не сомневаясь, что спрашивают именно о золоте.

— Укрытое вами от советской власти, да?

— Укрытое может быть то, что ищут. С меня никто не искал. Так что не укрытое, а сбереженное.

— Для спасения души?

— Я думал в дар принести обители.

Красноармеец, все время хмуро следивший за Меркурием Авдеевичем, неожиданно сказал:

— Что же раздумал? Кабы принес, небось, келья-то для тебя сразу бы нашлась.

Мешков смиренно оставил эти слова без внимания.

— Мы должны будем передать вас для следствия, — сказал Извеков.

— Воля ваша.

— А золото сейчас пересчитаем, составим акт, вы подпишете.

— И это в вашей воле, — бесстрастно сказал Мешков.

Он только прикрыл глаза и продолжал недвижимо сидеть на самом краю скамьи, будто присел на один миг, и сейчас встанет и пойдет. Невозможно было уловить, о чем он думал, но. — конечно — он должен был думать и о деньгах, особенно когда в избе заворковал их однозвучный лстыивый звон: Кирилл и Дибич принялись неуклюже отсчитывать и столбиками расставлять золотые. Он не мог не думать о деньгах, потому что мысль о них всегда то забегала перед прочими его размышлениями, то отставала от них, но была неотлучна, как тень, бегущая впереди или сзади. Он все время сравнивал прошлое с настоящим. В прошлом чем больше у человека накоплялось денег, тем больше к нему притекало новых. Они несли рост в себе. Было труднее всего когда-то раздобыть первый золотой. Каждый последующий давался легче и легче, как заметил еще Руссо (которого Мешкову не надо было читать, чтобы с ним на этот счет вполне согласиться). Теперь чем больше было у человека денег, тем меньше их оставалось, ибо тем больше у него отбирали.

И вот у Мешкова отобрели последние золотые. Это были на самом деле последние. Он припрятывал их исподволь, когда уже почти рухнуло все богатство. Он припрятал их ото всех. Было бы противно его естественным понятиям не припрятать сколько-нибудь ото всех, даже от святого духа. Он не сказал об этих золотых ни покойнице Валерии Ивановне, ни Лизе, ни своему духовнику, ни викарию, благословившему его в монашество. Он умолчал о них в финансовом отделе, хотя у него оледенела спина, когда Рагозин спросил, не осталось ли у него золота. Если бы человек был устроен так, что способен был бы утаивать свои поступки от самого себя, он и себе не сказал бы о своей банке из-под икры, чтобы в минуту слабости не посвятить в тайну кого-нибудь еще. Он держал эту отяжелевшую от золотых банку под своим ложем и унес ее с собой в подушке. Он туго набил между монетами ваты, чтобы они, кой грех, не звякнули. Он клал во сне щеку на эту банку, и жель была ему мягче пуха, и золотые словно бы шептали ему, когда он дремал: мы — твои, мы — твои, мы — твои. И вот тайны не стало! Счет был кончен.

Да, счет был кончен. Дибич начал составлять акт. Кирилл вывел цифры огрызком карандаша на липовой доске стола, сделал умножение, сказал:

— Всего пять тысяч шестьсот сорок рублей. Правильно, гражданин Мешков?

— Нет, — ответил тихо Меркурий Авдеевич, — неправильно. Обсчет.

— Как обсчет?

— Обсчитались. Не надо было и высыпать. По кругу в банке уместилось девятнадцать монет. В высоту по тридцать десятирублевых, то есть в столбике триста рублей. Триста на девятнадцать получается ровно пять тысяч семьсот рублей, а не пять тысяч шестьсот сорок. Коли, понятно, шесть золотых не... потерялись куда, во время операции.

— А, к чёрту! Шесть золотых! Извольте пересчитать сами! — крикнул Кирилл, темнея от приступившей к лицу краски.

Меркурий Авдеевич подсел ближе. Окинув взглядом аккуратно выстроенные столбушки денег, он поперхнулся и долго не мог откашляться. Потом заговорил будто с самим собой:

— Ежели б стол гладкий, нет ничего легче проверить — во всяком ли столбике по сто рублей. А то на щелях неровность. Возвышение одних досок против опущения других. Вот столбик выдается, замечаете?

Это он угодил на опущенную доску. А в нем, между тем, лишняя монетка. Вот еще. Разрешите просчитать?

— Просчитайте.

Мешков подвинул к себе столбик золота, нажал пальцами, и монеты с послушной трелью развернулись перед ним в цепочку. Он подставил горсть левой руки под край стола. Захватывая средним и указательным пальцами правой руки враз по две монеты, он начал скидывать деньги в горсть с такой игривой быстротой, что все застыли от удивленья.

— Одиннадцать, — сказал он, и со звоном откинул в сторону лишнюю десятирублевку.

Он безошибочно отыскивал неверно сосчитанные столбики, изымал их, пересчитывал, отбрасывал лишние золотые, пока не набралось шести штук, недостающих до круглой сотни. Пальцы его словно помолодели.

— Скажи на милость, — не утерпел Никон, замороженный его виртуозной работой, — стрекочет, ровно кузнечик.

Точно очнувшись, Меркурий Авдеевич вскинул на Никона брови. Взгляд его совсем потерял свечение тихого восторга, с каким он вошел в избу. Зрачки были мутны, трезвый смысл будто отлетел от них в одно мгновенье.

Все смотрели на него молча. Он стал медленно отворачиваться от стола и вдруг задергал плечами, согнувшись над скамьей.

— Развезло, — сказал красноармеец, — жалко прощаться с игрушками-то...

— Верен счет или нет? — спросил Извеков, одергивая Мешкова резким, почти озлобленным голосом.

Всхлипнув, Меркурий Авдеевич отозвался едва слышно:

— Верен не по-вашему. Верен по-моему. Пятьдесят семь по сто. Как было. Как было, о, господи!

Он обхватил голову, вздрагивая от плача.

Дибич проставил в акте сумму — пять тысяч семьсот рублей. Стали укладывать деньги в жестянку. Не ладилось, потому что надо было спешить — слишком много времени отняли все эти неожиданности. Дали подписать акт Мешкову. Он овладел собой, и приложил руку к бумаге, не колеблясь.

Его выводили из избы, когда Кирилл задал еще вопрос:

— Раненого компаньона вашего вы по Саратову не знали?

Мешков остановился.

— Я ни за кого не ответчик, кроме себя.

— Каждый ответит за себя, разумеется. Но, думаю, вам зачтется, если вы его назовете.

Мешков помедлил немного.

— Он о себе не докладывал.

— Наверно у него есть основания — не докладывать. Но я ведь не его спрашиваю, а вас.

Мешков опять помолчал.

— Он мне ни кум, ни сват, — вымолвил он все еще нерешительно. — Только зачем наговаривать? Ошибешься — согрешишь.

— А вы не ошибайтесь.

— Что ж, я правды не боюсь. Не знаю, какого он чина-звания. Похоже, будто раньше видал я его жандармским подполковником.

— Полотенцев?

— Полотенцев, — без раздумья подтвердил Меркурий Авдеевич и, опустив глаза, порывисто вышел за дверь.

Кирилл переглянулся с Дибичем.

Наконец выступили в поход. Солнце уже опускалось. Впереди отряда шли арестованные. В хвосте тянулась подвода, груженная волками. Собаки, ошестившись, провожали ее истошным лаем далеко за околицу деревни.

Ипат маршировал подле верхоконных командира и комиссара. Он видел, что они неразговорчивы, и тоже помалкивал.

Дибич оглядывал окрестности свежим взглядом человека, давно не бывавшего в родных местах и за переменами угадывавшего памятные черты. По привычке юности, он мурлыкал под нос нехитрую песенку. С коня ему хорошо видна была дорога, как только расступался лес, и на лице его подолгу держалась задумчивая улыбка, если он узнавал какую-нибудь излучину холмистого пути. Было очень кудряво на этих холмах от буйного неклена, который любит склоны. Все чаще стали попадаться деревушки, и колеи ширились пыльными разъездами, указывая на близость города.

Кирилл с закрытыми глазами покачивался в седле. Его не клонило в сон, но не хотелось, чтобы с ним заговорили. Репьёвские события потеряли свою разительную краску, оттесненные внезапной и почти фантастической встречей с прошлым, совпадением двух встреч, каждая из которых уводила к былому и могла бы надолго поглотить все мысли. Но вместе с тем была какая-то настойчивая связь, пожалуй, зависимость между разоблачением Полотенцева, мешковским золотом, распластанной на дороге девушкой, ветром, шевелящим бумажные кружева поднятых над головами гробов, волком, кусающим себя в ляжку, растрелянным Zubинским и убитым Шубниковым, прощенным дезертиром Никоном и философствующим об устройстве жизни Ипатом. Все это сплеталось туго, как лозняк в сырой корзине, и нельзя было остановиться на одной мысли, чтобы она не повлекла за собой другой и третьей, как нельзя вытянуть из корзины одного прута, чтобы он не задел других. Кирилл видел, что за короткие эти дни он преодолел все препоны, которые воздвигались на его пути, и верно разрешил все испытания. Больше того, как никогда прежде, он был уверен, что одолеет гораздо более трудные препятствия, и воля его не согнется, может быть, ни перед чем на свете. Он спросил себя — доволен ли собой, и ответил, что должен быть доволен. И когда он ответил себе так, сейчас же возник новый вопрос: почему же ему грустно? И этот новый вопрос оставался без ответа, и он все повторял его, и все не мог вникнуть в него умом, а только чувствовал грусть. Не переставая, роились перед ним люди, которых он незадолго видел, судьбы которых решал, и он вновь проверял себя — безошибочно ли решал, и убеждался, что безошибочно. А грусть не проходила.

Он услышал жалобный вздох шагающего обок Ипата и открыл глаза.

— Что, Ипат, — спросил он с улыбкой, — иль загрустил?

— Во сне будет являться, как я за ним бежал! Истинный бог!

— За кем бежал?

— Да за матёрым! Теперь, поди, издох где в буераке. Жалко шкуру... А все из-за этих окаянных, что б их рёзорвало!

Он со злостью погрозил кулаком на арестованных.

— Были б у нас награды, я бы тебя представил за этих окаянных, — сказал Кирилл.

— А мне матёрый волк дороже наград. У меня в под сумке два Егория болтаются.

Он примолк на минуту, потом вскинул меткий взгляд, точно нацелившись разгадать мысли Кирилла.

— Вы мне грамоту выпишите, товарищ комиссар, что я имею заслугу перед рабочей крестьянской армией. Я в рамочку оправлю, на стенку вывешу в горнице. Пускай знают. (Он с хитринкой прищурился). Да за волка еще с вас приходится. И с товарища командира тоже. На верные номера я вас поставил. Целое искусство!

— Возьми шкуру с моего волка, если уж дошло до расчета, — опять улыбнулся Кирилл и дернул повод, догоняя Дибича.

— Как самочувствие, Василий Данилыч?

— Превосходно! — сказал Дибич с таким движением всего тела, вдруг поднятого на стременах, что конь под ним сбился с шага и затанцевал, готовясь перейти на рысь.

— Видите перевал? — продолжал Дибич, указывая протянутой рукой на взгорье, накрытое густым багрово-сизым от заката лесом, — во-он сосны золотятся. Дальше будет с полверсты ложбина, потом холмы, и между ними в ушельях скиты староверов, женский и мужской, по соседству. Еще немного податься к Волге, и начнется слобода. Так вот, в слободе...

— Что там?

— Моя хижина, — смутившись, негромко кончил Дибич.

Заговорив с ним, Извеков ожидал, что он непременно захочет подробно узнать — кто же такие Мешков и Полотенцев, и собирался рассказать о своем прошлом. Но Дибича, видно, совсем перестали занимать люди, которых вел конвой впереди отряда. Будь они ничем не связаны с судьбой Кирилла, безразличие Дибича не особенно задело бы его: бывший офицер согласился драться с врагами революции, нес свой долг добросовестно, и ждать от него что-нибудь, кроме исполнительности, было бы нелепо. Но ведь в избе, показывая на высыпанные из банки деньги, Кирилл сам напросился сказать, как неожиданно много из прошлого объяснило ему мешковское золото. Пройдя мимо откровенности Кирилла, Дибич словно говорил, что личная жизнь — частное дело каждого, и это было черство и обидно.

— Значит, скоро Хвалыньск?

— Рысью минут двадцать, не больше.

— Тут наверно тихо — к городу банды подойти не посмеют.

— Конечно, вряд ли кого встретим. Не знаю, как другие отряды. Наверно тоже дойдут без стычек.

— Вы довольны?

— Чем особенно? Серьезного дела пока не видно.

— А вам хочется серьезного? Довольны, что пошли с нами?

— С красными? Мне хорошо с этими солдатами... вот с этими комиссарами.

Ямка на подбородке Дибича раздвинулась и почти совсем исчезла: он смотрел на Кирилла с любовной улыбкой.

— Я испытываю это больше как ощущение, — сказал он. — Ясно не могу объяснить, почему, собственно, хорошо. Например, философски мотивировать, что ли.

— Философия нынче — не абстракция, а деятельность. Вы разберитесь политически, как деятель. Тогда все станет на место.

— Да у меня, собственно, все на месте, — не переставая весело улыбаться, проговорил Дибич. — Я думаю, решил для себя все, как должно быть.

Кирилл не мог не ответить тоже весело: очень ему показался Дибич свободным и открытым в эту секунду.

— Рассказывайте! Просто счастливы, что добрались до дому.

— Пять лет! И каких лет! Подумать только! — воскликнул Дибич, и тут же, робким, прозвучавшим юношески голосом, спросил: — Выберем с вами часок, Кирилл Николаевич, заглянем к моей матушке, а?

— Нет, что ж, зачем я буду мешать...

— Честное слово, не помешаете! Она у меня такая славная — вот увидите!

— Нет, я уж за вас покомандую, справлюсь как-нибудь, а вы...

Кирилл взгляделся пристальнее в растерянное от волнения лицо Дибича и неожиданно предложил:

— Хотите, поезжайте сейчас вперед, домой, а завтра явится, поутру? К тому времени, надеюсь, рота будет в сборе.

— Правда? — чуть ли не испуганно вырвалось у Дибича.

Он придержал лошадь и, сбоченясь в седле, наклонился к Извекову. Глаза его сияли, но он колебался — поверить ли тому, что слышал.

— Роту мне боитесь передать? — засмеялся Кирилл. — Если б вы из боя выбыли, я принял бы командование по уставу. А ведь боя нет. Езжайте. Придет случай — поеду я, останетесь вы. Кстати, за вами мой внеочередной отпуск. Помните, за немца? Я еще не использовал... Ну?!

И Кирилл протянул руку Дибичу.

Дибич скомандовал отряду остановиться и отдал приказание, что свои обязанности командира возлагает на комиссара, а сам вернется к ним из отлучки завтра, в городе, к восьми часам.

Он пожал руку Извекову, дважды сильно ударил коня шенкелями и, подпрыгивая в седле, крупной рысью обогнал отряд.

Он скоро свернул в лес. По глухой дороге, не убавляя рыси, а только все чаще кланяясь встречным ветвям, он перевалил гору, спустился в ложбину. Здесь было местами так просторно, что несколько раз Дибич пускал лошадь вскачь. Но когда он достиг холмов, дорога перешла в тропу. Неклен сплетался над ней сплошным низким сводом. Дибич спрыгнул с лошади и повел ее под уздцы.

С пологой высоты он различил в междухолмье раскинувшийся сад, затененный наступившим вечером. Два-три дымка виднелись среди яблонь. Это были самые уединенные кельи скитов. Сюда в давние-давние годы забредал Дибич с маленькими своими приятелями ловить певчих птиц.

Он шел быстрее и быстрее, разминая усталые от седла ноги. Ветви бурно зашумели в нескольких шагах впереди него и стихли. Лошадь вздрогнула, испуганно потянула повод назад. Дибич расстегнул кобуру револьвера. Ему послышался короткий болезненно-неприятный звук, и вслед затем лес повернулся вокруг него каруселью, сонно качаясь. «Не может быть!» — хотел крикнуть Дибич, но голос уже не повиновался ему...

... В тот же момент сквозь листву он увидел над собой набирающего высоту ястреба. Бесшумно взмахивая черневыми снизу огромными треуголками крыльев и накренив маленькую головку, птица косила на тропу яркой пуговицей глаза. Пройдя немного, Дибич заметил под ногами разлетевшийся пух, потом ворох крупных перьев, по рябизне рисунка которых узнал тетерку. В другое время он, наверно, остановился бы и поискал в кустах растерзанную жертву, но сейчас он даже не убавил шага. Мелькнуло только в памяти, что когда-то он уже видел на этой тропе такого же ястреба, разорвавшего тетерку...

Он вышел из зарослей неклена, вскочил в седло и без оглядки миновал разбросанные кельи и притулившуюся в низине церковку скитов. На виду слободы он погнал лошадь под гору в карьер.

В конце длинного порядка одинаковых тесовых флигелей с палисадниками высился серебристый тополь. Попрежнему вытянутым нижним суком он прикрывал конек светло-покрашенного дома.

Дибич осадил лошадь. Сердце его больно стучало, будто он пробежал всю дорогу, не передохнув. Он решил не подъезжать к дому и привязал лошадь у соседнего палисадника.

Калитка стояла настежь. Он ступил во двор. Виноград наглухо обвил террасу перед дверью, которая звалась парадной, и взобрался на крышу. Жидкий дым винтом подымался из трубы. Вишни разрослись на весь двор, их запущенные безлиственные ветки отвисали до земли. Деревянный настил дорожки прогнул и уже не скрипел, как прежде. Колодец припал набок. В собачьей будке валялась фарфоровая барыня с отбитыми руками.

Дибич тихо вошел в дом. В кухне на полу стоял самовар. В жестяной трубе, вткнутой в печную отдушину, свистел огонь разожженной лучины, и сквозь прогоревшие дырки оранжевым кружевом высвечивало пламя. Все казалось уросшим, игрушечным под этой кровлей, и когда Дибич входил в комнату, которую — как помнил себя — именовал «залом», он пригнул голову. Вещи были знакомы и близки, но каждую приходилось узнавать вновь: налет престарелости покрывал весь дом, как пепел — отгоревший костер.

На комодѣ зажжен был ночник. Раньше эту крошечную лампочку мать ставила у своей постели. Дибич заглянул в спальню. Старое плетеное покрывало отчетливо белело на кровати. Он вернулся в зал, подвинул ночник к фотографиям.

Он увидел себя с необыкновенно гладким лицом, в студенческой форме, с папирсой между кончиков пальцев. В плену он отучился курить. Студенческая форма осталась у московской квартирохозяйки. Тысячелетия легли между нынешним Дибичем и мальчиком с папирсой. Напротив стояла неизвестная фотография сестры об руку с надутым человеком, чрезвычайно похожим на Пастухова.

В кухне раздалось шарканье. Дибич обернулся. Грудь его была сжата никогда не испытанной болью. Через дверь, раздвинув бордовую занавеску с помпонами по бортам, на него смотрела очень маленькая женщина. Она не испугалась, а только удивленно вытянула голову, и Дибич узнал в ней свою московскую домохозяйку, которой оставил студенческую форму, уходя в школу прапорщиков.

— Никак, сынок вернулся, Васенька? — спросила женщина, все еще держа раздвинутой занавеску, на которой дрожали помпоны.

— Где же мама? — мучительно выговорил Дибич.

— Ты разве не видался с ней, голубчик?

— Где? Где я мог с ней видаться?

— Она, как получила твое письмо, что ты в лазарете, в Саратове, так и принялась к тебе собираться. Да все никак не могла попасть на пароход. Вот только неделя, как уехала с подводами.

— Почему же она меня не дождалась?

— Она, милый мой, устала тебя дожидаться.

— А сестра?

— Сестрица давно замужем.

— За этим? — спросил Дибич, показывая на фотографию.

— За этим. Пастуховы-то ведь тоже хвалынские.

Дибич увидел недовольного Пастухова, который высился во весь рост об руку с неповторимо-прекрасной своей женой, улыбавшейся светло и чуть виновато.

— Это не моя сестра. Это — Ася. Вы обманываете меня.



— Зачем обманывать, родной мой? Вот и тужурка твоя студенческая, на-ка, примерь.

— Вы лжете, лжете! — крикнул с невыносимой болью Дибич. — Мама! Где ты?!

— А ты не кричи. Ты лучше скажи мне, а я передам твоей матушке, давно ль ее Васенька пошел служить в Красную Армию?

Он хотел кинуться на женщину, чтобы столкнуть ее с дороги, но она вдруг спряталась, сомкнув перед своим носом борты занавески. Притаившись, она выглядывала в шелку одним глазом, и помпоны мелко тряслись от ее неслышного хихиканья.

Дибич выпрыгнул через окно на террасу, прорвал путанный переплет винограда и бросился прочь со двора.

Он отвязал коня и перекинул повод. Улица была темной, но прозрачной, точно отлитая из бутылочного стекла. Едва он вставил ногу в стремя, как лошадь рванулась и помчала. Он все не мог сесть и тщетно отталкивался правой ногой от земли и чувствовал, как немеют руки, и седло, в которое он вцепился, сползает на бок лошади, и огненный встречный ветер душит, душит нестерпимо.

— Нет, нет, война не кончилась, Извеков ждет. Я сейчас, сейчас! — шептал он сквозь зубы, в ужасе ожидая, что вот-вот расцепятся руки и он выпустит седло — тело его уже волочилось по земле.

Потом пальцы слабо разжались, он оторвался, упал, и конь ударил его задними копытами по груди с такой чудовишной силой, что он пришел в себя...

Он лежал один на тропе, под густым прикрытием неклена. Лошади не было. Он взгляделся в просвет неба и подумал, что ястреб улетел. В тот же миг режущая боль словно расплющила его грудь, и он застонал:

— О, бред... все бред... Бан-днты!..

Он ощупал себя клейкой ладонью. Кобура револьвера была пуста. Он пополз, задыхаясь, по тропе и достиг склона. От бессилия он перевернулся, и голова его очутилась ниже ног. Мелкая галька, шурша, высыпалась из-под него по склону. Он увидел опрокинутый, словно в зеркальном отражении, огромный яблоневый сад с крошечными разбросанными избами, и признал скит. В давние-давние годы ловил он где-то здесь с приятелями певчих птиц.

— Мама! — успел он прохрипеть. — Боже мой, мама!

Кровь хлынула у него горлом. Захлебнувшись, он опять потерял сознание.

*(Окончание следует.)*



---

## ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

★

### СЛОВО К ОБЪЕДИНЕННЫМ НАЦИЯМ

Я обращаю вниманье  
Объединенных Наций  
На тех, кому нет оправданья, —  
Любителей провокаций.

Им жить непривычно в дружбе —  
Кровавого ждут урожая,  
Атомное оружие  
В ход пустить угрожая.

Хочу своим гневным словом  
Свое оградить жилище, —  
Живу я в квартале новом,  
Отстроеном на пепелище.

Я наложить решился  
На бомбу законное вето, —  
Сын у меня родился,  
Пусть знает весь мир про это.

Звучи же над миром набатом,  
Слово мое, сильнее.  
Я так говорю делегатам  
Уважаемой Ассамблеи!

Хор атомщиков хвастливо  
Мошь бомбы своей восхваляет,  
Которая силой взрыва  
Город уничтожает,

Сжигает труды человечьи  
В море огня и дыма...  
Бледнеют пред нею печи  
Майданека и Освенцима!

Известно убийцам это,  
Они не спешат с запретом.  
Но атомные секреты  
Не кажутся мне секретом!

И бомбы их не боюсь я,  
Пушай поджигатели знают,  
Что небу моей Беларуси  
Напрасно они угрожают.

На мирную нашу просинь  
Не действуют их угрозы, —  
Не меньше, чем птиц под осень,  
Видала она бомбовозов.

С немецкими касками рядом  
Лежат они в грудях, ржавая.  
Я справку даю делегатам  
Уважаемой Ассамблеи.

О бомбе скажу я смело —  
Бахвалиться ею рано.  
Не очень большое дело  
Разрушить атом урана.

Мы большее дело когда-то  
В своей стране совершили —  
Мы старого мира атом  
В семнадцатом расщепили.

Не из ядра нейтроны  
Тогда мы освобождали —  
В тот памятный год миллионы  
Цепи с себя срывали,

Мир вечного рабства и злобы  
Взрывали, уничтожая.  
Еще и сейчас небоскребы  
Колышет волна взрывная.

Они до сих пор равновесья  
Прежнего не отыщут  
За тучами поднебесья,  
Где ветры Америки свищут.

Рушатся казематы,  
Витрины дрожат на Бродвее...  
Вы слышите, делегаты  
Уважаемой Ассамблеи?!

Вперед идет боевая  
Семья советских народов,  
Свой вольный труд ограждая  
От пушек, бомб, самолетов.

Бессильна бомба в сраженьи  
С советской страной свободной.  
Ничтожна она в сравненьи  
С великою силой народной!

И это, а не дебаты,  
Для мира всего важнее...  
Вот слово мое, делегаты  
Уважаемой Ассамблеи!

*Перевел с белорусского К. Титов.*

### БАЛЛАДА О ПРАВДЕ

Задержанный клял свою долю,  
в немецкий попавши острог.  
Он весть об измене на волю  
хотел передать, да не смог.

В ту пушу, что весть ожидала,  
он с правдой хотел убежать,  
да стража его задержала:  
минуты до смерти считать.

Они вместе с правдой считали  
шаги за острожной стеной,  
его вместе с нею сжигали  
в печи полуночной порой.

Предатель в усы усмехался,  
он видел — известная вещь, —  
как правду, какой он боялся,  
эсэсовцы кинули в печь.

Когда бы умели — сказали  
нам правду бы пепел с золой,  
но молча их люди смешали  
на пашне с молчащей землей.

Острог рассказал бы, да сгинул  
острог от огня, от войны.  
Виднеются только руины,  
обломок тюремной стены.

По горам, лесам и долинам  
давно отгремела война.  
Как память стоит на руинах  
острожная эта стена.

И полночь за полночью снова  
предателю снится во сне:  
начертана — слово за словом —  
вся правда о нем на стене.

Никто еще слов тех не знает,  
и прежде чем час тот пробьет —  
при молнии дождь их читает  
и слезы осенние льет.

Предатель тюремную стену  
среди пустырей отыскал.  
Изменник слова про измену,  
как свой приговор, прочитал.

Ах, зря он в усы усмехался,  
случилась нежданная вещь.  
Ту правду, какой он боялся,  
не взяли ни время, ни печь.

Никто не развеял по полю  
ее, словно пепел седой.  
Явилась та правда на волю  
открытой всем взорам стеной.

Ее на острожных страницах  
сам узник писал перед тем,  
как в пепел ему превратиться,  
как смолкнуть ему насовсем.

Писал он, чтоб ведали люди,  
что правда не сгинет нигде,  
чтоб ей предоставили судьи  
свидетелем быть на суде.

*Перевел с белорусского Ярослав Смеляков.*

#### НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

Мальчик по зимнему полю  
бежал из неволи.  
Брел он в снегу по колено  
от немца, из плена.  
Ночью от мамки отбился,  
в лесу очутился.  
После смертельной тревоги  
не движутся ноги.  
Лег на сугроб, как под свод,  
под еловые ветви.  
А в этот час Новый год  
начинался на свете.  
Чем пареньку  
плохо под елью косматой?  
Снег на еловом суку,  
как блестящая вата.  
Звезд голубые огни  
блещут на елках.  
Ниткой они  
привязаны к хвойным иголкам.  
Замять, снижаясь с высот,  
как конфетти, зашуршала.  
Так до сих пор Новый год  
никогда не встречал он.  
В хвойную глушь занесен  
снегом-метелью,

смертный нашел его сон  
под новогоднюю елью.  
Снежный сугроб простоял  
до весны на поляне;  
с белой постели не встал  
тот мальчуган, и не встанет.  
Это ведь вовсе не сказка —  
правда суровая,  
а если даже и сказка —  
не старая, новая.  
Сказка Великой войны  
и метельной полянки.  
Не королевич заснул там,  
а сын партизанки.  
Сын партизанки!  
Хоть белую снежной пургой  
был ты засыпан,  
но смерть не властна над тобою.  
Песней спилю я  
эту большую  
елину.  
Посеребрённый  
трепет зелёный  
на плечи вскину.  
И понесу над собой  
снежные ветки  
от пятилетки одной  
до другой пятилетки.  
Из года в год  
по отчизне Советов свободной  
будет она хоровод  
украшать новогодний.  
В том она будет дворце  
нашей отчизны,  
что возведут, славя труд,  
сыновья коммунизма.  
В те она будет года  
в праздничном зале,  
сны воплотятся когда  
и исчезнут печали.  
Люди на ель поглядят,  
и в строгом молчанье  
вспомнят о том,  
как мальчик замерз на поляне.  
Память о нем  
не в лесу будет жить,  
а в народе —  
праздничным днем  
в новогоднем кружить  
хороводе.

*Перевел с белорусского Ярослав Смеляков.*

## ЗЕМЛЯ

На небе звезд вам не счесть, астрономы.  
Властно зовет вас простор незнакомый.

Сколько в мечтах вы ракет  
Создавали,  
Сколько далеких планет  
Облетали.

Тысячелетние ваши усилия  
Некогда станут желанною былью.

Вас, открыватели и пионеры,  
Бросит мотор в глубину стратосферы.

Он, устремляясь вперед неумно,  
Будет учить вас, как жить экономно:

Даст из баллона вам воздуху малость,  
Чтобы биенье в груди не прервалось,

Даст вам воды в механической фляге,  
Чтобы не слишком томились без влаги.

Шторы на миг приоткрыв, из ракеты  
Даст вам на звезды взглянуть и планеты.

Так вам увидеть вдали приведется  
Искру-звезду, что Землею зовется.

Хоть и не сможете сквозь телескопы  
Азию вы отличить от Европы, —

Будет отрадно вам знать, астрономы,  
Что с малолетства с Землей вы знакомы.

Знать, что давно управляют Землею  
Люди единой семьей трудовой,

Знать, что они на путях межпланетных  
В славе живут без богатых и бедных,

Знать, что величие их созиданья  
Не уменьшается от расстоянья.

Тут вы и крикнете, родине внемля:  
— Хватит! Пора возвращаться на Землю!

Выполнен долг, и про нашу победу  
Людям по праву мы можем поведать:

Как мы летели быстрее метеора,  
Сколько мы лет не глушили мотора,

Сколько далеких планет осмотрели,  
В странствиях наших совсем постарели.

Долгие годы к намеченной цели  
Мы не за личной наживой летели —

На вековую загадку ответы  
Мы для родной добывали планеты.

Ныне мы жаждем — небесные гости —  
Там, на Земле, схоронить свои кости.

Не из баллона по капле,  
А снова  
Вдосталь хлебнуть  
Кислорода земного.

Слушать, как птичьи  
Разносятся трели  
Там, где купаются  
В воздухе ели,

Слушать раскаты весеннего грома...  
— Хватит! — вы крикнете, домом влекомы.

Будет отрадно вам в пору возврата,  
Как из похода идущим солдатам.

Мниться вам будет Земля, истомленным,  
Флягой с водою, баллоном с азотом,

Будет Земля вам в ракетном оконце  
Хлебом казаться, что выпекло солнце.

*Перевел с белорусского Яков Хелемский.*





---

---

# ЗЕЛЕНЫЙ ОКЕАН

*Повесть*

ВАДИМ ЛУКАШЕВИЧ

★

## Глава первая

**В** комнате всё уже собрано: чемоданчик, кошелка, набитая доверху, и рюкзак с утра лежат у самой двери.

— Кажется, не очень много вещей? — озабоченно спрашивает Анна Алексеевна. — Начальник сказал: только самое необходимое. Собственно говоря, ты для экспедиции тоже как багаж...

Она с сомнением смотрит на Вовку:

— А, может быть, оставить тебя у Быстровых?

— Ой, мамочка, милая! — пугается Вовка. — Да я все равно...

— Ладно. Теперь уже поздно. Но предупреждаю: чтоб был тише травы! Начальник строгий. В случае чего...

— Да я знаю, мам! — перебивает Вовка.

— Что ты знаешь?

— Кто не слушает команды, того капитан высаживает на пустой остров!

— Остров не остров, а вот отправить назад Григорий Степанович способен... И пожалуйста, Вовка, не приставай к нему. Это большой ученый. Понял?

— Понял, мам!

— Ну, идем.

Анна Алексеевна поднимает рюкзак, охает и опускает вновь.

— Вовка! — говорит она, — может быть, ты положил сюда наш большой уютю? А?

— Что я, маленький, что ли? — протестует Вовка, — уютю — вон он, на столе.

Анна Алексеевна не слушает.

— Мученье ты мое! — говорит она и, развязав рюкзак, вытаскивает топор.

— Нет, ты решительно сошел с ума! Ну для чего тебе топор?

— А вдруг мы приедем в джунгли?

— Дурак ты еще, Вовка! — вздыхает Анна Алексеевна. — А в этом кульке что?

— Соль, — отвечает обиженный Вовка.

— Соль? Ну это не так плохо. Пошли!

Вовка, обливаясь потом, тащит кошелку.

Ломовая лошадь проходит по улице походкой льва: уверенный, неторопливый шаг. Лопатки ходят, как стрелки весов, то вниз, то вверх; огромная темная грива висит, как шаль.

— Скорее! — торопит Анна Алексеевна. — Скорее иди, Вовка! Да не зевай ты по сторонам.

В доме за бульваром, в открытом окне, скручен и отведен вбок занавес; он шевелится и надувается, словно треугольный парус.

Наконец они входят во двор, где стоит обыкновенный грузовик; над кузовом на обручах натянут брезент: получилось вроде фургона. Возле него возятся люди.

Поодаль стоит высокий человек в черном кителе; глаза прищуренные и как будто смеются, а между бровей сердитая морщинка.

Анна Алексеевна идет прямо к нему.

— Простите, Григорий Степанович! Понимаете, пока ходила за продуктами, этот сорванец засунул топор в рюкзак...

— Кстати, Никита, вы не забыли топор? — спрашивает начальник.

— Как можно забыть! — отвечает мужчина в синей рубаше; лицо у него загорелое, а лоб совсем белый и будто бы забрызганный.

— А ты, должно быть, хозяйственный! — говорит Вовке начальник. — Вот и помощник вам, Тихон Иванович.

Старик что-то ворчит; несмотря на жару, он поднял воротник пиджака; сбоку кажется, что он надел хомут.

— И вы едете с нами, Настенька? — спрашивает Анна Алексеевна.

Девушка оборачивается. Лицо у нее круглое, вздернутый нос покраснел от солнца. Слабый румянец проступает на щеках, а полные губы почти бесцветны. В маленьких ушах покачиваются стеклянные серьги. Светлые волосы повязаны белым платочком: спереди голова туго обернута, а сзади висит треугольный конец.

— А как же! — говорит она. — Куда конь с копытом, туда и я. Разве отстану?

— Ну? Кончили возню? — спрашивает начальник. — Надо ехать. И без того потеряли чёрт знает сколько времени...

— Готово, Григорий Степанович! — отвечает Никита. Только теперь он вытирает потный лоб, прямо рукавом.

Вовка, с непривычки срываясь, карабкается в кузов. И все видят, как из его кармана вываливается перьяной поплавок: наполовину белый, наполовину красный; следом, раскручиваясь, тянется леска.

— Взял-таки! — ахает Анна Алексеевна. — Вот упрямый!

— Пускай! — успокаивает Тихон Иванович и негромко поясняет, — начальник — он и сам большой рыболов!

Машина рывкает, накреняется так, что Вовка хватается за Тихона Ивановича, и выезжает из ворот. Потом она поворачивает на шоссе и шумит, набирая скорость.

Вдоль шоссе стоят старые тополя; выше они делятся на многие стволы и перепутываются ветвями. Сквозь редкую и темную листву просвечивает небо.

Прошел лёгкий дождь; он прошуршал в листьях, в траве и едва смочил землю, но воздух сразу загустел, наполнился запахами, а шоссе стало, как река: темным с синевой; в нем отразились деревья и облака.

— Вот и поехали, — говорит Анна Алексеевна.

## Глава вторая

— Уж так я редела, так редела! А только, кто бы ждал: рана-то оказалась не шибко сильная. Вскоре окончилась война, и он воротился домой, — говорит Настя и внезапно краснеет. — Тут, значит, мы и.. поженились.

— Так вы совсем недавно замужем?—радуется Анна Алексеевна.— По-моему, он славный парень.

— Ага! — отвечает Настя; она нагибается, красная от волнения, и шепчет: — Вы, Анна Алексеевна, только не говорите при нем-то... До чего же аккуратный, вежливый! Не только дурного слова от него не услышишь — даже не посмотрит злобно. Ни разочка! Уж я нарочно когда, будто подсмеиваюсь; так все равно: ни-ни!

— Любит он вас, Настенька.

— Ага! — тихо восклицает Настя. — Уж так жалеет, прямо слов нету.

Она испуганно оборачивается и говорит с облегчением:

— Спит.

Внезапно визжат тормоза, машина вздрагивает и останавливается, будто наткнувшись на препятствие. Слышно, как где-то рядом старательно посвистывает птица.

— Не приключилось ли чего?—пугается Настя.

— Что это? — удивляется Анна Алексеевна. — Запахло нафталином!

— Может, Тихон Иванович вынули покрыться?

— Не имею такой привычки,—неожиданно отзывается Тихон Иванович, — у меня с того запаха образуется кашель... Пойти, что ли, посмотреть?

Кряхтя, он осторожно вылезает: опускается за борт бережно, как в воду; узловатые пальцы долго еще остаются на краю доски; наконец, они исчезают.

— Мама, это надолгая остановка?—сонным голосом спрашивает Вовка.

Тем временем Настя трясет Никиту:

— Никит! А, Никит! Спишь, как медведь. А ты встань! Встань, говорю.

— А? Что? — Никита садится. — По какой причине стоим?

— Кто знает? — возражает Настя. — Сходил бы: может нужно чего-нибудь. Начальник работает за баранкой, а вы спите, пассажиры!

— Я сейчас!

Никита торопливо надевает сапоги и, нагибаясь, пробирается к выходу; что-то грузное падает на землю — это спрыгнул Никита.

Подходит Тихон Иванович.

— Железнодорожный переезд, — говорит он, — ожидаем поезда.

— Я слезу, мам!—кричит Вовка.

— Сейчас все будем слезать. Размяться нужно!—отвечает Настя.

На железной дороге всегда немножко пахнет палёным.

У переезда, на открытом месте возле столетних тополей, которые от старости сделались небывало высокими и редкими и даже начали провисать вбок, стоит широкая разъезженная лужа. Мокрые полосы выходят из нее в обе стороны, а вокруг, насколько хватает глаз, все сухо.

— Шпалы меняют,—объясняет Тихон Иванович, — видите, лежат морёные шпалы. Чтобы не гнили. От них и вонь.

В стороне от переезда, в кустах, поблескивает вода — кусочек неба среди ивняка.

— До чего ж хорошо в деревне, Анна Алексеевна! — восторженно восклицает Настя и щурится.

Вдали возникает смутный грохот.

— Поезд!—говорит Настя.

Ей отвечает тонкий приближающийся свисток товарного паровоза.

— Вот не везет, что вы скажете! — жалуется Григорий Степанович и, отвернув полу кителя, вытаскивает часы.—Десять минут! Это, примерно, восемь километров.

Анна Алексеевна и Вовка, обнявшись, смотрят, как мимо проходит поезд. Одинаково постукивая, торопливо катятся красные выцветшие теплушки; раскрытые двери перегорожены досками, из-под досок торчит солома, а сверху устало смотрят коровы.

— Потерпевшим областям,—объясняет Тихон Иванович,—где были фрицы...

Уже последний вагон, на котором равнодушно сидит кондуктор и стоит почерневший фонарь, раскачиваясь, проходит мимо, когда раздается пронзительный нагин крик:

— Волк! Волк! Никита-а!

Все оборачиваются. От поворота к переезду, опустив морду и высунув красный язык, бежит небольшой волк.

Из-за машины выскакивает Никита; у него в руках огромный черный кол в лохмотьях гнилой коры.

— Да то ж собака! — восклицает Тихон Иванович. — Чего ты?! Очнись!

— Джан! Джанушка!—в восторге орёт Вовка.

Никита смущенно бросает кол.

— А Никита у меня ге-рой!—уже смеется Настя. — Как завидел щенка, так и вывернул целое дерево на защиту. Герой!

— Ты же сама кричала: волк, волк!—беззлобно отвечает Никита.

Подходит Григорий Степанович; он смотрит на усталого пыльного Джана.

— Хорошая собака! Чья это?

— Моя!—гордо отвечает Вовка.

— Наша, — робко признается Анна Алексеевна, — плохо привязала я его, что ли...

— Глупости! — сердится Григорий Степанович. — Разве таких собак держат на привязи?! Просто удача, что он прибежал. Как зовут? Злой?

Он смело протягивает руку, дает ее обнюхать Джану; Джан устал; он только недоверчиво взглядывает на Григория Степановича. Тогда широкая рука ложится на джанову голову, гладит по спине.

— Ну, Владимир, грузи своего Джана в машину. Поехали.

Начальник идет к кабине.

Когда грузовик, подсакивая, переезжает рельсы, над которыми еще стоит рыжее облако пыли, переездной сторож говорит, усмехаясь, Никите:

— Что, обознался, приятель? У нас волки приходили разве только в войну. Теперь нету...

Понемногу всё успокаивается. Тихон Иванович, кряхтя, снимает сапоги и ложится. Никита уже спит. Вовка дремлет, обняв Джана. И только Джан, подняв большие уши, настороженно смотрит вокруг, но не двигается: вероятно, чтобы не потревожить Вовку.

— А что, Анна Алексеевна,—робко спрашивает Настя,—муж-то у вас убитый?

— Нет, Настенька, — тихо отвечает Анна Алексеевна.

— Неужели бросил? — ахает Настя. — И с ребёнком?

— Так вышло. Мы расстались. Давно.

— Трудно одной... — соболезнует Настя.

— Почему трудно? — возражает Анна Алексеевна. — Говорят, от трудной жизни не бывает ржавчины. По-моему, правильно.

— Тяжелое дело поднять ребёнка...

— Ничего: воспитаю Вовку не хуже... Вот только строгости у меня нет...

— Первое дело, чтоб строгость!

— Не получается,—вздыхает Анна Алексеевна,—больше крику, чем строгости.

— Уж это что: крик-то. Галок пугать!

— Накричу, накричу, а потом жалко...

— Ничего! — утешает Настя, — вы еще выйдете замуж.

— Никогда! — возражает Анна Алексеевна. — Всё равно, лучше, чем было, не будет. А хуже не хочу...

— Гордая вы... — с уважением говорит Настя.

### Глава третья

Экспедиция остановилась на опушке. Ветви орешника шуршат о палатки. Вовка оборачивается, но видит только звезды и черные ветви. Оттуда дышит холодной сыростью.

Костер горит плохо. В синем дыму словно плывет, исчезая и появляясь, черный котелок. Пахнет угаром.

Григорий Степанович надел очки и роется в полевой сумке.

Никита, присев, дует в костер: сразу делается много белого дыма, а потом весело вспыхивает пламя. Никита дует на пламя: оно шумит, как флаг на ветру. «Давно бы! — говорит Настя.—Дуй! А ты дуй! Привыкнешь, возьмут к кузнецу в поддувалы». Вовка смеется. Никита молчит, отряхивается.

Тихон Иванович и Анна Алексеевна ушли в деревню.

Вовка зевает.

Джан поднимает голову, потом встает. Теперь Вовка слышит шорох: кто-то идет! Джан ворчит.

— Тише, Джан! — говорит Вовка.

В колеблющийся свет костра вступает черная фигура.

— Здравствуйте, — говорит женский голос.

— И вам добрый вечер! — отвечает Настя. — За делом, аль на огонек?

— Нам бы ученого, — говорит женщина, — который у вас начальником...

— Григорий Степанович! Вас спрашивают...

— А? Что? — Григорий Степанович поднимает голову; в его очках горят два костра.

— Помирает колхозник, — печально говорит женщина. — Просим вас, чтобы вы, значит, посмотрели.

— При чем же тут я? — удивляется Григорий Степанович.—Надо позвать врача.

— Врач была и о полдни, и к вечеру. Только мы узнали, что вы ученый и лекарственные травы собираете. Не посчитайте за труд.

— А это далеко? Может быть, лучше утром?

— Что за далеко! Сейчас леском, потом овражек и вот он, дом. Пожар да болезнь не терпят, товариш. До утра еще полная ночь.

— Ну что ж, идемте.

Григорий Степанович поднимается.

— А мне можно? — спрашивает Вовка.

— Можно, — говорит женщина, — там заразы нету. Врач объясняла.

Ночью в лесу очень тихо и темно. Неподвижен воздух, как в спаль-ной. Вовка старается ступать бесшумнее, по траве. Как будто он идет

в чужом доме, полном спящих, и каждую минуту может услышать сначала сонный вздох, а после громкий испуганный голос: «Кто здесь ходит?»

Вовка вздрагивает, когда женщина начинает говорить:

— Ждали... Колодец налили слезами. Все-таки воротились наши. Тут бы и жить... А выходит: вот оно как.

Из темноты дохнуло тепло, запахло молоком и навозом.

— Вот и дом!—говорит женщина. — Не оступитесь: приступочка.

Через высокий порог, через комнатку, заставленную кадками, ведрами, чугунами, ухватами, мимо черного устья русской печи и большого непокрытого стола входит вслед за другими Вовка в приотворенную дверь.

Пять небольших окон в широких деревянных наличниках наполовину закрыты белыми занавесками; одна занавеска вздувается и опадает: значит, окно открыто. На стенах, на потолке большие тени; это от деревьев с вырезными листьями; они растут в кадках, кадки поставлены на табуреты. В углу тускло, как лед, поблескивает стеклянный шкафчик. В нем едва видно посуду. Лампа горит на столике между окон; возле нее толпятся склянки.

На стене, прямо на бревнах, наклеено изображение странных гор, будто нарезанных ломтями, как хлеб. Под ним написано: «Лессовые горы в Южном Китае».

Вовка с любопытством оглядывается, чтобы увидеть хозяина.

Стол с лампой, дерева, стулья, шкафчик — всё наставлено у передней стены. На другой половине пусто. Лишь у белого бока русской печи стоит громадная кровать с металлическими спинками решеткой. На спинке выцветшая гимнастерка с полоской орденских ленточек.

На смятой подушке разметались русые волосы. Загорелое лицо покраснелось, даже лоб розовый. Рыжей щетиной отросла борода. Глаза напряженные, жадные.

Два порывевших сапога под кроватью склонились голенищами в разные стороны, как уши собаки.

— Отчего бы это? — напряженно говорит больной. — Левая рука болит, даже пальцы.

— Н-да! — почему-то строго произносит Григорий Степанович. — Теперь посмотрим, чем пользуется врач.

Он открывает склянки, нюхает, смотрит на свет.

— Тинктура валериана симплекс... Дигиталис...

Потом разворачивает порошок в серой жесткой бумаге. Больной тоскливо смотрит на лампу.

— Валериановку дает... Как кошке. Пью, пью из разных... пузырьков, а улучшения... нет.

— Ну, что же, голубчик!—говорит, наконец, Григорий Степанович.— Прежде всего я не врач. Я ботаник. И еще химик. Понимаете?—Григорий Степанович немножко сердится: — Я изучаю растения. Главным образом, лекарственные...

— Вот хорошо!—радуется больной.—У нас травок сколько хочешь!

— В иных местах такая густая трава—едва пройдешь,—убежденно говорит женщина.

— Трава годится не каждая.

— Какая нужна, такую найдем,—настаивает больной,—ты, Марья, Ванюшке... скажи... Он сыщет.

— Ну, вот что!—решительно говорит Григорий Степанович, — мне надо поговорить с врачом. Он повертывается к женщине: — Вы слышали? Надо вызвать врача.

— Сейчас, сейчас!—откликается женщина.—Где ж ей быть? В пункте или, может-быть, в столовой?

Она уходит. Слышно, как в сенях заскрипела дверь.

— Часто бывают боли?

— Иногда есть, а иногда затихают. А вдруг стиснет... стиснет сердце. Главное, воздуха мне... недостаёт.

Больной шевелится, усаживается в постели.

— А теперь... Говорите прямо... Встану я? Или как?

— Очень боитесь?

— Что? — на красном лице сурово сдвигаются рыженькие брови,— вот, значит... как вы поняли... Струсил, мол... фронтовик?

— Да вы не волнуйтесь,—говорит Григорий Степанович.—Вы еще долго проживете. Но вам нельзя пить водку, курить, бывать долго на холоде, волноваться. А во время приступа надо лежать в постели.

Слышно, как в лампе что-то жужжит. Вовка переводит дыхание. Теперь он видит в шкафчике, где посуда, стопку потрепанных книг. И на столе, за лампой, лежат книги. Мальчик осторожно перебирает: «Программа и устав Всесоюзной Коммунистической партии», «Трактор СТЗ», «Путешествия Давида Левингстона по внутренней Африке, с описанием замечательных открытий, в Южной Африке совершенных, с 1840 по 1856 год. Со 100 рисунками в тексте».

— Мне, товарищ профессор, — говорит больной, — лежать некогда... У меня дела на ходу. Большие мы начали дела в колхозе-то... Вот, к примеру, думали ветровой двигатель поставить. Может встречали где-нибудь?

— Приходилось, — отвечает Григорий Степанович. — Кажется, на Кавказе. Только там, голубчик, ветры постоянные: как солнце село — так ветер.

— То-то и есть! А у нас ветра непутёвые. Да и мало их...

За окном раздаются голоса.

— Ведёт!—устало говорит больной и ложится на подушку.

В сенях шаги, скрипит дверь, в комнату входят. Впереди полная девушка: светлые волосы собраны в узел, лицо усыпано веснушками.

— Здравствуйте!—она неторопливо протягивает руку,—участковый врач Русова.

— Надежда Сергеевна! — больной говорит как можно громче, — а мне... не помогают ваши капельки.

Девушка немного краснеет.

— Вы врач? — спрашивает она.

— Доктор химических наук. Некоторое время учился на медицинском.

Они садятся.

— Насколько я понимаю, вы предполагаете — ангина пекторис?

— Вы сомневаетесь в диагнозе?—девушка краснеет и хмурится.

— Нет. Просто хочу выяснить положение...

— Видите ли, — говорит девушка, — термин ангина пекторис считается устаревшим. Теперь мы диагностируем более точно. Я нахожу, что в данном случае налицо стенокардия. Вы согласны?

Она смотрит с вызовом.

— Может быть, — неопределенно говорит Григорий Степанович. — А вы не допускаете возможности летального исхода?

Девушка бледнеет.

— Но,—говорит она, запинаясь, — по-моему, инфаркта нет. А вы думаете...

Григорий Степанович молчит, потом слегка пожимает плечами.

— Думаю, что это не исключено.

— Ох! — тихо восклицает девушка.

Григорий Степанович поднимается.

— Ну вот что! Могу помочь вам кое-какими медикаментами. Например, нитроглицерином.

Он роется в сумке, отдает пузырек врачу.

— Спасибо! — радуется врач. — Я послала фельдшера в район, но что-то долго его нет...

— Надо итти! — говорит Григорий Степанович. — Всего доброго, голубчик. Главное, лежите смирно и слушайте врача. А ветряные мельницы подождут.

— Как бы не так! — возражает больной. — Когда кончите... путешествовать... приезжайте-ко к нам... отдохнуть... Здесь славно!

В лесу далеко виден вспыхивающий и притухающий огонь костра.

— Крепкий человек! — задумчиво говорит Григорий Степанович. — Понимаешь, в учебнике сказано, что при этой болезни бывает панический страх. Один из признаков. И вот на-ка! Рассуждает о ветряках!

— Он читает книгу про путешествия, — торопливо сообщает Вовка, — про этого... Леверстон, что ли? Который путешествовал в Африке. Я сам видел.

— Да ну?! — удивляется Григорий Степанович. — Про Левингстона?

Люди у костра издали кажутся огромными; они движутся, наполняя лес тенью, и никак нельзя понять, кто это: Настя или Тихон Иванович.

— А он не умрет, Григорий Степанович?

— Надеюсь...

Когда утром Вовка вышел из палатки, кругом была странная затопленная страна: из тумана торчали только верхушки ёлок. Издали нельзя было понять: испарения это или вода. Казалось, со всех сторон подступает река. Лишь вблизи видно, что белесая полоса тумана висит над землей, открывая траву и вершины, скрадывая всё остальное.

Завтракают у костра, который еле дымится. Иногда взлетает бледный, почти невидимый язычок пламени и тут же гаснет. Светлая зола лежит на земле широким кругом.

С утра едят суп: так придумал Григорий Степанович. Вовка ест суп и вздыхает.

— А ваш-то больной, Григорий Степанович, — говорит Настя, — рассказывают, чуть не помер. Только развиднаться стало. Уснула жена-то, вдруг слышит: зовет. Тихо так: Марья! И все. Вскинулась, подбежала, а он дышать не может. Еле-еле отпоила лекарством. Врач приходила ночью...

— Что, что? — тревожно переспрашивает Григорий Степанович.

Палаток уже нет. Анна Алексеевна стоит в грузовике под брезентовым верхом и берет вещи, которые подает Настя.

— Нет, Настенька, — говорит она, — дайте сначала вон тот узел.

Возле Григория Степановича стоит девушка: светлые волосы собраны в пучок, лицо усыпано веснушками. Сегодня она держится не так прямо. В руке у нее смятый платочек.

— Я так напугалась ночью! — говорит она. — И как нарочно, вы перед этим сказали о летальном исходе. Ну, думаю, умрет у меня Жбанков. Не представляю, как я тогда буду смотреть в глаза людям...

— При грудной жабе, вы знаете, помощь врача довольно ограничена, — говорит Григорий Степанович. — Главное, избегать всего, что провоцирует вспышку.



— Да, — возражает девушка, — а вы попробуйте уложить Жбанкова в постель! Не так это просто. Это с вами он немножко стесняется.

Она вздыхает.

— Вот он лежит там, спит. А я хожу, как виноватая..

— Да что вы, голубчик, право! — успокаивает Григорий Степанович.

— ...и думаю: а, может быть, я просто неспособная, бесталанная? Ну, ладно. Собственно, я хотела спросить: как там, в Москве, не появилось какого-нибудь нового средства от этой болезни? Вы же знаете...

— К сожалению, пока нет...

— Но если появится, вы уж, пожалуйста, вспомните о Жбанкове. Хорошо, доктор?

— Хорошо.

— Григорий Степанович, — кричит Настя, — можно садиться?

— Прощайте! — девушка повертывается, идет в лес.

— Вовка! Где же ты? Иди скорей!

— Он со мной поедет, Анна Алексеевна, — отвечает Григорий Степанович, — в кабине...

Когда деревня остается позади, Григорий Степанович говорит:

— Кто знает, может, где-нибудь растет травка, что может вылечить его... Жбанкова.

Первые брызги дождя падают на ветровое стекло.

Дождь сразу увеличивает расстояние. Бор, который был недалеко, затягивается синим туманом дали. Казалось, та елка растет на самой опушке, но теперь бор отодвинулся, и видно, что елка ближе.

Неожиданно Григорий Степанович говорит:

— А все-таки она будет хорошим врачом. Вот, когда сосна растет вверх, нижние ветви умирают и отваливаются... Так и у нее: многое умерло, засохло и только ждет случая, чтобы отломиться. Уже отломилась самонадеянность...

#### Глава четвертая

Когда далеко за полдень машина останавливается в бору у реки, дождь всё еще идет. Тоненькие, почти бесшумные паутинки дождя. Их заметно только там, где бор: на тёмном. Когда стихает ветер, их слышно: тихий-тихий шелест.

Настя, Никита, Тихон Иванович разводят костер. Вовка помогает собирать сучья и шишки. Синий дым отлетает в лес и там стоит.

— Ты что сегодня такой тихий, Вовка? — спрашивает Анна Алексеевна.

— Так...

— Уж не заболел ли ты у меня?

— Да нет, мама! Честное слово, нет.

Тут Анну Алексеевну позвал Григорий Степанович. Она только покачала головой, вздохнула: «Эх, ты, безотцовщина!» И ушла.

Старые сосны внизу в мозолях и ссадинах, грязные, поросли седым волосом, огрубели и, вероятно, ничего не чувствуют, как ноги человека, проходившего всю жизнь босиком.

Зато там, вверху, они чистые, рыженькие; если долго смотреть, кажется, что они освещены утренним солнцем.

Разговор начался сам собой. Еще сидели после обеда вокруг погасшего костра; дождь прекратился, но в бору шевелятся последние капли: они срываются с ветвей на листья кустарника, в траву, в сухие иглы; кажется, что в лесу шепчутся.

Две скучные стрекозы вяло летают над рекой. От последних капель дождя на воде вразброд появляются неровные кружочки: то побольше, то маленькие. Иногда морщинки пробегут от ветра, да булькнет, выскочив, рыба. Птицы поют где-то вдалеке: у одной стрекочущая звонкая трель на двух нотах; односложно свистит другая; третья кричит и крикает; еще одна свистнет, а потом защелкает и свистнет вновь... На седенькой редкой иве молча возится птица, она дергает хвостиком, вертит головкой с остреньким клювом, похожей на жёлудь.

— Страх какой!—воскликает Настя.—Да я бы не знаю что, если б помер Никита... Ой, что это я говорю?!

С белых ресниц брызгают слезы, маленький нос краснеет; смутясь, Настя вытирает глаза.

— И вправду глупая!—смеется Никита.—Вот смотри: скоро надоем тебе.

— Как ты можешь это говорить!

От возмущения Настя багровеет и перестает плакать.

— Никита!—негодует Анна Алексеевна.—Зачем вы дразните Настю?

— Я шуткой, Анна Алексеевна.

— Плохие шутки! Довели до слёз...

— Григорий Степанович говорит... — горячо начинает Вовка, но его не слушают.

Настя горестно качает головой;

— Каменный ты, значит, человек. Вот что!

Тучи идут за тучами, серо-синие, волнами, грядями. Но всё же солнце где-то пробилось: спина чувствует ласковое тепло, а впереди обозначается едва заметная тень.

— Григорий Степанович говорит, — повторяет Вовка, — что вот если кто-нибудь умрет, то значит люди виноватые: почему не сберегли.

— Это как сказать, — угрюмо возражает Тихон Иванович, — коли пришло время упасть дереву, на подпорках не удержишь, не-ет!

— Вроде и правда! — удивленно говорит Никита. — На фронте, бывало, убьют или там ранят дружка... И ходишь, словно бы ты виноватый: так и печет. Друг дружке не говорим, а знаем. Верно.

— Перепутал ты что-то, Вовка. Ну врач или там сестра: это понятно. А при чем же другие?

Анна Алексеевна пожимает плечами.

— Я расскажу один случай... — негромко произносит Григорий Степанович, и разом наступает тишина. Только Настя тихонько шмыгает носом. — Был у меня друг, Степан Викентьевич...

Облака понемногу проходят, они тянутся сплошь, как дым лесного пожара, кое-где уже возникают озера синевы. Григорий Степанович вздыхает.

— Он болел бронхиальной астмой. При такой болезни единственное средство — эфедрин. Тогда еще не было советского эфедрина, покупали за границей. И торговцы продавали не всегда, хотя мы платили золотом.

— Наверное, — догадывается Вовка, — наверное, они хотели, чтобы у нас умирали. Да?

— Вероятно, — говорит Григорий Степанович.

Никита негромко говорит:

— Не любят нас торговцы. Ну, никак!

Тихон Иванович качает головой.

— Однажды приезжаю в Алма-Ату, отправляюсь, как всегда, к Степану Викентьевичу и застаю: лежит в жесточайшей астме. Что делать?

Бросаюсь искать лекарство. А на дворе уже ночь и противная предвешенная грязь: снег с водой...

В лесу зашелестело, будто кто-то идет. Вовка даже повернул голову; затем из леса подул холодным. Это ветер.

— Уж и не помню сейчас, где я бегал той ночью. Давно было. Наконец возвращаюсь: грязный по уши, усталый. Несу лекарство: выпросил где-то. Начинает светать, помню... Вхожу, окликаю: не отвечает. Подхожу к кушетке, а он...

— Неужто помер?!—ахает Настя.

— Простое дело, — угрюмо подтверждает Тихон Иванович.

— ... а он мертвый.

Все подавленно молчат.

— Как по-вашему, товарищи, почему я потерял своего Степана Викентьевича?

— Известно: не было средства. И гвоздя не забьешь ладошкой! — отвечает Никита.

— Вот тогда, товарищи, я первый раз почувствовал себя виноватым. Очень виноватым. И там, возле кушетки Степана Викентьевича, я дал клятву, что найду в нашей земле траву эфедру, чтобы сделать лекарство.

— И... нашли? — спрашивает Настя. От волнения она как будто похудела, а глаза стали большими; теперь видно, что они серые.

— Ну, конечно, нашел! Ну, конечно!—кричит Вовка.

— Да. Только не я. Другие нашли.

— Григорий Степанович... — у Анны Алексеевны прерывается голос.— Даже страшно, как представишь себе... Знаете, о Вовке думаешь, то да это... Но только я не в оправдание!

Григорий Степанович улыбается.

— Я на вас не в претензии. Вы работаете хорошо.

— Ох, ну разве это хорошо, — огорчается Анна Алексеевна,—разве так можно? Но теперь, вот вы увидите...

— Товарищ начальник, — говорит Никита, — а можем ли, например, мы с Тихоном... чтобы помочь? А?

— Ну что ж... Видите ли, товарищи, те лекарственные травы, которые мы ищем, ядовитые. Их нельзя есть. Местное население, конечно, их знает и может показать. Особенно старухи.

— Анна Алексеевна,—шепчет Настя и тянет ее за рукав.—Можно, я вам стану помогать? Что там состряпать, да помыть-постирать, это я скоро, я быстрая. А потом к вам. В подручницы. Хорошо, Анна Алексеевна?

— Хорошо, Настенька, хорошо.

— Теперь ни одной старухе не дам проходу, — сурово говорит Никита.

— Уж ты, — фыркает Настя.—Моего Никитку одной травой лечить: крапивой!

— Не пугай,—ворчит Никита,—говорят: жгуча крапива родится, да во шах уваривается.

— Зачем во шах? Постегать бы тебя в сыром виде, чтоб не дурился! Никита хватает Настю и поднимает.

— Будешь грозиться, брошу в реку. А ну?!

Настя приглушенно взвизгивает, отбивается.

— Пусти! Ну пусти же: смотрят ведь. Ой, стыд-то какой!

Едва став на землю, она хватается Никитку за волосы и треплет, сгибая:

— Вот тебе! А ты не балуйся! Не балуйся! Не балуйся!

Солнце словно потонуло в мутной воде. Изредка дохнёт ветерок, и тогда легче дышать. Воздух влажный и теплый. Теперь видно, что вода в реке прибыла и замутилась.

Вовка прижимается к Анне Алексеевне:

— Мама, мамусенька,—просит он,—а можно, чтобы и я помогал? Вот как Настя?

— Ну, конечно, можно,—смеется Анна Алексеевна и ерошит волосы.—Как же это, чтобы я работала без тебя?! Разве мыслимо?

### Глава пятая

Никита сидит у воды равнодушный, кое-как пристроив удочки. По деревенской привычке он взялся рукой за подбородок, а указательный палец вытянул, и палец лежит на щеке почти до самого глаза. Кажется, Никита заснул: редко-редко шевельнутся белые ресницы.

В воде, как мяч, подпрыгивает камень: на него всё время набегают мелкая озерная волна и то заливают, то сушит.

Григорий Степанович взглядывает на Никиту и недовольно крикает: он хочет, чтобы Никита приучился ловить рыбу для экспедиции, когда нет другой работы.

Берегом проезжает колхозный объездчик в полинявшей синей рубашке и в галифе, которые стали рыжими, босой. Ладная гнедая лошадевка идет неохотно, отворачиваясь и пяясь; она мотает головой, фыркает, останавливается. Всадник, прижимая локти, дергает повод, бьет в брюхо пятками, строго кричит: н-ну! Лошадь неохотно переступает и останавливается вновь. У нее длинный хвост великолепного цвета бронзы с позолотой; она яростно взмахивает хвостом. То и дело с плеча объездчика соскальзывает ружье; он вскидывает его на плечо досадливым движением.

— Ее закусали мухи!—говорит Никита.

Уже отъехав, объездчик отвечает:

— Да.

Потом приходит и останавливается девушка. Она стоит, зажав подмышкой топор и мешок, и шелушит ржаной колос; то одной рукой, то другой кладет в рот зерна и всякий раз кивает.

— Рыбаки!—говорит она, удивляясь.—Поймали язя, а есть нельзя.

Григорий Степанович передергивает плечами.

— Топор пришла купать, что ли? — с досадой отвечает Никита.

— У нас в озере рыбы нету, одни караси,—говорит девушка,—маленькие, что семечки. Мальчишки иной раз приносят: так куда ее?!

Григорий Степанович подсекает резким движением и сразу стоймя поднимает удочку; бамбуковое удилище сгибается; видно, как леска ходит по воде из стороны в сторону. Григорий Степанович держит удочку двумя руками; лицо краснеет от напряжения.

— Тяните! Да тяните же! Ах, мать честная!

Это Никита; от возбуждения он пляшет на песке огромными босыми ногами. Волосы смешались и встали дыбом.

— Уйдет! — стонет он. — Да тяните же, начальник! Да...

Никита порывается лезть в воду.

— Не мешай!—хрипит Григорий Степанович, он тянет удилище на себя и вверх; из воды показывается и пропадает черная спина

— Акула! Чистая акула! — стонет Никита. — Ах, мать честная!

Что-то грузное валится на землю: девушка выронила топор.

— Возьми сачок!—приказывает Григорий Степанович.—Подводи! Да не так, не так... Осторожней! Подожди! Ну давай, давай!

— Не-ет,—рычит Никита,—не вырвешься! Сильный! А, чёрт!

Они вытаскивают на песок большого пятнистого сома; обессиленный от борьбы, сом тяжело дышит, поводит усами и время от времени судорожно бьет хвостом.

— Вр-решь! Теперь всё! Капут!—торжествует Никита.

— А мы-то купались туточки, на пясках!—причитает девушка и всплескивает руками. — Ой, страсти какие! Усы-то, усы!

Никита пришел в азарт. Когда Григорий Степанович собирается уходить, он расстраивается.

— Как же так?! Вы, значит, с рыбиной, а я с пúстом?!

— Ну ладно. Ловите. А я отдохну,—соглашается Григорий Степанович.

Никита засучивает штаны и лезет прямо в воду; он старается забраться как можно дальше и не замечает, что вода подошла к штанам и правая штанина, развернувшись, мокнет.

Григорий Степанович объясняет:

— Когда берет большая рыба, надо держать удочку вверх. Чтобы удилище пружинило, сгибалось. Иначе оборвет, как нитку. В чем главный секрет? Чтобы рыба глотнула воздуха, тогда она слабеет. И никогда не торопитесь подсекать.

Вероятно, из-за волны Никита пропустил первую поклёвку. И когда леска стала уходить в сторону, Никита от неожиданности делает шаг вперед и с плеском погружается по грудь; однако удилище не выпускает и пляшет в воде, брызгаясь, крича и чертыхаясь. На берег он вылезает мокрый до ушей, но с подлещиком.

— Видали, — кричит он, — как я его поддел?! Ловко!

...Их встречают восклицаниями, смехом.

— Семь кило! Никак не меньше! — объявляет Тихон Иванович; он поднял очки на лоб и разгорелся румянцем.—Хоть биться об заклад, что семь!

— Преувеличиваете, Тихон Иванович,—возражает Григорий Степанович,—кило четыре, самое большое пять.

— Где? Где вы поймали?—пристает Вовка.

— В воде!—смеется Григорий Степанович.

Джан осторожно нюхает сома; сом вздрагивает, и Джан, отскочив, рычит.

Настя не отходит от Никиты.

— С промыслом вас, Никита Афанасьевич! — объявляет она и фыркает. — Начальник ловил, а ты портки замочил. Рыбачок!

— Он тоже поймал,—вмешивается Григорий Степанович.—Вон какой здоровый подлещик.

— Где поймал, Никита?—пристает Вовка.

Тихон Иванович недоверчиво рассматривает подлещика.

— Кило будет,—говорит он,—от силы полтора. Ничего для первого раза... Как говорится, медведям счастье!

Когда народ отходит, Никита берет своего подлещика и примеряет к сому: получается почти половина.

— А ты натяни! Натяни!—хохочет Настя.

Никита медленно багровеет.

— Замолчи, наконец! Сорока!

Он плюет всердцах и уходит.

— Да что ж это?—тихо восклицает Настя.

Всхлипывая, она бежит разыскивать Анну Алексеевну.

— Что? Что случилось?—пугается Анна Алексеевна.

— Ни... ни разу дурного слова не слышала, а тут,— всхлипывает Настя. — И за что? За ры-ыбу!

Настя рыдает.

— Полно! Пустяки, Настенька! Не плачьте...

— Да! Вам хорошо... Испортил его начальник... Хоть бы за что другое!

Анна Алексеевна не может удержать улыбки.

— Я вам давно хотела сказать, Настенька. Вот вы всё шутите над мужем...

— Да разве ж я со зла?!—ахает Настя.

— Не со зла, конечно, а все-таки.

— Да у нас в колхозе все так...

— А вы не бойтесь, Настенька, показать, что любите мужа.

— Стыдно при всех-то!—смущается Настя.—Что скажет начальник?..

— Ничего не скажет. Порадуется.

— Совестно всё-таки...

— Счастья не следует стыдиться.

Анна Алексеевна вздыхает.

Наступает вечер. Сначала тенью наполняются ямы, овраги, канавки. Постепенно тень поднимается, как прибывающая вода. И вот уже только деревья озарены солнцем да крыши домов.

И, наконец, последними светятся облака; они стоят, клубясь, солнечные, над померкшей землей.

— Пропал Вовка!—говорит встревоженная Анна Алексеевна.—Вы его не видели, Никита?

— Не видал, нету,—отвечает Никита,—только что тогда, при рыбе...

— Ой, Анна Алексеевна! — ахает Настя. — Да ведь он пошел на озеро... Не иначе, как на озеро. Никита, сбегай-ка.

— Сейчас,—отвечает Никита.

Они бегут все втроем потемневшим полем среди высокой неподвижной ржи. Никита далеко обгоняет женщин; большой и грузный, он бежит неожиданно легко, без усталости.

— Никита-а! Никитушка, милы-ый! Беги быстрее. Быстрее беги! И прямо тащ-щи его!—кричит Настя. Никита невнятно отзывается вдали.

— Помирились! — говорит Настя. — Прощения просил. Я, говорит, всердцах...

Она бежит задыхающаяся, смеющаяся.

Уже видно потемневшее озеро, когда из кустов навстречу выходит Никита. Он сгреб в охапку и несет Вовку вместе с удочкой и куканом, на котором бьется мелкая рыба. Мальчик тшетно вырывается из мощных объятий; Никита только отворачивает лицо и пыхтит.

Увидев Настю и Анну Алексеевну, Вовка стихает, смотрит испуганными глазами. Анна Алексеевна не выдерживает.

— Снуля ты мой, озорной! Напугал-то...

Но Вовка устраивается поудобнее, обнимает свободной рукой Никиту, кладет голову ему на плечо и говорит:

— Если бы ты меня не схватил, я бы тоже поймал леща.

Анна Алексеевна смотрит, как тонкая детская рука обнимает загорелую шею Никиты, и почему-то вздыхает.

— Рыбы-то у нас теперь: не приешь!—смеется Настя и добавляет тише:—Что-то я стала тяжело бегать. А какая была резвая! С чего бы?

Увидев вовкин кукан с карасями, Тихон Иванович совсем расстраивается.

— Ну и дела-а!—Он поднимает очки в стальной оправе на лысую голову. — Даже малец, и то...

Потом Вовка кормит карасями Джана. Джан стоит, дрожа от нетерпения и наклонив голову набок; рыбу он ловит налету с громким выдохом и жрет, хрустя и чавкая.

### Глава шестая

Григорий Степанович подходит к кузову; из-под брезентового верха, как из дупла, смотрят Настя, Анна Алексеевна, мальчик Вовка и собака Джан.

— Сижу в кабине, как филин в клетке, — говорит он, — всё один и один... Кого бы взять, Володю или Джана?

— Меня! Меня!—кричит Вовка. Он хохочет и торопится вылезти, ноги у него поцарапанные, тонкие.

— Надоест он вам, Григорий Степанович!—сомневается Анна Алексеевна. — Такой непоседа...

Соскочив, Вовка вздыхает всей грудью и оглядывается: здесь совсем другая земля. Ласковая степь. Солнце и всегда ветерок. Прислушаешься: вдалеке щебечет жаворонок. В степи далеко слышно; где-то за тридевять земель лает собака, людской голос, посвист; они долетают, как шёпот. Оглянешься: все ровно и видно до самого края, а на краю—где стоят деревья, где дом, где ветряная мельница.

Когда машина набирает скорость, Григорий Степанович спрашивает:

— Ну как, Вовка? Нравится путешествовать?

— Не очень,—признается Вовка.—Если бы на корабле, вот это да!

— Да ну?! А ты был на море?

— Не. Я читал книжки...

— А туда же: не нравится!—ворчит Григорий Степанович.—Ты, наверно, знаешь все моря и океаны?

— Которые знаю, а которые нет... Ну там Белое море, Черное, Балтийское, Тихий океан.

— А Зелёный океан знаешь?

— Не...—Вовка смущается.

— Как же так?!—удивляется Григорий Степанович.—Далёкие моря знаешь, а не знаешь самого близкого!

— Уж и близкого!—сомневается Вовка.

— Посмотри-ка!—Григорий Степанович показывает в ветровое стекло.

Впереди и по сторонам до самого края, до ветряка и толпы деревьев, стоит пшеница. Она еще синевато-зелёная, под ветром по ней идут широкие серебристые полосы, одна за другой, без конца; а там, подальше, легла тень от облака, и пшеница потемнела.

— Ух, ты!—воскликает Вовка.—Будто бы волны по воде, правда?

Вдруг он догадывается:

— Так вы про это говорили, что Зелёный океан? Да?!

— И начинается он под самым твоим окном. Ближе некуда!—отвечает Григорий Степанович.

— Какой же это океан?—протестует Вовка.—Только что похоже. Утонуть в нем нельзя...

— Вот и ошибся!—воскликает Григорий Степанович.— Не утонуть в нем нельзя, это верно. Отчего, например, археологи выкапывают прежние города из земли? Потому что они потонули.

— В земле?

— В земле. И надо тебе сказать: это самый богатый из океанов. Куда там Черные, Белые, Красные, Тихие! А знаем мы его хуже, чем какую-нибудь Аральскую лужу: там в лоции обозначен всякий шиш, камень на берегу, отмель... А тут ничего нет... Ни карт, ни лоций. Эх! Трудно даже представить, какие могут быть находки в этом океане... Ты знаешь сказку про яблоко молодости?

— Так это ж сказка!

— Глупости! Сказки, брат, непременно сбываются. Две тысячи лет люди говорили о восковых крыльях, о ковре-самолете, одежде из перьев... А теперь, пожалуйста: летают! На простом планере, без мотора, пролетают сорок километров. Что ж, я тебя спрашиваю, разве такой планер нельзя было сделать две тысячи лет назад? Деревя, что ли, тогда не было? А?

— Было...—робко говорит Вовка.

— Конечно, было. А просто не умели. Не знали законов: аэродинамических свойств, воздушных течений... Плохо знали природу.

Григорий Степанович не договаривает:

— Ого! Пока мы болтали, что сделалось в небе!

Непогода надвигается на степь. Полнеба охватила низкая синяя туча с грядой белых, как струйки пара, передовых облачков. А вокруг всё голо и нет защиты.

— Нам бы добраться до того млына, до мельницы!—бормочет Григорий Степанович и переключает скорость.

— Шторм на Зелёном океане! Да?!—кричит Вовка.

Вокруг темнеет; в пшенице идут тусклые седые волны.

Веселая огненная лента вспыхивает в тучах, и разом обрушивается небо; рожь, гром неторопливо уходит в сторону, дальше и дальше, то усиливаясь, то стихая.

Сквозь хрип мотора слышно, как повизгивает Джан: наверное, испугался.

Дождь стоит впереди широкой смутной стеной; машина врезается в него, и сразу возникают многие шумы: стучит по кабине, по ветровому стеклу, глухо барабанит в брезент. Вода с враждебным шипением выплескивается из луж.

Влажный воздух проникает в кабину.

— И в самом деле, запахло морем!—бормочет Григорий Степанович.

Темнота постепенно сгущается. Всё так же хрипит мотор, выплескивается вода из луж, барабанит дождь. Вовка задремывает. Он привалился к плечу Григория Степановича. От резких толчков Вовка вздрагивает и просыпается: Григорий Степанович чувствует, как отстраняется от него мальчик. А потом всё тяжелее, всё беспомощнее прижимается к его плечу.

Пробуждается Вовка от тишины и близкого разговора.

— З якого колхозу? — спрашивает чужой голос.

— Мы не из колхоза, мы из Москвы,—отвечает Григорий Степанович.

— Оце да!—весело гудит голос.—З Москвы! Вже и до столицы добигла слава за наш млын!

Григорий Степанович вылезает в темноту, где слышатся голоса Тихона Ивановича, Насти. В кабину заглядывает Анна Алексеевна

— Ну как, Вовка? Не промок?—спрашивает она с тревогой.—Вылезай скорее, пойдем в дом.

Она помогает мальчику вылезти.

— Не промочи ноги.

Желтый свет фонаря качается в воде.



— Луж-то! Луж! — восклицает в темноте Настя.

— Зовсим як за дида Тимка, як була земля гонка: пальцем проткни, да й води напейся.

Вовка смеется.

— А ну, хлопчику!

Сильные руки подхватывают Вовку и ставят на доски.

— Ходим у комору, товарищи!

Гулко топают ноги в сенях; фонарь несут позади, поэтому спереди идут великанские тени.

С визгом открывается дверь. На непокрытом столе горит лампа, разбросаны бумаги.

— Ой! — восклицает Настя. — Да тут нарисовано чтой-то...

Мужчина поспешно протискивается к столу; фонарь он поставил у двери и теперь собирает бумаги.

— Це ж не малюнки, це чертежи, — неохотно бормочет он.

— Анна Алексеевна! Взглянь-ка, какой нарисован колесик! — кричит Настя.

Но мужчина отбирает чертеж.

— От, думав поихать вчиться до Славяносербска... Та поки й не придумав ничего.

В темном окне вспыхивает далекий тусклый свет и гаснет; еще раз.

— Зарницы! — тихо говорит Настя.

После ужина ложатся спать. Вовку укладывают на полушубок, покрытый ковриком.

— Мам, а ты знаешь про Зелёный океан? — спрашивает Вовка.

— Еще чего? — сердится Анна Алексеевна, — сейчас же спи! Вот будет тебе серо-буро-малиновый океан, если станешь приставать с глупостями.

Анна Алексеевна задувает лампу и говорит уже мирно:

— Спи спокойно, сынуля. Завтра встанем рано. Спи.

Но Вовка лежит в темноте с открытыми глазами и слушает. Наверное, дождь уже перестал. С крыши вразной срываюся капли: звонкие — это в лужу, а глухие — на землю; они падают то близко, то дальше. А это протекло где-нибудь в сенях; падает на доски, капля за каплей, словно кто-то негромко стучится. «Кто там?» — спрашивает голос за стеной. «Да-да-да-да!» — стучат капли в сенях. Потом где-то далеко скрипит дверь.

...Корабль с веселыми белыми парусами плывет в Зеленом океане, покачиваясь на высокой волне; выплескивается с шипеньем вода из-под крутого носа. Сквозь прозрачную воду видны потонувшие леса, пшеничные поля, старые города...

## Глава седьмая

— За рыбой? — Григорий Степанович чуть-чуть улыбается.

— Да нет... Так, — отвечает Никита. — По своему делу.

— Ну-у?! — удивляется Григорий Степанович. — Помочь Настасье постирать белье, что ли?

— Да нет... Сама постирает... Я невдалеке.

— Что ж! Только не опаздывать к ужину.

Тихон Иванович уже поджидает Никиту.

— Кликнем мальчоңку-то! — предлагает Никита. — Пускай посмотрит народ. Володя! Володимир! Иди скорей.

Вовка прибегает; он что-то жуует на ходу.

— Пошли!

— Куда? — спрашивает Вовка.

— На Кудыкину гору, ловить журавлей! — отвечает Тихон Иванович.

— Вот здорово! — радуется Вовка. — Джан! Джан! Сюда!

Жарко. В пруду кричит лягушка, словно кто-то заснул и храпит. Этот храп неуместен у тихого солнечного пруда, на который легли тени деревьев; лишь другой берег залит ярким солнцем и целиком, с пенечком, обвитым темной зеленью, с желтыми цветами и далекими соснами, опрокинувшись, повторился в воде.

— Медведь, и то спит только в свою пору! — жалуется Никита. — Хуже всего, когда долгая дорога...

— Скучная жизнь без дела, — соглашается Тихон Иванович, — в безделье идут на человека, как зелень на воду, вздоры да огорчения...

Издали кажется, что сосны внизу закопченные. С придорожной ели, с самой вершины, бросилась сорока, замахала крыльями и закричала, словно испугавшись, что летит.

— А нет земли лучше, как наша! — говорит Никита. — Честное слово! Походил я с винтовкой по заграницам.

— Ну, как там? — спрашивает Тихон Иванович.

— Вот, скажем, к примеру Румыния. Ох, и бедно... Иной раз встретишь нищего и не знаешь: плакать или смеяться. Черный, худой как щепка, а одетый-то! Одни тряпки висят. Куда наши огородные пугала — прямо франты против них. И ведь не какие-нибудь преклонные старики — молодые.

— Что ж, или заработать нельзя?

— То-то и есть, что нельзя! Дороги дрянь: больше обочиной ездят; мосты побитые; живут, даже как назвать затрудняюсь — то ли курятник, то ли шалаш. Трубы в печке — и той нету; как затопят, беги из дому! Тут бы работать! Поломать бы старое, отстроиться... А нет: не нанимают их на это.

— Чудно! — Тихон Иванович качает головой, — сложились бы обществом... Хитро ли?

— Люди там врассыпную! Всё равно: коза на привязи или кура; всё возле своего дома. Иной и в достатке: перинки, пироги, кофе... А жить-то ему не для чего. Разве только для живота.

— Животу много не нужно, — строго отвечает Тихон Иванович, — для живота — это пусть скотина и зверь; им и название: животное. Не-ет! Сыны хотели уложить на печь, а я им: «Нет, говорю, пока шевелятся руки, Тихон Иванович еще поработает». И уехал...

— Я бы помер от их жизни! — говорит Никита. — Потому, они живут каждый за своим плетнем, а мы — в государстве. Другой масштаб карты.

Между деревьями начинает проблескивать река.

— Вот и пришли!

Над запруженной рекой многоголосый крик, перебранки, смех. Стоят подводы с камнем, люди носят в носилках землю, роют лопатами берег. Бор за рекой отзывается гулко и невнятно.

У берега теснятся ребятишки.

— Ой, Манька, глянь-ка: волк!

Манька взвизгивает и шарахается. Вовка снисходительно успокаивает:

— Это не волк, это Джан. Собака.

— Ух, ты! — говорят ребятишки. — А будто бы волк!

Трое мальчишек возле стога, хохоча, кидают друг в друга сеном. Раздается пронзительный вопль:

— Что вы делаете, жулики! Вот отправить вас в милицию, чтобы нагайкой настегали, тогда будете знать. Ох, окаянные!

Это кричит старуха. Она сидит на бревнах и вяжет, недовольно морщась и медленно перебирая спицами: наверное, плохо видит. Волосы разобраны на прямой пробор и скреплены в пучок. Рядом со старухой навалены лопаты, пилы, топоры, даже тачка с расколотым колесом уткнулась в землю.

Старуха кричит, не двигаясь.

Мальчишки опрометью кидаются в лес — так полевые птицы спасаются от ястреба; рубашки мелькают среди деревьев и пропадают.

— Да что это вы, мамаша! — говорит Тихон Иванович. — Разве же в милиции бьют нагайкой? Не старое время. И не фрицевы полицаи.

— Великое дело: растрясли пригоршню сена! — недовольно добавляет Никита.

— Ништо! — возражает старуха. — Дай волю, весь стог растягают по соломинке. Попугала их для порядку. Одного и боятся, что меня. Больше, чем председателя.

— Серьезное дело! — вздыхает Тихон Иванович. — Дозвольте присесть.

Он опускается на бревна и бережно кладет рядом узелок.

— Дайте-ка мне лопату, бабушка! — просит Никита. — Поработать.

— Лопату? Да разве ж это мои лопаты, чтоб раздавать? Скажет бригадир, тогда дам.

— Что я, украду ее, что ли? — изумляется Никита.

— А может и украдешь. Не написано на лбу.

— Эх! — крикает Никита.

Подъехали еще три телеги с камнем, и возчики, разговаривая, пошли искать бригадира. Один из возчиков, рыжебородый, распряг лошаденку и, осторожно ступая, спускается вниз к воде. «Тиш-ша, ты! Сапог отдавишь!» — ворчит он.

Никита идет к телеге.

— Электрическую станцию строят, что ли? — спрашивает Тихон Иванович.

— Приехали тут из города, — отвечает старуха. — Говорят: так мол и так — можем поставить световую станцию. Машины там, проволока — ихние, плотина, столбы — наши. Вот председатель и говорит: передайте, говорит, наше великое спасибо правительству. О плотине не сомневайтесь: поставим каменную... Вот и ставят.

Старуха кивает в сторону реки.

Вовка спрашивает ребяташек:

— А купаются у вас где?

— Пойдемте на выжигу! — предлагает Федька. — Вот где купаться-то!

— Куда? — переспрашивает Вовка.

— На выжигу. Ну, где погорелое место.

— Там змеи, — говорит Манька.

— Забоялась ужей! — смеется Федька. — А сколько там земляники!

Страсть!

— И не ужи, а змеи! — спорит Манька. — И потом я боюсь, там лают волк.

— Волки не лают, а воют, — снисходительно говорит Вовка.

— И лают! И лают! — горячится Манька. — Хоть спроси у тети Тани.

— Верно, что лают, — говорит Федька, — тоненько так, как маленькая собачонка.

- Ну и пусть лают! А у нас Джан.
- Собака хорошая, — соглашаются ребята.
- Пошли!

Никита подходит к телеге и, подняв оглобли, пробует сдвинуть с места; телега только скрипит.

— Не балуйся! — бабьим голосом кричит от воды рыжебородый. — Не балуйся!

Побледнев от усилия, Никита всем телом налегает на левую оглоблю, потом на правую; телега скрипит, раскачивается и медленно двигается; тяжело дыша, Никита тащит ее к береговому косогору.

— Не балуйся, кому говорю?! — орет рыжебородый.

С крутого берега телега раскатывается, Никите приходится упираться ногами — его тащит телега; еще мгновение — и свалится в реку. Жестоким напряжением Никита поворачивает у самого края. Телега встает боком.

— Телегу сломаешь! — визжит рыжебородый. — Чёрт баловной! Оставив лошаденку, он бежит вверх, к Никите.

— Есть у вас плотницкая работа? — спрашивает Тихон Иванович.

— А ты, случаем, не из плотников? — спрашивает старуха; она перестала вязать и смотрит испытующе.

— Хоть бы и так. А что? — осторожно отвечает Тихон Иванович.

— Умешь поставить избу?

— Да я их поставил штук триста, изб-то! — говорит Тихон Иванович. — И с филенками, с резными наличниками.

— Ступай! — решительно говорит старуха. — Ступай к председателю. Вот тут лесочком...

— Не пойду. Ну его!

— Ха-арошие даст деньги!

— Нужны мне его деньги! — фыркает Тихон Иванович.

— Коли не жаден на деньги, чем другим убогаторит: теленочком, свинкой, курой.

— Нету время, — мрачно отвечает Тихон Иванович, — я проезжий...

— Купит винца... Ступай. Вот как пройдешь лесок, тут будет..

— Тьфу, — плюет Тихон Иванович, — чисто как репей к штанам. Русским языком говорю: нету время!

— Уж и чего тебе требуется?! — недоумевает старуха. — Рожна печёного?

Как жилы на руке, выступают из земли древесные корни. Еще слышны голоса на плотине, когда Манька вдруг останавливается:

— А ну ее, выжигу! — решительно говорит она. — Давайте играть в хоронушки.

— Я не умею... — отвечает Вовка.

— Нечего и уметь! — объясняет Манька. — Все хоронятся куда кто: по-за куст, под дерево, а один ишет.

— Так это же пряталки! — радостно кричит Вовка.

— У вас, может, пряталки, а у нас хоронушки.

— Давайте! — кричит Вовка. — Вы прятайтесь, а мы с Джаном будем искать. Ладно?

— Отворотись! — строго говорит Манька. — Стань к дереву!

Слышен топот босых ног, шуршат кусты.

— Э-гей! Поберегись! — кричит Никита вниз; люди расступаются в чавкающей грязи и смотрят. Никита наваливается на край телеги. Телега накреняется, трещит, камни валятся вниз; они звонко шелкают друг об друга и разбрызгивают грязь; ворча и смеясь, люди расступаются пошире. Последние камни Никита выкидывает руками.

— Сломаешь телегу! — вопит, подбегая, рыжебородый.

Однако он не решается подойти близко.

— Цела твоя телега! — презрительно отвечает Никита и отворачивается.

— Иди сюда, парень! — кричат снизу. — Помоги работать!

— И рад бы, — отзывается Никита, — да работать нечем. Не дает лопаты старуха.

Девушки хохочут — такого парня старуха обидела!

— Ничего! — кричат ему. — Найдем лопату. Прыгай!

Когда Никита слезает на плотину, его оглядывают с любопытством.

— Силе-ен! — с восхищением говорит девушка в малиновом платке.

— Что за силен! — хмурится Никита. — Разве я такой был до ранения? Где лопата-то?

С другого конца плотины кричат девичьи голоса:

— Паре-ень! Иди к на-ам! Они и так наработали много.

— Сейчас! — отвечает Никита.

— Чего еще? Куда! — вмешивается девушка в малиновом платке.— Ишь какой! Али мы тебе не показались?

Она выставляет ногу вперед, распрямляется и лукаво смотрит на Никиту.

— Неуж мы хуже? — кричат с другого конца плотины. Там две девушки, подбоченясь и давясь от смеха, вышли вперед; у одной пышные русые косы золотятся на солнце, другая—смуглая, маленькая, у нее каштановые волосы и серые светлые глаза.

— Да ну вас! — ворчит Никита; от смущения он начинает яростно работать лопатой и не глядит по сторонам. На звонкий девичий хохот невнятно отзывается бор на другом берегу.

Джан быстро находит ребят; он останавливается перед кустом и гавкает; гавкнет и ждет, потом опять гавкнет; наконец куст начинает шевелиться, и среди листьев возникает всклокоченная голова.

— Нашли! Нашли! — кричит Вовка. — Выходи, Манька!

— Ну и пусть нашли, — отвечает Манька. — Я малину ем.

— Где? Где малина? — ребяташки сбегаются. — Ой, да сколько ее!

— А я люблю толченую ягоду с молоком, землянику! — заявляет Федька.

— Ух, и пахучая! — восхищается Вовка.

— У нас тут мали-ины! — певуче тянет Манька. — Вон Люська даже придумала стих.

— Уж и стих! — сомневается Вовка.

— Люська, прочти.

Люська выскакивает на дорогу, становится прямо, безжизненно опустив руки, и скороговоркой объявляет:

— Сочинение Людмилы Ивановны Лаптевой, ученицы первого класса. Называется «Малина».

Мы малину ели-ели:

Пять корзинок целых съели,

А шестую еле-еле,

А седьмую не доели.

— Ух, ты! — удивляется Вовка. — Как в книжке...

Люська вспыхивает, она краснеет до самых ушей; опустив голову, она стоит на лесной дороге и тербит поясок.

— Мне бы только размять руки, — говорит Тихон Иванович. — Так, что-нибудь по мелочи. Тачку вам починить, что ли?

Он поворачивает тачку, осматривает, потом развязывает узелок. Там лежат инструменты.

— Иди, — говорит старуха, — прежде спросись у бригадира.

— А зачем мне бригадир? — сердится Тихон Иванович.

— А ты не огрызайся, — строго говорит старуха, — кто ж так работает, не сговорившись в цене?

— Тьфу! — плюется Тихон Иванович. — Да не надо мне ничего.

— Разве мы нищие, — негодует старуха, — чтобы на нас работали за ради-христа?!

— Не за ради-христа, — возражает Тихон Иванович, — а за свое удовольствие.

Он ловко сбивает колесо с тачки и долго рассматривает его.

— Ну уж колесо! — укоризненно говорит он. — Того, кто делал, этим бы колесом по башке...

Они возвращаются, почерневшие от солнца, усталые, когда поперек дороги лежат длинные тени. Их провожают гурьбой. Играет гармоника. Связанная курица время от времени начинает бить крыльями и кудахтать. Джан отвечает лаем. Несут вспотевшие крынки с холодным молоком. Сало и хлеб завернуты в чистый платок.

Парень в накинутом на плечи пиджаке выступает вперед.

— Как комсомольский организатор, — говорит он Григорию Степановичу, — выношу вам благодарность от колхоза «Заря социализма» за помощь в постройке плотины.

— Да, да. Спасибо! — отвечает Григорий Степанович. — Закурите хороших папирос.

Он распечатывает сотенную пачку «Северной Пальмиры».

— Никита Афанасьевич! — негромко говорит Григорий Степанович. — Вы почему же не сказали, что идете в колхоз? А?

— Да я, Григорий Степанович... Мы думали...

— Глупости! — сердится Григорий Степанович. — Ничего вы не думали! Когда думают, так не поступают.

— Они боялись, Григорий Степанович, что вы пожелаете итти, — помогает Настя, — а вы без того уставший.

— Шутка ли! — вставляет Тихон Иванович. — Сколько дней за рулем.

— Ерунда! Кто вас просил заботиться обо мне?!

— Да у вас же ушиблена рука, — тихо произносит Анна Алексеевна.

— Анна Алексеевна! — Григорий Степанович смотрит с негодованием. — Разве я поручал вам довести об этом до общего сведения?

Все-таки Григорий Степанович стихает.

— После ужина немедленно спать, — говорит он. — Завтра выезжаем на рассвете. Растения не ждут: у растений жизнь короткая, поспешная жизнь.

И, уходя, неожиданно улыбается:

— А насчет того, чтобы помочь колхозу, это вы хорошо... Только в другой раз докладывайте. Дисциплину забыли. Да.

Анна Алексеевна привлекает к себе Вовку.

— Устал, бродяжка?

— Подожди, мама! Пусти! А мы пошли на выжигу, но не дошли, а стали играть в хоронушки. И тут Манька нашла малину. Такая пахучая! А Люська придумала стишок про малину. Здорово! Только она не теперь придумала, а раньше. Понимаешь?

— Ровно ничего, — смеется Анна Алексеевна.

— Ну, какая ты, мама! — сердится Вовка. — А еще была старуха, злая, презлая. Она на всех бранится, срамит.. Отчего это, мама?

— Может быть, ее много обижали, Вовка, — говорит Анна Алексеевна.

— Наверное, — отвечает Вовка, — ее обидели при царе. Да, мама?

— Ну, конечно, при царе.. А может быть, еще обижали белогвардейцы, потом немцы. Вот она и стала будто бы злая.

— Как это: будто бы? — спрашивает Вовка.

— Ну, вот как скорлупа на лесном орехе: снаружи жесткое, а внутри сладкое зернышко.

### Глава восьмая

Уже начала дорога карабкаться по холмам. К полудню открылись по горизонту стоящие в небе неровные белые тучи; под ними лежала синяя мгла, и были они разделены мглой. Час за часом ехала машина, а тучи стояли все там же, не приближаясь. Уже Настя и Вовка спрашивали: отчего так? Тихон Иванович проворчал, что надобно ждать к ночи обложного ливня и, чего доброго, грозы. «Что ж не слышать грому?» — спросила Настя; «Встанет машина, услышишь!» — ответил старик. Позже проснулся Никита; он высунулся, чтобы сон обдуло ветерком, и, поглядев, воскликнул: «Эге! Уже видно Кавказские горы!» «Где, где?» — закричали Настя, Вовка и даже Анна Алексеевна. «Вон!» «Да где же они, Никита?» — волновался, не видя, Вовка. «Да вон же — белые!» «А мы думали: тучи!» — ахнула Настя. «Почему они висят над землей?» — удивился Вовка. Анна Алексеевна взялась объяснять, что виден только снег на вершинах, который блестит, а самых гор издалека увидеть нельзя. «А Тихон Иванович сказал: будет дождь!» — фыркнула Настя. «Дождь будет, — возразил старик. — Слышишь, как пахнет травой. Мне все едино: что горы, что, например, луга; примета верная».

Но дождя не было. Вскоре мотор оглушительно чихнул и еще, и еще раз, а потом заглох. Машина встала. Всюду, усиливаясь и стихая, застрекотали кузнечики, зазвенели, переливаясь, жаворонки и слабо засвистел в ушах ветер. Григорий Степанович полез под машину, туда же полез Никита, чтобы помочь.

Вовка смущенно огляделся; он увидел безжизненную машину, на которую уже садились полевые мухи, в бесконечной холмистой степи перед грозным сиянием Кавказских гор; и это было, словно пострадавший от бури баркас посреди океана. Здесь Вовка ощутил, как велики расстояния, и оробел. Смутилась даже Настя. «Вот и сели!» — сказала она растерянно.

Беззвучно катится машина экспедиции следом за громяющей пятитонкой, привязанная тросом. В кабине мрачный Григорий Степанович курит папиросу за папиросой.

Уже начался пригород. Из-за уличных лип и каштанов выступает журавль подъемного крана. Теперь виден весь строящийся дом, штабеля кирпичей, стопки досок, железные балки.

— Глянь-ка, Никита! — волнуется Тихон Иванович. — Какая опалубка-то: из железных труб!

— А что ж? — возражает Никита. — И вид аккуратней, и, верно, того... крепче.

— Да разве ж я против? — удивляется Тихон Иванович. Он прислушивается, и улыбка все шире и шире расходится по его лицу. Тихон Иванович снимает кепку, словно он вошел в комнату.

— А вот еще строят! — показывает Никита.

— Чисто как дятлы! — бормочет Тихон Иванович. — Так и стучат. Вперегонки...

— Кто стучит? — спрашивает Никита.

— Кому стучать-то? Каменщики — те молотком по кирпичу, звонко! Плотники — поглуше — топориком. Ах, мать ты моя честная! А? Чисто дятлы...

— А вон там еще! — кричит Вовка. — Видите? И вон там.

— Иех! — крикает Тихон Иванович. — Растрвила меня старуха-то... там, на плотине... Вот и думаю: не рано ли бросил топор, а? Может, и воздвигнул бы еще какое... сооруженьице!

— Уж вам лазить на жердочки! — спорит Настя. — В такие годы-то.

— Ты меня не старь, сам состарюсь, — сердится Тихон Иванович.

— Так вы, Настенька... — тихо говорит Анна Алексеевна.

— Не тревожьтесь, Анна Алексеевна! — отвечает Настя, — я при-  
смотрю за Володичкой!

Грузовик экспедиции поставлен среди других машин во дворе, окруженном домами. Окна затенены деревьями; сейчас окна открыты, и только в верхнем стекле, как в спокойной воде, повторились листья и противоположный дом, освещенный солнцем. А на верхнем этаже в стеклах отражается синее небо.

Ветка начинает шевелиться сама собой; затем раздается чириканье, и с нее слетает воробей.

Григорий Степанович разговаривает с мастером.

— Неисправность в генераторе, — говорит он. — Все остальное в порядке; лучше не трогайте. Но, главное, надо сделать быстро. Понимаете? Чтоб завтра мы уже выехали.

Мастер равнодушно слушает, вытирая тряпкой руки.

— Всем нужно, — говорит он. — Вон Мясомолпром требует машину. И Мелькомбинат.

— Да вы поймите, товарищ, мы проезжие. Нам нечего делать в городе. Понимаете? Мы научная экспедиция...

— Научная? — переспрашивает мастер. — Руду ищите или уголек?

— Нет. Мы ботаники. Понимаете, нам нельзя терять времени: у растения недолгая жизнь...

— Что ж! — вздыхает мастер. — Раз для науки, ничего не скажу... — Павел! — кричит он в глубину двора. — Иди-ка сюда!

Приходит Павел; посреди головы, опускаясь на лоб, идет у него грядка волос, мелко вьющихся; а на затылке и возле ушей выстрижено почти до кожи. Загар у него сероватый, темный, словно задымился на костре. Но всего чернее руки.

— Только вы, товарищ ученый, — говорит мастер, — хотите—сердитесь, хотите—нет, а машину придется проверить целиком.

— Да зачем же?! — спорит Григорий Степанович. — Я знаю машину, как свой китель. Все остальное в абсолютном порядке...

— Не могу! — возражает мастер. — Была бы городская машина, поверил бы... Да вы не обижайтесь: не задержу.

— Никита! — говорит Григорий Степанович. — Вы тут помогите товарищам, если понадобится. Я скоро вернусь.



Черное асфальтовое шоссе некруто поворачивает вправо к осыпавшемуся холму. Там заплатами растет трава и поднимаются бесцветные, как столбы, сосны с запыленной хвоей. Влево от шоссе заборы и деревья; среди них стоят белые каменные дома с пологими крышами и высокими балкончиками на столбах. На балконах висят связки листьев, тряпки, белье.

Возле шоссе, в песке, идет трамвайная линия, обозначенная столбами.

Трамвай шумит, как пила на лесном заводе; перед остановкой шум переходит в низкие ноты, в скрежет и, наконец, гаснет. Наступает тишина, в которой слышно слабое позвякивание кондукторских звонков.

Григорий Степанович идет и читает вывески: «Галантерея, трикотаж», «Ремонт обуви», и помельче «в присутствии заказчика».

Надо спуститься на одну ступеньку. В открытую дверь на затоптанный пол ложится квадрат солнечного света.

У прилавка Григорий Степанович снимает правый ботинок.

— Я подожду, — говорит он, стоя на одной ноге, — но только, чтобы сделали покрепче. Лучше посижу лишних пять минут.

Потом он сидит на стуле, поджав ногу; просматривает записную книжку, глядит на стоящих у прилавка.

У девушки ноги чисто умытые и тонкие, на них свисает платье в крупную серую клетку, а кончаются они беленькими носками и черными блестящими туфлями.

Молодая женщина снимает босоножку: у нее оказывается нога младенческой прелести: с румяной маленькой пяткой, с узенькой ступней, розовой по краю и бледной в серединке, в ладонке.

Женщина оборачивается.

— Анна Алексеевна! — восклицает Григорий Степанович.

Осторожно ступая босыми пальцами, Анна Алексеевна подходит и садится рядом.

— Оборвался ремешок, — говорит она.

— Товарищи по несчастью! — смеется Григорий Степанович. — А как же вы решились оставить сына?

— За ним присмотрит Настя. Он бы не дал мне сделать ничего.

Они выходят вместе.

— Вам нужны нитки-пуговицы? — спрашивает Григорий Степанович.

— Нужны! — улыбается Анна Алексеевна. — Кстати, я давно собираюсь вам сказать: может быть, вам нужно что-нибудь починить или заштопать...

— Я вижу: вам мало одного сына?

— Нет, в самом деле. Вы же, мужчины, ничего не умеете...

— Вы думаете? — обижается Григорий Степанович. — Прочтите-ка!

Он показывает вывеску «Утюжка, лицовка, портной».

— Не в счет! — смеется Анна Алексеевна. — Это профессионал.

— К вашему сведению: в экспедициях я научился штопать, шить, чинить сбрую и обувь, стряпать, ухаживать за лошадьми, ремонтировать машину. Прикажете продолжать?

— Нет, нет, хватит! — Анна Алексеевна поднимает руки, защищаясь. — А я-то не знала, кому заказать сандалии для Вовки.

Они смеются.

— Не зайдете на почту? — спрашивает Григорий Степанович.

— На почту? Зачем?

— Может быть, есть письма до востребования. Ведь, основные пункты маршрута были известны!

— Зайдите...

— А вы скроетесь и не поможете мне купить пуговиц?

— Если недолго, подожду. Я буду в сквере.

Анна Алексеевна садится на скамейку, а Григорий Степанович уходит.

С шумом ливня, многими струями, льется вода из фонтана. Порывы ветра сносят белую водяную пыль за каменный край бассейна. Шум воды заглушает даже разноголосый гомон ребятишек: они купаются в бассейне, кто в трусиках, кто голышом, смуглые, бледные, розовые тела.

Старуха в выцветшем коричневом платье сидит на скамейке, широко расставив ноги и положив между колен морщинистые руки, в которых она держит синий детский совочек. Она так повязана белым платком, что похожа на птицу: видны только загорелый до красноты нос и темные впадины глаз.

Мальчишка вылезает из бассейна; он опрометью бежит к скамейке, где лежат рубашонка и трусики. Он до того докупался, что не может стоять: трясется. На носу светлая капля воды, с подбородка капает; каждую секунду он сфыркивает воду с губ, но улыбается, счастливый.

— Замерз? — спрашивает Анна Алексеевна.

— Ага! — едва отвечает мальчишка. — Хорошо!

В коротко остриженных мальчишеских волосах, как иней, поблескивают капельки воды.

Григорий Степанович возвращается с конвертом.

— Всё благополучно... дома? — спрашивает Анна Алексеевна, она не поднимает глаз.

— Дома? — удивляется Григорий Степанович. — Что может случиться в запертой комнате? Это пишет директор института. Сообщает, что к нашему возвращению будут готовы гранки моей работы о...

— А вы видали Льва Толстого, Григорий Степанович? — неожиданно прерывает Анна Алексеевна. Она смеется, а глаза влажные и блестят.

— Льва Николаевича? Ну что вы, Анна Алексеевна, я тогда был ребенком.

— Мне почему-то казалось, что вы видели Льва Толстого, Чехова, Шаляпина...

— А вы не думаете, что я участвовал в русско-турецкой войне или застал отмену крепостного права?

Не успели отойти далеко, как Григорий Степанович останавливается, прислушивается и увлекает Анну Алексеевну к подвалу с вывеской «Тир».

— Григорий Степанович, опомнитесь!

— Не хочу опоминаться! Сегодня мы выходные от всех экспедиций.

— Я не знала, что вы...

— Мальчишка? То-то. Вы бы еще спросили, видел ли я Гоголя и Мочалова! Ну, зайдите же На пять минут.

Вздохнув, Анна Алексеевна следом за ним спускается в подвал, где, как грецкие орехи, сухо трещат выстрелы.

Павел все еще возится около машины.

— Ну, как дела? — спрашивает Григорий Степанович. — Чем могу помочь?

Павел распрямляется, вытирает пот тыльной стороной руки.

— Готово, — говорит он, — потом еще прогреем мотор: послушаю, как работает.

Он свертывает цыгарку, стараясь поменьше запачкать ее грязными пальцами.

— А помочь, товарищ ученый, очень даже можете.

Он прикуривает от спички, зажженной Григорием Степановичем, и они садятся на подножку машины.

— Давно думал: с кем бы посоветоваться, — говорит Павел. — Вот какое дело... Взять, например, хоть ваш автомобильный генератор. Что в нем вращается? Вращается якорь. Так?

— Так, — отвечает Григорий Степанович.

— Обмотка же стоит. Наглухо. Я располагаю, что от этого больше прочность: реже пробивает обмотку. Верно?

— Правильно.

— Вот. А теперь, если взглянуть на тракторное магнето: там же как раз наоборот: обмотка крутится, а магнит на месте. Ведь так же хуже...

— Видите ли, дорогой, — говорит Григорий Степанович, — не забывайте, что в автомобиле есть отдельный прерыватель тока и это устраняет пробивание. Ну, а впрочем, существуют и такие магнето, где обмотка неподвижна...

— Есть? — Павел смущен. — Ясно! Простите, значит, за беспокойство.

Он встает. Григорий Степанович поднимается тоже.

— А вы молодец, товарищ Павел.

— Вы это к чему? — хмурится Павел.

— Да вот — что придумываете.

— Да что ж я, рабочий или так — гаечный ключ?

Ночью в городе темные дома кажутся вымершими; кое-где светится парадное, номерной знак; лампочка в воротах освещает каменный свод. Улица похожа на коридор огромной гостиницы, на прихожую. Редкие сторожа дремлют возле киосков, словно номерные у буфетов.

## Глава девятая

Дорога идет вверх, извиваясь по горе, среди негустого кустарника и запыленной травы. Жарко. Слышно, как из-под колес летят мелкие камешки. Душное облачко пыли летит за машиной. Кажется, что грузовик поднимается из последних сил: мотор то взывает, то слабеет.

Дорога поворачивает за выступ горы. Машина входит в тень. Начинается спуск.

Теперь тени становятся все больше и больше. Пахнуло влагой: ручей перебежал дорогу. Ветви деревьев начинают задевать грузовик. Машина идет бесшумно, с выключенным мотором, и слышно, как где-то вверху клекочут орлы: вон они кружатся!

Визжат тормоза, машина гремит камнями и останавливается. Распахнув дверцу, Григорий Степанович кидается в кусты.

— Анна Алексеевна! — кричит он. — Скорее!

Анна Алексеевна сидит у самого края. Она перебрасывает ноги через борт и прыгает в белую пыль и мелкие камни горной дороги. За ней, отставая, прыгают другие.

— Где вы, Григорий Степанович!

Но Григорий Степанович уже выбирается из кустов.

— Смотрите, какой экземпляр фумагариин!

Подходят Никита, Тихон Иванович, Вовка, подбегает Джан. Последней приходит Настя, она поправляет волосы.

— Помните, что я вам говорил? — торжествует Григорий Степанович.

— Помню! — отвечает Анна Алексеевна.

— Ведь сколько времени была самая банальная растительность!

— Я даже предлагала свернуть на другую дорогу. Помните?

— И каждый бы предложил! Я сам стал сомневаться. Но я знаю, что так бывает: вот нет и нет, а потом сразу заповедное место! Как в сказке. Правда, Вова?

— Правда! — отвечает Вовка; он с недоумением осматривается.

— Остаемся здесь! — приказывает Григорий Степанович. — Машину сдвинем в кусты, к горе. Там есть площадка. Разбивайте палатки. Ручей здесь недалеко. А мы с вами, Анна Алексеевна, не будем терять времени.

— Отчего Григорий Степанович радуется? — спрашивает Вовка.

— На хорошее место, говорит, напал! — объясняет Тихон Иванович — Вроде вот как на грибное. Ну и доволен. Давай-ка. Владимир, и мы пойдем в разведку: нет ли жилья. Может, молока, опять же фруктов. А только не-е-ет: заехали, будто бы, в глухие места.

Утром все уходят умываться на ручей: отсюда слышно, как он журчит; выше на гору есть водопад. Возвращаются веселые, раскрасневшиеся

Настя повязывает платок, когда Вовка дергает ее за рукав.

— Насть! — шепчет он. — Погляди: птица!

На камне сидит птица. У нее темная борода, темная шапочка, наклоненная на самые глаза, рыжеватые щеки и плечи, серая грудь. Внутри птицы что-то вздрагивает, потом вздрагивает головка, приоткрывается клюв и вырывается резкий, звонкий писк.

— Как будто кашляет! — смеется Вовка.

— Ой, не могу! — прыскает Настя. — Вот выдумщик! — Анна Алексеевна! — кричит она. — Что Володичка придумал. Говорит: птица кашляет! Ей бы, говорит, дать капель! Ой, не могу.

— Про капли это ты сама! — сердится Вовка.

— Едет кто-то, — Тихон Иванович поднимает голову, слушает. Все смолкают.

Издали доносится задыхающийся хрип мотора, но машины не видно. Все ближе и ближе гудит мотор, уже слышны голоса едущих, а машины всё нет.

Потом она выскакивает из-за поворота и приближается, завывая от усилия на подъеме. Возле Вовки грузовик останавливается, из кабины выпрыгивает человек в расстегнутой рубаше и спрашивает:

— Шо за люди? Машина поломалась, чи шо?

— Научная экспедиция, — спокойно отвечает Тихон Иванович.

— В чем дело, Тихон Иванович? — Григорий Степанович выходит на дорогу.

— Да вот товарищ интересуется...

— Вы шо ж, со Ставрополя будете или, может, из Тбилиси?

— Из Москвы, — говорит Григорий Степанович.

— О-о! Извиняюсь, если не секрет, по какой же вы будете части?

— Мы ботаники, — объясняет Григорий Степанович, — изучаем растения.

— Растения? — от восторга человек даже всплескивает руками. — Из Москвы к нам по травицу! Слышал, Георгий?

В кабине за рулем зашевелился смуглый юноша.

— Слышу я! — негромко отвечает он.

— Та шо ж: слышу! — продолжает волноваться человек. — Ты бы лучше сказал товарищам: говорил я тебе про эту травичку или не говорил?

— Говорил, — отвечает юноша.

— Говорил! А сколько я тебе говорил?

— Сколько ездил, столько и говорил...

— Во! — кричит человек. — Сколько ездил! А как же иначе? Как увижу цю траву, думка грызет: не иначе она какое добро имеет для народу. Вот, говорю, приехал бы до нас ученый человек...

Из кармана широких штанов он вытаскивает кисет:

— Прошу, товарищи, нашего табачку...

Закурив, он спохватывается:

— Георгий! Где ж моя планшетка?

— Да вот она.

Человек приносит планшетку, роется в ней, извлекает исписанный листок бумаги.

— Ось! — торжествуяше говорит он. — Письмо сочинил в нашу газету. Читайте! Нехай слухают и знают, шо я не брешу...

Григорий Степанович берет письмо.

— «Уважаемый товарищ редактор, — читает он. — Сообщаю вам, что на Косом перевале, недалеко от колхоза «Дружба народов» и где ручей протекает через шлях, произрастают в богатейшем множестве неизвестные травы. Есть которые достигают величины по грудки взрослому человеку, и было бы добре спробовать, какая в цих травах содержится польза для советского народа, а щоб пользы в их не содержалось, быть не может, бо дуже они пышные, аж проходить стеснительно, оттого как под ногами ничего не бачишь и ступаешь будто бы у воду, а они еще тычутся в самое лицо...»

— Вот! — восклицает человек. — Только отправить не поспел. Да теперь уже и не треба.

— Ехать пора, Фома Георгиевич! — говорит шофер. — Тебя в райкоме ждуг.

— Эге ж! Ехать треба, це так. Ну шо ж, желаю удачи, бувайте здоровеньки!

Уже взявшись за дверцу, он оборачивается.

— А будет время, пожалуйста в наш колхоз. Это тут, недалечко. Так и пытайте: колхоз «Дружба народов». Может, доклад прочитаете про нашу травичку...

— Заедем, если будет время, — отвечает Григорий Степанович.

Машина скрывается за выступом горы, оставив белое облако медленно оседающей пыли.

— Слышали? — спрашивает Григорий Степанович.

— Слышала!

Глаза у Анна Алексеевны сияют.

— То-то! А теперь завтракать и скорее за работу. Время, время идет, Анна Алексеевна.

## Глава десятая

С утра через большую гору, мохнатую от густого леса, стала переваливаться туча. Она шла низко, и верхние деревья окутались туманом. Но туча так и не спустилась: она разорвалась на грязные облака и растаяла в тёплом воздухе долины. Дальние горы покрылись синеватой мглой. Стало еще жарче.

Тихон Иванович чинит сандалии, сидя в тени под терновым кустом; в траве разбросаны обрезки кожи, моток дратвы, короткий нож; остатки завтрака лежат на чистом платке.

— А мы его вот как! — бормочет Тихон Иванович; он тычет шилом в ремень, шило срывается, и Тихон Иванович сосёт поцарапанный палец:

— Тьфу!

— Подайте хлебушка, добрые люди!

На краю дороги стоит женщина, темное от пыли и загара лицо. Одежда посерела, как старые доски, и трудно уже понять, какая была прежде; кое-где порвалась, но зашита выцветшими нитками. Глаза запали. Пустая сума висит набоку.

— Откудова ты такая, — изумляется Тихон Иванович.

— Из низу...

Тонкой черной рукой она показывает на кусты; за кустами видны долина и коричневые старые горы в извилистых складках, будто земля текла сверху ручьями, а после застыла. Из-за ближней горы поднимается вторая: она синее и поверху шетинистая от леса. Влево видна еще гора: двугорбая и такая далёкая, что кажется прозрачной.

— Да ты здешняя, или как?

— Дальняя... — тихо отвечает женщина.

— Иди в холодок! — зовет Тихон Иванович. — В ногах правды нету. Присаживайся.

Он кладет на хлеб кусок вареного мяса.

— Поешь! Не знаю, как тебя называть: то ли дочка, то ли сестра...

— Спасибо... — тихо отвечает женщина и чуть слышно добавляет: — двадцать седьмой пошел мне...

— Ох ты! — удивляется Тихон Иванович; он смотрит, как ест женщина, и морщится, словно ему больно; вовкина сандалия лежит на его коленях.

— Спасибо! — еще раз говорит женщина, доев, и берет палку.

— Не спеши, дочка. Наши придут с работы, пообедаем.

Женщина послушно садится.

— Отколе же ты будешь? — помолчав, спрашивает Тихон Иванович. — Из каких мест?

— Колхоз «Партизан», деревня Малые Броды, у речки Вороны. Может, бывали?

— Это что ж? Выходит, воронежская?

— Воронежска...

— И чего ж не работаешь дома?

— Ну, нету дома-то. И деревни нету. Одной печи...

— Немцы?

— Они...

— Та-ак. А всё же не может того быть, чтоб не отстроили колхоз. Вот и ты бы со всеми. А то летаешь, что мертвый лист...

— Невмочь...

— Да ты с кем говоришь там, Тихон Иванович? С пеньком али, может, с дяленькой медведем? — спрашивает из-за кустов Настя; за кустами слышится звяканье посуды, потрескивает разгорающийся костер, оттуда наносит дымком.

Старик не отвечает.

— Ты что, больная?

— Больная... — покорно соглашается женщина. — И нету для меня средства...

— Уж это ты врешь!

— Разве ж мне помогут капельки? — надтреснутым высоким голо-сом спрашивает женщина. — Ведь как мы жили допрежде? Изба на пять окон, при доме сад: яблоньки, одна грушка, малина; ну, чере-мухи-то! Мужик у меня был справный, работник. Жила, всё равно как птица-соловей, только что не пела...

Совсем тихо она добавляет:

— И детки были. Погодки. Василёк. Василий, значит. И Манюшка...

Женщина смолкает; худая черная рука тербит край сумы.

— Одна горелая место... — говорит она внезапно охрипшим голо-сом, — а я вот живая!

Тихон Иванович откашливается.

— Невсугерпъ... Взгляну на иву: такая старая ива по-над прудом, где поят скотину; а мне видится Василёк под той ивой. И кнутик в руке... Уж меня лечили-лечили... Такая водица соленая.. Как всё равно слёзы! Ну разве ж вылечишь? Ушла потихоньку.

Она вздыхает.

— Ну, подумать: вот сколько земли прошла, а нигде нету такая яблоко; с кваском, а сладкая! Очень их обожала Манюшка. Старшая...

— А... а неужто тебя не тянет, чтобы, значит, поработать? По кре-стьянству? — неуверенно спрашивает Тихон Иванович.

— А тянет, — удивленно говорит женщина. — Отчего не тянет? Я, бывает, прошусь на работу: полоть, косить, у поли...

— За работой оно легче...

— Легше... — покорно соглашается женщина. — Ну придешь но-чевать у доми, вспомнется. Хуже нет, как ночью! Ну плохо!

Кусты трещат, раздвигаются, и между ними появляется Настя; она раскраснелась не то от костра, не то от волнения, а глаза полны слёз, слезы сами собой срываются с белых ресниц и льются по румяным щекам.

— Ой, бедная! — восклицает она. — Бедная! На-ка, подкормись до обеда, подружка...

Настя подает ломоть хлеба с маслом.

— Спасибо, — тихо отвечает женщина.

— Да ты, бабонька, — говорит Настя, — ты, бабонька, реви. От рёву, что от дождя, дышать легче. А ты—что каменная, ссохлась вся...

— И верно, что каменная, — вздыхает женщина. — Ну, только нету слезы. И рада бы...

Внезапно она вскакивает, дрожа и заслоняясь руками.

— Они... Собака ихняя... Немецкая!

— Ничего не немецкая! — обиженно возражает Вовка, он вышел на поляну вместе с Джаном; у Вовки маленькие босые ноги, а в воло-сах застрял крошечный желтый лист. — Совсем даже наша, советская! Цыц, Джан! Не смей! Ляг! Ляг сейчас же!

Джан неохотно ложится; он делает равнодушный вид и даже зева-ет, сбросив набок длинный розовый язык, узкий, как ламповый фитиль.

Тихон Иванович успевает схватить худую черную руку.

— Да что ты, дочка! Она не тронет. Это наша собака... Научной, значит, экспедиции...

— Ой, Владимир! — с досадой говорит Настя. — Да уведи ж ты собаку. Разве не видишь?

Женщина успокаивается.

— Какой мальчик-то.. — говорит она с нежностью, — хороше-нь-кий!

Вовка краснеет и отворачивается.

— Курносый!

— И вовсе я не курносый! — возмущается Вовка. — Пошли, Джан! За мной!

Он бежит прочь. Джан поднимает голову, смотрит вслед — уши стоят торчком — потом кидается вдогонку.

— Вот и мой... Тоже курносый... был, — тихо говорит женщина.

— Ох! — восклицает Настя, — прямо, мочи нету... Пойду посмотрю костер!

Никита и Тихон Иванович медленно выходят из каменных белых ворот больницы и останавливаются у машины.

— Покурим? — спрашивает Тихон Иванович.

Никита достаёт из кармана смятую пачку «Прибоя». Короткие черные тени лежат у их ног.

— Должны они ее вылечить, как по-твоему? — говорит Тихон Иванович.

— Должны... Сколько горя немцы пустили по миру...

Они курят; в неподвижном воздухе дымки поднимаются струйками.

— Беда, если человек смотрит в прежнее! — Тихон Иванович задумчиво качает головой, — хуже всего!

Резким движением Никита швыряет окурок в пыль.

— Ты что так?

— Да там... По радио передавали в больнице... Не унимаются поджигатели. Чтобы, значит, опять воевать с нами.

— Вот поди ж: стоит им наша радость поперек горла! — горестно удивляется старик.

Из глины и камней сделана ниша, и в ней торчит трубка; звучно льется из трубки прозрачная горная вода.

Никита сует голову под струю, потом набирает в пригоршни воду и пьет.

Он не стирает капель с лица, с коротких мокрых волос. Бледный, но спокойный Никита идет по дороге в горы. Он идет солдатским спорым шагом, и Тихон Иванович едва поспевает вслед.

Их догоняет машина. Григорий Степанович отворяет дверцу.

— Вы что же не подождали?

— Да мы так, — отвечает Тихон Иванович, — пройтись...

— Как... Пелагея-то? — хрипло спрашивает Никита.

— Реактивный психоз. Часто ей чудится: плачут детки. Врач говорит: сделаю все, что в человеческих силах. А вообще-то она должна поправиться. Это проходит.

В горах дождь. Дорога сворачивает. Долина уже исчезла позади. Впереди по склону влачится облако, словно дым сражения, то открывая форты и бастионы близких выступов и вершинок, то скрывая их снова в молочной пелене. Постепенно облако сносит вправо, и гора открывается вся, ржавая и зеленая, потемневшая от дождя. А облако тащится вправо и приподнимается, показывая соседнюю гору. Но клоушь тумана кое-где застряли, как вата, в лесу, а большой кусок его еще дымится в расселине между гор.

### Глава одиннадцатая

— Григорий Степанович!

Тишина.

Со всех сторон наступают тучи. Главный хребет скрылся в синей мгле, дымные облака спустились до середины гор. На западе горы потемнели, а небо затянуло серой пеленой.



— Гри-го-рий Сте-па-но-вич!

Вот и южные горы закурились тёмными клубами. Неуверенный солнечный свет еще лежит на склоне потёртой древней горы. Но ее вершина уже омрачилась, уже поднялись за ней страшные тучи, и впереди летят белые, как лебеди, прихотливые облака.

Тихо. То справа, то слева вполголоса просверчит кузнечик. Свистнет птица и смолкнет. На камне, растопырив крапчатые, как старушечий платок, крылья, сидит одинокая бабочка — пэпэла, по-грузински. Воздух неподвижен. Едва слышно слабое пение петухов в долине. Такая тишина и неподвижность, что даже облака клубятся на месте, не двигаясь.

— Да что ж это с ним? Может, сорвался? Или зверь напал на него?

Третий раз кричит Анна Алексеевна в безмолвные горы; теперь в ее голосе звучит тревога:

— Да где же вы, Гри-го-рий Степанович!

— И-ич! — повторяет эхо.

Григорий Степанович отзывается неожиданно близко:

— А-о-а!

— Обе-дать!

Анна Алексеевна нагибается, чтобы постелить салфетку на камень. Теперь им обед приносят в горы, как в поле колхозникам, чтобы сэкономить время. Джан легко находит их. На салфетку Анна Алексеевна ставит горячий котелок, две мисочки, кладет хлеб.

— Ско-рей! О-сты-нет!

— А-о-а! Ве-че-ром. Сразу.

— Я го-лод-на-я! — Анна Алексеевна хмурится.

— Ешьте а-а-ми!

Анна Алексеевна вздыхает, снимает мисочки и котелок, завертывает хлеб, поднимает папку, берет картонный баул с растениями и, стараясь не выронить, медленно идет на голос. Но тропинка ведет куда-то в сторону, а сквозь чащу не проберешься: кусты выше человека, они переплелись ветками и почти все колючие.

Все больше попадаетея камней. Кусты редеют, за ними виден свет. Анна Алексеевна обходит узловатый черный дуб.

— Ох, куда ж я попала!

Сухое русло похоже на старое шоссе: нагретые солнцем обкатанные белые камни. Кое-где лежат крупные валуны. Берега густо заросли кустарником и дубами. Тихо. На другой стороне продолжается тропинка: ветки почти накрыли ее, сводом.

Выше русло поворачивает вправо, в тесной расселине идёт коридором, вымошенным белыми камнями. Там отвесные серые берега, высокие. Свисает борода камней, поверху теснятся кизил и шиповник: спелые ягоды забрызгали русло. Дождевые потоки провели морщины в серых стенах.

Весной здесь ревет Ниахвари — поток; тогда все эти камни катятся с грохотом и стуком. Здесь, ниже расселины, вода врезалась в пуганицу подлеска, слабея, теряя белые камни среди дубов, шиповника, дикой сливы и тёрна.

Под тяжестью человека камни шевелятся и гремят; это как негромкое рычание, его слышно издали, и надо смотреть под ноги, чтобы не споткнуться.

— Григорий Степанович!

— Степанович! — женским голосом внятно отвечает ущелье.

Анна Алексеевна устала. У самого берега она опускает свой груз на чистые белые камни. «Чучело упрямое!» — громко говорит она и ти-

хонько всхлипывает. Потом притягивает ветку шиповника и, морщась, втыкает в палец острый шип. Тихонько вскрикивает, машет рукой. На пальце выступает капелька крови.

— Ай! Григорий Степанович! Скорее! — кричит она с испугом. Григорий Степанович отзывается сразу: он где-то близко.

— Что случилось?

— Меня укусила... паук!

— А может быть змея? — негромко говорит Анна Алексеевна, она улыбается, потом морщится и дует на палец.

На берегу шевелятся и трещат кусты. Григорий Степанович с грохотом спрыгивает на камни. Из карманов его кителя свешиваются листья и стебли.

— Кто укусил? Паук? А не фаланга? Покажите.

Анна Алексеевна протягивает палец и беспомощно говорит:

— Не заметила... Оно убежало.

— Гм! — Григорий Степанович рассматривает палец. — А вы уверены, что это была не змея?

— Ну вот! По-вашему, я не могу отличить паука от змеи?

— Впрочем, ранка только одна. Больше похоже на укол. Хорошо, что идёт кровь...

Григорий Степанович так нажимает на палец, что Анна Алексеевна негромко стонет.

— Ничего, терпите. А теперь отсасывайте кровь и сплевывайте.

Анна Алексеевна послушно сосет палец и неумело плюет на камни.

— Придется пойти в лагерь, — в раздумье говорит Григорий Степанович.

— Не надо! — пугается Анна Алексеевна. — Что вы?!

— Как же не надо? Здесь, правда, нет особенно ядовитых насекомых...

— Вы же сами сказали, что это укол.

— Похоже на укол. Но я могу и ошибиться... Вы что делали, когда вас укусил этот... паук?

— Григорий Степанович! Пошадите! Я умираю с голоду.

Григорий Степанович быстро стелет салфетку между двумя валунами, ставит котелок и миски, кладет хлеб.

— Обед подан! Кушайте и пойдём.

Они сидят на валунах и едят остывший суп.

— Всё холодное! — укоризненно говорит Анна Алексеевна. — Из-за вас...

— Я набрёл на травяной заповедничек и, конечно, увлёкся.

— Неужели вы никогда не усгаёте?

— Видите ли, Анна Алексеевна, работа — это самый увлекательный способ жить. Я же следопыт, охотник за тайнами. Каждый день находишь намёки на какие-то неведомые законы. Потом возникает догадка. Тогда меня, как малярика, трясёт: скорее проверить... Разве можно устать от такой жизни? Ну как, сыты?

— Спасибо, сыта.

— Теперь идемте.

— Что вы? Никуда я не пойду. Будем работать.

— Но вас укусил...

— Может быть, это просто укол.

Анна Алексеевна улыбается.

— Вы же сказали — паук!

— Я могла ошибиться...

Григорий Степанович качает головой.

— Ну поймите, — говорит Анна Алексеевна, — я устала, досмерти хотелось есть, и я боялась разлить суп, если стану карабкаться на берег. А вы не отзывались...

Они смеются.

— Немножечко больно! — Анна Алексеевна шевелит пальцем и вздыхает.

— Да! — говорит Григорий Степанович. — Вот, к слову, о догадках... В Средней Азии я заметил, что в зарослях анабазиса всегда попадаются старинные черепки, монеты... Блеснула догадка. Знаете, как молния ночью. Всю зиму в Москве я сидел над книгами по истории Средней Азии.

— Зачем?

— И на карте везде, где раньше были города и поселения, я писал: «Заросли анабазиса».

— И неужели подтвердилось?

— Блестяще!

Они медленно идут по тропинке. Сбоку на солнечном месте стоит одинокий колеблющийся цветок: оранжевая чашечка, в которой среди желтых волосков лежит зеленый орешек. Цветок смотрит прямо в небо.

— Альпийский мак! — восклицает Анна Алексеевна. — Смотрите, Григорий Степанович! Альпийский мак!

— Да. Кстати, Анна Алексеевна, вы сумеете завтра сделать анализ тех растений? Помните...

— Я уже сделала.

— Ну и как?

Григорий Степанович останавливается.

— Масса алкалоидов. Четыре креста.

— Здорово! Значит мы на верном пути...

— А это что, Григорий Степанович?

Перед ними расгопыренный куст: толстые, одеревяневшие стволы с листьями ландыша, только расправленными.

— Кавказский рододендрон... Вы знаете? В древности славились страшные колхидские яды. Так вот: эти травы растут где-то здесь.

Вовка встречает их возле лагеря.

— Почему так долго? Уже совсем почти темно, — ворчит он. — А зачем у тебя завязанный палец? Ты его ушибла, мама? Да?

— Когда твоя мама была на каменной реке, — говорит Григорий Степанович, — на нее бросился громадный змей и укусил за палец. Она как закричит!

— Правда, мам? Ой, а вдруг он ядовитый!

— Тогда Григорий Степанович как прыгнет с горы на камни, — перебивает Анна Алексеевна, — ты, наверное, отсюда слышал: такой был грохот! И убил змея. Котелком, в котором ты носишь суп. Вот!

— Нет, это правда, мам? Да?

Вовка смотрит то на Анну Алексеевну, то на Григория Степановича.

— Ты же сам видишь! — отвечает Анна Алексеевна и показывает завязанный палец.

Мальчик кидается к Григорию Степановичу, обхватывает за шею и, когда тот нагибается, чмокает в плохо побритую щеку.

— Ну, уж этого я не заслужил! — растерянно говорит Григорий Степанович, обнимая мальчика.

— Кто знает!—смеется Анна Алексеевна.  
— Да идите вы скорее, полуношники! — кричит Настя. — Уже пятый раз все перекипает. Чистая беда с вами.

### Глава двенадцатая

Анна Алексеевна не может понять, отчего она проснулась: в палатке темно, слышно, как ровно дышит спящий Вовка.

Потом доносится тихий свист. Это ветер. Значит, скоро будет рассвет.

Последнее время приходится много работать. Григорий Степанович спешит. Вся экспедиция поднимается с первыми лучами солнца.

Анна Алексеевна одевается в темноте, осторожно шурша платьем, и выходит. Застегнуть платье лучше там, на свободе. Здесь тесно.

Из-под самых ног встает Джан. Он потягивается и протяжно зевает.

Рассвет начинается цветением далеких облаков: желтых, румяных, снежных. Над долиной, посредине, еще висит дымное темное облако. Перед рассветом в долину ворвался ветер; деревья свистят и шипят. Первыми засияли Казбек и главный хребет, похожий на плохо натянутые палатки; сегодня там снова выпал снег. Затем осветились шатровые широкие горы поближе, и тут же осветилось в западном конце долины. Там сразу стало просто, по-дневному. На севере, откуда приходит река Калмахи и где горы за горами поднимаются к главному хребту, по склонам блуждают два белых длинных облачка. На востоке еще борется последняя туча. Ветер тащит ее, обдирая о лесистую вершину, а сверху и справа она уже забелела от солнца.

В долине мрак и ветер. Солнечный свет приближается с запада. Вот солнце взошло в Мерцхали и на Лехвийской дороге. Вот свет узкой полоской лег там, где Калмахи обходит остров, и на Военно-Грузинскую дорогу. Калмахи в этот час светится голубой прерывистой лентой. Вот и на северо-востоке прорвался под страшной последней тучей солнечный луч.

Там, где уже разгорелось ясное утро, бродят и борются огромные тени.

— Утро, кажется, и вправду доброе!

Анна Алексеевна испуганно оборачивается. Это Григорий Степанович; он с полотенцем и розовой мыльницей. Из кармана синего кителя торчит зубная щетка.

— Как вы неслышно ходите!

— По-охотничьи.

Он поправляет полотенце, негромко спрашивает:

— Устали или нездоровится?

— Так! — отвечает Анна Алексеевна. — Вспомнилось...

Григорий Степанович идет к ручью. Из деревянного жёлоба струя звонко льется в переполненную ямку. Темная вода в ямке играет пузырями; вправо, в камни, с шумом течет ручей. Если закрыть глаза, кажется, что идет дождь.

Широко расставив ноги, брызгаясь и фыркая, моется Григорий Степанович.

— Хорошая вода!—восклицает он, — с холодком...

Вытираясь, Григорий Степанович, говорит сквозь полотенце:

— Славный сын у вас, Анна Алексеевна. И чем-то напоминает моего...

— Разве у вас?..

Григорий Степанович опускает глаза; теперь он вытирает руки, большие мужские руки, покрасневшие от холодной воды.

— Был..

Потом закидывает на плечо полотенце, смятое и сырое, говорит:

— Сегодня выйдем пораньше, хочу попробовать один способ...

Уже уходя, оборачивается:

— Сынишку возьмите, Анна Алексеевна. Ему будет интересно.

Анна Алексеевна смотрит, как с горы в долину ползут серые низкие облака. Сначала они лежат на вершине, потом на горе появляются темные тени. Вот одна тень отделилась и пошла вниз и вкось: это вырвалось небольшое облако.

Над долиной чистое небо.

Они медленно идут в гору. Тоненький подлесок пожелтел и светится. Среди бледной желтизны поднимаются почти черные, невысокие, но мощные дубы. Издали виден багровый кустарник. Узенькая, едва различимая тропинка идет по лесу. Потом становится больше тусклого коричневого листа и еще крепкой зелени. Здесь больше травы, а ветви дуба вытянулись к северу, как волосы от сильного ветра. А впереди сошлись два дуба, и между их вершин видно темную синеву горы.

Возле дубов тропинка поворачивает, выводит на поляну. Там, медленно приближаясь, пасутся лошади.

Григорий Степанович и Вовка ложатся на пригорок.

— Ну, сейчас мы узнаем, годишься ли ты в путешественники, — строго говорит Григорий Степанович. — Видишь вон ту серую лошадь с жеребенком?

— Вижу...

— Она пройдет возле нас. Давай условимся: ты будешь смотреть на жеребенка, а я на лошадь. Рассказывай всё, что видишь.

— Жеребенок, ну... — неуверенно говорит Вовка, — ну, ходит. Махает хвостом. Хвост у него такой, скомканный. Как если бы из рыжей ваты...

— Говори, говори! — поощряет Григорий Степанович.

— Ну, — говорит Вовка, — ну, он мотает головой. Обернулся, шелкнул зубами, вот как будто хотел укусить себя за хвост. Нюхает траву. Схватил зубами. Ну, теперь ест. А трава падает у него изо рта. Смешной!

Медленно приближается лошадь. Она серого цвета с темными ногами и темным крупом. У нее большие скулы и такая тонкая шея, что голова кажется слишком тяжелой. Большие серые уши все время движутся. Задние ноги, стройные и сухие, она переставляет с изяществом, с грацией, как балерина.

— Теперь он роет копытом землю. Что-то нюхает, — говорит Вовка, — вот он хочет еще сорвать траву. Ой, она ему не позволила!

— Она прижала уши и фыркнула! — возбужденно говорит Григорий Степанович.

— И еще толкнула его мордой. Он даже обиделся! — перебивает Вовка.

— Надо найти эту траву! Бежим!

Лошадь поднимает голову, смотрит на подбегающих людей, на всякий случай она отходит в сторону.

— Вот оно! — восклицает Григорий Степанович.

— И нет! И нет! — кричит Вовка. — Она не позволила ему съесть вот это.

— Ты уверен, что не ошибся? — спрашивает Григорий Степанович.

— Я видел! — настаивает Вовка.

— Ну что ж! Попробуем. — Григорий Степанович протягивает лошади сорванное растение. Лошадь обнюхивает, вздыхает, потом осторожно берет мокрыми большими губами и жует, закрыв глаза. Григорий Степанович смущен.

— А теперь ты! — говорит он.

Вовка предлагает лошади траву. На этот раз она нюхает недолго, презрительно фыркает и отворачивается.

— Гм! — говорит Григорий Степанович. — Кажется, ты прав.

— Ну, конечно, прав! — гордо отвечает Вовка.

— Похоже, что тебе удалось найти какую-то ядовитую траву.

— Ой, — пугается Вовка, — я думал, она лечебная.

Он бросает траву, вытирает пальцы о штаны.

— Чудак! Вот чудак! — Григорий Степанович бережно поднимает растение. — Фармакология, голубчик, не знает слова «лекарство», она знает только слово «яд». Это одно и то же. Пошли!

Они идут, и Григорий Степанович смеется.

— Повезло тебе, брат! — говорит он. — В науке принято: новому растению давать имя того, кто его открыл. Вот и выйдет какой-нибудь астрагалус вовкинус!

— И все-все будут знать? — спрашивает Вовка, его глаза сияют.

— Ну, конечно, все.

— Как вы здорово придумали! — восхищается Вовка.

— Что придумал?

— Ну вот, чтобы смотреть на лошадей.

— Животные знают растения лучше, чем люди.

— Почему?

— Что почему?

— Почему знают лучше?

— Так, ведь они, голубчик, живут среди растений, кормятся, лечатся.

В лагере экспедиции кипит работа. Никита под наблюдением Анны Алексеевны упаковывает образцы растений.

— Анна Алексеевна, бросайте всё! — объявляет Григорий Степанович. — Надо сделать анализ: Вовка нашел новое растение.

— Да ну? — удивляется Никита.

— Ох, Григорий Степанович! — качает головой Анна Алексеевна. — Избалуете вы мальчишку.

— Да в самом деле он нашел, — смеется Григорий Степанович, — он и жеребенок.

— Григорий Степанович, — тихо говорит Вовка, — а можно мне что спросить...

— Да что ты вдруг застеснялся, брат? Конечно, спрашивай...

— А не может быть в этой траве такой яд... Ну, такой...

— Какой?

— Который может вылечить... Жбанкова?

Вовка смотрит ожидающе и тревожно, выгоревшие брови нахмурены.

## Глава тринадцатая

Слышно, как дед Сулейман понукает лошадь, рукой он придерживает ближайшую корзину. Корзины разные: высокие, похожие на гигантские кувшины, и низенькие, словно тазы, все из темных прутьев, старые и переполненные виноградом — наружу свисают гроздьи.

На винограднике не видно людей; изредка зашевелиятся листья, где-нибудь послышится голос, рассмеется девушка.

Григорий Степанович сидит на корточках и срезает гроздьи; на нем широкополая шляпа из соломы. Джан первый узнал его: взвизгнул и завилял хвостом.

— Какая шляпа... — говорит Вовка.

Григорий Степанович поднимает голову:

— А, Вовкаджан! Шляпа, брат, замечательная: шалаш, а не шляпа.

Он срезает гроздь и показывает:

— Смотри, Володя: это капли, обтянутые кожицей. Они просвечивают насквозь. Ты думаешь, они одинаковые? Гляди: вот зелёная гроздь, тронутая лёгким туманом. Вон там грозди розоватые: как будто сохранили свет зари. В том ряду темнокрасные, словно их осветило ночным костром. И, наконец, черные с голубой изморозью. Разные, как человеческая радость. Понял что-нибудь?

Григорий Степанович посмеивается под широкой шляпой.

— Отнеси-ка, Володя, ведро с виноградом. Или позови Марику. Класть больше некуда...

Три горы легли рядом, вытянувшись в сторону долины и касаясь друг друга боками. По склонам гор клубится лес: он похож на густой курчавый мех.

Когда подходит Вовка, Анна Алексеевна распрямляется и начинает поправлять платок. В поднятой руке сверкают разинутые ножницы.

— Ну, что? — спрашивает она, — как там... Григорий Степанович? Настя?

— Он, мама, говорит, что он, как в шалаше... В шляпе-то. Я даже не узнал сначала: думал, чужой старик.

— Ну какой же он старик?! — возражает Анна Алексеевна и внезапно хохочет звонко и так заразительно, что Вовка начинает смеяться тоже.

— Однако нужно работать! — говорит она. — Помогите мне, Вовка: остригите вон тот куст. Только не пропускаяй.

Грецкий орех уже начал желтеть и сбрасывать листву: бледножелтые прозрачные листья светятся на солнце, иные сделались коричневыми и свернулись, как от огня. Под деревом они лежат хрустящим ковриком.

На востоке, переваливаясь друг через друга, спешат высокие облака; их тени покрыли вершину горы и теперь медленно спускаются.

— Марика-а! Мария-а! — слышит Вовка.

По голосу он находит Тихона Ивановича.

— Давайте, я отнесу виноград, — предлагает Вовка.

— Неси. А я пока перекурю, — соглашается Тихон Иванович.

Он свертывает цыгарку и говорит, словно пугаясь.

— Изобильный урожай. Сила! Это же одолеть надобно.

Нико топчет виноград в огромной бочке на веранде. Он улыбается и держится руками за края бочки. Поверх трусиков у него намотаны чистые полотенца. А когда Нико присаживается на край, чтобы покурить, видны его сухие волосатые ноги с приставшей кожицей винограда.

Вся веранда наполнена разноголосым жужжанием. Отяжелевшие пчелы и осы ползают по столу, дерутся у потерянных ягод.

Джан, опустив хвост, с недоумением обнюхивает упавшие веточки винограда и чихает.

К обеду сюда приходят все.

Нико побрит, от самых глаз у него начинается синяя кожа, синева густеет на скулах и подбородке.

— Страсти какие! — смеется Настя. — Бородишка еще только всходит, а уже глянуть боязно. Не как у вас, Тихон Иванович!

— А чем моя хуже? — обижается старик. — У них тут всё растёт дуром. Воткни палку, вырастет чинар. Такая земля.

— Земля грудная, — возражает Никита. — Видал, как здесь пашут?

— Как не видать! Запрягут цельное стадо быков, двое орут да гонят, третий плуг ведет. Крику! Шуму! Думаешь: пожар, а это пашут!

— Верно! Камень много! — говорит Нико и смеется. Он всегда смеется. У него большие белые зубы. Настя смотрит на них с любопытством и страхом.

Разговаривая, подходят Григорий Степанович и председатель колхоза Фома Георгиевич.

— Что это? — удивляется Григорий Степанович. — Неужели нет пресса для винограда?!

— Толкут ягоду ногами. Ай, стыд! — ахает Настя.

— Зачем стыд? — обижается старый Сулейман, — война нелегкая была. Сейчас пресс из города ждём.

— Це ж стыд так работать! — соглашается Фома Георгиевич. — Ты вже, дидусь Сулейман, не спорь. Не спорь, пожалуйста, мени стыдно перед людьми. Тилько раньше нам пресс був без нужды, бо мало було для него винограда. А теперь мы закладываем новый виноградник. Теперь без пресса нам никак нельзя...

— Видели, Григорий Степанович? — спрашивает Никита. — Какой придумали водопровод. Здорово!

— Нашли на горе родничок, — перебивает Настя. — Ну, ключ, что ли... Во-он там.

Она показывает куда-то наверх.

— Где родник-то выходит, они сделали вроде маленького колодца и поставили широкую трубу.

— А потом провели маленькие трубы, поуже, — перебивает Настя, — почти до самых верхних огородов.

— Яких огородов?! — недоумевают председатель. — До бахчей, це так!

— А потом надели резиновые рукава, — продолжает Никита, — где нужно, там поливают. Здорово!

— И в бочку могут налить, и в баню, и в прачешную, и на кухню! — торопливо сообщает Настя. — А воду как здесь носят, видели? — она фыркает. — Кувшинами. Большими такими. Из глины. Умора!

— Разве у вас есть прачечная? — спрашивает Григорий Степанович.

— Та як же? Треба помыть белье в колхозные ясли, в столовую, на ஏрачебный пункт, да и так, кто хочет, приходи да мый.

— Нам бы труб еще мепров чetyреста, — мечтает председатель, — да шлангов резиновых.

Тем временем народу приходит всё больше, девушки обступают председателя, и одна из них, краснощекая Ганна, уже давно нетерпеливо дергает его за рукав.



— Шо вы приступили ко мне, як козы к сену? — спрашивает Фома Георгиевич. — Та виддай, Ганна, мой рукав, бо оборвешь...

Он подмигивает Григорию Степановичу:

— А шо будет, як Ганна получит орден! Съест меня, як ту сливу, и косточку не выплюнет...

— Дуже ты сладкий, председатель! — отвечает Ганна. — А дурни-мухи мимо летают!.. Шо ж: будут нам удобрения, чи нет?

— Коли б знав, сказал. Обещали.

— То и я знаю, шо обещали... Только не растет пшеница на обещанках.

— От дивчина! — восхищается Фома Георгиевич. — Все одно як з пистолетом до сердца. Говорю ж, не знаю!

— А кто знает? Сулейман, чи Горпына, чи Марика? У кого спросить, председатель?

— Як привезут до района, буде и нам.

— Погано тебе жить будет, председатель, если скоро не привезут, — спокойно говорит Ганна. — А-ни спочивати затишно, а-ни зъисты: ничего я тоби не дам. Був толстый, станешь ледащенький.

— Яка ж люта! Недаром трактористы плачут в эмтээсе, едучи в твое звено. Бо, говорят, трясет их Ганна, как грушу. Мы, говорят, на пятнадцать сантиметров пашем: кричит, мало! На двадцать берем, опять: мало! Так какого же, говорят, беса тебе треба? А мне, говорит, треба, чюб не было меньше, чем у Черных Акулины из Воронежской области. Бес тебя знает, кричат трактористы, сколько же у нее, у Черных? Двадцать пять, говорит, и щоб ни одного сантиметра меньше!

Фома Георгиевич хохочет.

— Ты, вроде, хочешь золотую звезду, Ганна? — спрашивает он.

— А шо?—отзывается Ганна.—Та ее ж дадут не за спасибо, за дело.

— Чуєте? — Фома Георгиевич весело подмигивает Григорию Степановичу. — Хочь биться об заклад: получит!

Он хочет отойти, но дорогу преграждают.

— Осень на дворе, председатель. Потом вскинешься, ан нельзя: снег! Когда воду-то проведешь на лишний участок?

— Ламповых стекол надо побольше, председатель. В хате-читальне горит, ровно б лампадка. А нам не молиться, нам книгу читать.

— Хома Гогизевич! — говорит Марика, — а не пора новый виноград сажать?

И даже Нико ворчит из своей бочки, не переставая работать.

— Виноград давить — Нико, вода давать — Нико, свет давать — Нико.

— Тю! — начинает сердиться Фома Георгиевич, — видно, не колхоз, а рыжий батько купил машину, щоб ездить до району?

— Кто говорит пять спасибо за одну машину? Разве мало один спасибо?

Настя не выдерживает.

— Плохой председатель! — укоризненно говорит она. — И зачем выбирали такого?!

— Кто сказал — плохой? Я не сказал плохой!

Нико даже перестает улыбаться и топтать виноград; растерянный, он садится на край бочки.

— Да ты, дивчина, сказала, чи шо?! — ахает Ганна. — Який же вин плохой?

— Вы сами же говорите.

— А ты бачила, яка у нас птицеферма? — негодует Ганна. — Была ты на скотном дворе? А що у нас собирают двадцать семь центнеров пшеницы с гектара, це як? Тю! И як язык повернулся таке сказать...

— Так вы сами... — защищается Настя.

— Що мы? Мы хотим ще лучше. Ось и приступаем до председателя.

— Думав я и за электростанцию, — прерывает председатель, — тилько река у нас вередливая: воды мало, а каменюк богато. Думал... Уже решили ставить движок. Ось там на горбочку, бачите, сарай?

— С горячим вам трудно: далеко.

— Так шо делать! Тут и гадать нечего!

Председатель разводит руками.

— Ветров у вас много?

— Витра? Хватит та ще й зостанется,—отвечает Фома Георгиевич,— а вы, мабуть, за витряк думали?

— Угадали! — улыбается Григорий Степанович.

— У нас Нико дуже за це дело болеет. На шо, говорит, палити горючее, коли витру скилько завгодно и ще бильше?

Когда после обеда возвращаются на виноградник, Анну Алексеевну торопливо догоняет Вовка.

— Мама! Ма-ма! — кричит он издали. Анна Алексеевна останавливается.

— Что тебе?

— Я нашел, мама! Там, под греческим орехом... На!

Вовка протягивает помятую бумажку.

— Фу, Вовка! — сердится Анна Алексеевна.

— Мама, мамусенька! — умоляет Вовка. — Ты только прочти. Тут про растения...

— Про растения? — Анна Алексеевна с сомнением берет бумажку.

— «Я люблю... природу, — торопливо читает она, — как люблю жизнь. Да это одно и то же. Кажется, Энгельс говорил, что люди—это часть природы. Но я люблю»... тут почти совсем стерлось! «Я люблю полно... полнокровную здоровую жизнь, где и растение...»

— Вот видишь! — радуется Вовка. — Я говорил, что про растения.

— «... где и растение под воздействием человека показывает лучшее, что в нем есть». Удивительно знакомый почерк!

— Читай! Ну читай же, мама! — нетерпеливо просит Вовка.

— Да ты все равно не поймешь! — отмахивается Анна Алексеевна и читает дальше. — «Когда б ты знал, как я ненавижу... ненавижу все эти дупла, аденоиды, чахотку, расовую вражду, короеду, экспрессионизм и другие психозы...»

— Мама! А там нету чертежей? — спрашивает Вовка.

— Отстань, Вовка! Но кто бы мог... Ох, да ведь это!..

Анна Алексеевна прикусывает губку и розовеет.

— Читай, мама! — просит Вовка. Он всё еще ждет, блестя глазами и не решаясь шевельнуться.

— Сейчас! — теперь Анна Алексеевна читает вполголоса и очень быстро. — «... последнее время я много думаю о счастье. Мне представляется, что это маленький нехитрый цветок, как бывает на яблоне, на черёмухе или.. или как полевая гвоздика. А приглядишься и, батюшки мои, до чего же мудрено: вырез лепестка, пестики, тычинки, всякие сложности; так и не разберешь до конца...»

— Какая-то чепуха про пестики! — разочарованно говорит Вовка.

— «Теперь мне отчего-то захотелось нехитрого семейного сча ... счастья. И все-таки такого сложного»...

Она дочитывает совсем тихо.

— Письмо получили, Анна Алексеевна? — весело спрашивает Григорий Степанович. Сдвинув широкополую шляпу, заткнув за пояс ножницы, он идет на виноградник.

— Нет, Вовка нашел бумажку. Это не ваша?

— Это Джан нашел, — поспешно говорит Вовка. — Под деревом. Где греческие орехи.

Григорий Степанович с недоумением берет бумажку.

— Да, моя.

Анна Алексеевна прямо смотрит в его лицо:

— Вы меня простите, Григорий Степанович. Я не знала, что это ваши записки... Я прочла.

— Конечно. Пустяки. Спасибо, — бормочет Григорий Степанович.

Он смотрит на бумажку, и Вовка видит: сквозь загар у Григория Степановича проступает темный румянец. И сразу же краснеет Анна Алексеевна.

— Ох, Вовка! — восклицает она. — Где ты так выпачкался? Ты только взгляни на свои руки.

— Это от греческих орехов! — объясняет Вовка.

— Сейчас же иди мыться! И потом: сколько раз я запрещала совать грецкие орехи в карманы. Посмотри, что стало со штанами!

— Джан! За мной! — кричит Вовка.

И он, размахивая рукой, мчится к дому.

Горы меняются весь день. Солнце движется, и на горах темными пятнами проступают морщины, складки, ямы, то в одном, то в другом месте. Рассыпанными камнями кажутся далекие селения. К вечеру небо опускается на землю и всё исчезает в тумане. Гор нет. Последнее, что видно впереди, это свинцовая полоса речных камней и лесок на том берегу. Вправо мир кончается сразу за поселком. Южных гор тоже не стало.

В просторной комнате пахнет замазкой: сегодня вставили стекла в новом клубе. Под ногами шуршит стружка. В углу лежат, повалившись набок, огромные лампы «молнии», а на столе неярко горит маленькая семилинейная лампочка. В пианино, припорошённом дорожной пылью, как в торфяном черном озере, отчетливо отразился язычок огня.

Сидят на длинных скамьях; иногда скамьи начинают поскрипывать, девушки шепчутся и шипят друг на друга: «Галю! Дай карандашика» «Тсс!» «Та замовчи, Марусю!» «Галю! Дай же карандашика!» «Тсс!» «Писля дам, ты у мене списуешь!»

Чтобы видеть сидящих, Анна Алексеевна время от времени загоразживается от лампы рукой.

Дверь приоткрывается, тихо пискнув: в комнату просовываются две головы—волчья с высунутым красным языком и всклокоченная мальчишечья.

— Мам! — говорит Вовка.

— Тсс! — шипит ближайшая к двери девушка, — не бачишь, що люды займаються?

Смягчившись, она спрашивает шёпотом:

— А що треба, хлопчик?

Вовка не отвечает.

—...Я бы советовала вам, девушки, — говорит Анна Алексеевна, — из зелёных удобрений применить люпин, пелюшку или же, например, чину. Это такие растения из семейства бобовых, вроде дикого гороха. Дело в том, что на своих корешках они образуют маленькие клубочки, вроде узелков, и эти узелки содержат азот.

— А ци корэшки крошить треба, чи как?

— Нет, крошить их не надо, — отвечает Анна Алексеевна, — а просто недели за две перед посевом надо запахать эту землю и всё...

— Як же? Зовсим и з травую? А мабуть вона обратно стане расти, ця пелюшка?

— Вай! Наверно, косить надо, убирать надо. Да?

— Мам! Тебя зовет Григорий Степанович, — говорит Вовка.

— Сейчас! — отвечает Анна Алексеевна. — Нет, пелюшка больше там расти не будет; она не от корня растёт, а от семени. Ну, а если даже вырастут отдельные экземпляры, так беды всё равно нет. Их даже нарочно подсевают в пшеницу.

— Мама! — говорит Вовка.

— Сейчас, сейчас! Нет, ни косить, ни убирать не надо: перепахать прямо по этой траве и всё. Через две недели перегниёт, вот и удобрено поле.

— А як же воно: пид пшеницу, чи и пид кукурузу?

— Мама же!

— Иду! Даже для виноградников и плодовых садов. Да иду же я, Вовка! Отстань, пожалуйста!

— Ще одно словечко, Ганна Олексивна! А деж те семена **брать?**

— Ания, — просит Марика, — надо, чтоб и в нашем винограде...

Осенью, когда на деревьях много сухих гремящих листьев, ветер ходит по саду, как человек. Анна Алексеевна никак не может привыкнуть к южным ночам: однажды она даже наткнулась на дерево. Вот и сейчас она идет на слух: по шагам Вовки. За Вовку беспокоиться нечего, его ведет Джан. В этой кромешной тьме, наполненной шуршанием ветра, перекликаются далёкие девичьи голоса: «Ма-ру-сю! Ма-ру-сень-ка!» «Що-о?» «Ходи швидче! Зараз будут «О-не-ги-на» передавать з Москвы!»

В правлении горит свет; через открытое окно доносятся голоса.

На столе разбросаны листы бумаги. Нико рисует какие-то крылья, колеса, вышки. Председатель тянется через стол и тычет пальцем в рисунок: спрашивает. Вокруг теснятся, заглядывая, колхозники. В стороне неподвижно сидит дед Сулейман, и только глаза у него поблескивают.

— ... И еще я видел мощные ветросиловые установки на Балаклавских высотах под Севастополем, — говорит Григорий Степанович. — Это было перед войной. Думаю, что Сельэлектро сможет прислать вам инженера-специалиста.

— Добре! — восклицает председатель и оглушительно хлопает по столу ладонью. — Так, що ли, громадяне?

Ему отвечает одобрительный гул.

— А ты як, дидусь Сулейман?

— Живущий у реки знает переходы! — важно говорит старик. — Делай так, председатель.

— Вы меня звали, Григорий Степанович?

— Простите, Анна Алексеевна, что потревожил. У нас с Фомой Георгиевичем к вам большая просьба. Вы не взялись бы рассказать колхозникам...

— Да я, Григорий Степанович, только что говорила в агро-техническом кружке о зелёных удобрениях: сераделле, люпинах, пелюшке...

— От так так! — ахает председатель.

Из планшетки Фома Георгиевич извлекает затрёпанный блокнот, а в кармане находит огрызок карандаша.

— Як вы сказалы?

Звонкий девичий голос спрашивает за окном:

— Председатель тут?

— Знову Ганна? Та шо ж ты, дашь мне покой, чи нет?

— А не дам, как обещалась. Ты слухай, председатель: хоч би там шо, а треба в городе взять семян лупину та пелюшки...

— А з чим ее едят, твою капелюшку?

— Про це я знаю.

— Задурила ты мне голову, Ганна! — ворчит председатель. — Та вже ладно.

И он записывает в блокнот: «семена пелюшки и лупину».

### Глава четырнадцатая

После вчерашнего тумана и ночного буйного ветра настало невозмутимое спокойствие: ни вздоха, ни шороха. На винограднике наперебой поют девушки — заканчивают сбор.

Весь день визжит пила, стучат топоры, возбужденно перекликаются мужские голоса. Это Тихон Иванович, Нико и Никита строят жёлоб, чтобы дать воду на нижний участок. Во время коротких перекуров Тихон Иванович думает вслух:

— Н-да! Его надобно сделать с хитростью. Чтоб не просто жёлоб, а разъемный, когда надо — полжёлоба. Вон как! Чтобы обеспечить всестороннюю поливку. Верно?

— Верно! — отвечает Нико и смеется.

Еще не успело стемнеть, и над долиной красными перьями горели крошечные рассыпанные облака, когда началось пиршество. За домом под огромным грецким орехом с давних времен врыты каменные столы и вытоптана земля. Здесь за домом ночь наступила раньше, и вверху, возле ореха, прорезалась звезда.

Лампы укрепили на железных трубах, стоймя вкопанных в землю; на столах осветились кувшины с вином, блюда с персиками, с виноградом, с яблоками, блюда с дымящейся бараниной. Позади темнота сгустилась, почернела; там без умолку журчит ручей. Иногда на орехе с тихим шорохом отломится засохший лист; неторопливо кружась, он падает на землю, на стол.

Сидят тесно, но дружно. Не смолкают разговоры и смех. Старый Сулейман говорит:

— Я помню, раньше как было? Тут кто сидел, у стола? Сидел Багиров, князь. Его гости. Мы — нет, мы стояли там...

Он кивает назад, во тьму. У Сулеймана морщинистое темное лицо и волосы, как сталь: седина с трудом побеждает черное.

Фома Георгиевич стучит по столу, и слышно, как в доме, не поняв, кто-то отзывается: «войдите!». Смех возникает среди сидящих. Фома Георгиевич удивлен.

— Да с чего ж это вы? Видно, баранина такая смешная, а не то персик? — спрашивает он и ждет, пока смолкнет смех. — Щоб тихо было... Бо я не пивень, не имею силы перекричать всех.

Шум и шорох умолкают постепенно, толчками, то замирая, то возобновляясь — так стихает лес после ветра.

— Громадяне колхозники! — зычно говорит Фома Георгиевич. — Меж нас сидит товарищ ученый, шо был на Косом перевале та интересовался за ту пышную траву. Попросим же товарища ученого...

Все кричат: «Просим! Просим!» и хлопают в ладоши.

Григорий Степанович встаёт.

— Товарищи! В горах, в том числе и на Косом перевале, мы нашли интересные растения. Думаю, что некоторые их них войдут в медицину. Но утверждать это еще рано: надо подождать, что скажут московские клиники и лаборатории. Товарищи! За границей ботаники пишут, что люди должны учиться у леса. Они пишут, что это человек выдумал равные права для всех, а в лесу «закон мозаики»: разная сила—разные права! (Голоса: «От бисовы дети!» — «Вона куда метнули!» — «Шакал мясо ищет!»). Они говорят: «в лесу вечная война, поэтому лес так красив и силён!» Они врут, товарищи! Разве дикий виноград лучше, красивее, здоровее того, что в виноградниках? (Смех) Нет, товарищи, он хуже. В лесу есть двенадцать жалких шиповников. Человек сделал из них тысячи роз. Вы знаете Мичурина. Скажите, могло бы в лесу вырасти хоть одно мичуринское дерево? Нет, не могло! А ваши кукуруза, лоби, пшеница, лён, хлопок... Их вывел из леса человек. Он окружил их заботой, избавил от дикой борьбы за существование, помог им, и тогда проявился скрытый талант растения. Я не трудно говорю, товарищи? (Голоса: «Та ни! Добре!» — «Зачем трудно? Нет!»—«Хорошо говорит!» — «Понятно!»). Максим Горький писал, товарищи, что буржуазные ученые и поэты стоят на коленях перед природой, молятся ей, а мы, товарищи, природу переделываем. Мы хотим, чтобы всякое растение, как и всякий человек, проявило свой скрытый талант. А для этого надо, как полагается в хозяйстве, узнать, где и что растет, какая трава на что годится. Оглянитесь вокруг, и вы поймете, какая это задача: это же бесконечный Зелёный океан! И сколько же в нем еще неизвестных сокровищ, товарищи! И вот тут-то ученые просят помощи у всего народа (голос старого Сулеймана: «Верно! Народ вздохнет—ветер будет, народ подует—буря будет!»). Труд, товарищи, предстоит титанический. Отцы и деды не успели сделать его: им мешали голод, нищета, жестокая борьба за существование. Труд, повторяю, огромный. Но без труда, товарищи, и лопата ржавеет! (Крики: «Верно!», «Добре сказал!», хлопают в ладоши). А насчет буржуазных ботаников, так чёрт с ними! Пускай, если хотят, одеваются в сырые шкуры, да жрут грибы и жёлуди. Только они и тут врут: не станут жрать, подлецы! (Хохот) Да, чуть не забыл, товарищи! Мои сотрудники потом покажут гербарий местных трав, а вы скажите мне: как называется у вас каждая травка и чем, по вашим наблюдениям, она полезна или вредна. Я думаю, тут есть люди, которые хорошо знают травы.

Фома Георгиевич поднимает стакан:

— За великий та веселый труд, шоб цвела, богатела Витчизна. И шоб згнула крозь землю нечистая сила, шо на свете смердит!

Праздник постепенно разгорается, шумя и взрываясь смехом.

Нико говорит тост. Он говорит долго, по-грузински, а Григорий Степанович переводит. Марика смотрит блестящими глазами то на Нико, то на Григория Степановича.

— Генацвале! — говорит Нико. Григорий Степанович переводит.

— Может быть, это было в Кизикии, а может быть, нет. Позвали соседи одного человека копать арык, чтобы вода пришла на поля. «Пхе!» — говорит человек. — Зачем мне мозоли? Я лучше пойду искать

клад!» В той стране много кладов — говорят, человек выкопал горшок серебра. «Пхе, — сказал он, — разве это клад? Найдется получше!»

Нико смотрит на Марику; она опускает глаза.

— Его сад зарос колючкой, его дом развалился, и он все еще бродит в горах. А селение расцвело: вода принесла урожай, выросли сады, радость взошла, как солнце.

— Ага!—продолжает Нико. «Нет!»—переводит Григорий Степанович. — Мы не будем пить за того жадного человека. Мы выпьем за скромных людей, что работают для всех и умеют быть счастливыми.

Нико поднимает стакан высоко над головой, а потом пьет. Все пьют и хвалят: «Хорошо сказал! Молодец, Нико!»

— Я думал, это сказка! — недоумевает Вовка.

— Это он со значением, Анна Алексеевна!—шепчет Настя.—Видали, как он глазами-то зырк-зырк? И все на Марику.

— Правильно сказал, Нико, — говорит Тихон Иванович. — Наш колхоз за тысячи километров отсюда, но и там радость взошла, как солнце. У нас говорят: на кой клад, коли в колхозе лад? И верно. А если желаете знать, самое главное — перспектива жизни. Вот как по-нашему, по-колхозному.

— Правильно! — кричат ему. — Молодец, Тихон Иванович!

Больше всех радуется Марика; она бьет в ладоши:

— Ай, хорошо! Ай, верно!

— Вот как по-нашему, по-колхозному! — повторяет Тихон Иванович и выбирает персик помягче.

Нико снова наливает вина. В тишине раздается шёпот Насти:

— А ты влезай на стул. Я подожду!

Все повертываются и видят: Вовка стоит на стуле, он держит в руке железку, Настя подносит к ней горящую спичку, и вдруг, затмевая лампу, начинают брызгать и сыпаться белые звезды бенгальского огня.

— Откуда ты взял, Вовка?—удивляется Анна Алексеевна.

А Марика подбегает к Вовке и просит:

— Дай мне подержать! Можно? Он не жжет?

— Бери!—говорит Вовка.—У меня еще есть. Я в рюкзак положил. Потому что звери боятся огня.

И объявляет:

— Это салют!

— По случаю богатого урожая и конца экспедиции? — спрашивает Григорий Степанович.

— Ага!

После бенгальских огней остается легкий запах паленого.

— А теперь давайте споем! — предлагает Анна Алексеевна. У нее высокий, чистый голос; он звучит, как ручей в горных камнях. Вместе со всеми старательно поет и Вовка:

— Где же ты, мое Сулико?!

## Глава пятнадцатая

За длинным обеденным столом, накрытым клеенкой, сидят Настя и Анна Алексеевна. И еще Вовка. Он пристроился с краю и рисует. В углу стоит буфет с оконцами, у стен теснятся стулья. Керосиновая лампа горит на столе.

По комнате ходит худой рыжий кот с красными полосками на широкой морде. Шерсть у него на животе цвета топленого молока, а шея тонкая, как у курицы. Он то и дело садится и самозабвенно лижет самый кончик веснушчатого хвоста.

Анна Алексеевна поставила левый локоть на стол и чуть-чуть оперлась щекой на пальцы. Она розовая, на ней красное платье с редкими белыми пятнами, похожими на отражение окон. Волосы откинута вправо и там, возле уха, чем-то закреплены; так откидывают занавес. Подбородок делится надвое резкой впадинкой, как абрикос. На груди, под шеей, при всяком движении то возникает, то исчезает наполненная розовой тенью ямка. Анна Алексеевна все время двигается, как птица: наклоняет голову то влево, то к столу, то поднимает ее, кусает нижнюю губку, непрерывно перебирает листы записей. Руки у нее тонкие. Вовка то и дело взглядывает на мать, потом опускает глаза и что-то чертит.

Настя зашивает синюю рубаху. Откусив нитку, она говорит:

— Не доведется мне, Анна Алексеевна, на тот год ехать в путешествие.

Настя смотрит на лампу и улыбается.

— Ну почему не придется? — отвечает Анна Алексеевна. — Пусть Никита попросит Григория Степановича. Если хотите, я тоже попрошу.

— Все равно не доведется ехать...

Настя наклоняется и шепчет.

— Да ну?! — удивляется Анна Алексеевна. — Вот хорошо, Настенька!

— Никитка до чего ж рад, — улыбается Настя.

Она хохочет.

— Мам, да посиди хоть минуточку спокойно!

— Чего ты ко мне пристал, Вовка? — удивляется Анна Алексеевна.

— И вовсе не пристал, а просто хочу нарисовать, — обижается Вовка.

— Рисовал бы лампу, буфет, кота.

— А я хочу тебя. Ты красивая...

— Не выдумывай глупостей! — строго говорит Анна Алексеевна.

— Володичка прав! — вмешивается Настя. — И есть красавица. Начальник вон как уважает вас...

— Григорий Степанович ко всем относится с уважением.

Дверь на веранду дребезжит и отворяется. Входит Марица, она взволнована: большие карие глаза смотрят испуганно.

— Ой, Аня! — певуче говорит Марица. — Снег... Такой большой!

— Неужто снег? — ахает Настя.

Вовка кидается на веранду; за ним выходят остальные.

Черная южная ночь лежит в саду. И в этой черноте медленно и густо, кружась, опускаются снежные хлопья. Под деревьями уже забелело, словно расстелили там свежее белье.

— До чего ж крупный! — удивляется Настя.

Обильный снег шел до утра. Он сразу засыпал следы, когда Анна Алексеевна вышла посмотреть погоду. Всю ночь словно кто-то тащил по земле ветви, расчищая дорогу, с шуршанием и треском: это ломались ветви чинара, акакия, ореха под мокрой тяжестью снега.

Утром снег большими шапками лежит на зеленых, на желтых, на красных листьях. Внизу валяются сломанные ветви — громадные и маленькие. Молодые кипарисы согнулись, как в поясном поклоне. Небольшой куст изогнулся дугой, а листья его легли на землю и засыпаны снегом; будто человек, которого за волосы пригнули к полу.

Горы исчезли. Серое низкое небо, белая чистая земля и черная дорожка неумолчно журчащего ручья.



В комнате тихий разговор. Григорий Степанович нездоров; он лежит в постели, но все-таки надел китель; китель расстегнут. Возле постели сидит Анна Алексеевна.

— Посмотрите! — восклицает она. — До чего красиво.

Празднично нарядны, роскошны желтые и бледнозеленые и темные листья грецкого ореха, кое-где накрытые белыми пригоршнями снега, над белой заснеженной землей. Стволы стали черными. У ореха желтизна листьев яркая, будто освещенная солнцем. На чинаре больше зелени, но поблекшей, а желтизна бледная, тусклая, с рыжеватым оттенком, как у поджаренного блинчика. Время от времени слышится шуршание, словно налетел порыв ветра: это чинар сбрасывает снег. Листья на нем висят отвесно.

Желтые, как восковые, утки идут по черному журчащему ручью среди белого снега. Они роются красными клювами в черной воде. На снегу разбросаны золотые и бледнозеленые листья.

— Нарядно! — соглашается Григорий Степанович. — Для художника было бы находкой... А с моей точки зрения все-таки бедствие. Вон сколько поломано.

— Думаете, не поправятся?

— Поправятся, конечно. В них много жизни: крепыши!

— Вот и снег!

Анна Алексеевна вздыхает.

— Да. Наша экспедиция окончена, — негромко отвечает Григорий Степанович.

— Наверное, в Москве тоже снег.

— Не знаю. Пожалуй, рано...

— Ну, как рано! Только он, конечно, еще не зимний.

— Может быть!

— Машина останется здесь?

— Да. До будущего года.

— Вы довольны экспедицией, Григорий Степанович?

— Не совсем. А вы?

— Мне давно не было так хорошо.

Тает. Слышно, как с громким чмоканием падают снаружи капли; кажется, что где-то целуются. Время от времени тающий снег с шорохом сползает с крыши.

Деревья шумно отряхиваются от снега.

Марика озабоченно бежит по дому. В полутемном коридоре она встречает Нико.

— Э, Марика! — говорит он. — Пять раз приходил, а тебя нет.

— Заболел начальник, — отвечает Марика, — и надо же приготовить хороший обед гостям. А вечером, ты знаешь, комсомольское собрание...

— Я проходил мимо его комнаты. Там смеются. Когда человек смеется, болезнь не страшная.

— А зачем ты искал меня, Нико? — спрашивает Марика.

— Пять раз заходил в твою комнату, — говорит Нико, — а там никого нет, только портрет Пшавела висит на стене. Я спросил: скажи, Пшавела, любит меня Марика? Но разве он ответит? Он только улыбается.

— Ара! — тихо говорит Марика и качает головой.

— Э! Значит, думаешь: найдется получше?

— Нико, дорогой! — отвечает Марика. — Зачем сердиться?!

Нико молчит.

— Я буду учиться, — говорит Марика, — я еще буду много и долго учиться. Нико. Я не хочу, чтобы у меня было, как говорил Тихон Иванович...

— Чего? — спрашивает Тихон Иванович.

Ему не отвечают. Они говорят по-грузински, и нет Григория Степановича, чтобы перевести.

Тихон Иванович сидит на веранде, вымощенной кирпичом, и удивляется: отчего здесь небо покосилось на один бок? Этому удивляются все, кто из равнины первый раз приходит в горы.

Темносиние, почти черные горы. Теперь каждая плешинка в горном лесу обозначается белым, а пролысинки видны, как кожа сквозь редкие волосы. Ржавые кусты и деревья в беспорядке рассыпаны по долине, застеленной белым свежим снегом.

Деревья сбросили снег.



---

---

# ДУША КОРАБЛЯ

АРКАДИЙ РЫВЛИН

\* \*  
\*

Был расчет,  
    был размах,  
        был порыв,  
Чтоб корабль и построить,  
                    и двинуть.  
И в постройку всю душу вложив,  
Мастер так и не смог ее вынуть.  
    Так ушла она вдаль с кораблем.  
    Ее путь он доподлинно знает,  
    Мастер весел, —  
        судите по нем,  
    Смело волны корабль рассекает.  
А когда не уснуть без причин,  
Это значит — гроза,  
        это значит,  
Что корабль где-то в штормах один,  
Среди белых бурунов маячит.  
    Но корабль,  
        непогодой дыша,  
    Одолет любые лишения, —  
    Разве страшно кораблекрушение  
    Там, где мастера вечна душа?!

\* \*  
\*

Будет ветер дышать фиордами,  
Будет море тонуть во мгле.  
Корабля именины гордые  
Мы отпразднуем на земле.  
    Как давно мы его не видели,  
    Но как память о нем остра.  
    Соберутся его строители —  
    Бригадиры и мастера.  
И в Атлантике ли,  
В Балтийском ли,  
Станет счастлив он оттого,  
Что на свете есть где-то близкие,  
Где-то родственники его.

\* \* \*

Ледокол пройдет сквозь все торосы,  
И усталый в свой вернется дом.  
И пойдут, пойдут у всех расспросы  
О пурге,  
    о льдах,  
        о том,  
            о сем.  
О земле,  
    в покрове снежно-белом,  
О пути,  
    где движутся впотьмах,  
И один лишь сварщик,  
            первым делом,  
О своем —  
    о корпусе и швах.

### «АВРОРА»

В морской ленинградской школе  
                                свой вымпел и свой причал  
Там старый крейсер «Аврора»  
                                учебной базой стал.  
И ходит он в тихих рейсах,  
                                на мирных своих путях, —  
Но кое-кому на свете  
                                внушает он вечный страх.  
И кое-кому за морем  
                                и сумрачной синевой —  
Учебный крейсер «Аврора»  
                                страшнее, чем боевой.  
А крейсер стоит.  
    И вечер.  
        И волны невысоки.  
К торжественному салюту  
        готовятся моряки.



---

---

# КОРОЛЕВСКАЯ КРОВЬ

*Роман*

СИНКЛЕР ЛЬЮИС



Имя Синклера Льюиса давно известно советскому читателю. Это один из очень немногих писателей современного буржуазного мира, в творчестве которых отчасти сохранились традиции классического реализма. Синклеру Льюису удалось в лучших своих романах правдиво воссоздать американскую действительность. В таких его книгах, как «Бэббит», «Главная улица», «Мартин Эрроусмит», «Эльмер Гантри», ярко изображена капиталистическая Америка — царство доллара, волчьей морали, ханжеского лицемерия и отупляющего стандарта. Пожалуй, мало кому из американских писателей удалось с такой силой, как Синклеру Льюису, показать гнетущее действие капиталистического строя на человеческую личность, на культуру, на духовную жизнь страны. В романах Синклера Льюиса перед читателем проходит целая галерея тупых, самодовольных, преуспевающих мещан — от провинциального «стандартного» буржуа, героя раннего романа писателя — «Бэббит», до профессионального болтуна и восходящего политика, героя одного из его последних романов — «Гидеон Пленш».

Тем не менее, идейный облик самого Синклера Льюиса нечеток и противоречив. Реалистическое содержание его романов чаще всего гораздо значительнее, чем те выводы, которые в состоянии сделать из них сам автор. Синклер Льюис обличает господствующий в Америке капиталистический уклад жизни, но сам привязан к нему. Он во многом — во власти реакционных буржуазных предрассудков. Ему совершенно непонятна историческая роль Советского Союза. Предвзято, недружелюбно относится он к американским коммунистам, да и вообще ко всякому организованному движению народных масс. Критикуя в своих романах буржуазное общество, он не в состоянии противопоставить ему какой бы то ни было положительный идеал.

Идейные колебания Синклера Льюиса сказались и на его художественном творчестве. Не раз создавал он книги художественно неполноценные, представляющие уступку мещанским вкусам, проникнутые духом примирения с буржуазным обществом (таков, например, его роман «Додсворт»). В иных его произведениях робкие проблески социальной сатиры подавляются апологией обывательского благополучия (пример тому — его роман «Энн Вилкерс»). И даже лучшие книги Синклера Льюиса содержат элемент непоследовательности; в них в той или иной форме внушается мысль, что борьба с буржуазным обществом бесполезна и невозможна.

К чести Синклера Льюиса нужно сказать, что его, как художника, давно уже интересовала проблема, представляющая большую актуальность в политической жизни Соединенных Штатов: он задумывался над тем, как проявляются в Америке тенденции, родственные фашизму. Этот вопрос был поставлен в его романе «У нас это невозможно» (1936). Название романа звучит иронически: в нем идет речь о возвышении политического проходимца, который, используя «демократические» формы американской общественной жизни, становится фашистским диктатором. В романе этом сказались характерная для Синклера Льюиса слабость: писатель и здесь проявил неверие в силы трудящихся масс. Центральным носителем антифашистской идеи в

романе выступает добродушный интеллигент либерального склада. Однако несомненной заслугой Синклера Льюиса было то, что еще двенадцать лет назад он увидел ростки фашизма в американской «демократии».

В этой же связи заслуживает внимания и роман Синклера Льюиса «Королевская кровь» — произведение, с исключительной силой раскрывающее всю жестокость и гнусность политики дискриминации, проводимой в наши дни в Соединенных Штатах Америки.

Автор, по его собственным словам, в этом романе задался целью «показать, что весь idiotский бред расовой теории великолепно опровергается, если присмотреться к неграм, которые достаточно белы, чтобы сойти за человека белой расы» (журнал «Ньюс уик», 26 мая 1947). «Королевская кровь» — выступление автора против реакционной расовой теории, представляющей одну из идеологических основ международного фашизма.

Мы не хотим переоценивать политической сознательности писателя. По всей вероятности, работая над «Королевской кровью», он был далек от намерения затронуть основы капиталистического строя Америки. Но обличительный, реалистический материал наталкивает читателя на более далеко идущие выводы, чем это, быть может, хотелось бы самому автору.

В «Королевской крови» проявляется своеобразная черта художественного метода Синклера Льюиса. Картины безобразий капиталистического общества раскрываются им здесь, как и в других лучших его книгах, на материале обычных будничных явлений. Действие романа происходит в одном из северных штатов; там практика дискриминации несравненно менее груба, менее цинична, чем на юге США, где еще живы традиции рабовладельчества. И тем не менее, перед нами разворачивается волнующая и страшная повесть о тех унижениях, страданиях и диких «расовых» преследованиях, которые приходится переживать «цветным» гражданам Америки.

Интересен главный герой романа Нийл Кингсблад. Он и похож и не похож на обычных героев Синклера Льюиса. Это — вполне стандартный средний американец — делец, спортсмен, любитель комфорта и детективных романов. Но в нем есть элементарная человеческая порядочность. Нийл случайно открывает, что он — отдаленный потомок негра, он начинает ощущать себя человеком общественно неполноправным, отверженным, в нем оживают жажда социальной справедливости и чувство человеческого достоинства. И он приходит в конфликт не только со своей средой, но, в сущности, со всем господствующим строем. Не забудем: действие романа разворачивается в сегодняшней, послевоенной Америке. Много раз возникает в романе воспоминание о второй мировой войне. Это обогащает и углубляет повествование Синклера Льюиса; это во многом определяет облик его главного героя. Синклер Льюис в прошлом чаще всего изображал средних американцев, которые совсем не привыкли самостоятельно думать. Зато Нийл Кингсблад — это средний американец, который впервые начал думать благодаря переживаниям войны. Он сражался за демократические идеалы, в которые он искренно верил. Эти идеалы стали дороги ему именно потому, что он проливал за них кровь. И теперь, когда Нийл на собственном тяжком опыте постигает, каково подлинное лицо хваленной заокеанской «демократии», — он чувствует себя уязвленным не только потому, что разрушено его личное благополучие. Он глубоко оскорблен прежде всего в своем достоинстве гражданина, бывшего фронтовика. И это делает образ Нийла Кингсבלа по-человечески привлекательным.

Разумеется, бунт Нийла ограничен. Это всего лишь — бунт в защиту своей личной свободы, своего домашнего очага. Герой вступает в столкновения с целым городом, с его властями, он проявляет смелость и стойкость. Но ему самому неясно — чего он добивается, во имя чего он борется? И, видимо, самому писателю неясно, куда пойдет дальше его герой.

Несколько двойственное впечатление оставляют и фигуры негров. Семья Вулкэйп, Эш и Марта Дэвис, Софи Конкорд — всё это прямодушные, благородные люди, они морально несравненно выше тех американцев из «хорошего» общества, которые

изображены в романе. Но все же их протест скорей пассивен, чем активен. Правда, мимоходом показан молодой коммунист — негр Райян, но он изображен как смутьян, горячая голова. Вдобавок в изображении Синклера Льюиса гнев угнетенных негров приобретает неприятную националистическую окраску: белые ненавидят черных — черные отвечают белым той же ненавистью. Писателю осталось непонятно, насколько тесно национальный вопрос связан с вопросом социальным.

«Королевская кровь», при всем своем реализме, при всех своих крупных художественных достоинствах, свидетельствует о политической ограниченности и незрелости мировоззрения автора. Однако в романе правдиво показано, что «демократические» формы американской жизни прикрывают позорное национальное угнетение 13-миллионного негритянского населения США, что официально исповедуемый в Америке расизм, по сути дела, — одно из проявлений американского фашизма — душителя всего передового и прогрессивного.

Т. МОТЫЛЕВА

1

**М**истер Блингэм — пусть он на том свете жарится в собственном масле! — был помощником кассира гастрономической компании «Вкус и аромат». Он со своей женой и препротивной дочерью ехал из Нью-Йорка в Виннипег. Только дела могли заставить этих жителей Нью-Йорка забраться в такую глушь, и они от души презирали все, что встречали западнее Пенсильвании. Им было смешно, что Чикаго дерзнул строить небоскребы, а Мэдисон воображает себя университетским городом. А при въезде в Миннесоту они остановили автомобиль и долго истерически хохотали, читая плакат, рекламировавший «Десять тысяч озер».

Мисс Блингэм — родители звали ее «Систэр» — сказала:

— Только человек с чисто нью-йоркским чувством юмора способен понять, до чего комична эта вывеска!

Когда они въехали в первую степную деревушку Миннесоты — шесть домиков, гараж, лавка и высокий красный зерновой элеватор, — миссис Блингэм воскликнула со смехом:

— Ого, у них тут имеется даже свой «Эмпайр стэйт»<sup>1</sup>.

— И все Свенсоны, Бенсоны и Генсоны каждый вечер ходят в «Радужный зал»<sup>2</sup>, — вторила, хихикая, Систэр.

Так они веселились на протяжении еще сотни миль, пока не настало время подумать о завтраке. Миссис Блингэм посмотрела на карту.

— Гранд-Рипаблик, штат Миннесота. Это милях в сорока отсюда, и местечко, видимо, порядочное — восемьдесят пять тысяч жителей!

— Что ж, давайте обследуем его. Там, вероятно, имеется какая-нибудь гостиница, где можно поесть, — заметил мистер Блингэм зевая.

— Вся местная знает обедает, наверное, в приюте Армии спасения, — взвизгнула миссис Блингэм.

— Ох, ты меня уморишь! — сказала ее дочь.

С высокого берега реки Соршей они увидели внизу длинное здание из известняка — Национальный банк «Блу-окс» — и подалее столпотворение заводских корпусов из стали и стекла, построенных здесь в 1941 году акционерным обществом «Древесные изделия Уоргейта». Мистер Блингэм сказал:

— А у них тут, оказывается, довольно большой военный завод.

<sup>1</sup> Высочайший небоскреб Нью-Йорка.

<sup>2</sup> Известное ночное кабаре в Нью-Йорке.

За годы второй мировой войны население Гранд-Рипаблик увеличилось с 85.000 до 90.000 человек. Для девяноста тысяч бессмертных душ этот город был центром вселенной, точкой, от которой измерялись все расстояния. Так, Москва для них была лишь местом, находившимся за 6.100 миль от их родного города, а Саудовская Аравия — лишь рынком для сбыта изделий Уоргейта: сухой штукатурки, разборных барачков и пропеллеров. Блингэмы, убежденные, что центр солнечной системы — в Нью-Йорке на углу Пятой авеню и Пятьдесят седьмой улицы, были бы возмущены, если бы узнали, сколько здесь, в долине, простаков, воображающих, что в Нью-Йорке нет ничего, кроме отелей, театров, где ставят веселые фарсы, гетто и Уолл-стрит.

— Ну, едемте дальше! — торопила миссис Блингэм. — Не стоять же нам здесь целый день, любуясь на эту мусорную свалку! В путеводителе сказано, что гостиница «Пайнлэнд» славится прекрасной кухней. Посмотрим!

По дороге к «Пайнлэнду» они не заметили ничего особенного, а между тем они проезжали мимо украшенных затейливой резьбой дворцов 1880 года, итальянской католической церкви, ссудной кассы, где один литовец-лесоруб недавно заложил пистолет Люгера, из которого застрелил на руднике повара-сиамца, мимо мастерской дамских нарядов, лучшей на всем пространстве от форта Уильям до Далласа, и встретили по дороге летчика с орденом Виктории и негра-священника, который имел степень доктора философии.

Подъехав к девятиэтажному, пестревшему узорной кладкой зданию отеля «Пайнлэнд» (построен по проекту фирмы Лефлер, о'Флахерти и Зипф в Миннеаполисе), мистер Блингэм сказал с сомнением в голосе:

— Ну-с, будем надеяться, что здесь найдется хоть какая-нибудь еда.

Их очень насмешило то, что наиболее шикарный из двух ресторанов «Пайнлэнда» носил претенциозное название «Фьезоле». Здесь это слово произносили на американский лад — «Физоли», но это как раз не показалось Блингэмам странным, ибо они и сами произносили его именно так.

Атмосфера итальянской экзотики в ресторане «Фьезоле» создавалась стенами помпейского кирпично-красного цвета, майоликовыми тарелками, большими испанскими кувшинами для вина, стоявшими по обе стороны двери, и фризом, на котором изображено было состязание в беге юношей древней Эллады (произведение местного художника-портретиста).

— О, господи! — воскликнула Систэр иронически. — Что вы скажете про этот шик и блеск? Здесь, видимо, умеют жить, в... Опять забыла, как называется этот городишко.

— Гранд-Рэпидс, — подсказал ей отец.

— Да нет же, Гранд-Рэпидс — мебельный город, откуда родом тетя Элла. А это называется Гранд-Рипаблик, — авторитетным тоном поправила его миссис Блингэм, заглянув предварительно в путеводитель.

— Идиотское название! — решила Систэр. — Это все равно, что называть город «Четвертое июля»<sup>2</sup>. Чего только не выдумают эти провинциалы!

Их почтительно проводил к столу метрдотель, негр с величественной осанкой и головой, напоминавшей коричневый бильярдный шар. Они не знали, что это — Дрэксел Гриншоу, лидер местных негров-консерваторов. Он легко мог сойти за епископа, за генерала или сенатора и мог бы стать любым из трех, если бы избрал себе другую профессию — и другой цвет кожи.

<sup>1</sup> «Гранд-Рипаблик» означает «Великая республика».

<sup>2</sup> Четвертое июля — день провозглашения независимости США.



Мистер Блингэм потребовал венгерский гуляш. Миссис Блингэм решительно остановила свой выбор на жареном барашке. Систэр заказала куриный салат, язвительно заметив при этом чернокожему официанту:

— И постарайтесь, чтобы в нем была хоть крошка курятины!

Им показалось ужасно комичным то, что официант поклонился и серьезно ответил: «Слушаю, мисс». Они не смогли бы объяснить, что в этом, собственно, смешного. Если бы их попросили объяснить, они бы, вероятно, сказали: «Понять это может только человек с чисто нью-йоркским чувством юмора. Пачкун-негр в паршивой харчевне держит себя так, как будто это ресторан Ритца<sup>1</sup>!»

По правде говоря, они в Нью-Йорке в торжественные дни обедали не у Ритца, а у Шрафта<sup>2</sup>.

Жеманно ковыряя вилкой свой куриный салат, но тем не менее успешно справляясь и с ним и со всеми булочками, мисс Блингэм с цинично-насмешливой миной осматривала зал.

— Гм! Гм! Уважаемые родители, обратите внимание на столик справа! Умоляю — купите мне этого молодца!

Посетитель, который ей так понравился, был рыжеватый мужчина лет тридцати, с приятным лицом, могучими плечами и большими веснушчатymi лапами, с очень белой кожей, как у большинства рыжих. В нем угадывался футболист, который с годами стал чередовать футбол с теннисом. Но больше всего обращали на себя внимание удивительно простодушное выражение голубых глаз и детски-ясная, веселая улыбка.

— Он похож на шотландского офицера, — заметила Систэр одобрительно. — Ему бы надеть юбочку, как носят шотландцы.

— Да полно тебе, Систэр! — Миссис Блингэм презрительно фыркнула: — А по-моему, это просто какой-нибудь продавец обувного магазина.

На том и кончился разговор, и они больше не обращали внимания на молодого человека, который не был продавцом обуви, а шотландцем был не более, как на четверть. Это был Нийл Кингсблад, банковский служащий, недавно вернувшийся с фронта в чине капитана.

После завтрака Блингэмы двинулись на север — и сбились с дороги. Гордость не позволяла им спрашивать таких дикарей, как местные жители, и они долго кружили в «аристократическом» районе, который назывался Оттавские высоты, и на участке Силвен-парк, застроенном новыми оштукатуренными домами с черепичными и толевыми крышами и широкими окнами. Свернув с улицы Лип на Бальзамовую аллею, они не обратили никакого внимания на новенький коттедж на углу, свежескрашенный, нарядный, с широкими белыми панелями и голубыми ставнями. Не взглянули они и на выходящую в этот момент из дома красивую молодую даму с четырехлетней девочкой, розовой и золотоволосой. А между тем это был дом того самого капитана Нийла Кингсблада, и дама была его жена Вестэл, а девочка — их шалунья-дочка Бидди.

— Придется спросить дорогу. Как ты думаешь, эти люди говорят по-английски? — сказала миссис Блингэм сердито.

Вечером, когда они подъезжали к Крукстону, где хотели переночевать, мистер Блингэм вдруг задумался и спросил:

— Как называется то место, где мы сегодня завтракали, помните, мы еще там заблудились, выехав из города?

— Странно — не могу припомнить, — отозвалась его жена. — Кажется, Гранд-Ривер или что-то в этом роде.

— Это там, где мы встретили того красавца-мужчину, — сказала Систэр.

<sup>1</sup> Один из фешенебельных отелей Нью-Йорка.

<sup>2</sup> Недорогой нью-йоркский ресторан.

## 2

Нийл и Вестэл Кингсблад терпели уйму неприятностей от прислуги, — это казалось просто невероятным, принимая во внимание их мягкость. Тут происходила не обычная комедия домашних неурядиц: даже в дом молодого банковского служащего может войти трагедия в нелепо-уродливой форме.

Можно было думать, что такому человеку, как Нийл Кингсблад, не суждены в жизни ни трагедии, ни какой-либо необычайный успех. Этот рыжий атлет, кудрявый, голубоглазый, жизнерадостный, незлобивый и не склонный к философским размышлениям, в ноябре 1944 года служил помощником кассира во Втором национальном банке города Гранд-Рипаблик, директором которого состоял мистер Джон Уильям Пратт. Нийл любил свою семью, своих друзей, свою работу, любил охотиться, удить рыбу, играть в гольф, его занимали ружья, удочки, лодки и всякие другие увлекательные вещи, связанные со всеми видами спорта. Но теперь он не мог больше совершать экскурсий по лесам и озерам Северной Миннесоты: год тому назад он — капитан пехотного полка — был ранен в левую ногу при взятии одной итальянской деревни.

Пострадавшая нога стала на полдюйма короче. Но через год Нийл, хоть и прихрамывая, ходил довольно быстро, а весной 1945 года был уже уверен, что сможет кое-как играть в теннис. Хромота не мешала ему попрежнему считаться одним из самых красивых мужчин в городе: она только придала чуточку забавную нетвердость его походке, а грудь и руки остались такими же могучими, как были.

В прошлое Рождество он лежал, измученный болью, в военном госпитале в Англии. А в этом году праздновал Рождество дома, со своей обожаемой Вестэл, веселой, влюбленной, но благоразумной женой, и с четырехлетней дочкой Элизабет, которую все звали Бидди, прелестной ласковой Бидди, у которой кожа была цвета земляники с молоком, а волосы золотистые, как шампанское.

Нийл родился в 1914 году, когда начиналась горячка первой мировой войны. Он верил, что вторая мировая война — священная война, и, сидя за высоким бокалом виски с содовой в теннисном клубе Силвен-парка, смело утверждал, что третьей войны не будет, и сам почти верил в это, верил, что она не придет и не заберет сына, которого добрые боги (у него бог был баптистский, а у Вестэл — епископальный), может быть, даруют ему.

Отец Нийла не только здравствовал, но еще работал, — это был доктор Кеннет Кингсблад, популярный в городе зубной врач, принимавший больных в Доме специалистов, на углу Чиппива-авеню и Вест-Рэмзей-стрит. Дед Нийла по матери, Эдгар Саксар, был когда-то директором телефонной станции, а теперь, уйдя на покой, жил в Миннеаполисе. Как видите, Нийл был из добропорядочной семьи, связанной с наукой и производством, но надо сказать, что богатством и положением в обществе семья эта никак не могла сравниться с отцом Вестэл, Мортонем Бихаузом, главой «Электрической компании прерий», и братом его Оливером Бихаузом, старшим юрисконсульту завода Уоргейта. У нас в Гранд-Рипаблик фамилию «Бихауз» называют с таким же почтением, как у вас — «Адамс» или «Сесиль» или «Пиньятелли».

Вестэл была прежде председательницей Студенческого союза молодежи, чемпионкой гольфа в женской команде Загородного клуба, она стояла во главе Женского общества распространения облигаций военного займа, была секретарем Комитета прихожан церкви св. Ансельма, пред-

седательницей художественного совета Женского клуба и получила приз — кофейный сервиз — на турнире любителей бриджа.

Она окончила знаменитый колледж в Вирджинии, и само собой разумелось, что у нее более изысканные вкусы, чем у Нийла, который учился всего только в университете в Миннесоте, где жил в меблированных комнатах и проводил время в пивных. Но Вестэл говорила о себе: «Я не синий чулок. В душе я — обыкновенная «хаусфрау»<sup>1</sup>.

У нее было узкое, немного длинноватое лицо, но на нем блестели веселые серые глаза, а каштановые волосы были удивительно густы. Руки у нее были топорнее, чем у Нийла, — у того они были могучие, но с тонкими пальцами. Вестэл смеялась охотно, но не была хохотушкой. Она любила мужа, уважала, он ей нравился. Часто, когда они сидели в кино, она в темноте брала его за руку. В их любовь она вносила большую серьезность. До войны она любила уезжать с Нийлом на лодке далеко, они объездили все пустынные пограничные озера. Она соглашалась с его здравыми взглядами консервативного республиканца, когда он рассуждал о банковских делах, о налогах, о вероломной политике рабочих союзов. Словом, они представляли собой типичную счастливую чету молодых американцев.

Выросшая в сером каменном особняке Бихаузов, в старинном предместье Белтрами-авеню, Вестэл тем не менее очень любила свой домик и обдуманную простоту Силвен-парка. Здесь леса, древние, как и самые холмы, обступили солнечные зеленые лужайки, которым мистер Уильям Стопл, ведавший продажей домов и благоустройством Силвен-парка, не жалея расходов, придал формы круглые и серповидные.

Вестэл нравился их беленый коттедж и красивый полукруглый портик с его стройными колоннами. А внутри гостиная, хоть и скромно обставленная, сияла, как золото. Стулья, обитые синим рубчатым бархатом, портьеры сурового полотна, традиционные часы в виде корабля, в камине яркий огонь (угли, сделанные из стекла, освещенные изнутри электрической лампой), а на камине — немецкая каска, трофей, якобы взятый Нийлом в бою. Но еще бóльшим показателем благополучия был «солярий», закрытая верхняя веранда с зеленой плетеной мебелью, с красным плиточным полом, с переносным баром и, в довершение всего, с видом на насыпь, где стоял сказочный «Дом на холме» — резиденция Бертольда Эйзенхерца.

Рядовому банковскому служащему — а Нийл был только младшим кассиром — такая жизнь была бы не по средствам. Но, благодаря помощи тестя, все это великолепие стало возможным, и притом они даже могли держать «прислугу за все» — верх роскоши в быту цивилизованной Америки, где человек может быть владельцем кадиллака, но вынужден сам чистить себе сапоги. И слава богу, что американцы имеют возможность помыкать только слугами, сделанными из стали!

В Силвен-парке вы не увидите ни садов за кирпичными стенами, ни шоферов с кирпичными физиономиями, своим присутствием украшающих район Оттавских высот. Соседи Нийла блаженствуют в коттеджах такого типа, как виллы на Кэйп-код, или в семикомнатных швейцарских шале, или просто в деревянных коробках «под сруб» из половинчатых квадратных брусев. На извилистых улицах и переулках, которые здесь называются «аллеями» и «тропами», бьют фонтаны, а главную площадь, Каррефур<sup>2</sup>, окружают нарядные магазины под лжеиспанскими аркадами. По

<sup>1</sup> Домашняя хозяйка (нем.).

<sup>2</sup> Перекресток (франц.).

всей этой поддельной Гранаде бегают наперегонки дети, матери возят в колясочках малышей, отцы сгребают в кучи опавшие листья.

М-р Уильям Стопл (не надо забывать, что еще недавно он был мэром Гранд-Рипаблик) в частных беседах заверяет покупателей домов, что в Силвен-парке нет евреев, итальянцев, негров, докучливой бедноты, шума, москитов и прямых улиц. В печати же он возвещает:

«Где то, что снится юношам и о чем грезят девушки, где романтика былых времен, и дева-лилия у зеркальных вод пруда, под сенью башни замка, на которой гордо реет штандарт?»

Этот сон вы можете увидеть наяву.

Силвен-парк — вот то место, где вас ждет блаженное существование, живописные пейзажи, Американский уклад жизни, самые последние усовершенствования и удобства по исключительно умеренным ценам и на самых льготных условиях. Справки по телефону или письменно, две конторы, открыты по средам до 10 часов вечера».

Нийл и Вестэл посмеивались над этой ультрасовременной поэзией, но они тоже находили, что Силвен-парк — сущий рай, и притом рай в высшей степени доступный. Они уже почти выплатили долг за свой домик.

За их двумя спальнями, соединенными в одну (при ней была облицованная кафелем ванная комната, расписанная морскими коньками и цветами лотоса), находилась детская Бидди (с белочками и мики-маусами), а за детской — клетушка, казалось, вся состоявшая из углов и выступов, в которой было напихано множество всяких вещей. Она называлась «берлогой» Нийла и могла в случае надобности служить спальней для гостей. Сюда Нийл приходил любоваться своими удочками и палками, кубком, полученным в Эрроухеде в 1941 году в качестве приза за меткую стрельбу, и своей главной утехой — коллекцией оружия. В ней имелось старинное охотничье ружье, автоматический пистолет, какими вооружена Канадская королевская конная полиция, и с полдюжины разных винтовок современного образца. Нийл всегда жалел о том, что он не жил во времена первых поселенцев или не был в 1820 году торговцем «Астор-компани» на границах Миннесоты. Он любил просматривать старые календари с портретами гребцов-спортсменов и сведениями о привычках лосей.

В «берлоге» хранились и его книги — было их не так уж много. Собрание сочинений Киплинга, О. Генри, приключения Шерлока Холмса, «История развития банковского дела», переплетенный комплект «Географического журнала», руководства Бисли по теннису и Морисона по гольфу. Среди этого солидного запаса литературы, засунутого подалше на полку, имелся и томик стихов Эмили Дикинсон, подаренный ему в университете какой-то девушкой, имя и наружность которой давно вылетели у него из памяти. Он иной раз доставал эту книгу с полки и задумчиво смотрел на нее.

В конце узкого коридора было еще две комнаты, которым хозяйева уделяли самое заботливое и беспокойное внимание: спальня и отдельная ванная их прислуги, молодой негритянки, мисс Белфриды Грей.

Решив на время войны нанять прислугу, они постарались обставить комнату для нее как можно уютнее. Поставили радиоприемник, застлали кровать вышитым покрывалом, положили на стол номера журнала «Хорошая хозяйка», а затем Вестэл пришла совершенно безумная идея купить настоящую английскую мочалку для ванны своей будущей горничной. Белфрида решила, что это какой-то мумифицированный жук, и когда Вестэл поднесла ей этот подарок, она чуть не потребовала расчета.

Кусок розового мыла в форме утки, припасенный для нее хозяйкой, Белфрида тоже отказалась употреблять, объяснив, что ее черная кожа очень чувствительна и выносит только мыло «Goût de rose» по доллару

кусок. Тогда Вестэл купила для нее такое мыло, и все-таки Белфрида подумывала об уходе от новых хозяев. Она умела хорошо стряпать, когда хотела, но как раз теперь у нее не было такого желания.

Белфриде пошел двадцать второй год. Стройная и гибкая, она была красива.

Приходится с огорчением констатировать, что после того, как появление в их доме прислуги стоило Нийлу и его жене таких мучительных тревог, каких они не знали бы, если бы делали всю домашнюю работу сами, их отношение к Белфриде приняло явно антинегритянский оттенок. Они не испытывали также особой симпатии к евреям, индусам, японцам и финнам.

### 3

— Нет, — говорил Нийл жене, — я всегда находил, что у мистера Пратта слишком консервативные взгляды. По его мнению, только такие люди, как мы, в жилах которых течет британская, французская или немецкая кровь, чего-нибудь да стоят, а скандинавов, ирландцев, венгров и поляков он терпеть не может. Он не понимает новой Америки... Но все-таки, все-таки, при всей моей ненависти к предрассудкам, я не могу не видеть, что негры в некоторых отношениях ниже нас и всегда такими останутся. Я это понял, наблюдая, как они в тылу разгружали пароходы в Италии, в то время, как мы, белые, шли в огонь. А Белфрида! Она желает, чтобы ей платили жалованье как какой-нибудь голливудской звезде, а между тем вот полночь, а она еще изволит где-то гулять!

Разговор этот происходил в кухне, где супруги пили виски с содовой, сидя на малиновых металлических стульях за синим металлическим столом. В этой чудесной кухне имелась и эмалированная электрическая плита, и холодильник, и машина для мытья посуды, и мусоропроводная труба, — настоящая образцовая кухня, ставшая символом Америки вместо бизона и бревенчатой хижины.

Вестэл была сегодня настроена миролюбиво и желала показать, что она — женщина передовая и гуманная.

— Нет, я с тобой не согласна, Нийл. Чем Белфрида несноснее нынешних белых девчонок, которые в пятнадцать лет уже требуют себе каждый вечер отцовский автомобиль? Согласись, что мало радости проводить весь день в чужой кухне, чистить жирные кастрюли и вдыхать запах капусты. Хотел бы ты быть на ее месте, мой чванный финансист?

— Нет, не хотел бы. Но все же не забывай: у нее отдельная ванная и возможность спать не вшестером в одной комнате, как в негритянском квартале на Майо-стрит, а одной... По крайней мере, я надеюсь, что Белфрида спит одна и никого не пускает к себе с черного хода, хотя у меня всегда душа неспокойна на этот счет. Затем ежедневно с двух до половины пятого у нее часы отдыха — как раз тогда, когда мы в банке уже обалдеваем от возни с grosбухами. Живет на всем готовом, отдельная комната и восемнадцать долларов в неделю, которые она целиком может откладывать.

— Ну что же, а ты получаешь не восемнадцать, а восемьдесят.

— Но мне же приходится на них содержать тебя... и ту же Белфриду!

— А она говорит, что ей приходится помогать деду — знаешь, тому старому негру Уошу, который чистит обувь в «Пайнленде».

— Знаю, как же. — Нийл был человек довольно отзывчивый. — Да, ей, наверное, не очень-то весело постоянно возигаться с чужим ребенком. Чарли Сэйуорд уверяет, что наступит время, когда никто не будет делать домашнюю работу для других, а если будет, так прислуге будут платить

жалованье, как специалистам, — пятьдесят долларов в неделю, и по вечерам она будет уходить домой, словно какой-нибудь банкир или водопроводчик. Ну, а мне это не улыбается! Мне больше нравилось, когда служанка работала с утра до ночи за восемь долларов в неделю, стирала белье и пекла пироги для маленького «массы»<sup>1</sup>, то есть для меня. Это было бы чёрт знает какое издевательство над вернувшимися с войны героями, если бы те угнетенные, за свободу которых мы воевали, забрали бы у нас всю работу. Ох, Вестэл, трудно бедному солдату понять, что такое творится на свете!

Вестэл искала что-то в буфете. Вдруг она закричала:

-- Опять эта проклятая девка испекла два пирога сразу, чтобы возни поменьше было! Пока мы съедем один, второй раскиснет. Нет, ей-богу, я ее выгоню! Сама буду все делать!

-- Вот так защитница угнетенных! Твоя позиция трещит по всем швам!

— Ух, как я зла! Давай, пока ее нет, заглянем к ней в комнату!

Как шпионы, они на цыпочках поднялись по лестнице в «будуар» Белфриды. Постель не убрана, как всегда! На одеяле валяются туфли, ношеное белье с розовыми ленточками, иллюстрированные киножурналы, а подушка совсем черная от жирных, грязных волос. На ночном столике — библия, а на библии — книжечка со следующим заглавием: «Каталог чудес Джона-Завоевателя: Волшебные камни. Амулеты. Духи Джики. Корень Адама и Евы. Древняя печать Шемхамфораса». В комнате — густой запах курительных бумажек и духов.

— А какая прелестная была комнатка, когда мы ее приготовили для нее! — огорченно сказала Вестэл.

— Пойдем отсюда! У меня такое чувство, словно мы попали в притон, и вот-вот из-под кровати кто-нибудь вылезет и кинется на нас с ножом!

Выйдя на площадку, они увидели Белфриду, которая поднималась по лестнице, перескакивая через две ступеньки. Она остановилась и удивленно и неприязненно смотрела на них.

— А, это вы... гм... добрый вечер, — пробормотал Нийл с идиотским, виноватым видом.

У Белфриды было очень темное лицо, круглощекое, с капризным ртом. Сейчас это лицо было сурово, и хозяйка Белфриды спаслись бегством к себе в спальню.

Нийл сказал жене вполголоса:

— Она, видно, здорово обиделась на нас за подглядывание! Как ты думаешь, она способна сжечь две восковые куклки, окрестив их нашими именами? Чувства и понятия этих черномазых для нас загадка.

— Нийл, они не любят, чтобы их называли черномазыми.

— Хорошо, хорошо. Слушаюсь. Так вот, эти негритосы...

— Белфрида говорит, что как раз этого-то слова никогда не следует употреблять.

— О, господи! И отчего эти... гм... негры так обидчивы? Не все ли равно, как их называют? Да, так вот что я хотел сказать. Нам совершенно неизвестно, куда Белфрида ходит, чем она занимается — отплясывает под джаз, или колдует, или, может быть, она член какой-нибудь левой политической группы цветных, замышляющих отнять у нас этот дом. Одно несомненно: биологическими особенностями и психикой негры отличаются от белых, особенно от англо-саксов... В моих жилах, правда, есть и немного французской крови...

<sup>1</sup> Негритянское произношение слова «мистер».

...Очень жаль, конечно, что это так, но нельзя не считаться с фактами. Очевидно, что черномазые — ну, хорошо, хорошо, пускай негры! — существа не совсем такой породы, как ты, я, Бидди. Я раньше смеялся над южанами, которые это говорили, но теперь вижу, что они правы. Вот, например, ты заметила, каким злобным взглядом затравленного зверя смотрела на нас сейчас Белфрида? Но все-таки я рад, что у нас на севере негров не обижают, — они учатся в тех же школах, где дети белых. Может быть, скоро и наша Бидди будет сидеть за партой рядом с каким-нибудь негритенком.

— Не вижу в этом особенного вреда для нашей маленькой горячки, — отрезала Вестэл.

— Вреда, конечно, никакого, пока это только в школе, — но что бы ты сказала, если бы твоя родная дочь вышла замуж за негра?

— Пока, во всяком случае, хотя четыре года — возраст опасный, я что-то не вижу, чтобы ее осаждала многочисленная свита темнокожих поклонников!

— Ну, ну... Я просто хотел тебе объяснить...

Усилиям этого честного и наивного малого изложить свои расовые идеи мешало то обстоятельство, что он и сам не имел ни малейшего представления, в чем они, собственно, заключаются.

— Понимаешь, мы, северяне, всегда считали, что негр ничем не хуже белого и имеет такие же шансы стать президентом Соединенных Штатов. Но, может быть, мы заблуждались... На фронте я встретился с одним врачом из Джорджии, и он меня уверял (а кому же знать, как не ему, ведь он всю жизнь прожил среди черных, и потом — он врач, образованный человек), что у негров умственные способности слабее, чем у нас, и швы черепа зарастают раньше, так что, если даже негр в школе и проявляет способности, то он все равно очень скоро выбывает из строя и всю остальную жизнь болтается никчемным бездельником. Это доказано. И уж если это не признак низшей расы, тогда я не знаю... Я не хотел бы никого ненавидеть. — мне это мучительно, я не питал ненависти даже к итальянцам и фрицам, — но Белфриду я не выношу. Чёрт бы ее побрал — она постоянно смеется надо мной в моем собственном доме! Старается делать как можно меньше, а брать от нас как можно больше — и притом еще издевается. Она не хочет даже показать, что умеет хорошо готовить, ей бы побольше выходных вечеров, только это ее и занимает. И всегда она за нами наблюдает исподтишка и ненавидит нас!

Вестэл легла и уснула, а Нийл все еще размышлял:

«Взять хотя бы того негра, что учился со мной в школе с первого до последнего класса... Как его звали? Да, Эмерсон Вулкэйп... Он был такой тихий и вел себя прилично, а все-таки меня всегда раздражала эта черная рожа среди хорошеньких белых девочек...

...Но, ведь, собственно, он был не черный, кожа у него была такая же светлая, как у меня. Мы бы считали его белым, если бы нам не сказали, что он мулат. А раз мы знали, мы уже думали о нем, как о негре, и всех зло брало, когда он выскакивал и отвечал на вопросы учителя, после того, как Джуд и Элиот не могли ничего ответить...

...А эти чернокожие бездельники в военной форме, которых я видел на фронте в Италии... Ни с кем из них я, собственно, не разговаривал, но они так отличались от нас... и как надменно на нас смотрели! Я и генералу с тремя звездочками не простил бы такого нахального взгляда, каким смотрели на нас эти черти! Нет, господа, если мы хотим сохранить на должном уровне нашу культуру, мы должны оставаться твердыми и указывать черным их место... Так-то так, да не очень-то

мне удастся быть твердым и ставить на место эту обезьянку Белфриду!..»

Молодой многообещающий кассир, воин, законный наследник шпагоглотателей Дюма, философствующих аристократов Толстого, храбрых молодых героев Киплинга, ворочался в постели — что-то мешало ему быть вполне счастливым.

## 4

Они снова обрели рождественское настроение, которое утрачено было за годы войны. Все закадычные друзья Нийла еще воевали в Европе или на Тихом океане, а Нийл и Вестэл думали столько же о них, сколько о Бидди, когда рыскали по всему городу в поисках елки — она была куплена за целый месяц до Рождества. Им хотелось, чтобы Белфрида справляла Рождество с ними, как преданный и любящий член семьи. Вестэл, волнуясь, сказала ей:

— Мы с мистером Кингсбладом уже достали великолепную елку, сегодня к вечеру ее принесут. Поставим ее пока в гараже. Не хотите ли помочь нам устроить все торжественно, по-праздничному? Елка, конечно, столько же для вас, сколько для нас.

— У нас дома тоже будет елка.

— Вот как! Значит и у вас на Майо-стрит бывают елки на Рождество?

— Да, у нас на Майо-стрит тоже бывают елки! И у нас на Майо-стрит люди тоже имеют семьи!

Вестэл рассердилась больше на себя, чем на девушку. В самом деле, почему она воображала, что праздник Рождества введен английскими колонистами в Америке, и они же придумали рождественского деда, и сожжение бревна в сочельник, и, может быть, зимнее солнцестояние, а для людей африканского происхождения все это — восхитительная новость? И Вестэл сказала, запинаясь:

— Да мне казалось... я не хотела... Просто я думала, что вам это будет интересно.

Белфрида ответила беспечно:

— Нет, спасибо. Я сегодня вечером иду гулять с моим приятелем.

И она удалилась, оставив Вестэл и Нийла на кухне, которую они раньше так любили и которую Белфрида теперь превратила в какую-то пещеру, где все им было чуждо и враждебно.

— Уйдем отсюда! Здесь все провоняло ею!.. — сказал Нийл сердито.

— Да, я теперь с трудом заставляю себя входить сюда. Она держит себя так, как будто я — посторонняя и лезу не в свое дело. Можно подумать, что она боится, как бы я не заглянула в холодильник, чтобы проверить, чисто ли у нее там.

— Так ты и проверяй. Наверное, там грязь.

— Знаешь, что меня больше всего злит? Выражение ее лица, когда просишь ее сделать что-нибудь сверх обычного. Она всегда делает, но с таким видом, словно сейчас откажется, и не знаешь, как быть: уволить ее или извиняться перед ней. О, господи!

— А меня ее гримасы уже только смешат, — похвастался Нийл. — Но бесит ее манера всегда оставлять окурки хотя бы в одной пепельнице. Ни за что, хоть ее убей, не вытряхнет всех пепельниц.

— Ну, это чепуха! Мне больше всего действует на нервы ее угрюмый вид — кажется, вот-вот она вытащит бритву!

— Теперь, кажется, черномазые предпочитают пускать в ход шило<sup>1</sup>, — сказал Нийл, и тут же раскаялся. — Ох, что это, какие гадости я говорю!

<sup>1</sup> Имеется в виду шило для колки льда.



Бедняжка Белфрида... весь день грязная посуда... Мы просто предубеждены против черных...

Однако на другой день, после обеда, Нийл снова забил тревогу:

— Надо же что-то решить насчет нашей Топси. Не пора ли ее выгнать? Сегодняшний обед никуда не годится — такого она нам еще ни разу не подавала. Мясо умудрилась пережарить, оно как подошва, а бататы!<sup>1</sup> Я полагал, что все черномазые отлично готовят свое национальное блюдо, а она делает с бататами бог знает что, и они имеют вкус тыквы. Клянусь чем хочешь, она четвертый раз на этой неделе подает нам тот же пуддинг.

— Второй. Попробую ее уговорить, чтобы она хоть на завтра вечером приготовила что-нибудь новое: у нас будут Хэвоки. Я так не терплю Кэртиса, что просто необходимо угостить его на славу.

К этому банкету Белфрида действительно приготовила сюрприз: она вовсе не явилась вечером домой.

Кэртис, сын дюжего подрядчика Буна Хэвока, был не человек, а одно недоразумение. Должно быть, он еще в колыбели был пришиблен буйным нравом отца и воплями истеричной матери. Этот рослый, неотесанный, угрюмый парень был красив, и карманных денег у него всегда водилось много, а между тем он не пользовался успехом у женщин, чью любовь пытался купить. Сторонились его и молодые люди, среди которых он искал собутыльников.

В памятном месяце — январе 1942 года — Кэртис женился на Нэнси Пизорт, дочери мелкого фермера, выращивавшего овощи для рынка, и у них родилась девочка, Пегги. Кэртис вскоре поступил в морскую пехоту и уехал воевать. Вернулся он в чине капрала, уволенный по болезни, и отец, хотя громогласно возмущался тем, что его сын женился на какой-то нищей славянке, все же устроил его пока на временную службу в Национальный банк «Блу-окс» и купил молодой чете нарядную виллу, облицованную зелеными изразцами, рядом с домиком Нийла.

В качестве великовозрастной особы, четырехлетняя Бидди считала дочку Хэвоков, Пегги (которой было только два года и девять месяцев), совсем еще маленькой, но это не мешало ей целые дни играть с Пегги. Кэртис полагал, что Нийл, его старый школьный товарищ, а теперь — собрат по профессии, не может не любить его и что Нийлу очень интересно слушать нудные рассказы о том, как он, Кэртис, волочился за стенографистками.

Да, Кэртис был надоедливый сосед. Он заходил к Кингсбладам, когда ему вздумается, в любой час утра, дня или вечера, иногда за полночь, твердо рассчитывая на кофе, на виски, на собеседников, — и так надоел Нийлу и Вестэл, что они, чтобы не выдать себя, принимали его очень сердечно. К тому же они жалели молоденькую Нэнси, бедное дитя природы, попавшее в семью банковских жуликов.

В этот декабрьский вечер Кингсблады ожидали к обеду Кэртиса с женой.

Вестэл готовилась к этому тяжкому испытанию спокойно и решительно. Сходила на рынок за голубями, каштанами и грибами и утром в день банкета попросила Белфриду таким тоном, каким только что произведенный капитан обращается к старому опытному фельдфебелю:

— Милочка, к завтраку я не вернусь, так что вы накормите Бидди кашей. И постарайтесь сегодня соорудить такой обед, чтобы у Хэвоков глаза на лоб полезли! Хорошо? У вас впереди весь день. А когда будете накрывать на стол, достаньте вышитую скатерть и парадное серебро.

<sup>1</sup> Сладкий картофель.

Белфрида только головой кивнула, и Вестэл ушла веселая. Сегодня автомобиль был в ее распоряжении, а Нийл должен был приехать домой в автобусе. Она являла собой эффектное зрелище, когда мчалась в Женский клуб на завтрак с бриджем.

Она выиграла.

Потом она поехала с Джинни Тимберлэйн на красивую виллу судьи в районе Загородного клуба. Джинни хотела ей показать свою новую кротовую шубку, — ради того, чтобы увидеть такую прелесть, стоило поехать! И Вестэл вернулась домой только в седьмом часу. Она надеялась, что Белфрида уже накрыла на стол и выпотрошила голубей и что Бидди великодушно простит запоздавшую мать.

Она влетела в дом, где стояла странная тишина и даже как будто пахло нежилым. Никто не отозвался на ее «ау», никого не было ни наверху, ни внизу, ни на кухне. В холодильнике лежали ошипанные голуби, а на кухонном столе записка, в которой ровным механическим почерком Белфриды было написано:

«Мой дед заболел, и мне нужно идти к нему, я отвела Бидди к бабушке Кингсблад. Может быть, вернусь к вечеру. Белфрида».

Вестэл произнесла только одно коротенькое слово, крайне неприличное в устах дамы, и принялась за дело. Она позвонила по телефону сестре Нийла, Джоан, чтобы та привезла девочку домой, мигом переоделась, выпотрошила голубей и приготовила начинку. Когда пришел Нийл, она сказала только:

— Эта черномазая устроила нам сегодня забастовку — ушла на весь вечер. Я ведь говорила, что она потаскушка. Накрывай на стол. Ох, опять эта вечная вышитая скатерть, и вся эта пытка!

Большие веснушчатые руки Нийла ловко управлялись со всяким делом. Он поработал добросовестно и, кончив, крикнул жене:

— Если меня выгонят со службы, мы с тобой можем наняться куда-нибудь, ты — кухаркой, я — лакеем.

— А что ж, может быть, и придется, если наши демократы и коммунисты будут повышать и повышать подоходный налог.

В без пяти минут семь с шумом ввалились Кэртис и Нэнси Хэвок. Опаздывая во всех других случаях, они всегда приходили заблаговременно, когда предстояла выпивка. Услужливая Нэнси тотчас принялась перекладывать поджаренные бататы в кастрюлю с жиром, а Кэртис вызвался сбить коктейли — к неудовольствию хозяев, так как он признавал только один рецепт: девяносто процентов джина, пять процентов вермута и пять процентов самогона «Белый мул». Когда они сели за стол — ровно в двадцать пять минут восьмого,—Кэртис был уже сильно под хмельком и настроен воинственно.

— Непременно выгоните сегодня же эту девку! Я всегда вам говорил, что негры хуже собак. Им нужен кнут, иначе они вас ни во что не ставят. Господи, до чего я ненавижу это черное племя! У меня есть знакомый вашингтонец, который в курсе всех секретных дел. Так он уверяет, что конгресс намерен восстановить рабство. Вот это будет его самое замечательное дело! Как я буду рад, когда черных профессоров отправят опять собирать хлопок, а если они вздумают ворчать, их положат пузом на бочку и всыпят пятьдесят плетей!

— Да нет, ты все путаешь! — весело возразила его жена. — Он говорил, что заправили конгресса хотят отправить всех черных в Африку. Вот это они отлично придумали!

Изрядно захмелевший Кэртис заорал на жену:

— Значит, по-твоему, я вру, да? Ах ты, польская сучка!

У Нийла заходили широкие плечи, и он уже хотел сказать: «Хэвок, придержите язык и ступайте-ка лучше домой», но Нэнси, видимо, была только польщена любезностями мужа и сказала нараспев:

— Ну, что ты, милый, разве можно говорить такие слова? — Потом с сияющей улыбкой повернулась к Вестэл: — В самом деле, почему вы не вышвырнете эту эфиопку? Я могу вам сосватать вместо нее мою двоюродную сестру, Ширли Пзорт. Она работала на заводе Уоргейта, и ее рассчитали только за то, что она немножко поиграла с мастером.

Это уязвило гордость Кэртиса, никогда не забывавшего о своем происхождении, и он изрек:

— Мало того, что у тебя папаша копается в навозе, а двоюродная сестра — шлюха! Нет, тебе еще надо, чтобы она нанялась стряпухой к нашим ближайшим соседям и чтобы ею помыкал сын какого-то зубодера!

Раньше, чем Нийл успел что-нибудь сказать, Вестэл отправила всех на кухню мыть посуду, и добрососедские отношения были сохранены, хотя это ей стоило блюда, разбитого Кэртисом.

Должно быть, Белфрида обладала даром ясновидения, так как она впрорхнула в кухню как раз в тот момент, когда Нийл вытер последнюю кастрюлю.

— Здравствуйте, — прошебетала она, и Нийлу показалось, что она подмигнула Кэртису. — Мой дедушка заболел. Извините. Ну, покойной ночи!

Если от Белфриды и пахло джином,—а так оно, вероятно, и было,—никто из них уже не способен был это заметить. Она шмыгнула к себе в спальню, даже не потрудившись наколоть льду, который несомненно мог понадобиться, чтобы поддержать Кэртиса в его обычном состоянии слабоумия, — этого, по понятиям Хэвоков, требовали правила гостеприимства.

Нийл пристально посмотрел в спину уходящей Белфриде, но Вестэл предостерегающе шепнула:

— Оставь! Все-таки какую-то долю работы она делает за меня.

— Но она явно добивается, чтобы мы ее выгнали. Она только того и ждет! Непростительно упустить такой случай. Ты заметила, как она злобно смотрела на нас? Придется ее подтянуть!

— Оставь ее пока, а после Рождества я непременно подыщу кого-нибудь на ее место, — обещала Вестэл.

## 5

Нийл постоянно ощущал в доме враждебное присутствие этого незначительного существа—Белфриды, и при ней словно стыдился своего большого, сильного тела краснолицего и рыжеволосого арийца. Когда он брился, ему чудилось, что она стоит за его спиной и хихикает. Когда он авторитетным тоном отвечал на вопросы Бидди или объяснял ей, что господь бог велит нам до восемнадцати лет ходить в воскресную школу, он как будто слышал тихий смех Белфриды.

И именно теперь, когда присутствие в доме этой блохи заставляло мощную громаду его тела съеживаться и трепетать самым жалким образом, Белфрида вдруг выступила в качестве борца за свою расу.

У Кингсбладов уже несколько лет жил черный кокер-спаньель, которого они называли Ниггер<sup>1</sup>, без всякой задней мысли, просто потому, что черным собакам часто дают такую кличку. Это был меланхо-

<sup>1</sup> Оскорбительная кличка негров в Америке.

лический пес с молящими глазами, ближайший — после Белфриды — друг и товарищ Бидди.

В один снежный вечер, перед самым Рождеством, Нийл вернулся из банка в прекрасном настроении. Впустив его, Вестэл вышла на крыльцо и позвала собаку:

— Ниггер, Ниггер, сюда!

Ниггер примчался со двора и, отплясывая какой-то бурный мудреный танец, в избытке чувств чуть не свалил Бидди, а молодые родители с умилением смотрели на эту сцену. Словом, картина была совершенно идиллическая, пока не появилась Белфрида, черная роза, чересчур хорошенькая, в чересчур коротком черном платье, и изрекла за их спиной:

— Вы, видно, презираете всех цветнокожих, да?

Никогда до сих пор Нийл и Вестэл не слышали, чтобы негр заговаривал о расовом вопросе. И Вестэл спросила растерянно и жалобно:

— То есть как... с чего вы это взяли?

— Да вот стоите на улице и кричите: «Ниггер, Ниггер!»

— Ах, боже мой, милочка, но ведь так зовут собаку, вы же знаете!

— Тем хуже, что вы п с а так называете. Мы, цветнокожие, не любим слова «ниггер», а вы еще к тому же равняете нас с собаками.

Нийл вскипел:

— Ну, хорошо, хорошо, мы ему дадим другую кличку. Любую, какую хотите. Назовем его «Принц».

Ничуть не задетая этими потугами на сарказм, безмятежная в своем рвении миссионера, Белфрида сказала:

— Да, вот это гораздо лучше, — и удалилась, а Бидди прыгала, напоминающая порхающую белую бабочку, и визжала:

— Не хочу, чтобы у него было другое имя! Ниггер, Ниггер, Ниггер!

Она так мило лепетала это слово, что корректные родители невольно заулыбались — и этого было достаточно: маленькая примадонна поняла, что она победила.

Не слушая окриков, она носилась по всему дому, визжа: «Ниггер, Ниггер!», а спаньэль бегая за нею, немного удивленный всеобщим вниманием к его имени, но очень этим довольный.

Пришел посыльный — принес из магазина рождественские покупки, и Бидди встретила высокого арийца веселым «Здравствуйте, мистер Ниггер!», чем очень его обидела.

— Перестань, детка, не надо никогда говорить это слово, — сказала ей Вестэл.

Бидди была девочка послушная, но это требование показалось ей ужасной бессмыслицей.

— Отчего же тогда ты и папа его говорите? Ведь ты же кричала: «Ниггер, Ниггер!», — логично возразила она тоном дружелюбным, но твердым.

— Мы больше не будем. Мы теперь решили, что это нехорошее слово, — сказала Вестэл очень мягко.

— А по-моему хорошее! — с энтузиазмом настаивала Бидди.

Позже зашел к ним Роберт Кингсблад, старший брат Нийла, в надежде бесплатно выпить чего-нибудь, и Бидди приветствовала дядю криком: «А, дядя Ниггер!».

— Это еще что за выдумки! — запротестовал дядя Роберт, и Вестэл сказала сурово:

— Бидди! Сейчас же замолчи, слышишь!

Но девочка, возбужденная тем, что оказалась в центре внимания, немного истерично настроенная, как это бывает — и всегда очень не-

кстати — с резвыми детьми, помчалась в кухню и, к ужасу родителей, прокричала Белфриде: «Хелло, мисс Ниггер!».

Они окончательно потеряли голову, когда, в довершение всего, услышали, как Белфрида кудахчет от смеха.

Пришлось все объяснить Роберту, который был любопытен, как кошка, да и по своему умственному развитию мало отличался от этого животного.

Дядя Роберт, вооруженный опытом заместителя председателя правления и заведующего сбытом компании «Выпечка витаминного хлеба с рассыпчатой хрустящей корочкой», следующим образом комментировал создавшееся положение:

— Вы хотите знать, ребята, как нужно обращаться с черными, чтобы не иметь никогда хлопот? Я вам сейчас открою секрет. Вот наша фирма, например, никогда не имеет хлопот с неграми, и не приходится нам их увольнять, а почему? Да прежде всего потому, что мы их никогда не нанимаем!.. Вот вам лучший способ не иметь с ними неприятностей. Понятно? Но должен вам сказать, что, пожалуй, нечего особенно винить Белфриду за то, что она обиделась, когда ее прямо в глаза называли таким словом.

— Ах, Боб, мы вовсе не к ней обращались — у нас пес называется «Ниггер», — пояснила Вестэл.

— Все равно, принципиально это одно и то же. Так девчонка обижена, говорите? А ничего этого бы не было, если бы вы ее не взяли в дом — так? Вот она, разница между — как это говорится? — врожденными умственными способностями двух рас. Я никогда бы не обиделся, если бы меня кто-нибудь назвал негром. Понятно вам? Эх, вот то-то и беда, что оба вы учились в университете, а не занялись сразу каким-нибудь настоящим делом, как я. Так вот: во-первых, никогда больше не нанимайте негров... Ну, а во-вторых — выпить чего-нибудь дадите?

Таков был брат и дядя, Роберт Кингсблад, заместитель председателя правления и заведующий сбытом.

За столом Белфрида, только что хохотавшая, когда Бидди назвала ее «мисс Ниггер», прислуживала с суровой, укоризненной миной, но к концу обеда в кухне стало очень шумно: доносилось хихиканье Белфриды и мужской смех и кашель.

— О, господа, что там такое? Пойду принесу себе воды, — сказала Вестэл. Это был только предлог — перед нею на столе стоял полный стакан воды. Она отправилась на разведку в кухню. Там, у красивого металлического стола, стоял очень прямо, но в непринужденной позе негр, на вид лет тридцати пяти. Кожа у него была очень темная, волосы курчавые, губы толстоватые, но нос прямой и тонкий, как лезвие. При взгляде на него вспоминались не хлопковые поля, а театр музыкальной комедии, бега, азартная игра в кости. Впечатление довершал костюм: яркосиние штаны, спортивная куртка в крупную клетку, галстук бантом, цвета вареных раков. У него были красивые руки и прямые плечи боксера среднего веса. Его грубой животной красоте придавал что-то дьявольское взгляд, которым он рассматривал Вестэл, — дерзкий и насмешливо-любопытный, как будто он знал всех женщин, от Сафо до королевы Марии<sup>1</sup>, и видел их насквозь. Взгляд его не только раздевал Вестэл—он говорил: «Я вижу, что хотя я тебе и противен, тебя возбуждает и радует то, что я на тебя так смотрю».

<sup>1</sup> Имеется в виду румынская королева Мария, бабушка бывшего короля Михая.

Вестэл думала: «Первый раз в жизни вижу такой шутовской наряд», а где-то в глубине души жалела, что ее положительный Нийл не сумел бы носить такой костюм и при этом выглядеть романтично.

Белфрида, улыбаясь хозяйке так, будто они с Вестэл подруги, проворковала:

— А, миссис Кингсблад! Это — мистер Борус Багдол, владелец ночного клуба «Веселый джаз». Чудесное местечко. Мистер Борус — мой друг и пришел меня навестить.

Борус сказал с едва заметным акцентом южных негров, вызывающим в памяти запах мускуса:

— Я много слышал о миссис Кингсблад. Для меня большая честь — встретиться с вами. Могу ли надеяться, что это повторится?

«Да он просто потешается надо мной!» — с испугом подумала Вестэл и, несвязно пробормотав что-то, не очень-то свидетельствовавшее о ее умственном превосходстве, опрометью выбежала из кухни, забыв о воде. В столовой она с усмешкой посмотрела на мужа и, не без удовольствия, сказала медленно:

— Меня сейчас хотел оскорбить один господин, и, кажется, это ему удалось.

— Кто это? Кэртис?

— Нет, негр, какой-то Борус или Бориас Багдол. М и с т е р Багдол — не забудь «мистера»! Борус и Белфрида! Ну и комики эти негры! Не ходи туда сейчас. Однако должна тебе сказать, что такого красивого и вместе с тем отталкивающего бандита я еще в жизни не видала.

— О ком это ты толкуешь? Кто-то пришел на кухню к Белфриде?— спросил Нийл мягко.

— Ради бога, не будь похож на своего брата Роберта!

— А кто же этот кавалер? Пойду взгляну.

Нийл отправился в кухню, а Вестэл, идя за ним, взволнованно гадала, кто кого убьет: Нийл — Боруса, или Борус — Нийла. Но оказалось, что Борус уже исчез, а с ним исчезли и Белфрида и красный двухместный автомобиль, ожидавший за домом. Невымытая посуда сиротливо лежала в раковине.

Сестра Нийла, Китти, тремя годами старше его, была милая женщина, и Нийл всегда был с нею дружен больше, чем со всей остальной семьей. Китти была замужем за молодым адвокатом Чарльзом Сэйуордом, очень порядочным человеком, которое время исполнял обязанности юрисконсульта городского самоуправления. В этот вечер Китти и Чарльз пришли к Кингсбладам играть в бридж — бридж был для них главным делом в жизни.

Забыв о пережитых ужасах домашнего бунта, Вестэл беззаботно увлекалась игрой, как вдруг, поздно вечером, она, подняв глаза от карт, увидела в полутьме передней Белфриду, которая делала ей знаки. За нею виднелась сардоническая физиономия Боруса Багдола.

— Вы вернулись? Что вам надо? — сердито спросила Вестэл.

— Ах, миссис Кингсблад, уж вы меня извините, я должна от вас уйти. Сегодня же, сейчас. У нас в семье больные.

Воинственно настроенная Вестэл свирепо переспросила:

— Уйти совсем? Взять расчет сейчас, ночью, не вымыв даже посуды?

— А вы вычтите у нее полдоллара за то, что она не вымыла посуду, — спокойно предложил Борус.

Не только Вестэл, но и все остальные почувствовали в этих словах глумление.

— Ну ладно, я вымою, — сказала Белфрида недовольно.

— Не надо! Уходите немедленно. Я вам сейчас уплачу. — Вестэл подошла к своему белому письменному столу и рывком перелистала расходную книжку.

— За вычетом того, что вы в этом месяце получили вперед, вам следует шестьдесят три доллара и шестьдесят пять центов... Ах, у меня, кажется, нехватит...

Она повернулась к карточному столу:

— У кого-нибудь из вас есть деньги?

Нийл и Чарльз Сэйуорд вместе наскребли шестьдесят четыре доллара, но у Белфриды не было сдачи.

— Вы могли бы для круглого счета заплатить ей шестьдесят четыре, — промурлыкал Борус.

Нийл вскочил, побуждаемый в высшей степени романтической идеей выгнать из своего дома этого бандита, но на безмятежно ироническом лице Боруса он прочел, что тот только этого и ждет, чтобы устроить себе развлечение.

— Правильно. Значит, мы в расчете, Белфрида, — сказал Нийл. — Ну, всего доброго. Прощайте, мистер... Багдол, кажется?

Он решительно подошел к ним и пожал руку Борусу. Железная рука Боруса сжала его руку, словно одно мгновение мерилась с нею силой, — затем Борус улыбнулся. Нийла так пленила эта улыбка, что он только через полминуты вспомнил: ведь он — белый, представитель высшей расы. И сказал с той подчеркнутой учтивостью, в которой и заключается оскорбление:

— Может быть, вам угодно посидеть на кухне, мистер Багдол, пока Белфрида будет укладываться?

— Да, благодарю вас, мистер Кингсблад. Я подожду в кухне, пока мисс Грей соберет свои вещи. — И он скрылся.

Вернулась Вестэл, ходившая наверх наблюдать за укладкой Белфриды. Она сказала со смехом:

— Проклятые проходимцы! Победили-то они, а не мы.

— Как так? — спросили все хором.

— Я была просто счастлива, что Белфрида уходит, — это такое облегчение! И я хотела показать себя великодушной белой леди, быть сердечной и снисходительной. Я ожидала, что они в раскаянии тихонько уберутся в своей машине (кстати, машина отличная, я бы не прочь иметь такую). Ничего подобного! Они умчались, воя, как гиены: «До свиданья, до свиданья, душечка!» Пока Белфрида собиралась, этот Борус перемыл всю посуду — да так чисто, просто на удивленье, — убрал все в кухне, а на кухонном столе, на самом видном месте, оставил нам огромную бутылку шампанского! Честное слово, я до сих пор видела такие бутылки только на рекламах!

— Вот это мужчина, так мужчина! — восхитилась Китти. — И как великолепно сложен! Ничего подобного я в жизни не встречала!

— Да, настоящий мужчина, — пробормотала, задумавшись, Вестэл.

Но тут даже добрейший из мужей, Чарльз Сэйуорд, не выдержал.

— Что вы болтаете — вы отдаете себе в этом отчет или нет? Чтобы белые женщины заглядывались на известного всему городу черного гангстера, торгующего водкой и живым товаром, хозяина какого-то кабака с азартными играми! Нет, по меньшей мере половина нашей страны — женская половина — чёрт знает до чего докатилась, дальше некуда!

## 6

Теперь Вестэл сама готовила по утрам завтраки, и они были гораздо вкуснее, а на столе всегда стояла чистая пепельница, лежала утренняя газета «Знамя». По временам Нийл плясал в кухне джигу и ликовал: — Ура, опять все здесь наше!

Но Бидди и Принц, с присущим животным и детям упрямством, все еще скучали по Белфриде и, приходя со двора, искали ее по всему дому и укоризненно смотрели на Нийла и Вестэл, словно спрашивая взглядами: «Куда вы девали нашу подружку?»

Не прошло и недели, как Вестэл наняла «прислугой за все» двоюродную сестру Нэнси Хэвок, Ширли Пзорт.

Ширли была полна готовности участвовать в веселых приготовлениях к Рождеству. Она была даже приветливее, чем хотелось бы ее молодой хозяйке, и постоянно называла Вестэл «душечка». Это была девушка распространенного типа — очень бойкая, почти целомудренная, глупенькая и грациозная, как котенок, обожавшая жевательную резинку и модные танцы.

Декабрь становился холоднее, и у Нийла опять начинались боли в раненой ноге. Он чаще думал о войне, о погибших товарищах, о прошлом Рождестве в госпитале, где он был так одинок. Англичанки очень заботливо ухаживали за ним, но он тосковал по голосам родного Запада, по матери, жене и дочке, по сестрам Джоан и Китти. Теперь он с ними, за три года это его первое Рождество в кругу семьи.

Он задумывался над вопросом, как повлияла на него война. Изменилось ли что-нибудь в нем за эти годы?

Когда он лежал в госпитале, он был твердо уверен, что, вернувшись с фронта, все молодые солдаты сплотятся и покончат с этой каруселью, которая называется «республиканская и демократическая партии», и будут голосовать за справедливый порядок, за процветание страны и за то, чтобы больше не было войн. Но вот уже полгода, как он вернулся в банк, а от всех окружающих — банковских служащих, адвокатов, коммерсантов — он слышит лишь одно: пророчество, что «этот тип, Рузвельт» к 1950 году будет уже диктатором Америки. И он вернулся к прежней вере в то, что самое надежное в нашей жизни — цифры.

Однако в последнее время его начали раздражать вечные насмешки над «жидами», которые он слышал и в Федеральном и в Силвен-парковом теннисном клубах. Он думал:

«Эта кличка, наверное, так же мало нравится евреям, как моим предкам, канадским французам, — то что их называли «лягушатниками». Лейтенант Розен — тот, что напоролся на мину, — был симпатичный парень. И, наверное, очень многие евреи ничуть не хуже нас. Я молод, я должен усвоить себе широкий образ мыслей и крепко его держаться, иначе я легко могу стать подлецом, когда достигну почтенного возраста, разжирею и буду директором нашего банка — а то, быть может, и Первого национального в Сент-Поле».

Так он размышлял, сидя за своим письменным столом, под мраморными сводами Второго национального банка. Он все утро был занят оформлением мелких ссуд, главным образом — демобилизованным, которые хотели открыть какие-нибудь предприятия, и старался при этом сочетать щедрость с осмотрительностью.

На столе перед Нийлом лежала груда папок с мудреными финансовыми отчетами, но теперь, когда он перебирал в памяти все, о чем смутно думалось на фронте, эти папки наводили на него тоску. Он



вздохнул и, затягиваясь папиросой, покосился на красивую медную дощечку с надписью «Н. Кингсблад, помощник кассира».

Окончив в 1935 году университет в Миннесоте, Нийл собирался изучать медицину. Но временно, на лето, поступил курьером в банк. Нужен был какой-нибудь сильный толчок, чтобы он выбрался из этого парадного мавзолея, но ничего не случилось, а когда он женился на Вестэл и родилась Бидди, он понял, что застрял в банке навсегда, и вовсе не горевал об этом. Он читал книги по банковскому делу, продвигался по службе — ведал уже приемом посетителей. Он нравился всем клиентам банка, любовавшимся его улыбкой и рыжими волосами. Директор, Джон Уильям Пратт, любил его за степенность, добродушие и честность, и в этом году, после возвращения с фронта, Нийл был назначен помощником кассира.

М-р Пратт считал, что молодежь следует обучать всем отраслям банковского дела, и Нийла еще и сейчас постоянно переводили с одной работы на другую: то он «привлекал новых клиентов», то обслуживал старых, то вел книги, то подписывал кассовые чеки, и Пратт знакомил его с вкладчиками, заставляя каждый день час-другой сидеть на приеме посетителей.

Так же благосклонно, как директор, относился к нему и старший кассир, Эшиел Денвер, который тоже жил в Силвен-парке.

В городе имелось восемь банков, самый большой из них был «Блу-окс»: директор — Нортон Трок, председатель правления — Бун Хэвок, главный пакостник — Кэртис Хэвок. М-р Пратт находил, что и само это учреждение, и двенадцатиэтажное здание, в котором оно помещалось, имеют только грубо утилитарное значение, тогда как Второй национальный (Первого вообще не существовало в природе) продолжает славные традиции банков Моргана и Тэлсона. В этом двухэтажном мраморном храме с массивными бронзовыми дверьми, на углу Чиппива-авеню и Сибли-стрит, не сдавались помещения под конторы и не ютился такой чуждый элемент, как костоправы или агенты по продаже машин.

В зале банка, где необъятный потолок напоминал церковные своды и поддерживался тяжелыми колоннами из зеленого итальянского мрамора, где пол из черного мрамора, выложенного квадратами и ромбами полированного гранита и розового кварца, сверкал и искрился, как поверхность океана, где не хватало только облаченного в рясы хора бухгалтеров, чтобы довершить обаяние святости и платежеспособности, — Нийл чувствовал себя смиренным каноником.

В сущности, за своим письменным столом он оставался все тем же школьником за партой в ряду других школьных парт.

Несмотря на медную дощечку с его фамилией и ониксовый прибор, комбинацию чернильницы, часов, календаря, термометра и барометра, это был обыкновенный небольшой стол, и от долгого сидения за ним сводило судорогой ноги. Единственной личной собственностью Нийла здесь была фотография Вестэл и Бидди в серебряной рамке, трубка и кисет, книжка «Подлинные приключения сыщика» и письмо его бывшей секретарши с просьбой о помощи.

У Нийла было одно великое достоинство: преданность друзьям.

Он не переставал думать о том, что вот наступает Рождество, а из десятка людей, которых он считал своими близкими друзьями, большинство все еще на чужбине, в огне, и среди них трое самых любимых — Элиот, Джуд и Род.

Элиот Хансен, шеголь, страстный танцор, часто устраивавший у себя вечеринки, унаследовал от отца, простого, необразованного норвежца, предприятие, которое называлось «Свежие ароматные молочные продукты и мороженое». Марка этой фирмы, красовавшаяся на рекламных щитах на всех дорогах, которые вели в Гранд-Рипаблик, изображала горшок с медом и монетку в один цент.

Джуд Броулер, энергичный и осмотнительный малый, сын Дункана Броулера, первого заместителя директора завода Уоргейта, до войны торговал черносливом и сухим печеньем, продавая свой товар оптом, вагонами.

Но самым замечательным в плеяде друзей был Родней Олдвик.

Род Олдвик был пятью годами старше Нийла, учился в Принстонском университете, потом в Гарвардском, на юридическом факультете, а сейчас был майором танковых войск, награжденным несколькими орденами. Род был, что называется, джентльмен высокой марки и Великий Удалец. Он отличался и в игре в поло, и в фигурном лыжном спорте, он обладал гениальной памятью и с одного взгляда запоминал наизусть целую страницу текста. Он удовлетворял всем англо-пруссским стандартным требованиям, предъявляемым к герою: выюшиеся волосы, широкие плечи, тонкая талия, рост — шесть футов два дюйма. Будь у него рабы, он способен был бы зарубить раба, но никогда не стал бы над ним издеваться.

Наверное, его когда-нибудь найдут мертвым в постели — необязательно в его собственной — либо с кинжалом в груди, либо в слегка измятом лавровом венке, осеняющем прекрасный белый лоб.

Нийл думал: будь эти закадычные друзья здесь, можно было бы с ними обсудить такие психологические загадки, как, например, то, что в последнее время он находит какое-то удовольствие в своей ненависти к Белфриде. Но затем он вспомнил, что эти трое друзей всегда испуганно отмахивались от всяких тем, более отвлеченных, чем разговор о ножках их стенографисток, и более скользких, чем вопрос о республиканской партии. Только раз в жизни Нийл встретил человека, с которым мог беседовать о страхе, о любви, о боге, — и все их знакомство продолжалось только две недели.

Это был молодой капитан Эллертон, с которым Нийл встретился в армии, когда их везли в Италию. Они разговаривали все дни, все ночи напролет. Эллертон был конструктор машин, он любил Моцарта, Юджина О'Нейла, Тулуз-Лотрека, Веблена, и Нийлу почему-то совсем не казалось навязчивым или неуместным то, что Эллертон вдруг спрашивал: «Вы когда-нибудь думали о бессмертии?» или «А вы свою Вестэл любите из любви или из чувства долга?»

Эллертон был убит снайпером через сорок две минуты после того, как они высадились в Италии.

Нийл теперь уже не помнил, что он ответил Тони Эллертону, когда однажды ночью, под звездами Средиземного моря, тот спросил, словно думая вслух:

— Ведь, насколько нам известно, человек живет только раз — так неужели вам не жаль большую часть жизни отдать банковскому делу?

## 7

— Мы отпразднуем Рождество честь-честью, как полагается — будем петь рождественские песни и объедаться до колик в желудке, и все такое. Будем веселиться, потому что война в будущем году кончится,

все наши мужчины вернутся домой и.. и масла будет больше! — радовалась Вестэл.

Елка была высокая, развесистая — с северных болот, но когда пришло время ее наряжать, Вестэл стала жаловаться на «эту ужасную войну», ибо и в магазине стандартных цен и в «Универсальном», у Тарра, она не нашла ничего, кроме нескольких серебряных шаров и сосулечек из разноцветного стекла.

Она энергично обследовала чердак в доме тестя и откопала там ветхую картонку, где, как некогда сокровища капитана Кидда в обувной коробке, лежали елочные украшения, сохранившиеся с добрых старых времен — 1940 года: большая серебряная звезда, ангелочек из серебряной и золотой бумаги, стеклянные апельсины, виноград, вишни, горсть елочного «дождя» и презабавная гипсовая фигура деда-Мороза в красной шубе, с красным носом и грубкой в зубах.

Вестэл пришла домой нагруженная, как рождественский фургон, а вечером елка на могучей спине Нийла перекочевала из гаража в гостиную и все — Вестэл, Нийл, Бидди, Принц и Ширли — с радостными криками плясали вокруг нее.

В нынешнем году была очередь Нийла пригласить на рождественский обед весь клан Кингсбладов. И Вестэл, во всеоружии своих женских талантов, носилась по магазину Тарра, ограничив себя жесткой сметой: семь подарков в пределах десяти долларов каждый. Она совершила истинное чудо, отыскав у Бозарда для мамыши Кингсблад жемчужное ожерелье из четырех ниток, совсем похожее на настоящее, с подвеской из бриллиантов, совсем не похожих на настоящие, — и все за одиннадцать долларов!

У Тарра Вестэл тоже очень дешево «отхватила» подарки для Бидди: один старомодный — прелестную куклу с льняными волосами и блестящими глазами, вылитую Бидди, только потолще, другой новомодный — прехорошенький игрушечный пулемет, который с 1940 года стал самым подходящим даром младенца Иисуса примерной маленькой девочке. Там же у Тарра был приобретен новый ошейник и резиновая косточка для Принца, шарфик для Ширли, а для отца Нийла — трубка розового дерева, которой славный дантист будет безмерно восторгаться, но никогда не будет пользоваться.

Нийл и Вестэл не забыли и себя: в сочельник они пораньше уложили Бидди и отправились потанцевать в «Пайнлэнд».

— Это просто преступление, что я заставляю тебя завтра кормить всю мою голодную родню, — сказал Нийл жене.

— Милый мой, все, с кем ты ухитрился породниться, даже этот твой троюродный брат, что отпускает шоферам бензин в Гайавате, — для меня с в о и всегда будут своими.

— Вестэл, я тебя обожаю и молю бога, чтобы мы с тобой еще пятьдесят сочельников радостно праздновали вместе!

— Пью за это! — воскликнула Вестэл, поднимая свою узенькую рюмочку с белым мятным ликером, который в Гранд-Рипаблик считается самым изысканным напитком.

Величественный старший официант ресторана «Фьезоле», темно-коричневый Дрэксел Гриншоу, которого седые подстриженные усики делали похожим на какого-нибудь обучавшегося во Франции генерала-гаитянина, с улыбкой умиления наблюдал за молодыми супругами, все еще так влюбленными друг в друга. Его душу вассала тешила возможность прислуживать капитану Кингсбладу, будущему директору

Второго национального банка, и его молодой жене, настоящей деди, дочери главы «Электрической компании прерий».

Дрэксел думал:

«Правильно я говорил этой дурочке Белфриде: если не смогла ужиться с такими славными господами—сама виновата. Белые высшего круга никогда не обижают нас, негров. Я постоянно твержу неграм-агитаторам вроде Клема Брейзенстара, что они нам причиняют больше зла, чем любой белый негроненавистник. А они меня высмеивают, называют «дядей Томом». Этот левый сброд понятия не имеет об аристократическом обществе. Я с радостью готов служить такому человеку, как капитан Кингсблад, который всегда был и будет благородным джентльменом».

Таковыми мыслями тешил себя этот величественный старый тори, который, казалось, интересуется только салфетками. Когда Нийл и Вестэл воднялись, Дрэксел почтительно проводил их до дверей и сказал певучим голосом:

— Ваши посещения «Фьезоле» — великая честь для нас, и мы надеемся, что скоро опять будем иметь счастье служить вам, капитан, и вам, мэдэм.

Дрэксел чуть не обиделся, когда Нийл в ответ на эту восторженную речь дал ему доллар, но он тотчас взял себя в руки.

Вернувшись домой, Нийл по телефону поздравил с праздником родителей, затем они с Вестэл приготовили на завтра все подарки. Вестэл извлекла откуда-то смятые, завалывшиеся с довоенных лет обертки для рождественских даров, красные, серебряные, яркожелтые, разутюжила их, — и завернутые коробки и пакеты разной формы сверкающей красочной грудой легли под елку.

— Как красиво! — восторгалась Вестэл. — Милый, родной ты мой, вот уже семнадцать минут, как наступило Рождество, и ты не на войне, а дома, со мной, цел и невредим, и все нас любят, и мы вечно будем счастливы!

Они крепко обнялись.

Они являли собой такую красивую, уверенную в своем счастье, нежную пару, когда в утро Рождества, в фланелевых пижамах и красных шарфах, сошли вниз до завтрака, чтобы помочь разворачивать подарки. Бидди в своем белом с голубым платье — настоящая сдобная пышка, Ширли — черненькая, миниатюрная, похожая на эскимоску, Принц, который от возбуждения все время лаял и вертелся волчком, — все были тут. Выташили из-под елки нарядные пакеты. Вестэл была очень довольна самым главным полученным ею подарком — меховой горжеткой, потому что горжетка была красивее, чем у Нэнси Хэвок. На завтрак были оладьи, их ели все, в том числе и Принц, — и какая это была оплошность! — а по радио передавали рождественские гимны. Потом Нийл и Вестэл оделись и занялись приготовлениями к торжественному семейному обеду, который был назначен на два часа.

Главой всей обширной семьи Кингсбладов считался отец Нийла, доктор Кеннет, которого в городе уважали за изготовляемые им отличные зубные протезы и в равной степени за то, что он вел «Библейский класс для взрослых» при баптистской церкви, отличался в стандовой стрельбе и вытачивал на собственном станке деревянные игрушки-головоломки. Это был высокий, худой, рыжеватый мужчина, добрый и нерешительный.

Мать Нийла, Фэйс, темноволосая, миниатюрная и хрупкая, всегда производила такое впечатление, словно она побаивается жизни и в глубине души удивляется тому, что эти четверо больших и сильных людей—ее дети. Но у нее были такие же темные горящие глаза, как у ее матери, Джули Саксар, озорной и легкомысленной француженки, которой нехватало только красного платка и тамбурина, чтобы сойти за цыганку. Глаза Фэйс, казалось, жили своей отдельной жизнью и не имели ничего общего с кроткой, рассеянной женщиной, которая никогда не вслушивалась в то, что говорилось вокруг.

Следующими по старшинству в этой семье были брат Нийла, Роберт, тот самый, что торговал витаминным хлебом, присяжный остряк, и жена его Элис. У них было трое детей, младшая, Руби, — приятельница Бидди. Следует отметить, что Элис была не просто женой Роберта Кингслада, она была еще сестрой самого Хэролда Уиттика, мастера поэтического жанра рекламы.

Далее следовали сестра Нийла, Китти Сэйуорд, с ее Чарльзом, и самая младшая из детей доктора Кеннета, Джоан, жившая еще в родительском доме. Джоан была десятью годами моложе Нийла, недурна, неглупа и неинтересна. Она уверяла себя, что ей хочется уехать в Чикаго учиться рисовать костюмы, но в глубине души знала, что на самом деле ей хочется остаться здесь и выйти замуж — лучше всего за считавшегося ее женихом приятного молодого человека, в настоящее время лейтенанта флота.

К двум часам клан был уже в сборе — всего девять взрослых и шестеро малышей, не считая Ширли и Принца, — и хотя беседа шла о России и хемотерапии, сборище этих людей вызывало воспоминание о кухне на какой-нибудь ферме, где сходились их не очень далекие предки. Молодые женщины хлопотали на кухне, накрывали на стол (поставили и хрустальную вазу с «пьяными» персиками), Нийл старательно сбивал коктейли для мужчин, и только мать семейства, Фэйс, восседала в голубом кресле у камина, улыбаясь рассеянно и задумчиво.

Доктор Кеннет занял место во главе стола, за которым сегодня уселось пятнадцать человек (полотняная скатерть скрывала приставленные к обеденному столу красного дерева еще два ломберных столика). Он окинул первовным взглядом эти два ряда крепких, здоровых людей, словно в первый раз увидел, какие они красивые и цветущие. Потом, склонив голову, своим тихим приятным голосом прочитал молитву:

— «Отец наш небесный, ты сохранил нас в эти губельные годы, и вот мы снова можем праздновать рождение твоего великого сына. Дай нам прожить вместе и весь будущий счастливый год и благослови моих детей, собравшихся здесь, — не оставь их, господи!»

Нийлу вспомнилось прошлое Рождество в больничной палате. Глаза его, обжевав все эти любимые лица, остановились на изможденном лице отца, и что-то сжало ему горло.

— Ого, целых две индейки! — благоговейно прошептала дочка Роберта, Руби.

После обеда все дети, собаки и тетушки улеглись спать. Дому оказали честь, заехав с праздничным визитом, отец Вестэл, Мортон Бихауз, и брат его Оливер (оба были вдовцы и обедали они сегодня у Оливера). Они привезли подарки, всякие бесполезные изделия из кожи и синтетической слоновой кости. Доктору Кеннету было очень приятно видеть, что сын его, Нийл, на такой короткой ноге с знаменитыми Бихаузами.

«Он молодец, далеко пойдет, — радовался доктор про себя. — Пожалуй, пора открыть ему нашу тайну».

Он все присматривался к сыну и во время ужина и потом, когда играли в «монополию», в покер, разыгрывали шарады. И в разгаре веселья он ласково сказал Нийлу:

— Молодой человек, ты, кажется, в большом восторге от своего домишка и семейства? А вот сведи-ка старого отца в свою «берлогу», и он расскажет тебе кое-что о прошлом.

Доктор Кеннет был человек, иногда дававший волю фантазии, и потому Нийл пошел за отцом наверх с чувством тревожного недоумения.

## 8

Доктор Кеннет Мак-Кингсблад (приставка «Мак» шла от его матери — шотландки, Дженни Мак-Кейл) безропотно тянул ляжку и всегда был доволен жизнью. Он гордился тем, что ему довелось увидеть когда-то в поезде бывшего президента Америки Герберта Гувера, тем, что приобрел новый рентгеновский аппарат, и считал, что каждый из его четверых детей — настоящая золотая пломба. Но в свои шестьдесят лет доктор Кеннет уже уставал чаще, чем следовало, сердце его работало плохо, и он даже подумывал, не уехать ли им с «мамой» (так он звал жену) во Флориду на март, когда в Миннесоте начинается сырая, ветреная погода.

Особенно радовало его то, что Нийл, его чудо-мальчик, очевидно, будет финансистом и крупным государственным деятелем, который проведет все необходимые реформы — расширение сети школ и постройку нового водохранилища. О таком водохранилище доктор Кеннет давно мечтал, но до сих пор не осуществил мечту за недосугом — он был так занят и своей практикой, и садом, и резьбой по дереву!

Когда они уселись в «берлоге» у Нийла, так близко, что колени их соприкасались, и закурили сигары, достойные лишь такого праздника, как Рождество, или обеда для губернатора, доктор Кеннет, попрыгав своей сигарой, начал:

— Сынок, а ведь это любопытно, что ты назвал теперь своего пса Принцем. У нашей семьи, пожалуй, есть особые причины интересоваться принцами.

— Какие такие причины, папа?

— Видишь ли, может быть, все это просто глупость... Про себя я люблю называть это «тайной Кингсбладов» и держу все в таком секрете, пожалуй, оттого, что и сам-то не очень в это верю. Открою я это только тебе и никому больше, потому что ты в нашей семье — единственный человек с воображением и не будешь надо мной смеяться. Все равно, есть разве только какой-нибудь один шанс из десяти тысяч, что это правда. Но если бы это оказалось правдой, то, мне думается, Бихаузы здорово гордились бы тем, что породнились через Вестэл с Кингсбладами.

— Папа, да расскажи же, что это за великая тайна?

— А вот слушай. Мой отец, а до него и дед были уверены, что в наших жилах течет королевская кровь.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Именно то, что сказал. Возможно, что мы — потомки королей. Я не шучу. И не каких-нибудь французских или немецких правителей, разных там Людовиков, Фердинандов и тому подобного сброда, нет — настоящих британских королей. Вот некоторые люди находят, что фамилия наша — Кингсблад<sup>1</sup> не совсем обычная. Это верно, и недаром

<sup>1</sup> Кингсблад — по-английски «королевская кровь».

мы такую фамилию носим. По теории моего отца (я не поручусь, что он и в самом деле в нее верил) «Кингсблад» первоначально было чем-то вроде прозвища, которое дали нашему предку в знак того, что он королевской крови, — а значит и мы с тобой тоже! Ну-с, что ты на это скажешь?

— Право, не знаю, папа. Меня это мало интересует. Я предпочитаю жить в нашем городке, а не в каком-нибудь старом дворце с вечными сквозняками.

— По правде сказать, я тоже. Держу пари, что ни в одном из них нет центрального отопления. Мы бы, конечно, попрежнему жили и работали здесь, но все-таки приятно было бы сознавать, что мы по праву — законные короли Англии. Это было бы лестно и твоей маме, и Джоан, и Вестэл, а когда-нибудь и Бидди. И для твоего положения в банке тоже было бы не вредно, если бы мистер Пратт узнал, что у него служит потомок королей. Если только это правда!

Если это предположение верно, то я по прямой линии — английский король, а ты — мой наследник. Конечно, твой старший брат мог бы претендовать на титул принца Уэльского, но (если бы все это была правда) я, пожалуй, предложил бы Роберту отказаться в твою пользу, это было бы только справедливо — ведь у него воображения ни на грош! И я бы очень хотел, чтобы он перестал называть хламом мою безусловно замечательную коллекцию флоридских раковин.

Ну вот, слушай эту семейную легенду. Мне ее рассказал мой отец, Уильям, — он, может быть, оказался бы не бог весть каким монархом, но несомненно был лучшим фермером и конским барышником во всей округе. Он слышал эту историю от своего отца, Дэниэла Кингсблада, участника гражданской войны, а тот — от своего, Генри Арагона Кингсблада, который родился в Англии, в Кенте, в 1797 году и эмигрировал в Нью-Джерси после того, как посидел в тюрьме за публичное заявление (на какой-то городской ярмарке, какие бывали в те времена в Англии), что он — законный монарх Англии и Ирландии и, кажется, всех этих разных владений за морем. Он был бы король Генрих Девятый. И родился он там, в Англии, — так, может, ему все это было точно известно, может, это и правда! Как ты думаешь?

— Что ж, это интересно, но даже если и верно, вряд ли мы могли бы доказать это.

— Вот об этом-то я и хотел потолковать с тобой. Теперь твоя нога мешает тебе заниматься спортом, и ты читаешь гораздо больше, чем раньше. Так, может, ты бы для развлечения занялся этим делом! Хотелось бы, раньше чем я умру, узнать, правда ли это. У нас нет никаких письменных доказательств — ни единой строчки. Я всю жизнь собирался проверить эти сведения, но я был постоянно так занят — работа, и домашние заботы, и всякая всячина. А теперь мы, зубные врачи, так перегружены с тех пор, как многие из нас мобилизованы! Наши клиенты в последнее время ничуть не считаются с часами приема, они воображают, что зубной врач должен принимать их в любое время, когда им вздумается, — в особенности эти юные лодыри, что приезжают домой на каникулы. Дай им только волю, так они могут просто замучить врача. И потом они никогда не платят за лечение. Ну я так и не собрался до сих пор проверить это. А отец мне вот что рассказал.

Этот Генри Арагон Кингсблад утверждал, что он — прямой потомок сына Генриха Восьмого и Екатерины Арагонской — значит, законный наследник этого короля. Но когда Генрих Восьмой разозлился на Екатерину и выгнал ее вон, он скрыл, что у него есть от нее сын. Этого сына

будто бы звали Юлиан, принц Юлиан, и его вырастили преданные крестьяне, которые называли его «Юлиан королевской крови», а отсюда и наша фамилия Кингсблад.

А раз он был сын Екатерины, значит мы отчасти и испанцы. Не скажу, чтобы я этим был особенно доволен — я всегда гордился тем, что в моих жилах течет английская и шотландская кровь. Ты ведь знаешь, моя мать была очень дальняя родня Брюсу и Уоллесу и всем знаменитым шотландцам в юбочках—это уже не легенда, а самый настоящий факт! А все-таки, как подумаешь, что Екатерина происходит от Фердинанда и Изабеллы — той самой, что послала Колумба открывать Америку, — выходит, что она ничуть не хуже наших английских предков. По нашим рыжим волосам — твоим и моим — видно, что примесь испанской крови ничуть нам не повредила.

Теперь ты все знаешь. Возможно, что в этой истории нет ни слова правды, но ты бы все-таки попробовал до чего-нибудь докопаться, а, сынок?

Он сказал это так жалобно, а Нийл очень любил своего кроткого отца. И он обещал:

— Обязательно попробую, папа!

— Вот и хорошо. Главное, помни, что это вовсе не невозможно. Такие вещи бывают. Вот, например, на западе — кажется, в Альберте, или нет — в Вайоминге, был один парень... Не думаю, чтобы он был мормон, но, впрочем, возможно, что и мормон... И вдруг выясняется, что он самый настоящий, законный герцог из какой-то там, страны, — а ведь был простой скотовод! Так что сам видишь...

— Во всяком случае, интересно узнать правду, — согласился Нийл.— И считай это за шутку, если хочешь, но я тебе вот что скажу: когда Бидди сегодня надела снятую с елки золотую корону, она выглядела настоящей королевой. Да, я займусь этим делом!

И в январе наступившего года он им занялся.

## 9

Нийл столько читал о разных претендентах на титулы и земли, что надежды отца казались ему совершенно эфемерными. Но дерзкая фантастичность их занимала его, и к тому же он искал себе новое развлечение.

Из-за укороченной ноги он не мог больше ни ходить на лыжах, ни гоняться по сугробам за зайцами, и единственным доступным ему спортом было плавание в бассейне Федерального клуба. Ему надоели уже и бридж, и кроссворды, и бесцельное чтение приключенческих книг, биографий и порожденных войной романов, в которых шлюхи елизаветинских времен восхищали несколько миллионов почтенных читателей такими похождениями, каких те никогда не простили бы какой-нибудь молодой девице этого сорта в Нью-Джерси.

Он был доволен, что ему предстоит стать королем именно Англии, а не какой-нибудь иной страны. В сущности, когда он был в Англии, он не видел почти ничего, кроме доков, поездов и превращенного в госпиталь особняка тюдоровского стиля. Но ласковые, усталые женщины, ходившие за ним в этом госпитале, казались ему своими, кровно близкими. Из окна палаты для выздоравливающих он целыми днями смотрел на старинную церковь из песчаника, на ее башню с зубчатыми стенами и длинные, похожие на струны арфы, плети потемневшего от зимних холодов плюща. Под стрельчатой аркой входа беспрерывно проходили люди, и среди них ему виделась Тэсс, и Джуд, и маленькая Нелли, и Лор-



на Дун, и Ридер, и Генри Баскервилль<sup>1</sup>. А в Гранд-Рипаблик не сохранилось ни единого строения (если не считать остатков бревчатого частоты 1862 года, ныне составляющих стену гаража), которым он мог бы любоваться, как свидетельством бессмертного человеческого мужества.

Нийл гораздо яснее, чем его отец, представлял себе, что было бы, если бы вдруг лондонские газеты узнали, что какой-то американец, служащий банка, решил стать королем их Англии. Тем не менее, будь хоть одна миллионная доля уверенности, что это правда...

Почему не почитать какие-нибудь книги по истории и не узнать, абсолютная ли ерунда эта семейная «тайна», или в ней есть крупинка правды? Какое было бы удовольствие для Бидди, если бы она могла рассказывать всем, что она королевская дочь! Зная нрав этой деспотической особы, он бы не удивился, если бы она, собрав вокруг себя всех соседских ребятишек, заорала: «Эй вы, вам разрешается подойти к моей королевской особе!». Он вспомнил рождественскую корону из позолоченного картона, которая сидела на ее головке так гордо, хотя и сильно набекрень.

Сидя в кухне у стола за стаканом имбирного пива с джином, он рассказал обо всем Вестэл. Был конец воскресного зимнего дня. Они сегодня на славу пообедали индейкой, после обеда вздремнули, потом слушали по радио симфонический концерт, просмотрели отдел спорта и мод в воскресной газете. На верхней веранде, «солярии», Бидди, ее кузина Руби и Пегги Хэвок играли обломками подаренных на Рождество игрушек. Как истые дети новейшей англо-саксонской цивилизации, они занимались тем, что расстреливали из игрушечного пулемета коричневую плюшевую собачку с грустными глазами и куклу с разбитым носом, в ожерелье из стекляшек.

— Так вот кто, оказывается, король! — смеялась Вестэл. — Твой папаша — милейший старик, но другого такого безумного мечтателя, наверное, нет во всем городе. Какая прелесть! Если мы с тобой когда-нибудь накопим достаточно денег (что в высшей степени невероятно при таких ценах на мясо!), мы сможем съездить в старую Англию и взглянуть на наш дворец, а затем укатить опять сюда, где говорят на понятном нам диалекте. Но позвольте вам сказать, капитан, что будь вы не только британским королем, а хотя бы Великим вождем «Оленей»<sup>2</sup>, я не могла бы любить вас сильнее, чем люблю сейчас. И ручаюсь тебе, ни одна королева на всем земном шаре не умеет так артистически играть в джигроми<sup>3</sup>, как я. Пойдем-ка со мной вверх!

Наверху она отыскала среди елочных украшений картонную корону Бидди и торжественно надела ее на голову Нийлу, примеряя ее то так, то этак, словно новую шляпу, затем спросила у трех восторженно скакавших вокруг девочек:

— Ну-ка, скажите, цыплятки, кто он теперь?

— Король! — закричали все.

И Вестэл сделала ему глубокий реверанс.

— Вы оба ужасно глупые, — объявила Бидди.

Бидди слышала о женах, которых война сделала вдовами, о малышах, никогда не видевших своих отцов, и очень гордилась тем, что у нее есть отец — видимый и осязаемый.

<sup>1</sup> Персонажи из английских романов.

<sup>2</sup> «Олени» — общество взаимопомощи, по своей структуре напоминающее масонские ложи.

<sup>3</sup> Игра в карты.

— А ты хотела бы, чтобы я был всамделишный король? — спросил у дочки Нийл.

Она ответила, любуясь им:

— Ты был бы чудный король! А потом ты смог бы стать даже актером в кино, да?

В это воскресенье был выходной день Ширли, и Нийл и Вестэл сами готовили себе ужин. Сидя за столом в кухне, Вестэл размышляла вслух:

— Мне хочется вообразить тебя королем, но ничего не выходит. Ты до такой степени то, что ты есть: стопроцентный типичный белый мужчина, представитель среднего класса, протестант, любитель гольфа, работяга, которому обеспечена карьера, нежный муж, балующий свою жену, шотландско-английский американец Среднего Запада. Я бы не поверила, что ты — кто-то другой, даже если бы ты мне показал удостоверение, подписанное самим генералом Эйзенхауэром. Ах, проказник, ты хочешь царить во дворце? Ну хорошо, ты будешь царить в моем сердце.

— А может быть найдется много девушек, которые будут рады сделать меня королем своего сердца?

— Неужели? Как это приятно слышать! Режьте картошку потоньше — слышите, ваше величество?

Нийл так и не начал бы своих великих генеалогических изысканий, если бы отец однажды не спросил его умоляющим тоном: «Ну что, ты уже узнал что-нибудь о наших предках?» И вот раз, в субботу днем, когда Вестэл забрала автомобиль и умчалась играть в бридж, он вдруг решил: «А почему бы и нет? По крайней мере, теперь, когда ни в гольфе, ни в теннисе мне уже больше отличиться не придется, неплохо будет прослыть ученым историком. Почему бы и нет?»

Он ушел в свою «берлогу» и уселся за стол, — ученый, посвятивший всего себя науке, стойкий и непоколебимый. Обет был дан, дело всей жизни ясно, и он энергично принялся за него. А Вестэл, и Род Олдвик, и мистер Пратт, и профессор, преподававший им в университете историю Европы, — все в благоговении незримо стояли за его стулом.

Смушало его только одно: вот он приступил к исследованиям, — но с чего же их надо начинать?

Медленно ворочая головой во все стороны, он в раздумье оглядывал комнату. Здесь как будто не было никаких подходящих материалов, кроме диккенсовой «Истории Англии для детей», «Всемирного альманаха» и «Универсальной энциклопедии янки» в четырех томах.

Решительным жестом он раскрыл эту энциклопедию, ища сведений о Екатерине Арагонской. Он узнал только, что она была женой Генриха VIII, имела от него дочь — а вовсе не сына, — и что избавиться от жены Генриху удалось лишь ценой уничтожения истинной церкви.

«Но если у нее не было никакого сына, значит ее сын не мог быть основателем нашего рода! Нет, тут что-то не так».

Так же мало помогла ему «История Англии для детей».

Но как же ученые проводят всякие исторические исследования?

Наверное, прежде всего обращаются с письмом к какому-нибудь крупному авторитету. Но кому же написать? Его университетский профессор-историк никогда не обнаруживал особого желания переписываться с теннисистами. Нет ли в правительственном аппарате когонибудь, чья обязанность объяснять гражданам, как можно узнавать исторические факты? И кто этот автор, знающий так хорошо историю всех

времен и написавший все эти толстые книги, ценою по пять долларов за штуку?

И как только профессора умудряются узнать всю подноготную про какого-нибудь субъекта, который умер несколько сот лет тому назад? В университете Нийл не питал особого почтения к профессорам. Они ему казались угнетателями, которые умеют при помощи тысячи гнусных уловок изобличать беднягу-студента, накануне кутившего с приятелями вместо того, чтобы заниматься.

«А может, и крупным специалистам все достается не так-то легко? Как, например, они решают, что именно хотел сказать Шекспир в той или иной строке, если есть предположение, что писал он в пьяном виде и сам не понимал, что пишет? Эх, я, должно быть, упустил многое, когда учился в университете. Ну ничего, теперь наверстаю».

Надо отдать Нийлу справедливость: трудность задачи его не отпугивала. Теперь он видел: чтобы отыскать его королевских предков, понадобятся самые энергичные раскопки. И он серьезно принялся за дело.

Он поспешно доковылял до Силвен-серкл, оттуда доехал автобусом до книжной лавки Риты Кэмбер и купил «Историю Англии» Тревельяна. В ларьках со старыми книгами ему попались два сокровища — конечно, он понимал, что от них не велика польза, но не мог устоять, чтобы не купить их. Это были: во-первых, двухтомное сочинение леди Монтрескор «Описание жизни двора, а также загородных усадеб и величественных дворцов нашего прекрасного острова», в переплете из белого вошеного холста с тисненными геральдическими знаками и множеством иллюстраций, — настоящая дешевка: цена была снижена с 22 долларов 50 центов до 4 долларов 67 центов; во-вторых, диссертация доктора философии Гумбольдта Спэйра на тему «Точная документация к вопросу о жалованных ленных поместьях в царствование Генриха VIII», первоначальная цена которой была два с половиной доллара, а теперешняя — пятнадцать центов.

У него даже рука заныла пока он тащил эти фолианты к автобусу, и он думал: «Неужели я их одолею?» Он переживал первые великие и тягостные сомнения в возможности для него карьеры ученого.

Купил он еще книжку Сэнди Гофа «Искусство хоккея», и ее он действительно прочитал до конца.

Когда отец Нийла узнал, что изыскания начаты, он перерыл старые сундуки и принес сыну письмо, написанное собственной рукой Дэниэла Кингсблада, фермера и плотника, участника гражданской войны, сына того Генри Арагона, который был изгнан из Англии. Нийл жадно читал и перечитывал его:

«Августа 7-го, 1864 года.

Моя дор. жена!

Беру перо в руки чтобы написать тебе что со мной пока все благополучно надеюсь что также и ты и Вильм. здоровы. Мы находимся где-то в Вирджинии или Каролине — не знаем где а сержант не говорит. Кормят очень плохо, но не жалуюсь кому-нибудь надо же вовать на этой проклятой войне. Но здесь не место для человека которым командует сорок офицеров очень противных и заносчивых. Ревматизм донимает когда сыро не люблю гор очень трудно всходить и спускаться гораздо лучше наша ферма в Мич. хотя у нас и глушь дикий Запад. Новое ничего недавно ночью лагерь наш атаковали но слабо—не думай что серопузым<sup>1</sup> эта война нравится больше чем нам так что дела наши ничего.

<sup>1</sup> Так называли солдат конфедератской армии за их серые мундиры.

Надеюсь вы все в порядке. Пора кончать твой люб. муж Дэниэл Кингсблад».

— Замечательное письмо! — агитировал доктор Кеннет, нервно вертя пальцами в воздухе. — Ну не виден ли здесь старик во весь рост? Честное слово, вот были патриоты! Принимали все таким, как есть, готовы были все вынести ради сохранения нации. Замечательное письмо! Любой историк дорого дал бы за то, чтобы прочитать его, но я вовсе не намерен даже издали показать его когда-нибудь этим господам, и ты тоже никому его не показывай, как бы они тебя ни обхаживали. Ну, что же, это письмо тебя вдохновило?

— Еще бы, папа, разумеется!

— А сейчас я тебя еще больше обрадую и удивлю: я, кажется, знаю, где сохранилась целая куча писем не только моего отца и старика Дэниэла, но, быть может, даже самого Генри Арагона! Подумай только! Моя двоюродная сестра, Эбби Киферс, та, что живет в Милуоки и замужем за торговцем скобяным товаром, всегда была охотница хранить всякие бумаги, и я уже ей написал. Это подвинет дело, а? Как ты полагаешь?

— Замечательно, — довольно вяло подтвердил Нийл. — Подлинные документы! Это именно то, что нам нужно.

Кухина Эбби прислала письма трех Кингсбладов: Вильяма, Дэниэла и Генри Арагона, и Нийл накинудся на них, как котенок на ватнуюмышку, купленную ему для игры.

Он почерпнул из них массу полезных сведений о ценах на пшеницу в 1852 году, о прозорливости свиней в 1876-ом, о состоянии здоровья целой серии Эмм, Эбигэйлей и Люси, но все это ничуть не проливалось света на вопрос о королевском происхождении. Даже в письмах Генри Арагона, писанных из Нью-Джерси в годы 1826—1857, встретилась только одна фраза, которая могла служить руководящим указанием:

«Эти джерсейцы, кажется, никогда не смогут решить, какого они предпочитают губернатора — болвана или прохвоста, и будь я королем этой страны невежд, я бы перевешал их всех до единого».

Нийл с грустью констатировал, что предки его со стороны отца были, повидимому, люди трудолюбивые, трезвые и скучные, и если он когда-нибудь доберется до предполагаемого сына Екатерины Арагонской, то, вероятно, окажется, что этот предок был набожным гробокопателем, и только. Он говорил себе, вздыхая: «Я и раньше не верил, что мне удастся пролезть в короли. Я затеял всю эту возню только потому, что обещал папе. Пожалуй, пора с ней покончить и подумать о Бидди, о будущем, а не о каком-то Великом принце, кто бы он ни был. Ну его к дьяволу!»

Но в нем уже пробудилось некоторое любопытство к своему происхождению, и он подумал о предках по материнской линии. Авось, эти окажутся интереснее.

Ему было о них известно очень немного, хотя, когда он учился в университете, он часто бывал у своей бабки-француженки, Джули Саксинар, которая была жива до сих пор. Его мать и бабушка Джули никогда не ладили между собой, и вот уже пять лет Нийл не видел старухи, но хорошо помнил маленькую, яркоглазую насмешницу-бабушку, тяжелое детство которой прошло на границе Висконсина. И в первый же день, когда он увиделся с матерью, он сказал ей:

— Про папину родню я теперь кое-что узнал, мамочка, а как насчет твоей?

Они сидели в «задней гостиной» убогого и обветшавшего дома доктора Кеннета, плохо проветренной комнате коричневых и темносерых тонов, загроможденной расшатанным письменным столом с крышкой на роликах и стульями «под черное дерево», на которых были вырезаны драконы. Фэйс Кингсблад была миниатюрная, худенькая женщина, до странности тихая. Она говорила мало; она как будто всегда ожидала чего-то страшного. У нее были черные, блестящие глаза и блеклорозовые губы на бледном лице. Фэйс верила в Нийла, была о нем высокого мнения, и никогда она не давала ему советов, ничем не выражала своих чувств к нему, — разве только иногда погладит по плечу.

Выслушав его вопрос, она задумалась, словно стараясь припомнить что-то приятное, но покрытое пылью времен.

— Я, собственно, знаю о моей родне очень немного. Родители отца, Саксинеры, были, как и предки твоего папы, шотландской и английской крови, честные фермеры или мелкие торговцы. А о маминной семье я только слышала, что они французы и, насколько я знаю, в давние времена торговали пушниной в Канаде. Эти жители пограничных штатов не любили ведь распространяться о себе. Раз я попробовала спросить о них маму, но она только засмеялась и сказала: «О, они были ужасные пьянчуги, странствовавшие в пирогах, невинной девочке о них и слушать неприлично». Ты же помнишь, какая она чудачка! Знаешь, мне кажется, она всегда была недовольна тем, что я уродилась в семью Саксинеров, что я такая благонаправная, уравновешенная и такая чистюлька. Ну скажи, разве это не странно?

Она опять впала в свое обычное состояние молчаливого ожидания, и Нийлу его интерес к предкам вдруг показался немного нелепым.

В такой обширной вселенной, как Гранд-Рипаблик, где было без малого сто тысяч жителей, существовало рядом много отдельных, друг другу чуждых мирков. Одним из таких мирков, менее всего знакомых Нийлу, был лихорадочно-оживленный мир музыкальный: скрипачи, дававшие уроки в гостиных кирпичных домов, девочки, учившиеся играть на саксофоне, Общество симфонической музыки, которое раз в год организовывало гастроли Дулутского оркестра.

В этом году оркестр, приглашенный местным Финским обществом хорового пения, выступал в конце января в зале имени Уоргейта. Наряду с простыми смертными, как Нийл и Вестэл, на концерт приехала вся знать: Уэб и Луиза Уоргейт, доктор Генри Спэррок, Мэдж Дедрик с дочерью, Ева Чэмперис, Оливер и Мортон Бихаузы, Грег и Дианта Марл, судья Касс Тимберлэйн и миссис Тимберлэйн — хрупкая, вся искрившаяся радостным оживлением. Явились даже Бун и Куини Хэвок, оба подвыпившие, ибо только в таком состоянии они способны были выдержать наслаждение музыкой. (На концерте также присутствовал целый ряд людей, которые любили музыку, но репортер светской хроники газеты «Граница» не удостоил их внимания).

Нийлу вдруг стало смешно, когда он представил себе, как все эти люди сразу повернулись бы к нему, забыв о Ханникайнене, величаво стоявшем у пульта, если бы знали, что он, Нийл, — принц крови... Он бы мог, отправляясь в автобусе на службу, надевать корону и горностаевую мантию и устраивать придворные приемы за своим столом во Втором национальном банке.

Он забыл обо всех этих заманчивых перспективах, как только раздались первые звуки Девятой симфонии Бетховена. Она перенесла его в какие-то доселе невиданные места. Широкая аллея через красивые поляны

в тени дубов вела к колоннам большого дома с окнами в гирляндах каменных цветов. За домом виднелся поросший вереском холм, а над всем высилась башня, древняя, полуразрушенная. И Нийлу казалось, что все это — его владения.

«Может быть, это какие-то родовые, наследственные воспоминания? — думал он. — Может быть, все это принадлежало некогда какому-то прапра-прадеду, который воплотился во мне? Неужели правда, что я мог бы быть королем? Или герцогом?

Ладно, помиримся на бароне!»

## 10

Нийл проводил одно новое начинание в банке, милостиво одобренное мистером Праггом и главным кассиром Эшиелом Денвером.

Он хотел организовать Центральную консультацию для ветеранов войны, куда демобилизованные из армии и флота, его боевые товарищи, смогут обращаться за содействием в подыскании работы, жилья, за справками насчет пенсии, стипендии в учебных заведениях и так далее. И для банка это выгодно — все эти люди будут открывать новые счета и занимать деньги под солидные залоги.

Заведывать консультацией должен был Нийл, и ему обещали повысить жалованье до трехсот пятидесяти долларов в месяц с тем, что если дело разрастется, ему дадут помощника. Стоял уже апрель, северный апрель — не весна, а просто умирающая зима, и Нийл, не сомневаясь, что война в Германии через несколько месяцев кончится, спешил подготовить «уголок» для консультации. Уголок этот, где помещались стол Нийла, два плюшевых кресла и гораздо менее «плюшевая» скамья — мебель, подобающая для героев, — напоминал шикарное стойло красного дерева.

Нийл хлопотал с утра до вечера, а вечером дома буйно веселился. Вестэл была очень довольна его успехами и выдвижением по службе, а Бидди открыла собственный банк, в котором ее кузина Руби, дочка дяди Роберта, в первый же день поместила вклад в шесть булавок, а Принц — обкусанный собачий бисквит. Впрочем, банк этот плохо кончил, так как Руби, понятия которой об этике были далеко не на уровне гребаний Второго национального банка, ухитрилась получить одиннадцать булавок за свои шесть, и Бидди, посоветовавшись с дядей Оливером Бихаузом, объявила себя банкротом.

Мистер Прагг, как человек осторожный, не возлагал чересчур больших надежд на Центральную консультацию для ветеранов, зато Нийл был безгранично увлечен своей затеей и в конце апреля поехал поездом в Сент-Поль и Миннеаполис для деловых переговоров с банкирами, представителями власти, главарями Американского легиона и других организаций ветеранов.

Как командированный банком, он ехал в «Борупе»<sup>1</sup>, вагоне с отдельными креслами для пассажиров.

Для постоянно разъезжавших по делам граждан Гранд-Рипаблик и Дулута «Боруп» уже много лет был чем-то вроде дома на колесах. Он был такой древний, что его завсегдатаи утверждали, будто он не из железа, а из дерева, закаленного зимними ветрами и июльской жарой прерий, когда температура поднимается до 45°. Внутри вагон отделан был инкрустацией из дерева разных цветов — оливково-зеленого, розового и серого. Внутреннее его устройство отличалось такой приятной замы-

<sup>1</sup> Название салон-вагона; в США пульмановские вагоны имеют название, как корабли.

словатостью, что можно было знать этот вагон много лет — и вдруг, открыв какую-нибудь дверь, обнаружить еще одно купе со столом для карточной игры и четырьмя креслами почтенного возраста, с зеленой волосяной обивкой.

В «Борупе» Спэррок-старший, Хайрем Спэррок, отец доктора Генри (он жив до сих пор, но несколько реже появляется в обществе, так как ему девяносто четыре года), хранит дорожный запас лекарств — пять сортов пилюль и три укрепляющих средства, две запасные искусственные челюсти, гребенку и палочку бриллиантина для усов. Этот жизнерадостный старый разбойник Хайрем, знавший Джона Рокфеллера-отца и Сесилия Родса, и сейчас еще, помимо всего того имущества, которое он передал сыну, имеет в Соединенных Штатах миллион акров земли, а его владения в Мексике измеряются даже не миллионами, а временем, которое требуется самолету, чтобы их облететь. В Гранд-Рипаблик все считают, что Хайрем богаче даже Уоргейтов и Эйзенхерцев, но он постоянно жалуется на бедность и никогда не даст больше двадцати пяти центов на чай чернокожему проводнику «Борупа», Маку.

А сын его, доктор Генри Спэррок, хранит в «Борупе» Карла Маркса в издании «Современная библиотека» и вот уже пять лет тщетно пытается его прочитать, надеясь узнать таким образом, «что затевают все эти левые конгрессмены и вожаки рабочих». Но в течение пяти лет всегда выходило так, что как только он начинал читать, его звали играть в бридж, и он успел добраться только до второй страницы.

В том же «Борупе» Мэдж Дедрик хранит колоду карт для пасьянса (на картах — ее монограмма), Оливер Бихауз — сборник кроссвордов, Дианта Марл — руководство по психоанализу, книгу «Хороший тон» и бутылку коньяку.

Проводник Мак, грузный и очень черный негр лет семидесяти, профессионально приветливый, знает решительно всех. Он опекает едущих в колледж молодых девиц, родителей которых он когда-то возил в свадебное путешествие, и величает их «мисс», хотя знал их с детства под именем «Тутс» или «Кэй». Он подбирает оброненные ими пудреницы и коробки конфет и следит, чтобы они не слишком общались с красивыми незнакомыми попутчиками.

Ему известно, какие мужья будут провожать жен при отходе поезда и какие мужчины встретят и расцелуют этих жен по приезде на место.

Мак — это Готский альманах, бесполоая камеристка, почтенная дуэнья (только без кружевной косынки) для жителей Дулута, Гранд-Рипаблик и всех городов на линии между Дулутом и городами-близнецами<sup>1</sup>. Мак был выразителем общественного мнения. Если он кого-нибудь не узнавал, это была плохая рекомендация для человека, хуже, чем то, что его оборвал доктор Спэррок или игнорирует миссис Дедрик. И назвать Мака «Джордж», а не «Мак» — значило показать себя настоящим варваром. Фамилии у Мака не было — по крайней мере, Нийлу и всем его приятелям об этом ничего не было известно.

Мак приветствовал Нийла словами:

— Очень, очень приятно, что вы едете с нами, капитан Кингсблад. Надеюсь, сэр, ваша нога уже лучше действует?

— Да, спасибо, Мак, гораздо лучше. («Довольно лестно, что Мак меня помнит. Надо будет дать ему на чай двадцать пять центов»).

— Не хотите ли просмотреть миннеапольскую утреннюю газету, сэр?

— Да, да, спасибо, Мак. («Нет, дам ему пятьдесят центов. Вот этот старый негр знает свое место! И почему всякие молодые идиоты вроде

<sup>1</sup> «Города-близнецы» — Миннеаполис и Сент-Поль.

Белфриды не могут быть так внимательны? Маку не жалко дать пятьдесят центов, и даже семьдесят пять! Не так уж это много. Да и потом — ведь это пойдет в счет командировочных расходов»).

Когда путешествие пришло к концу и Мак на прощанье почистил его щеткой и обласкал словами, выразив надежду, что «капитан окажет им честь совершить с ними обратный путь», Нийл торжественно вручил ему целый доллар.

А в другом конце вагона, когда подъезжали к вокзалу, старый Хайрем Спэррок зарычал на Мака:

— Эй, ты, макиавеллево отродье, что же ты не выражаешь надежду, что будешь иметь честь везти меня обратно?

— О нет, генерал. С вами всегда столько хлопот — с вами и разными вашими пилюлями.

— Ах, ты, сребролюб, продажная твоя душа, старый подхалим, разыгрывающий из себя дядю Тома! На, получай четверть доллара, да будь благодарен и за это.

— Я, конечно, очень благодарен, генерал. Столько денег ни за что, только за то, что смотрел на вас. Обычно я получаю от вас только пятнадцать центов. Видно, опять на бирже взяли крупный куш, генерал?

— Не твое собачье дело. Ты что это, вздумал шпионить за мной? Для каких газет работаешь?

— Для всех, генерал. Будьте здоровы.

Ни тот, ни другой ни словом не обмолвились насчет того, что Хайрем каждое Рождество дарил Маку пятьдесят долларов.

Оба старика, живые реликвии недавнего феодального прошлого страны лесов и рудников, ухмыляясь, глядели друг на друга, а молодой Кингсблад с удовольствием наблюдал эту сцену.

## 11

Непонятное отчуждение между матерью и ее родителями Нийл объяснял себе привычкой бабушки Джули командовать всеми, до кого только достигал ее веселый кудахтающий голос. Между стариками и семьей Кингсбладов никогда не было открытой вражды, но и тот холодок, который существовал, мешал Нийлу подойти ближе к деду и бабушке.

Все-таки во время своей четырехдневной служебной командировки в Миннеаполис он урвал один вечер и поехал на озеро Миннетонка навестить стариков Саксинаров.

Эдгару Саксинару было уже восемьдесят пять лет. В шестьдесят пять лет, уйдя от дел (он работал в Телефонной компании), он купил себе одноэтажный домик — очень удачное приобретение. Вот как красноречиво описывал он этот домик в письме:

«Мы поселились в каменном бунгало с чудным видом из окон, на самом берегу романтических вод старого озера Миннетонка. Миннеаполис — единственный большой город, расположенный сравнительно близко от такого большого (не говоря уже о его красоте) озера, как Миннетонка. Мы с миссис Саксинар часто беседуем о романтических индейцах, плававших некогда в пирогах по этим романтическим водам».

Бунгало Саксинаров было, собственно, не из камня, а из цемента, спрессованного «под камень», а что касается «чудных видов», то из окон можно было любоваться не прославленной ширью озера, находившегося за три квартала отсюда, а всего только восьмизэтажным каркасным до-



мом, адвентистской церковью да платановой рощей. Тем не менее, трудно было найти более подходящий уютный уголок для двух благодушно ворчливых стариков, и Нийлу было очень приятно сидеть в их маленькой гостиной с желтыми плюшевыми креслами и веселенькими обоями — по желтому полю тростник и кувшинки.

Хотя он уже пообедал, съев бифштекс в отеле «Свансон-Гранд», бабушка Джули все-таки потащила его на кухню и заставила съесть уйму шоколадного печенья. Кухня была совсем не образцовая, стекляннно-эмалированная, как в журнальных рекламах. Бабушка готовила на древней, не слишком хорошо вычищенной плите, запасы свои хранила в целой батарее старых синих чайников с отбитыми носиками и жестянок из-под печенья, а посуда ее была куплена в антикварном магазине — и лучше бы она там оставалась! Нийл помнил, что его мать и дедушка Эдгар всегда хвастали своей аккуратностью, а веселая, похожая на черного жучка, бабушка Джули была просто гений беспорядка, настоящая цыганка.

Однако Нийл заметил, что среди этого ералаша бабушка Джули очень быстро находила все то, что ей нужно, тогда как его мать и дед, гордившиеся своим пристрастием к симметричности и привычкой раскладывать по строго выработанной системе списки адресов, письма, квитанции из прачечной и еще не совсем изношенные шнурки для ботинок, постоянно забывали, где у них что лежит.

Из кухни он с бабушкой вернулся в гостиную, чтобы, как почтительный внук, побеседовать с дедушкой Эдгаром, лысым и приземистым бодрым стариком, который был большой патриот и осуждал нынешние порядки.

Нийл сначала, как полагается, пожелал узнать и с должным интересом выслушал мнение деда относительно государственного подоходного налога, успехов в нынешнем сезоне миннеапольской команды бейсболистов и будущих моделей телефонных аппаратов (обо всем этом Эдгар отозвался весьма критически). Затем он перешел к тому единственному вопросу, который его действительно интересовал:

— Бабушка, мне папа недавно рассказал о своей родне, и после этого мне захотелось узнать побольше о всех моих предках. Расскажи о своей семье и о семье дедушки.

Бабушка Джули, занятая старушка, которой по документам было восемьдесят три года, а на вид, по стройной упругой шее и черным, как агат, глазам, до сих пор не нуждавшимся в очках, можно было дать сорок три, смесь цыганки и ирландского эльфа с легкой дозой спасительного ханжества, присущего всем янки, вязала, покачиваясь в своем обтрепанном камышовом кресле-качалке (которое ее супруг ненавидел). Услышав вопрос Нийла, она тотчас закудаhtала, как курица на яйцах, не обращая внимания на непрерывное скептическое мычание деда, который сидел против нее в старомодных очках со стеклами полумесяцем, придававшими ученый вид его круглому красному лицу, и курил длинную тонкую сигару.

— Твой дед Саксинар — вот этот основательный предмет, что торчит передо мной и курит какую-то вонючую гадость, родился в Висконсине, служил счетоводом на лесопилке, а потом конторщиком и телеграфистом на линии Чикаго-Милуоки, пока не получил место на телефонной станции. А родня его, та, которую мы знаем, — люди, как все: кто варит сыр, кто торгует мышеловками Хорошие и глупые люди.

Тут Эдгар разразился целым фонтаном слов — как кит, выбрасывающий струю воды.

— Ладно, ладно, Саксинары — почтенные люди, как и родня Нийла со стороны отца. Слава богу, в моем роду почти все без исключения

«славные, достойные люди, республиканцы и пресвитерианские кальвинисты.

Джули усмехнулась.

— Так это же самое и я сказала. Хорошие и глупые. А вот мои предки были французы. Женщины все носили ленты, а мужчины их развязывали.

Желая задобрить старушку, Нийл сказал:

— Знаешь, бабушка, когда мы воевали во Франции, я убедился, что французы вовсе не такой беспутный народ, какими их изображают в юмористических журналах. Они — самые работающие фермеры в Европе и самые расчетливые лавочники.

— Может быть, есть и такая порода французов. Но мои предки были легконогое племя. Они удрали из Европы потому, что она казалась им слишком дрессированной, и осели в Квебеке, а потом и оттуда ушли, потому что там уж слишком много святош. Мои предки пили только самые лучшие вина и желали иметь дело только с людьми не смиреннее волка, рыси и индейцев-ассинибойнов.

Она засмотрелась в глубь памяти, на залитую красным светом картину своей юности, и сказала, словно думая вслух:

— Я тоже родилась в Висконсине, в Гайавате. В те времена это был город лесорубов. Ох, какой же бандитский город! И я танцевала с плотовщиками — я танцевала легко, как перышко, а плотовщики ходили в красных шапках...

Эдгар презрительно фыркнул:

— Ну и мешанина!

— Да, мешанина — ты представления не имеешь, старый, какая мешанина! Еще тогда, когда в Висконсине ничего не было, кроме просек в сосновом лесу да хижин из просмоленного картона, вы, Саксинеры, зубрили «Воскресные тексты для христианских детей». А мои родные... Отец мой, Александр Пэйзолд, умер, когда мне было десять лет, и мать тоже — тогда была эпидемия оспы.

Нийл спрашивал себя, как отнеслась бы Вестэл, которая была из старого рода дорсетских колонистов, к такой родословной, темной, как глухая ночь, едва озаренная факелами. А Джули продолжала болтать, словно в такт щелкая вязальными спицами:

— Да, Александр Пэйзолд. Не могу сказать, чтобы я его очень хорошо помнила. Помню только, что он был красивый высокий мужчина с длинной черной бородой (она так щекотала!) и что он всегда пел. Он возил почту в первом дилижансе, а потом работал в Великих лесах. Он свободно говорил по-английски, это я отлично помню, но на лошадей покрикивал всегда по-французски. Когда и он и мама умерли, мне было только десять лет, и меня воспитал мамин брат, дядя Эмиль Обер — он торговал мехами. Дядя мне очень мало рассказывал о Пэйзолах...

Все же я знаю, что мой дед, Луи Пэйзолд, был фермер и охотник, потому он добывал медь на Верхнем озере. Женился он на Сидонии Пик, а отца этой Сидонии звали Ксавье Пик... постой-ка... Значит, этот Ксавье Пик тебе приходится пра-пра-прадедушкой...

... Дядя Эмиль слышал о Ксавье, потому что Ксавье был замечательный человек, он исходил все леса на границе<sup>1</sup>. Но я не думаю, чтобы в истории о нем упоминалось, потому что богатства он не нажил, да и в такой глуши газет, конечно, не было, и никто не вел мемуаров. Из того, что мне рассказывал дядя Эмиль — о, господи, тому уж лет семьдесят будет, как я все это слышала! — я поняла, что Ксавье был французский *voyageur*, странствующий купец самого лучшего сорта. Может, и за ним водились

<sup>1</sup> Граница продвижения первых поселенцев в Северной Америке.

какие-нибудь грешки, но дядя Эмиль, конечно, не стал бы рассказывать о них такой маленькой девочке, какой я тогда была!

— И на твоём месте я не стал бы распространяться об этом Пике, — перебил её дедушка Эдгар.

— А я буду! Я им горжусь. Да, так вот, Нийл... Ксавье Пик... Родился он, кажется, в 1790 году. Дядя Эмиль говорил, что одни родственники уверяют, будто он родом с Мэкинак-Айленд, другие—что с озера Пепин, а третьи — будто он родился в Новом Орлеане или даже в Старом свете, во Франции. Все они говорили, что Ксавье был невысокого роста, но страшно сильный и смелый, что он чудесно пел, но пил слишком много. А языки... ого, он знал все языки на свете — и французский, и английский, и испанский, и язык индейцев Чиппива и Сиу—на всех этих языках Ксавье умел говорить, это я знаю от дяди Эмиля, а мой дядя Эмиль никогда не обманывал никого, кроме покупателей. Эдгар, наверное, ненавидел бы Ксавье Пика!

— Я всегда ненавидел его. Если только ты про него все это не сочинила, — объявил дедушка Эдгар.

— Ничего я не сочиняла. Ксавье, говорят, был агентом Гудзоновской компании, а позднее стал работать самостоятельно, рыскал по лесам, был контрабандистом и скупал меха. Он очень ловко перебирался через речные пороги. Наверное, в молодости он носил шарф вместо пояса, как все эти voyageurs, и хорошо пел...

... Да я, помнится, рассказывала тебе о нём, Нийл, когда ты был ещё такой малыш, что только-только достигал головой плиты. Ты уже, конечно, забыл это, но может быть помнишь ещё песенку про путешественников, которой я тебя учила. Она начиналась: «Dans ton chemin».

— Да, да, ей-богу, сейчас начинаю припоминать, бабушка.

Припоминая эпизоды из истории Миннесоты, которую они проходили в школе, и забытые рассказы матери и бабки Джули, Нийл теперь живо представлял себе своего предка, Ксавье Пика.

Он стал вслух описывать его таким, каким рисовался ему этот жизнерадостный и энергичный француз, искатель приключений. А бабка Джули слушала и молча кивала головой.

Ксавье не пахал серо-коричневые поля Англии, как почтенные праотцы доктора Кеннета, которые несомненно были скорее крестьяне, чем потомки королей. Ксавье принадлежал не миру вечерних туманов и болтовни колокольчиков в стаде, а миру радостных зорь на сверкающих порогах никому неведомых рек. Нийл представлял себе, как он входит из Монреаля весенним утром во главе целой флотилии лодок и направляется к затемненному соснами форту у устья Каминистиквиа.

Ксавье Пик! Это был, должно быть, румяный гуляка и сквернослов с курчавой золотистой бородкой, и носил он, конечно, небесно-голубую солдатскую шинель нараспашку, так что видны были подвешенные к алюмину кушаку кисет с табаком и нож с гибким лезвием. Мокасины и гамашы у него были из оленьей кожи, а свою вязаную шапку он носил с шиком истинного жителя Северо-запада.

Бросая вызов бурным стремнинам и ночи среди бескрайнего одиночества северного леса, где, как тени, бродят волки, и отвечая смехом страшным штормам Верхнего озера, презирая холод, голод и коварство индейцев, Ксавье весело пускался в путь, запевая песенку, которую подхватывали его товарищи:

Dans mon chemin j'ai rencontré  
Trois cavaliers bien montés —  
Lon, lon, loridon daine <sup>1</sup>

Так не в словах, а в ярких, живых образах воскрешал Нийл далекую весну своей страны и героя этой весны, от которого произошел их род.

Это все было, вероятно, в дни молодости Ксавье. А об остальном бабушка Джули рассказала, когда очнулась от дремоты, внезапно нападавшей на нее. Смутные обрывки великих легенд, слышанные ею в детстве, говорили о том, что Ксавье впоследствии странствовал уж не как агент разных компаний, а как самостоятельный купец. Джули знала, что он дожил до 1850 года, постоянно разъезжая, и не сомневалась, что он был первым белым человеком, исследовавшим неизвестные земли на много миль вокруг, там, где теперь селения и фермы, обязанные своим существованием его смелости и ловкости.

— И бесспорно, — продолжала Джули своим резким голосом, не слушая ворчанья мужа, — бесспорно, этот француз-пионер был одним из первых строителей и король-воинов новых колоний американцев и англичан: Миннесоты и Висконсина, Онтарио и Манитобы.

А Нийл уже про себя решил, что Ксавье лишь невольно оказывал такие услуги этим пропойцам-англичанам. Наверное, он в сердце своем чтит солнечные лилии Франции, а не британское знамя цвета сырой говядины и не полосатый флаг янки, напоминающий пеструю обертку леденца. И, может быть, именно этот доблестный галл, а вовсе не какой-то худосочный английский аристократишка, оставил ему в наследство веское право считать себя потомком королей?

Эта новость не удовлетворила бы доктора Кеннета, в чьих склеротических жилах не было ни единой капли огненной крови Ксавье, но зато когда-нибудь она привела бы в восторг Бидди, такую же азартно смелую и предприимчивую, каким был Ксавье!

«А почему бы и нет? Кто знает, а вдруг этот удивительный Ксавье Пик—изгнанный отпрыск какого-нибудь герцога Пикардийского, полукоролевской крови?».

Но герцогское знамя было немедленно вырвано из рук Нийла.

— Имей в виду, — говорила бабушка Джули, — что этот Ксавье, может быть, и не чистокровный француз. Меня бы не удивило, если бы оказалось, что он метис. Возможно, что мы с тобой в родстве с индейцами племени Чиппива.

— Чиппива? — переспросил Нийл без особого воодушевления.

— А что? Неужели тебе было бы неприятно, что в нас есть примесь индейской крови? — спросила старушка, бросив хитрый взгляд на мужа.

— Нет, разумеется, нет, — возразил Нийл без капли убеждения в голосе. — Я вообще не имею никаких расовых предрассудков. Ведь война, в которой я участвовал, это война против предрассудков!

Дед Эдгар сказал жалобно:

— Дело не в том, нравится мальчику или не нравится быть голопузым индейцем, скальпирующим младенцев. Тебе во всяком случае не следует выбалтывать все, что знаешь!

Джули посмотрела на него в упор.

— Не прикидывайся дурачком! Я всем могу смело сказать, кто мои родные. Они никогда не торговали в разнос деревянными часами, как некоторые другие. Если бы кто-нибудь пришел ко мне и спросил: «Правда,

<sup>1</sup> На пути я встретил трех всадников на прекрасных лошадях (франц.).

что вы индианка с томагавком?», я сказала бы «да» и зарубила бы его томагавком!

В то время как старики переругивались с изобретательностью, приобретенной за шестьдесят лет практики, Нийл испытывал состояние человека, только что перенесшего легкий удар. Вообще говоря, он считал индейцев способным народом — они были отличные гребцы и умели хорошо дубить оленью кожу. Но из дворца герцога Пикардийского полететь кувырком в дымный вигвам индейца!

Отпустив несколько энергичных замечаний насчет предков Эдгара, которых она называла «крохоборами» и «скаредными янки», Джули вернулась к прежней теме:

— Во всяком случае, я слышала только об одном браке Ксавье: говорили, что он имел глупость жениться на индейской скво<sup>1</sup> из племени Чиппива, так что, я думаю, мы от нее получили индейскую кровь, если даже сам Ксавье и не был метисом. Ну что ж, лично я предпочитаю родство с дикарями, которые питаются ягодами и свежей рыбой, таким родственникам, как у Эдгара, которые всю жизнь ели одну только сушеную треску — и оттого сами стали такие засушенные.

— Мои во всяком случае не ели вареного собачьего мяса, как твой Чиппива, — отпарировал Эдгар. — И треска или не треска, а мои предки — Нийлу такая же родня, как твои.

— Это ты так думаешь!.. Но как бы там ни было, нравится это тебе или нет, Нийл, индеец ты или нет, ты — потомок Ксавье Пика, самого блестящего человека на границе, и это ведь здорово приятно, а?

— Ну, конечно, бабушка, это замечательно!

Однако новость насчет индейской крови произвела на него впечатлительнее, чем блестящие качества месье Пика.

Ему вспомнилось, как в детстве он из какого-то забытого теперь намека бабушки Джули или, может, из чего другого заключил, что в нем есть наследственная воинственность индейцев. Он похвастал этим Экли Уоргейту, и анемичный отпрыск богачей очень завидовал ему. Да, вот оно, царственное наследство — храбрость индейцев Чиппива, которых не страшат скалы, ночь и крадущиеся во мраке враги.

Но все-таки...

Это, может быть, очень хорошо для большинства людей, но не для почтенного супруга Вестэл Бихауз. И ему было больно думать, что его сокровище Бидди, это веселое дитя, словно созданное из хрусталя, роз и серебра, вернее всего приходится кузиной не английским принцессам и не знатым девам в бальных платьях, затканых золотыми лилиями, а невымытым индейским «скво», в рубахах из клейменной мешковины.

«Интересно, много ли у Бидди родственников среди тех маленьких индейцев, что бегают на отведенной им территории или ищут вшей у себя в голове?»

Ах, пускай они будут родственниками! Пожалуй, и ей и мне полезно, что в нас есть кое-что от честных первобытных жителей Америки!.. «Мистер и миссис Индиэнблад<sup>2</sup> извещают вас о помолвке их дочери Элизабет Быстроногой Белки с Джоном Пирпонт Морганом Уоргейтом». Этому юному снобу чертовски повезло бы, если бы она вышла за него!»

Нийлу вспомнился рождественский календарь с изображением индианки, в которое он подростком был влюблен: стройная дева со всеми необходимыми аксессуарами — замшевая куртка, расшитая бусами и украшенная лентами, пирога, водопад, сосновый лес и луна. И это был до-

<sup>1</sup> Женщина (индейск.).

<sup>2</sup> Индиэнблад — по англ. «Индийская кровь».

вольно убедительный образ по сравнению с прекрасной, но слабоумной Илэйн<sup>1</sup>.

Наконец, он заговорил наигранно-веселым тоном:

— Ладно, бабушка, пусть я — индеец Чиппива. А выпить чего-нибудь индейцу можно?

Дед Эдгар загоготал:

— Нет, нельзя! Огненная вода делает их опасными. Поэтому их угощают только жареными хвостами бобров. Но внуку Эда Саксинара выпивка полагается, даже двойная порция!

## 12

По возвращении домой Нийл и не заикнулся насчет племени Чиппива. То, что в беседе с бабушкой Джули было лишь веселым сюжетом, не годилось для ветреной Лиги молодежи, возглавляемой Вестэл. Он попробовал выведать что-нибудь у родителей, но убедился, что оба они ничего не знают о происхождении бабушки. Если Фэйс что-нибудь и знала, она благоразумно успела забыть это с тех пор, как деликатно и незаметно отдалась от своей матери.

«Да впрочем, и Джули ведь не привела никаких доказательств того, что Ксавье Пик или его жена были индейцы», — твердил себе Нийл. Он твердил это себе что-то чересчур часто и чересчур горячо.

Ему не давала покоя мысль, что в жилах его драгоценной Бидди течет кровь индейцев. Он теперь по-новому с тревогой всматривался в этого англо-саксонского ребенка и сравнивал Бидди с ее подругами. Он пришел к заключению, что она практичнее и строптивее других детей, — а в сумерки, при боковом освещении, ему чудилось, что ее кожа, розовая, как лепестки камелии, имеет медный оттенок.

Он заметил, что Бидди почему-то особенно любит играть в «лодку» и, сидя в этой «лодке» (на кушетке в гостиной), грести теннисной ракеткой — что было не очень полезно для ракетки. Потом Бидди была мастерица неслышно подкрадываться и вдруг пугать людей диким гиканьем. А когда в конце апреля они вдвоем, празднуя наступление оттепели, зажигали костер, он открыл и в себе и в дочери какое-то особое, врожденное умение разжигать огонь древесной корой и управляться с топориком. «Быть может, это не просто игра. Честное слово, я замечаю в нас обоих черты индейцев!»

А раз, наблюдая, как Вестэл вышивает бисером пару маленьких мокассин для Бидди, он сказал рассеянно:

— Только индианка могла бы придумать такой узор. — Но тут же спохватился, что уж во всяком случае не в дочери Бихауза искать черты индианки, и понял, как махрово-нелепы и надуманны все его «открытия». Тогда, торжествуя, он пришел к весьма нелогичному выводу, что ни в нем, ни в Бидди тоже нет никакой «индейской крови».

А если даже есть — так что ж! Он теперь вспомнил, что ему говорили, будто такой замечательный человек, как судья Касс Тимберлэйн, имеет некоторое отношение к индейцам Сиу. И еще он припоминал, что есть какие-то «гены» и что не кровь, а именно они передают расовые черты.

Суммируя все эти данные с объективностью ученого, Нийл решил, что: 1) вернее всего, в нем нет ни индейской крови, ни индейских «ген», и ничего похожего на них, 2) если даже и есть, это не играет никакой роли, но 3) Вестэл об этом ничего не надо говорить; 4) принимая во внимание смуглую кожу и природную грацию бабушки Джули, не при-

<sup>1</sup> Героиня поэмы Теннисона.

ходится сомневаться, что он и Бидди — такие же индейцы, как знаменитый вождь Сидячий Бык; 5) теперь он утратил всякий интерес к этому делу, и, наконец, 6) надо будет как можно скорее узнать наверняка, есть ли в нем кровь или «гены» индейцев.

В следующий раз он выехал в Миннеаполис по делам ветеранов в понедельник 7 мая, — и как раз в этот день громом прокатилось над страной первое сообщение о капитуляции Германии, официально подтвержденное на другой день. Пронзительно гудели рожки автомобилей, в степных деревушках вдоль железной дороги плыл густой звон церковных колоколов, а вагон «Боруп» ликовал. Незнакомые люди пожимали друг другу руки и пили из одной фляжки, все хлопали по плечу проводника Мака, а потом, стоя, спели «Олд лэнг сайн».

Нийл радовался тому, что теперь скоро вернутся друзья: Джуд, Элиот, Род Олдвик. Он больше не будет одинок — ведь сейчас ему даже не с кем посоветоваться. Он убеждал себя, что только из-за своего одиночества принял так близко к сердцу эту глупость насчет индейской крови.

А Джэйми Уоргейт не вернется домой. И никто так и не узнает, где лежит он в немецкой земле под своим самолетом, а его красивые руки превращены в кровавую массу, смешанную с кусками исковерканной стали.

Не вернется и капитан Эллертон, с которым он, Нийл, так подружился на военном транспорте. Не было человека проще и мягче, а теперь он лежит строгий под строгим крестом на кладбище, похожем на садик в каком-нибудь предместье.

Переговорив обо всех делах с банкирами и политическими деятелями Миннеаполиса, Нийл в среду утром отправился в Сент-Поль — он хотел повидать доктора Вервейса, официального представителя миннесотского Исторического общества, которое помещалось в здании рядом с Капитолием, купол которого был похож на громадный пузырь.

Доктор Вервейс, приветливый джентльмен ученого вида, принял его у себя в кабинете, и Нийл говорил с ним беспечным тоном, не вполне отдавая себе отчет в том, что намерен лгать.

— Видите ли, я был на фронте, в Италии, и один из моих солдат, раненый, просил меня разузнать в наших местах что-нибудь о его предке, пионере, жившем здесь около 1830 года. Это был купец по имени Ксавье Пик.

— Сейчас я что-то не припомню такой фамилии. Как она пишется?

— Я думаю, П-и-к. Вероятно, от слова «Пикардия», — сказал Нийл с надеждой в душе.

— Гм... Да, возможно.

— Видите ли, этот солдат хочет знать, имеется ли в ваших исторических архивах какое-нибудь авторитетное указание насчет Ксавье Он родился приблизительно в 1790 году (так думает его потомок), и возможно, что во Франции. Насколько я понял, мой товарищ прежде всего хотел бы выяснить, был ли Ксавье Пик чистокровный француз или метис, — и, значит, к какой расе должен себя причислять он, его потомок.

— А как вам кажется, мистер Кингсблад, ваш солдат был бы доволен, если бы выяснилось, что он в какой-то степени индеец? Быть мо-

жет, он — тупоголовый расист вроде молодчиков из организации «Огненных крестов»?

— Как вы сказали? Расист?.. Ах, да! Право, не знаю. Я не говорил с ним на эту тему... То есть, не вдавался в подробности...

— Вы можете подождать несколько минут, мистер Кингсблад?

Д-р Вервейс вернулся с какой-то древней на вид папкой.

— А знаете, я, кажется, попал на месье Пика!

— Неужели? — В эту секунду Нийл понял, что значит ожидать приговора.

А д-р Вервейс сказал самым естественным тоном:

— Я отыскал его вот здесь, в дневнике Тальяферро. Да, совершенно верно! «К. Пик». Возможно, что это тот самый. Здесь сказано, что он помог арестовать одного негодяя индейца. Майор Тальяферро не сообщает, был ли сам Пик метис или нет. Но, разумеется, поскольку он родился во Франции, это исключено, если только отец его не привез на родину из Канады жену-индианку: такие вещи бывали, но редко.

У Нийла отлегло от сердца — и тотчас стало стыдно за это чувство облегчения, и снова стало весело при мысли, что Бидди и отец Бидди — чистейшие белые.

— Впрочем, — продолжал д-р Вервейс, — был ли Пик метисом или нет, а женат он был, во всяком случае, на индианке племени Чиппива.

«О, чёрт! Я совсем забыл про почтенную пра-пра-прабабку, будь проклята ее медная кожа! И чего у этого неугомонного Ксавье зудели ноги — сидел бы себе дома, во Франции, или в Новом Орлеане, или где ему там полагалось! Чем я перед ним провинился сто двадцать пять лет тому назад, что он мне сделал такую пакость?».

Тут ничего не подозревавший и полный благожелательности д-р Вервейс нанес ему последний удар:

— Нет, по-моему, весьма сомнительно, чтобы в жилах Ксавье Пика была доля индейской крови — и вот почему... Не знаю, сочтете ли вы нужным сообщить это вашему ветерану — ведь такое множество людей заражено вульгарными расовыми предрассудками, — но дело-то в том, что предок вашего друга, этот Ксавье, как пишет дальше майор Тальяферро, был чистокровный негр.

По лицу Нийла, должно быть, ничего не было заметно, так как д-р Вервейс продолжал все так же весело:

— Вам, конечно, известно, что в большинстве южных штатов и в некоторых северных негром по закону считается всякий, в ком есть хоть одна капля негритянской крови. И, в силу этих варварских понятий, ваш приятель и все его дети, какие бы они ни были белокожие, считаются чистокровными неграми.

Нийл думал не столько о себе, сколько о своей золотоволосой дочке Бидди.

### 13

Немного придя в себя, он увидел, что сидит в закуской и внимательно смотрит на мокрую доску прилавка, на бутылку с кетчупом<sup>1</sup> и на хитроумный никелевый футляр для бумажных салфеток. Голова его была в каком-то тумане, но одно он помнил ясно: что д-р Вервейс обещал поискать еще каких-нибудь указаний, что надо к двум опять пойти в Историческое общество и что он, Нийл, ничем себя не выдал.

Он был не только поражен, он испытывал немой ужас, как лунатик, узнавший, что этой ночью он, ходя во сне, убил человека и за ним уже гонится полиция.

<sup>1</sup> Томатный соус.



С удивлением посмотрел он на недоеденный сэндвич. Как он мог заказать такую гадость — какие-то грязные ломти хлеба и между ними безвкусная ветчина? И в закуской воняло. Просто грешно сидеть здесь в такой прелестный майский день!

«Чего ради я сюда зашел? Впрочем, надо привыкать: отныне для меня открыты только такие помойные ямы или еще похуже. Наверное, даже этот притон считается чересчур шикарным для нас, черномазых».

В первый раз он назвал этим словом себя, то, что он отныне собой представляет, и ему стало так тошно, что он даже не употребил обычное, менее оскорбительное слово «негр», — да и любое слово казалось таким обыденным и безобидным рядом с самим фактом. Все в нем протестовало против того, чтобы его называли «черным», или «зеленым», или каким-нибудь еще, — нет, он хочет, чтобы в нем видели просто человека, многоцветного человека, каким всегда был и всегда будет Нийл Кингсблад.

Но о н и скажут, что он — черный, он — негр.

Для Нийла быть негром означало быть Белфридой Грей или Борусом Багдол; быть проводником Маком, подобострастно угрожающим любому белому ростовщику, быть тем черным грузчиком в доках Неаполя, который никогда не смотрел на белых прямо, который носил форму американского солдата, но не получал винтовки — ему разрешалось только надрывать, таская на спине громадные ящики. Быть негром означало быть батраком под солнцем Дельты<sup>1</sup>, в религиозном исступлении плясать при свете факелов, быть животным, без привилегии животных — нечувствительности к унижениям, быть убийцей на Билстрит или шутом, пляшущим в кабаке и получающим за это мелкие монеты и унизительные щелчки.

Негры живут в полуразвалившихся хибарках или в бревенчатых многоквартирных домах для бедняков, напоминающих решетчатые ящики для яиц. Негры ходят либо в старых расхлябанных башмаках, либо в щегольских с острыми носками, какие носят сводники. Негры спят на грязной постели, где белье никогда не меняется и напоминает цветом грибную плесень, а духовным вождем у них всегда бывает какой-нибудь крикун или распутный мошенник.

Другого рода негров почти не существует. Разве не говорил ему это самое на фронте полковой врач из Джорджии?

Быть негром, если тебя изобличили, как бы светла ни была твоя кожа, значит работать где-нибудь на кухне, — всегда в неприветных чужих кухнях, или в прачечных, где можно задохнуться, или в раскаленной атмосфере литейных цехов, или чистильщиком сапог на углах улиц, где надменные белые господа могут плюнуть тебе на голову.

Быть негром — значит, в силу биологических причин, быть неспособным, безнадежно и абсолютно неспособным одолеть никакую науку, кроме сложения и вычитания, элементарной стряпни и управления автомобилем, и никакую философию, кроме дурацких сонников. Это значило быть почему-то неспособным даже принять ванну, и поэтому быть грязнее животных, так как животные чистятся и купаются.

У негров — всех решительно — такие неприятные манеры, что их никогда не сажали за стол ни в одном порядочном доме и не пускают на собрания большинства рабочих союзов, ибо даже у этих людей, неприемлемых для него, добросовестного банковского служащего, хватает ума сознавать, что все негры бездельники, шпионы и предатели:

<sup>1</sup> То есть дельты реки Миссисипи.

Да, быть негром — это значит быть животным физически, быть им духовно, быть глухим к музыке Бетховена и мыслям св. Августина. Это значит быть скотом, которому чужда всякая мораль, которого ничто не удерживает от воровства и насилия, лжи и предательства. Это значит быть в буквальном смысле слова чем-то средним между обезьяной и человеком.

И как бы негр ни любил своих детей и ни боролся за них, он знает, что даже если они такие прелестные, как Бидди, все равно их удел — быть в глазах всех уродами, вероломными, безмозглым рабочим скотом, как их отец, как их дети и внуки, во веки веков, словно над ними тяготеет проклятие Езекииля.

«Но я не такой... И мама не такая... и Бидди... и старая Джули тоже нет. Мы — порядочные, нормальные люди. Значит, тут какая-то ошибка. Мы не негры, мы ничем на них не похожи, — наверное, было два Ксавье Пика...

... Нет, Кингсблад, ты сам понимаешь, что это самообман. В глубине души ты уверен, что именно этот Ксавье — твой предок... О, будь он проклят, надо же было ему родиться негром! Бедная моя маленькая Бидди!..

... Ладно. Если Бидди — негрityнка, значит все, что я говорил о неграх, вранье. Да, да, и все то, что говорят о евреях и русских, о религии и политике — все это тоже, может быть, вранье!

... Что ж, если ты действительно негр, так и будь им и борись, как негр. Попробуй сначала вырасти как человек, а потом борись.

... Однако надо же мне узнать, что за люди эти негры. Я должен прежде всего узнать, что я собой представляю».

Он заставлял себя рассуждать логично, а перед глазами неотступно стояло ясное и задорное личико Бидди, маленькой герцогини Пикардийской, царственного потомка Екатерины Арагонской, и он уже видел, как глумятся над нею соседи, изобличая ее в том, что она — негрityнка, «гарапка», «зигабу», «черномазая», отвратительная имитация настоящего ребенка, тупоголовая и бесстыдная кривляка, которую надо гнать на задний двор.

«Но она не такая... Ведь мы же все не такие. Значит негры не таковы, как о них говорят?»

Доктор Вервейс сообщил Нийлу, что найдено подлинное письмо Ксавье Пика к генералу Генри Сиблею, и показал ему это письмо

Бумага пожелтела от времени, но чернила не выцвели, а почерк был изящный и четкий, почерк образованного человека. Нийл подумал:

«Может быть, после генерала Сиблея, доктора Вервейса и его помощника я первый держу в руках это письмо с тех пор, как Ксавье сто лет тому назад написал его при свечах или при свете северного солнца, на бочке, заменявшей стол, или на опрокинутой пироге из березовой коры».

«Когда вы были здесь, высокочтимый генерал, и я имел удовольствие угощать вас рыбой и чаем — ибо достать в этой глуши пищу более приличную было не в моей власти,—я вам говорил, что, по всей вероятности, я — чистокровный негр, уроженец Мартиники, хотя имею основания думать, что в жилах моих есть также испанская и португальская кровь и очень немного французской.

Жена моя была из славного племени Ожибвей, а теперь моя дорогая дочь Сидония вышла замуж за француза, Луи Пейзолда. Хотя я восхищаюсь неграми, их пылкостью и благородством, но в южных штатах

жизнь для черных стала проклятием, и я не хочу, чтобы там узнали, что Сидония — негритянка, не хочу, чтобы она — и в будущем ее дети — терпели все то, что терпит там наш народ, чтобы их прямо в лицо называли скотами. Я забочусь о судьбе ее малышей. Поэтому прошу вас говорить всем, что я — француз.

Я староват уже для скитаний по лесам, и достиг в жизни почти всего, чего хотел. Я не могу вынести мысли, что мои внуки будут под кнутом, так что, пожалуйста, дорогой генерал, не рассказывайте никому ничего о том, что я чернокожий.

А индианкам, между прочим, очень нравится цвет моей кожи, да и все войны здесь говорят, что я — первый белый человек, пришедший в их страну.

*Mes estimes les plus distingués.*

К. Пик».

Д-р Вервейс сказал:

— Похоже, что он был замечательный человек, неизмеримо благороднее сьера де Сент-Люссон, да и всех других парижских вельмож, побывавших здесь в те времена. Если у вашего приятеля-ветерана хватит на это мужества и воображения, он может гордиться таким предком. И знаете — ведь то, что он пишет насчет индейцев, совершенно верно. Для индейцев на северной границе всякий не-индеец был «белым». Так что такие негры, как Ксавье и бонги<sup>1</sup>, были первые белые, принесшие бедным язычникам цивилизацию — то есть бутылку, бомбу и библию. Они сделали не менее великое дело, чем Перри, открывший Японию, и если результаты столь же губительны, это не их вина. А какая серия царственных имен у всей этой компании: Сидония, Людовик, — и еще мы выяснили, что их сын, о котором, к сожалению, больше ничего неизвестно, был назван Александром!

Эту самую цепь имен называла ему и бабушка Джули: Ксавье, Сидония, Луи Пэйзолд, Александр... И если он расскажет людям правду, эта цепь скует его и Бидди.

Е с л и он расскажет...

«А я был так уверен (думал Нийл, возвращаясь автобусом в Миннеаполис), так уверен, что у Ксавье была золотистая бородака!..

Но как же у меня, у рыжего, может быть в жилах хоть капля негритянской крови? А Бидди? Но вот же бабушка Джули такая смуглая... И подумать только, — о боже!.. Что-то такое говорили при мне насчет цветных, что они сходят за белых, если они достаточно светлые? В таком случае я, конечно, могу сойти за белого. С какой стати мне быть самонадеянным ослом и воображать, будто господь именно мне судил быть мучеником? Да еще таким мучеником, который подло приносит в жертву своему тщеславию и мать и дочь. Нет, все может остаться, как было. Да, так должно быть ради Бидди. Ну кто же, скажите, добровольно согласится, чтобы мать его стала парией?.. Нет, ни один человек этого не сделает!

Ну, а что если это уже известно множеству людей? Если они сумели распознать во мне негра? Южане хвастают, что они всегда узнают негра. И тот мужчина в конце вагона все время пялит на меня глаза—неужели он угадал? Может, и раньше об этом все догадывались?»

<sup>1</sup> Негры Восточного Судана.

Он проходил по вестибюлю отеля, где остановился в Миннеаполисе, не отводя глаз от черных и белых квадратов мраморного пола, он только сейчас с чувством болезненного раздражения заметил, что пол белый и черный. Он шагал осторожно, как пьяный, которого выдает чересчур осторожная походка. Его беспокоила мысль, не смотрит ли кто-нибудь на него слишком пристально, заподозрив в нем негра. Вот, например, Уилбер Фетеринг, хозяин гастрономического магазина в Гранд-Рипаблик, уроженец Миссисипи, часто хвастает, что может уличить всякого «ниггера», который выдает себя за белого, хотя бы даже он был только на одну шестьдесят четвертую негр.

Если Уилбер пронюхает, дело примет скверный оборот.

Посреди вестибюля ему вдруг захотелось остановиться и взглянуть на свои руки. Он вспомнил то, что слышал от людей: негра, хотя бы он был негром в самой отдаленной степени и бел, как нарцисс, всегда выдают синеватые лунки ногтей. Ему мучительно хотелось посмотреть на свои руки, но он держал их вытянутыми по швам, неестественно прямо (так что люди невольно обращали на него внимание, удивляясь этой мрачной чопорности) и, перейдя вестибюль, вошел в лифт. Тут он догадался с ловко разыгранной непринужденностью (так ему казалось) ухватиться рукой за решетку, чтобы можно было незаметно для всех взглянуть на свои ногти.

Нет! Лунки были такие же прозрачно-белые, как у Бидди.

«Но теперь я знаю, что чувствует негр, живущий в такой гостинице, когда он проходит мимо всех этих спесивых господ: он молит бога, чтобы никто из них не обратил на него внимания и не потребовал его изгнания из отеля. И неужели так всегда, всю жизнь?»

Знакомясь с массой неписанных правил, составляющих науку о том, как быть негром, правил, которые ему теперь следовало знать «на зубок», Нийл выяснил, что во многих северных штатах, в том числе и его родном штате, существует «закон о гражданских правах», запрещающий изгонять негров (и людей других «низших» рас, не допускаемых в члены патриотических клубов) из гостиниц, ресторанов, театров. Закон этот соблюдался так же строго, как когда-то закон, запрещавший продажу спиртных напитков.

Белые постояльцы гостиниц ворчали: «И чего эти черномазые всегда лезут туда, где им не место? Шли бы к своим, туда, где их принимают». Эти советчики не объясняли, как может негр, приехавший в полночь в чужой город, узнать, где же его «принимают». Присутствие в гостинице негра, спящего на расстоянии двухсот футов от них, загрозяло этих господ, мешало им жить, и они приступали с угрозами к хозяину гостиницы, а тот, не желая лишиться куска хлеба, выпроваживал негров, с леденящей душой вежливостью отказывая им в номере.

Уже в эту первую ночь своего превращения в негра Нийл знал, что дежурный администратор отеля может позвонить ему наверх: «Прошу прощения, сэр, — оказывается, номер, который вам отвели, был уже заказан раньше для другого».

Он знал, что этого можно ожидать, знал так четко, с такой остротой, как ни одно из правил того сложного этикета, который он обязан был соблюдать, как офицер и джентльмен.

Большой, широкоплечий, статный, он выглядел достаточно внушительно на фоне этой комнаты в гостинице, служившей ему убежищем.

Но себе он казался жалким, сгорбленным, съезжившимся, когда сидел тут и прислушивался, не звонит ли телефон. Телефон ни разу не звонил, но он слышал его звонок сто раз.

Он думал: «Если мне не место в этом отеле, так, верно, и в пульмановском вагоне — «Борупе» я буду таким же нежеланным гостем». Конечно, его не имеют права арестовать за то, что он поедет в «Борупе», но он уже не может больше обращаться покровительственно с черным Маком — теперь Мак ему все равно что дядя, и он, Нийл Кингсблад, должен почитать Мака, как старшего. И кто знает — быть может злая судьба доведет его до того, что не Мак от него, а он от Мака будет ждать милостивой подачки, доллара «на чай».

Ему, как и другим прокаженным, место не в «Борупе», а в грязном, вонючем вагоне для негров (такие вагоны ходят на Юге), чтобы его обезьяний запах не раздражал чувствительных белых ноздрей какого-нибудь Кэртиса Хэвока.

Так размышлял Нийл — но он не смел и подумать о том, чтобы, вернувшись к Вестэл, рассказать ей, что он дал ей дочь — негритянку.

Он собирался сегодня пойти стричься в парикмахерскую в отеле «Свансон-Гранд». А сейчас он сидел в номере за столом, постукивал ногтем по зубам и временами, встрепенувшись, принимался опять разглядывать свои ногти. Смотрел и угрюмо размышлял: нужно ему или не нужно стричься, но он должен пойти в парикмахерскую — доказать свое мужество. Не позволит он, чтобы какой-то парикмахер третировал его, как негра! Он — американский гражданин и гость в этом городе. Он уплатил налоги, уплатил по счету в гостинице. Он имеет такое же право на обслуживание в парикмахерской, как всякий белый.

Он вскочил в гневе — рассердился на самого себя.

«Ах, боже мой, Кингсблад, мало тебе, видно, настоящего горя — того, что ты негр и что придется все сказать Вестэл — нет, ты еще придумываешь какие-то несуществующие неприятности. Парикмахеру и в голову не придет, что ты негр, точно так же, как тридцать один год никому это не приходило в голову! Перестань вести себя, как белый, вздумавший поиграть в негра. Ты в самом деле и негр, и Чиппива, и вестиндский «спиг», так незачем притворяться!

А странно, между прочим, что у меня так сильно разыгралась фантазия... Всю жизнь я считал себя человеком трезвого ума, лишенным всякого воображения. И все так думали...

А может быть, мне не доставало (и не одному мне, а всем в Гранд-Рипаблик) хорошей дозы прогретой солнцем африканской крови?»

Он находил даже что-то комическое в этом ошеломляющем крушении всего, что составляло Нийла Кингсблада, — ведь немислимо чернокожему быть банкиром, членом спортивного клуба, капитаном армии, мужем безмятежной Вестэл, сыном зубного врача — шотландца, близким другом надменного майора Роднея Олдвика. В единый миг Нийл Кингсблад перестал быть всем тем, чем был до сих пор. Но он не перестал существовать — и не знал, кто же он теперь?

Парикмахер № 3 в «Salon de Coiffeur» отеля «Свансон» принял мистера Кингсблада точно так же, как всегда, — это было совершенно очевидно, — и пока Нийл еще гадал про себя, не откажется ли № 3 стричь его, № 3 успел уже благополучно приступить к выполнению этой операции. Но даже убаюкивающее действие ножниц и прохладных влажных рук парикмахера не облегчило нервной тревоги Нийла.

Хозяин парикмахерской, кассирша, негр — чистильщик обуви, тот мастер № 3, что стриг его, — угадывают ли все они, что он — негр?

Может быть, знают это уже много лет и только выжидают удобного случая, чтобы запугать, шантажировать его? Выжидают, подстерегают, тайно смеются над ним?

— Нелегкое дело ровно подстригать такие вьющиеся волосы, как у вас, капитан, — заметил парикмахер во время работы.

На что он намекает? «Вьющиеся волосы», «курчавые волосы». Он хотел сказать: эфиопская шерсть.

Не перемигнулся ли сейчас этот № 3, стоящий за его спиной, с тем, который работает у соседнего кресла? Почему он вдруг дернул прядь его волос? Или это уже надвигается неведомая ночь его будущего, черная зима его новой жизни черного человека?

Скрывая зудящее беспокойство, Нийл осторожно вытащил руку из-под окутывавшей его простыни, почесал для виду нос и опустил руку на колени так, чтобы можно было опять рассмотреть ногти. Что это — только кажется в свете ртутных ламп, или на самом деле лунки ногтей у него синеватые?

Он чуть не вскочил со стула — захотелось убежать к себе в номер, где он будет один, в безопасности... Нет, бежать к еще незнакомым друзьям, неграм, которые его пожалеют, спрячут, защитят.

Наконец парикмахер отпустил его. Ему казалось, что он встал не с эlegantного, белого с зеленой обивкой кресла, а с электрического стула. Он дрожал мелкой дрожью, входя к себе в номер.

«Вестэл так любит запускать пальцы в мои волосы. Станет ли она так делать, когда узнает, чьи это волосы? У папы волосы такого же цвета... да, но не курчавые... Что скажет Вестэл? Она не должна узнать, никогда!»

Упорно приходили на ум все новые и новые вещи, радостные и привычные, которые отнимутся у него, негра: обожание Бидди, аристократический Федеральный клуб, танцевальные вечера, холостяцкие пирушки в Загородном клубе, где он когда-то был судьей на бильярдном турнире, кружок бывших студентов их университета, карьера в банке, дружба с майором Олдвиком. Вспомнились строки каких-то английских виршей, которые Род Олдвик часто с чувством декламировал:

О чем помнят белый человек?  
 О своем вечернем камельке,  
 О мерцающих огнях рождественских ночей  
 И об имперской гордости своей.

Но каково же его собственное представление о неграх, его собственные наблюдения?

— Ну-ка, ты, великий белый человек, скажи, что такое негр? Выкладывайте, мистер, не стесняйтесь!

— Ну, во-первых, негры все озлобленные, скрытные и коварные, как Белфрида.

— Чепуха! Мак, проводник, не такой, и вот я же не такой. Да и насчет Белфриды я теперь не вполне уверен...

— Они все черные, плосконосые, толстогубые...

Он подошел к зеркалу и засмеялся.

«Я воображал, что знаю массу вещей, которых я на самом деле совсем не знал. Я был просто болтливый попугай. Повторял все глупости этого доктора из Джорджии. Так значит негр — недочеловек, да? Ах, Кингсблад, принц из Конго, ты заслуживаешь всего того, что с тобой случилось, как бы ужасно оно ни было! Должно быть, господь превратил меня в негра для того, чтобы спасти мою душу, если я ее не всю вложил

в гроссбухи и студенческие воспоминания. Мне остается сказать себе самому: «ты слеп, и низок, и невежда, как все белые», — а тяжело это выслушать даже от себя самого!..

...Ах, зачем такое предубеждение против белых? Несомненно, есть множество белых, которые были бы не хуже других, если бы судьба дала им, как мне, возможность прозреть.

...Капитан, а не перебарщиваете ли вы в своем рвении новоиспеченного негра?

Ладно. Пусть так».

Под старой газетой в ящике стола Нийл нашел листочек почтовой бумаги с изображением здания отеля и фамилией владельца, напечатанной затейливым шрифтом девяностых годов. Места для письма совсем не оставалось — очевидно, от постояльцев не ожидали, что они этим захотят заниматься. Нийл перевернул листок и, достав свою автоматическую ручку в золотой оправе, настоящую ручку банкира, по всем правилам банковской науки изобразил на обороте генеалогическую таблицу одной из ветвей своего рода:

К с а в ь е П и к — возможна примесь французской и испанской крови, но считается 100-процентным негром.

С и д о н и я, его дочь, жена Луи Пэйзолда — на  $\frac{1}{2}$  Чиппива, на  $\frac{1}{2}$  негритянка.

А л е к с а н д р П э й з о л д, их сын, отец Джули — на  $\frac{1}{4}$  негр.

Моя бабка Джули Саксинар — на  $\frac{1}{8}$  негритянка.

Ее дочь, моя мать — на  $\frac{1}{16}$  негритянка.

Я — на  $\frac{1}{32}$  негр.

Б и д л и — на  $\frac{1}{64}$  негритянка.

«Ну вот, наконец-то я смогу сообщить отцу интересные сведения насчет наших царственных предков!»

## 15

Час был уже поздний, но Нийл не пошел обедать в кафе отеля «Свансон-Гранд». Было бы невыносимо сидеть и бояться, что на тебя обратят внимание. Теперь он понял: негры держатся особняком не столько потому, что так любят своих, сколько потому, что не выносят этих баранов — белых и их манеру по-бараньи пялить глаза.

В состоянии тихого ужаса он поехал за город, к дедушке Эдгару.

Когда он вошел, старик воскликнул голосом, напоминавшим скрип его кресла-качалки:

— А, милости просим, молодой человек! Не часто мы имеем удовольствие видеть твое веселое лицо дважды за одно лето!

А бабка Джули сразу спросила:

— Что случилось, мой мальчик?

Стоя неподвижно посреди комнаты, в которой пахло сосновыми иглами, Нийл сказал серьезно:

— Бабушка, ты наверно знаешь, что твои предки со стороны Пика — только французы и Чиппива?

— Говорил я тебе, что незачем поминать о Пике! — плаксиво сказал дед Эдгар

У бабушки лицо приняло замкнутое выражение. Она знала!

Нийл настаивал:

— Ты уверена, что в нас нет также и негритянской крови?

Она крикнула:

— Что ты это говоришь, негодник! В жизни не слыхивала такой ереси!

Но что-то чересчур уж быстро она рассердилась и чересчур быстро вышел из себя дед Эдгар! Это был уже не комичный старый ворчун, мирно сидящий у камина. Лицо его стало страшно—такое кровожадное, неумолимое выражение бывает у людей, линчующих негра. Нийл видел однажды такое лицо у пленного немца, и в другой раз — у пьяного военного полисмена.

— А на что, собственно, ты намекаешь, а?—кипятился Эдгар.—В чем дело? Тебе взбрела вдруг в голову дикая идея, что родня твоей бабушки—негры? Или ты вдрызг пьян? Ты что хочешь доказать? Что я—отец мулатов, что твоя мать и твой дядя Эмери—черномазые?

Нийл всегда был нежен к деду и охотно болтал с ним, как и со всеми симпатичными старыми людьми, но сейчас он не чувствовал к нему никакой нежности и ему было не до разговоров.

— Надеюсь, что это не так, но я хотел бы на этот раз услышать правду. Что же вы мне ответите?

Гнев деда Эдгара разом улетучился, и он выглядел теперь дряхлым, жалким, беспомощным стариком.

— Никогда не прислушивайся к тому, что болтают, и не верь такой мерзкой лжи, Нийл. Это неправда, тут нет ни слова правды, а если бы даже и было —незачем кому-либо, кроме нас, знать это. Ради бога, мальчик, никогда больше не поминай об этом!

Бабушка Джули уже не говорила, а визжала:

— Это абсолютная ложь, Нийл! Это выдумали некоторые люди в Гайавате из зависти, потому что нам с Эдом так хорошо жилось.

Нестерпимо было видеть, как двое древних стариков, старшие члены его семьи, обнажаются перед ним, и Нийл отступил, сказав с невольной резкостью:

— Ладно, забудьте это. Ну, мне пора ехать. Покойной ночи.

Возвращаясь в Миннеаполис, он думал о них и злился.

«Меня тошнит от всех этих «Унесенных ветром»<sup>1</sup> и Томасов Нельсонов Пэйджей!<sup>2</sup> «Масса» на старой плантации, «масса» в холодной-холодной конторе... «Мечи и розы — и бей проклятого негра!» Если я негр — что ж, я буду им...

... Никогда еще мне так не хотелось выпить!

Но в баре гостиницы он пил только оранжад—не посмел заказать хотя бы одну порцию виски с содовой. Он с вожделием думал о виски с содовой и со льдом, в высоком стакане, — придется ли ему еще когда-нибудь пить этот любимый напиток? Он поглядывал на сидевших за соседними столиками мужчин и думал: «Если бы у меня повернулся язык сказать вслух то, что я знаю, — эти люди мгновенно превратились бы в волков, лисиц, гиен!»

Возвращаясь из Миннеаполиса в «Борупе», он в душе возмущался заискиванием Мака. Хотелось зарычать: «Ах, да прекрати это,—мы с тобой одного поля ягода». Его бесило подобострастное хихиканье Мака при каждой сомнительной остроте Орло Вэя, жителя Гранд-Рипаблик, который был очень милый человек, когда подбирал очки своим покупателям,—но только тогда.

<sup>1</sup> Название романа американской писательницы Митчелл о рабовладельческом Юге,

<sup>2</sup> Американский писатель и дипломат.



Нийлу хотелось спросить Мака: «Как ты можешь терпеливо слушать этого белого губошлепа? Мы, негры, должны иметь чувство собственного достоинства».

И только когда они уже подъезжали к Гранд-Рипаблик, Нийлу пришло на ум, что сутки — пожалуй, слишком короткий срок для того, чтобы он, новоиспеченный негр, мог перенять все обычаи и повадки своих единоплеменников.

Если что-нибудь бывало неблагоприятно, Вестэл всегда угадывала это, несмотря на неловкие усилия мужа казаться веселым. Но на этот раз, когда он с шумом ворвался в дом, крича: «Ну, твой муж закупил все банки в городах-близнецах!», когда расцеловал ее и взъерошил волосы Бидди, как полагается веселому, молодому, любящему мужу и отцу,—Вестэл ничего не заподозрила и сказала:

— Ну, я рада, что поездка была удачная. Какое счастье, что война кончилась! Ты не возражаешь против головокружительной партии в бридж сегодня у Кэртиса Хэвока?

— Конечно, нет.

Он знал, что Кэртис, сын Буна, безусловно первый начнет травить его.

Он ни на что не мог решиться, так как не мог решить один главный вопрос: открыть ли правду людям, сказать ли хотя бы одной только Вестэл?

Если он будет молчать, то, вероятно, никто ничего и не узнает, кроме бабушки и деда Эдгара, которые, конечно, будут держать язык за зубами. А доктору Вервейсу решительно неинтересно заниматься вопросом о происхождении Пэйзолдов и Кингсбладов.

Никто не мог изобличить Нийла, кроме его самого. Но этот единственный обвинитель был так настойчив, что по временам Нийл уже ясно представлял себе ту минуточку, когда он крикнет всем: «Да, конечно, я отчасти негр. А вы думали, я — предатель, способный отречься от расы своей матери?»

Но как только он склонялся к тому, чтобы сделать что-то немедленно и решительно, — другая, более циничная, часть его души начинала глумиться над первой:

«Полюбуйтесь-ка на храброго капитана! Этот человечешко желает бросить вызов всему свету! Он намерен отдаться добровольно в лапы шерифов Юга с рыбьими глазами и красными кулачищами, хотя в этом нет никакой необходимости, хотя это принесет ему одни только несчастья, хотя никто его не заставляет и не просит об этом! Вот нашелся добровольный мученик! Эх ты, горе-герой!»

С таким адом в душе Нийл осматривал в банке вновь оборудованный пункт ветеранов. Мистер Джон Уильям Пратт кашляя подошел к нему, ведя на буксире миссис Пратт, у которой лицо было постное, а о бюсте можно было бы сказать, что он внушает соблазнительные мысли, если бы это не был бюст набожной христианки.

Дама ворковала:

— Мне думается, что вы с мистером Праттом напрасно выбрали для этой комнаты такие строгие тона. Я, как вы знаете, никогда не вмешиваюсь в банковские дела — ведь семейная жизнь так часто разлагается из-за того, что жена, хотя бы с самыми лучшими намерениями,

суется в дела мужа! Но мне кажется, что у меня подлинный художественный вкус... Я знаю, многие женщины говорят о себе то же самое, — знаете, эти дурацкие замечания, вроде того, что «портьеры выгодно оттеняют лиловатый цвет кушетки». Но я чувствую, что у меня действительно глаз художника. И, наконец, примите во внимание, что очень многие ветераны будут приходить сюда к вам не одни, а со своими подругами, невестами и так далее, и на них мог бы произвести выгодное впечатление какой-нибудь эффектный красочный мазок: ну, скажем, если положить на скамью красивую подушку золотисто-желтых тонов, это внесет что-то такое весеннее и волнующее. Вам не кажется, что это очень важно? Знаете, это одна из тех мелочей, которыми часто пренебрегают, а между тем, они имеют большое значение!

Но мистер Пратт обычным своим тоном, шутливо-веселым, но с легкой «кислинкой», сказал:

— Имейте в виду, Нийл, вы вовсе не обязаны соглашаться с моей женой. Вы действительно уверены, что это важно?

— Я не знаю наверное, что важно, сэр, — ответил Нийл.

«Что бы они сказали, если бы узнали правду?»

Эта мысль: «Что бы они сказали, если бы...» пугала, угнетала и порождала дьявольское искушение крикнуть правду всякий раз, как он встречался с Уилбером Фетерингом (южанином, который, осев в Гранд-Рипаблик, примирился уже с кассовыми аппаратами, введенными в северных Штатах, и пел северную песню «О снопах», на мотив любимой песни южан «Дикси»), или когда в теннисном клубе Силвен-парка во время игры слушал рассуждения лесопромышленника Вэндера и Седрика Стаубермейера, у которого в жизни было два дела—торговля коврами и антисемитизм, и Орло Вэя, оптика и политика, который в промежутках между сетями соглашался, что американские свободы, в том числе и свобода жевать табак и драть с покупателей, сколько вздумается, в наше время находятся под угрозой.

Всё это были хорошие соседи, всегда готовые одолжить травокосилку или бутылку джина, солидные клиенты Второго национального банка, хвалившие Нийла за неизменную учтивость и степенность. И в то же время это были линчеватели негров, северная, бездеятельная разновидность линчевателей, люди, говорившие о себе, что они «создали солидные предприятия без чужой помощи, благодаря только своему трудолюбию и усилиям, и вовсе не намерены во имя какой-то сентиментальной любви к крикунам и лодырям-рабочим поступиться хоть чем-нибудь из того, что они приобрели».

Как эти поведут себя, если он им скажет правду, Нийлу было совершенно ясно, — тут сомнений быть не могло.

Вестэл уже легла. Нийл был один на верхней веранде в эту тихую майскую ночь. Он спокойно ерзал в плетеном кресле, пытался читать статью «О пользовании коносаменатами в области международного кредита в условиях временной послевоенной финансовой системы». Статья была весьма дельная, прекрасно написана, снабжена в качестве иллюстрации фотоснимком Парижской биржи,—но он в конце концов отложил ее в сторону и просто сидел и слушал тишину предместья.

Он оглядывал просторную веранду. Плющ на трельяже; загораживавшем дверь в комнаты, на зеленом столике сверкающий стеклом и никелем «шейкер» для сбивания коктейлей. Он представил себе ясное лицо Вестэл на подушке и Бидди, свернувшуюся золотым клубочком. Через месяц Бидди минет пять лет, и она сегодня спрашивала у него, почему

ей еще нельзя голосовать. Она заявила, что хочет выбрать на пост президента своего папу, не вняв легкомысленному протесту матери: «Ах, нет, деточка, твой папа не годится в президенты, он слишком красив».

Простое счастье...

Он рано или поздно выдаст себя неосторожным словом, какой-нибудь Уилбер Фетеринг подхватит это, и он будет опозорен. Рушится их скромное, но безопасное существование, этот подлинный семейный очаг, где во всем чувствовалась любовь, связывавшая их с Вестэл. Нийл уже видел в своем воображении безжалостных скупщиков мебели и злорадствующих соседей, которые хлынут сюда, чтобы купить все за бесценок. Видел плачущих Вестэл и Бидди. «Нет, жизни не пожалею, а сохраняю наше гнездо!»

«Фраза из старинной мелодрамы... Ну что ж, разве то, что я переживаю, не сюжет для такой мелодрамы?»

Робко подкралась смущающая мысль, что самый верный способ спасти семью—это умереть. Из сырой могилы он не сможет ничего сказать и не выдаст своей тайны. Как и полагается деловому человеку из Силвен-парка, Нийл застраховал свою жизнь на крупную сумму. Можно же покончить самоубийством так, чтобы его смерть не вызвала ни у кого подозрения. Ну, например, его автомобиль может на полном ходу сорваться с насыпи.

Сегодня в банке у него был трудный, хлопотливый день, и он устал, он и не знал, что можно так устать. Его измотали постоянные мысли о том, что может произойти. Если бы спокойно умереть, обеспечив Бидди...

Вдруг он расхохотался.

«Я, кажется, открываю уйму новых выходов! Я презирал богатых вкладчиков, которые во время прошлого кризиса выбрасывались из окон, — жалкие белые кровопийцы не могли пережить того, что у них не будет больше двух шоферов, из которых они могли бы сосать кровь. Мы, негры, так не поступаем».

Он снова рассмеялся.—и непритворно: он не позировал мысленно перед какой-либо аудиторией и даже перед самим собой.

Рэнди Спрус, секретарь Торговой палаты в Гранд-Рипаблик, был большой приятель Уилбера Фетеринга, а Фетеринг, хотя и родился в Сто-те, на Миссисипи, был теперь гражданином Миннесоты и покровителем лыжного спорта, которым сам никогда не занимался, но говорил о нем так, словно это было его изобретение. Мистер Фетеринг был основателем и главой предприятия «Компания по снабжению граждан горячей пищей—горячие блюда и закуски, всё, от сэндвича до полного званого обеда, по требованию — с сервировкой. Заказы лично, письменно и по телефону».

Да, вот кто такой был Уилбер Фетеринг. Горячие обеды были не плохи, барыши огромны, и Уилбер пользовался популярностью среди жителей Гранд-Рипаблик—за исключением тех, кому не нравится расовая ненависть и дурные манеры.

Уилбер «подсказывал» полезные идеи Торговой палате, и Рэнди Спрус часто говаривал:

— У человека, занимающего такой пост, как я,—профессионального «продвигателя» всех предприятий с будущим и защитника традиционного Американского уклада жизни, должны быть идеи в голове, — это мой основной капитал. Я не только поставил себе за правило читать журналы и слушать по радио все дебаты и дискуссии, но и не считаю ниже своего достоинства принимать советы самых ничтожных людей, будь это даже поляк или член профессионального союза.

Рэнди был очень рад получить от такого авторитета, как Фетеринг, полнейшую информацию по негритянскому вопросу. Благие результаты этой осведомленности не замедлил ощутить Нийл, когда они с Рэнди, как члены комиссии из девяти человек, организовали в общегородском масштабе встречу возвращающихся с фронта воинов.

Рэнди волновался:

— Конечно, среди них будет очень незначительное число негров, но надо устроить так, чтобы они не сунулись участвовать в параде наших белых героев.

— А разве и среди ветеранов-негров не может быть героев?—заметил доктор Нормэн Кэмбер.

— Чёрта с два! Я всегда вам говорил: негры-солдаты недисциплинированы и боятся даже холодного оружия. Высшее командование уделило им несколько орденов только для того, чтобы они не взбунтовались и не пришлось бы перестрелять всю банду. Я сам слышал это от одного полковника... Впрочем, Уилбер Фетеринг подал мне блестящую мысль. Мы сварганим отдельную встречу для черных обезьян—на Майо-стрит: шествие, и фейерверк, и знамена, и пусть какая-нибудь лошадь, вроде члена конгресса Обера, угостит их речью. Мы им объясним, что не хотели, чтобы они затерялись в толпе белых, и поэтому чествуем их отдельно. Они поверят—негры такие остолопы!

— Неужели все негры остолопы? — поинтересовался Нийл.

— Все до единого!

— Ну, а как же те, которые только наполовину негры?

— Дорогой мой, я всегда говорю: если в человеке есть хоть одна капля негритянской крови, он уже не человек. Понимаете, нет в нем никаких творческих способностей. Ведь не считаете же вы умной цирковую собаку, которую хозяин научил ездить на велосипеде и изображать пьяного? Потому-то негры не могут занимать никаких ответственных постов. Назовите меня лжецом, доктор, если вы мне укажете хоть одного негра, который мог бы быть сенатором Соединенных Штатов.

— Да вот Хайрем Ривелс или Брус, — сказал доктор Кэмбер.

— Кто-о? А почему вы думаете, что эти чернокожие могли бы быть сенаторами?

— Потому что они ими были!

— Ага, понимаю. Вероятно, во времена реконструкции Юга? Фетеринг мне это объяснил. Негры тогда были другими, они только что вышли из рабства, которое приучило их к трудолюбию и покорности. А с тех пор, как им дали во всем волю, черные окончательно с ума спятили—не говоря уже об их моральной распушенности, — и на сегодняшний день среди них не найдется ни единого, который мог бы пойти дальше должности сторожа или швейцара.

Нийл думал:

«Какой смысл объяснять им? Нет, решено! Я никому никогда не скажу».

Это было так просто!

*(Продолжение в следующем номере.)*

*Перевела с английского М. Абкина*



---

---

# КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

## ЗАМЕТКИ О ПОЭЗИИ

АН. ТАРАСЕНКОВ

★

I

О силе и жизнеспособности нашей поэзии можно и должно судить прежде всего по тому, насколько крепко она связана с современностью. Именно этому подходу к явлениям литературы учил нас Маяковский, именно этот критерий выдвинут в качестве основного и в исторических решениях Центрального комитета партии о журналах «Звезда» и «Ленинград», и в докладе товарища Жданова.

В годы Великой Отечественной войны поэзия вышла на передовую линию огня, заняв ведущее место в советской литературе. Лучшие произведения советских поэтов правдиво отражали действительность, показывая все величие подвига и всю глубину страданий народа, вызванных войной, утверждали веру в победу, активно звали к ней.

В период, который вплотную следовал за окончанием войны, книги, поэмы и циклы стихов, непосредственно связанные с темами и настроениями, вызванными войной, продолжали появляться в изобилии. Это был закономерный процесс, и он дал нашей литературе немало подлинных ценностей. Однако освоение новых тем, например, труда, творчества, проходило в советской поэзии послевоенных лет в крайне замедленных темпах, и в этом отношении проза наша несомненно далеко опередила поэзию.

В 1947 году одной из главнейших задач нашей страны была борьба за урожай, за хлеб. Социалистическая держава вышла из этой борьбы с невиданными победами. Это не могло не найти своего отражения в поэзии. Появился ряд новых поэм и стихов о колхозной деревне, деревне после-

военной, написанных поэтами нового поколения.

Прежде всего, здесь надо назвать две выдающиеся по своим достоинствам поэмы: Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом» и Николая Грибачева «Колхоз «Большевик». В этих произведениях — дыхание жизни, страны, ее трудовой пафос, дерзания и мечты того молодого поколения, которое пришло с войны, полное новаторской жажды перестраивать на новый лад хозяйство своей родной земли.

Алексей Недогонов — человек, биография которого совпала, слилась с биографией поколения. Юношей он пошел на финскую войну. Там, под Выборгом, на линии Маннергейма лютой зимой 1939—1940 года он писал свои первые стихи — по-солдатски искренние и простые, но отмеченные уже назаурядным лирическим дарованием. Недогонов мужал в годы войны против немецкого фашизма, и святой огонь битв на русских равнинах и в горах Кавказа опалил многие его строки.

Как было тяжело стоять  
у самой смерти на краю,  
как нелегко отбросить вспять  
врага  
и жизнь спасти свою.

(«Легенда о двух пулеметчиках».)

Алексей Недогонов действительно по-солдатски, не метафорически, а в самом прямом воинском смысле слова и стоял у смерти на краю, и вышел победителем. Отсюда, может быть, то удивительно солнечное, оптимистическое восприятие жизни, которое разлито в его лучшей и наиболее зрелой вещи — поэме «Флаг над сельсоветом». Оптимизм Недогонова — вывошенный, жизненно убедительный. Это

оптимизм человека, который, пройдя через самые тяжелые и кровавые испытания, сохранил чистую, светлую душу советского человека, горячую, непрекаемую веру в свой народ, в его коммунистическое будущее. У Недогонова больше, чем у других молодых наших поэтов, сказалось чувство современности. Основной человеческий конфликт его поэмы — жизненный и убедителен. Поэт столкнул между собой двух героев, возвратившихся с фронта в родную деревню, один из них полон жажды труда и творчества, а другой хочет почтить на лаврах военных подвигов. Этот конфликт Недогонов решил в духе тех устремлений к труду, созиданию, которыми исполнен наш народ. Дубок, вообразив себя героем, которому уже незачем «обновлять» трудом свои ордена, оказывается в стороне от жизни. В поэме Недогонова утверждается активное, хозяйское отношение к жизни. И именно поэтому его поэма нашла такой горячий отклик у читателя.

Мне хочется обратить внимание на свежесть образительных средств автора, на его поиски «речи точной и нагой», как говорил Маяковский.

Очень смело, в духе народной баллады сделан зачин поэмы.

От зари и до зари,  
через сотни синих рек,  
сквозь чужие пустыри  
едет, едет человек.  
Тишина оглушена,  
бьют копыта в тишине:  
едет, едет старшина  
по Европе на коне.

Вихрем песенного лада полны и описания поездки героя:

Эх, знать бы загодя, когда приснится  
лукошко — ягоде, жених — девице?  
Гребнем грабастая снега седые,  
летят гривастые, летят гнедые.

Поэма Недогонова богата подобного рода поэтическими удачами и находками. Но вместе с тем она кое-где перегружена подражаниями крестьянской речи. В результате иногда возникает тот антихудожественный прием обыгрывания якобы малограмотной речи колхозника, от которого веет лубочной псевдонародной литературой. «А откеда он, Егор?», «ты, па-

паша, больно гибко гнешь напраслину свою», «оченно приметная помога».

Но эти частные недостатки, неудачные места, которых, надо отдать справедливость, не много, не могут влиять на общую, безусловно, положительную оценку этого произведения.

Горько думать о том, что преждевременная смерть настигла поэта, так ярко и самобытно начавшего развертывать свое прекрасное и органическое дарование. Его «Флаг над сельсоветом» останется в советской поэзии, как явление крупное и значительное, ибо в этой поэме прекрасно передан характер советского человека, неутомимого в своих ратных и трудовых подвигах, честного, прямого, благородного, сердечного и умного — такого, каким мы его знаем в жизни и так еще, к сожалению, редко узнаем в поэзии.

Иными приемами, в иной лирической тональности написана поэма Николая Грибачева «Колхоз «Большевик», хотя ее материал — послевоенная колхозная деревня — тот же, что и в поэме Алексея Недогонова. В прежние годы у Грибачева было немало стихов, страдавших подражательностью, зависимостью от дурных образцов. Он увлекался ложной, внешней красотостью, писал под Есенина, иногда даже под Гумилева. Но вот перед Грибачевым открылась новая большая тема — тема колхозного труда в послевоенной сталинской пятилетке. Он создал вещь серьезную и значительную. Твардовский в «Стране Муравии» изобразил тот перелом в сознании рядового труженика-крестьянина, который привел его на путь коллективизации сельского хозяйства. Николай Грибачев дал сегодняшний колхозный быт, который уже стал для советских людей привычным, родным, единственно мыслимым. Герои поэмы Грибачева — труженики-крестьяне, у которых глазным содержанием жизни стали интересы их труда на благо родины.

Грибачев не свободен от влияний, и в первую очередь, влияния Твардовского, — оно сказывается и в ритмике и в лексике поэмы. Но за всем этим у Грибачева есть и свое, молодое, хорошее восприятие новой жизни, новой послевоенной действительности, полной особых примет времени.

Он верно и живо подмечает, как изменилось отношение к науке, к культуре в нашей сегодняшней деревне.

В тот год со станции чуть свет —  
в пяти верстах она —  
приехал отпускник-студент,  
тот самый старшина,  
привез с собою связку книг  
да ватмана рулон,  
там—мать дивилась—цифр одних,  
поди, на миллион.

Здесь Грибачев достигает простоты и естественности обиходной речи. Его стих ритмически четок, и в то же время гибок и ёмок. Он передает и живые интонации шутки, и глубокие тона серьезного политического разговора. Однако далеко не все в поэме Грибачева хорошо. Она без нужды растянута. Часто поэт неточно, неверно употребляет слова, создает искусственные сравнения, нежизненные и нехудожественные. Вот примеры:

И как авторитет мальчикам,  
речушкой сыну вслед  
Василий Трифонович сам  
шагает без штиблет.

Как можно в погоне за авторитетом шгагать речушкой — остается тайной автора. Или—«прямо под звезды понес баян заключительный вальс». Спрашивается — кто кого понес? Здесь двойная семантика, и это разрушает стих. Есть в поэме Грибачева и образцы аляповатой красоты. Таково, например, описание насекомых, данное в приподнятом торжественном, хотя и ироническом стиле:

И шмель—гусяр подвыпивший,  
в кафтане с желтой выпушкой,  
струну наканифоливши,  
в науку ли, в потеху ли,  
басит, как в поле-полюшке  
два шершня в гости ехали.

В этих не закономерных для поэмы строфах неожиданно режет ухо соединение интонаций и ритмики Некрасова («Кому на Руси жить хорошо») со словарем, стилизованным в духе жеманных сказок Корнея Чуковского.

К счастью, подобные места — не характерны для поэмы Грибачева, в целом удачной, свежей и интересной.

Поэмы А. Недогонова и Н. Грибачева высоко поднимаются над тем средним, а зачастую и просто посредственным уровнем, на котором, к сожалению, находятся многие другие стихи и поэмы последнего времени, посвященные колхозным темам.

В подражание Недогонову Владимир Замятин написал поэму «Весна землеробов». Эта первая книжка поэта неудачна, в ней мы, с сожалением, обнаруживаем скороспелое повторение уже знакомого материала. Подражательна основная ситуация поэмы—конфликт между двумя фронтовиками. Только природу его Замятин изображает иначе, нежели Недогонов. У Замятина конфликтуют общественник и, так сказать, одиночник, человек, который после войны думает о подъеме не всего колхозного, а только лишь своего личного хозяйства.

Речь героев Замятина засорена неграмотными, якобы народными оборотами: «очень даже интересно повидаться с земляком», «трудожит», «окромя», «привышний» и т. д. Иногда из-за обилия разных ничего не значащих «д е с к а т ь» или «м о л» поэтическая речь Замятина вообще лишается смысла. Вместо пафоса, к которому стремится поэт, его стихи нередко воспринимаются в чисто комическом плане. Вот, например, описание кобылы, на которой скачет герой поэмы:

Он чубат, плечист и статен,  
В орденах, как на параде,  
На кобыле племенной,  
Одурманенной весной.  
У нее глаза, как сливы,  
Пар из бархатных ноздрей,  
Словно девушка пуглива,  
Губы шопота нежней.

В другом месте Замятин пишет:

Кони серы, кони пеги,  
Дрожью кони налиты.  
Девок, девок  
две телеги,  
Две телеги красоты.

Я не вижу принципиальной разницы между тем, как описывает Замятин кобылу, и тем, как он передает «красоту» этих «девок». Все это грубо, вульгарно и лишено истинной красоты. Тут больше «плоскости раешников и ерунды частушек», чем подлинной поэзии. О псевдокрестьянском языке, который очень нравит-

ся Замятину, надо сказать резкое слово. Никто ведь на этом глупом языке давно уже не говорит. Пора избавиться нашей литературе от «чавоканья», от нарочитого натуралистического косноязычия. Пора понять, что и Русь уже не та, и мы не те,— об этом говорил товарищ Жданов в своем докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград».

О современной деревне пишут Федор Белкин и Николай Тряпкин. О Белкине летом на пленуме ССП очень горячо говорила Вера Инбер, Тряпкина неумеренно хвалил Корнелий Зелинский. В этих оценках есть большое и принципиально неверное преувеличение.

В стихах Федора Белкина есть некоторые внешние приметы нашего времени — упомянуты и тракторы, и медали на гимнастерках колхозников, вчерашних бойцов, и пилотки, и прочие аксессуары современности; беда в том, что в поэзии Белкина нет подлинных признаков современности, сути ее явлений, настоящего дыхания жизни. Вот стихотворение «Пастух». Это какая-то пасторальная идиллия:

Течет заря над сонным стогом,  
С нашеста падает петух.  
По розовеющим дорогам  
На край села идет пастух.

На руках его рубашки  
Расшиты рожи и ручьи,  
И растекаются по фляжке  
Восхода теплые лучи.

Он утро на плечах выносит,  
И сам, как утро молодой,  
Идет и встречным преподносит  
Свою широкую ладонь.

Ему знакомы пастбищ тайны.  
Чтоб пахло в избах молоком,  
Он словно опытный ботаник  
Со всеми травами знаком.

Когда свирель поет над логом,  
Заря струится у пруда,  
По всем проселочным дорогам  
Идут колхозные стада.

И он ведет туда, где росы,  
Где дремлет лес невдалеке,  
Где пахнут клевером покосы  
И солнце плавится в реке.

В этом и подобных ему стихотворениях Федора Белкина больше старой эстетики, чем органического чувства нового пейзажа социалистической колхозной Руси. Много в стихах Белкина чисто внешней созерцательности. Он любит «нейтральные» сюжеты. То напишет о коварной щуке, которую рыболов выволок на берег, то о земле подмосковья, которая пахнет «грибами и малиной», то о какой-то странной девице, которая подбирает окурки любимого:

Завернула в переулок —  
На траве дымит окурочек,  
Подобрала и куряла —  
Будто с милым говорила.

Такие стихи — лишь небрежная отписка от жизни, от нашей борьбы, они лишены света больших идей. Белкин — поэт не без способностей, но часто он делает старые, давно преодоленные передовой советской поэзией ошибки. Его поэзия питается книжными источниками, она далека от нашей современности.

Гораздо сложнее вопрос о Тряпкине. В литературной среде он получил скороспелую репутацию, как поэт новой колхозной деревни, как человек, органически связанный с нашей действительностью. Но, к сожалению, его стихи, опубликованные двумя большими циклами в журнале «Октябрь» за 1947 год, оставляют тяжелое впечатление. Тряпкин испытывает самые разнообразные и подчас весьма усложненные влияния старой декадентской поэзии. Так, например, стихотворение «Поспорили хлопцы на улке села» написано в подражание Клюеву, с его тяжелой орнаментальностью. Быт колхозного села дан здесь поэтом так, что он скорее напоминает прошлый век, чем сегодняшнюю реальную действительность.

А праздник был святки в старинном селе,  
и пенилась брага на нашем столе.

Колхозники обсуждают вопрос о том, что им надо завести тройки с бубенцами. Нельзя сказать, чтобы сама проблема была особенно актуальной. Но это только часть вопроса. Весь характер изобразительных средств в этом стихотворении клюевский:

Ребята пьянели, как в бражном чаду.  
Сходились планеты в игру-коляду.



Герои стихотворения спрашивают друг друга:

... **Г** которых святых  
У предихи Дарьи просить выездных?

Неужели молодежь современного колхозного села ведет счет времени по церковным праздникам?

В другом стихотворении Тряпкин пишет от своего собственного имени:

И вот, когда в закате, у комода  
Топчусь я над девятою строкой,  
Мне мамушка блинец со свежим медом  
Пихает в рот настойчивой рукой.

Крайне сомнительно, чтобы эти строки могли выразить облик современного человека. «Мамушка», «блинец» — все это из давно забытого словаря. Сам автор сравнивает себя с гоголевским Хомой. Жизнь новой деревни здесь и не пахнет.

А вот несколько примеров языковой работы Тряпкина. Он пишет:

Я жду тот день, я грежу им, как другом,  
Когда, окрепнув, мой заветный пай  
Напружистой надстрочною натугой  
Вольется в ваш, комар вас забодай!

Что означает «напружистая надстрочная натуга»? При чем здесь искусственное, надуманное ругательство, стилизованное под якобы крестьянский говор («комар вас забодай»)?

Про колхозника у Тряпкина говорится, что он зажал «черенок» топора. Уж из одной этой строки ясно, как плохо знает Тряпкин деревенский быт. У топора никакого черенка нет, есть топорщице, черенок бывает только у ножа. Речь своих героев Тряпкин уснащает такими словами, как «дивуюсь», «требу совершим», «триединство творца-человека». Откуда у молодого поэта этот псалтырный словарь?

Стихи Тряпкина переполнены декадентскими усложнениями образа, лексики. Что, например, значат такие строки:

И мне б хотелось крепкострокий дом  
(какое искусственное словосочетание! — А. Т.).

Посадистый, просторный и простой,  
С бессонницей о каждой запятой.

Представить себе дом, сложенный из строк, в котором при каждой запятой стоит бессонница, — невозможно. Это абсурд.

Часто бывает так: появился молодой одаренный поэт, и сразу начинаются охи и ахи: какой талантливый! А что за этим нередко мнимым талантом кроется, мы не удосуживаемся разглядеть. Тряпкина следует критиковать, а не захваливать, ибо он продолжает линию, связанную с Клюевым и Клычковым, с их алогическим нагромождением орнаментальных книжных образов, любованием стариной, религиозной тьмой старой деревни. Иногда, правда, в стихах Тряпкина все это сочетается с упоминаниями новых понятий, попытками раскрыть новую тему. Но в целом поэзия его свидетельствует о том, что влияние декадентства на поэтическую молодежь еще представляет собой реальную опасность.

## II

Когда читаешь стихи в журналах и сборниках отдельных авторов, видишь, что наша поэзия не оставалась в стороне от жизни, что она стремилась быть на уровне задач нашей современности. Но нередко добрые намерения поэтов остаются только намерениями. Важнейшие темы новой пятилетки, индустриального труда еще не заняли должного места в нашей поэзии. Идет еще только разведка этих тем.

Опыт войны и созидательный труд связуются у многих наших поэтов в единое целое. Они неотделимы друг от друга. Эта связь характерна для стихов Мурзиди. В «Старинном городке» поэт рассказывает о том, как его герой вернулся после похода по Европе в свой маленький город:

...и я мечтал, что вырасту героем,  
Построю здесь завод невдалеке,  
Пожалуй, там, где ты его построил,  
И счастлив, что сбываются мечты. —  
Я так хотел свой городок прославить  
И новый дом себе поставить  
Пожалуй там, где это сделал ты.

Удачны и некоторые другие вещи Мурзиди: «Шел солдат с фронта», «Строится дом», «Магнит-гора». Они согреты пафосом творческого труда. А это главная тема советской литературы, как учил нас Горький.

В стихах Н. Заболоцкого осознано величие нашей стройки, ее грандиозный размах, пафос покорения пустынь, тайги. Человек выступает здесь как сила, преобразующая природу. С чувством удовлетво-

рения надо сказать о том, что Заболоцкий, видимо, простился со своим былым инфантилизмом, со своей игрой в навязный, оглушительный мир. Но в то же время, при всем мастерстве новых стихов Заболоцкого, их строгой отточенности, им не хватает лирической страсти, они подчас скованы торжественной манерой оды. Сквозь мрамор строки с трудом прорывается чувство, стихи холодноваты, нередко «застилизованы».

Правы те товарищи, которые, отмечая высокое словесное мастерство Заболоцкого, говорят, шутя, что пейзаж его стихов напоминает пейзаж луны, снятый сильным и подробным телескопом. Заболоцкому недостает ощущения живых красок родной земли, человеческих голосов и шума работ.

В этом смысле можно отдать предпочтение менее мастерски написанным стихам Матусовского о Донбассе. В них есть человек, в них есть горячее, лирически насыщенное отношение поэта к славному краю горняков и шахтеров. Он влюблен в его скупой, но исполненный красоты и своеобразия пейзаж. Стихи Матусовского сильны живым ощущением родной земли. Краснодонцы, Олег Кошевой — как бы живут в этих стихах. Их чувствами и делами полны люди сегодня. Хорошо сказано у Матусовского о старом шахтере:

Если б собрали вы все, что он добыл,  
В шахтную клеть,  
Все человечество в стужу смогло бы  
Руки согреть!

В числе произведений, удачно раскрывающих тему труда, надо назвать поэму Степана Щипачева «В добрый путь», опубликованную в «Огоньке». Щипачев намечает в ней психологический портрет мальчика, который романтически мечтает о подвигах старших братьев, совершенных в годы Великой Отечественной войны. Сам он «зажигалок даже не тушил». Он только начинает жизнь. «Словно в сказке мир профессий открывается ему», — говорит Щипачев о своем молодом герое. Подлинно поэтичны в изображении Щипачева профессии строителей, разведчиков недр, о которых думает и размышляет герой поэмы.

Герой не знает еще, какую профессию выберет, но дорога его определена всем ходом жизни в нашей стране, — станет ли он у станка или пойдет в поле агрономом, сделается геологом или солдатом — все

равно он «строитель счастья на земле». Эта идея поэмы Щипачева плодотворна, и мне думается, что ее удалось разрешить автору. Значительно слабее цикл стихов о труде, который Щипачев опубликовал в виде отдельной книжки «Славен труд». Это отдельные зарисовки то лития на заводе, то работы башенного крана, то производства станков. Но, к сожалению, та краткая афористичность, которая была уместна в любовно-лирических стихах Щипачева, здесь себя не оправдывает. Стихи рождают чувство неудовлетворенности. Главного в них не сказано. И хотя Щипачев попрежнему стремится к афористическим «крылатым» концовкам, они ему на этот раз не удаются. В самом деле, разве достаточно сказать, что:

Во всем—в иголке, в танковой броне —  
Живет горячий сталевара труд?

Разве могут нас удовлетворить такие вялые строки о добытках нефти:

Как глубоко она ни залегла,  
Бурильщики пробьются в самый низ,  
Чтоб до последней капельки тепла  
Она работала на коммунизм.

Это только риторика, здесь нет образной специфичности поэзии, ее гиперболичности, ее романтизма.

По методу работы во многом противоположна стихам Щипачева новая вещь Безыменского — третья часть «Трагедийной ночи». Это крупное по объему произведение в несколько тысяч строк. Как явствует из дат, поставленных под поэмой, над ней Безыменский работал с 1944 года. Говоря о чисто художественных недочетах вещи Безыменского, в первую очередь надо отметить ее многословие, растянутость. Безыменский высыпает слова на читателя щедрыми пригоршнями. Часто прибегает он в этой вещи к характерным для него чисто номенклатурным перечислениям:

Вышли  
для штурма  
пролетов потока  
Все инженеры,  
прорабы,  
райком,  
Вышел бетонщик,  
лекальщик и токарь,  
Врач и чертежник,  
монтер и краском.

Безыменский один из тех поэтов, которые органически чувствуют тему социалистического труда. Уместно напомнить работу Безыменского над индустриальной темой в годы первых сталинских пятилеток. Сам поэт устанавливает живую связь между своими поэмами тех лет и своей нынешней работой.

Что же удалось Безыменскому в этой его новой вещи? Думается, что прежде всего удалось изображение пафоса и масштабов индустриального труда советских людей. Безыменский искренне влюблен в грандиозный размах работ по сооружению днепровской плотины, изображению которых посвящена его поэма. С подлинным огнем дана картина социалистического соревнования. Здесь Безыменский во многом идет от приемов и ритмики Маяковского, и эта учеба у великого поэта революции оправдана и законна.

Хорошо своей реалистической зоркостью описание деда Опанаса:

В синей чумарке,  
 Что ниже колен,  
 Тихо идет он  
 Вдоль глиняных стен.  
 Вышит барвинками  
 Пояс тугой.  
 Люлька из губ —  
 Лебединой дугой.  
 Палка буравит  
 Пуховую пыль,  
 Солнцем сияет  
 Соломенный бриль.

Но есть в этой вещи органический и весьма существенный недостаток. Ведь писать в 1947 году о делах, которые начали твориться большевиками на берегах Днепра двадцать лет тому назад, это не значит просто воскрешать схему поэм и романов той поры. Между тем, Безыменский пошел именно по этому пути. В центре его поэмы — образ старого украинского деду Опанаса Джалилея. Опанас — рутинное начало старой деревни. Он отказывается перебираться на новое место, ибо не верит, что его хату могут затопить воды Днепра. Для того, чтобы убедить своего героя в неизбежности затопления прибрежных участков, Безыменский рассказывает о том, как после дождя внук Опанаса бросил в ручей большой камень. Вода наполнила канаву до краев.

И Опанас,  
 как громом пораженный,  
 шагнул вперед  
 от хаты, от села...

Это место поэмы психологически неубедительно. Неужели дед Опанас никогда до этого не видел запруды и подъема воды у плотины? Но согласимся с поэтом, что возможен и такой условный поэтический прием. Дальнейшее развитие сюжета приводит Опанаса на строительство Днепрогэса, и после беседы с товарищем Винтером (о нем у Безыменского сказано цветисто и неудачно: «неутомимый рыцарь тока») дед начинает осматривать панораму работ. Повторяю, сами эти работы описаны Безыменским с большой экспрессией и убедительностью. Но условная фигура Опанаса, опирающегося на свой батиг, все время мешает читательскому восприятию. Безыменский словно не верит, что рассказ о строительстве Днепрогэса будет интересен сам по себе, и потому пытается подпереть его нехитрым литературным приемом — конфликтом в сознании старого деда-землероба, впервые увидевшего мощь и красоту социалистической техники и коллективного труда в действии. В конце концов дед Опанас поверил в чудо, творимое большевиками. Он согласен на переезд из родной старой хаты на новое место. Строительство продолжается.

Грохают крапы  
 у котлована.

Вот сюжет вещи. Думается, что здесь Безыменский взял не только старый материал, но и старую проблематику. В годы первой пятилетки, о которой идет речь, среди старого крестьянства сомнения в мощи новой социалистической техники, конечно, были. Жизнь переубеждала таких людей. Но эта проблема давно снята жизнью. Дед Опанас сегодня — фигура, ушедшая в далекое прошлое. Никого больше в советском обществе не волнуют те вопросы, которые волновали его. Поэтому весь основной конфликт поэмы Безыменского несущественен, неактуален для современного читателя. Нельзя сейчас писать о строительстве Днепрогэса так, как будто не произошло всех дальнейших событий, Великой Отечественной войны. Между тем, именно история Днепрогэса содержит такие реальные и величавые ис-

торические конфликты, которые могли бы лечь в основу подлинно трагического произведения нашей литературы.

Если бы Безыменский сумел взглянуть на изображаемые им события через призму времени, в его поэме появился бы подлинный трагический накал, оправдывающий ее название.

Несколько замечаний о языке поэмы. Поэт начинает отходить от той выспренной и, в сущности, довольно невыразительной манеры, которая была свойственна многим его произведениям ранее. Но все же в поэме не мало мест, свидетельствующих о недостатке вкуса, о спешке. Описания, выполненные подлинно художественно, точно, ярко, чередуются в ней со строфами косноязычными, скомканными.

Рядом с хорошими строками мы читаем такую тяжелую и неуклюжую тираду:

О субботнике деду поведав,  
Он с киркою куда-то пропал.  
Окружает молчащего деда  
Небывалой работы накал.

Слово поведав чуждо поэтической ткани произведения. Оно из другого словаря. Как накал может окружать — непонятно. Эпитет в этой строфе лишен образительности. Но, хотя подобных недочетов в поэме Безыменского немало, кровная заинтересованность поэта в той главной теме нашего времени, которую Горький определил как изображение трудотворческой энергии масс, эмоционально выражена в его поэме.

### III

Хорошо ли знают наши поэты послевоенную жизнь, те творческие процессы, которые происходят в стране. К сожалению, на этот вопрос часто приходится отвечать отрицательно. В дни войны большинство наших поэтов было органически связано с жизнью народа. Война настолько сблизила поэтов с народом, наполнила их ощущением такой кровной связи с жизнью, что результаты этого благотворного взаимодействия поэзии и действительности сказываются до сих пор. Но знания сегодняшних проблем жизни и борьбы народа остро не хватает некоторым нашим поэтам теперь. В этом следует искать причину скованности голосов очень многих. Совсем не вы-

ступала за последнее время О. Бергольц, очень мало новых стихов печатали А. Прокофьев, А. Сурков, В. Инбер. Вполне естественно недовольство читателей той весьма средней продукцией, которой подчас заполняются страницы наших журналов и сборники стихов. От отсутствия настоящей глубокой связи с жизнью происходят вымученные литературные образы.

Молодой поэт Алексей Клочин пишет в «Огоньке» о поездках, идущих через Сибирь:

Локомотивы густо обрастали  
Седыми бакенбардами паров.

Откуда такие книжные, неживые образы прошлого века? Ведь никто нынче бакенбардов не носит. Поэт их взял со старых гравюр, а не из наблюдений над современностью.

Как бледны, риторичны, плоски стихи А. Гая, С. Смолякова, напечатанные в «Звезде», какой скукой веет от стихов Казимира Лисовского или от вещи Г. Санникова «Слово о рядовом бойце», напечатанных в «Октябре». Нет во всех этих стихах движения свежей мысли, нет желания сказать свое, смелое, крепкое слово. Нет потому, что стихи эти не согреты дыханием народной жизни, потому, что они написаны только ради того, чтобы написать...

Верно говорит в одной из своих новых вещей Николай Браун:

Приходит с возрастом тоска  
По чистоте такого слова,  
Что отразило б, как река,  
Не только в дымке облака,  
Но жизни самую основу.  
И чтобы любовался глаз  
Не только шумной пестротой,  
А всею правдой без прикрас,  
Всей нелукавой красотой.

К сожалению, лукавой красоты и поэтического суесловья в стихах встречается еще слишком много. А плохое знание жизни и психологии советских людей приводит иных поэтов и к полным литературным провалам.

Новое стихотворение В. Лебедева-Кумача «Об одеждах и модах», включенное им в книжку «Стихи и песни», вышедшую недавно в «Огоньке», вызывает чувство горячего протеста. В этом стихотворении Лебедев-Кумач выступает на борьбу с низко-

поклонством перед буржуазным Западом. Дело крайне важное, но Лебедев-Кумач сводит его к пустякам. Он ополчается на тех людей, которые носят одежду, привезенную из-за границы, и многозначительно предостерегает:

Костюм — это форма. А форма всегда  
Влияет на наши поступки —  
Недаром на ум приходит вода,  
Когда говорят о губке.  
Из западных мод, как из губки вода,  
Прольется непрошенный барич,  
И станет легко говорить: Господа!  
И трудно сказать: Товарищ!

Стихи эти наивны. Лебедев-Кумач отличался подлинным знанием жизни. На сей раз знание это ему изменило, и родилось произведение неверное, нехудожественное. Получилась не борьба с низкопоклонством перед Западом, а невольная пародия на советских людей, рифмованное заявление о якобы присущей им неустойчивости взглядов и убеждений, будто бы способных меняться под влиянием заграничного костюма.

Головной, риторический замысел нового цикла стихов Долматовского «Созвездие» помешал поэту найти подлинные, неповторимые краски для каждой из советских республик, которые он хочет воспеть. Там, где рациональное знание помножено на живое лирическое чувство, на личный жизненный опыт, получаются удачные стихи. Такова, например, «Украина»:

Часто снится мне и ныне,  
Мирною порою,  
Будто я лежу в долине  
Под крутой горюю,  
И мои покрылись раны  
Черною корою.  
Но склонилась надо мною  
Женщина седая,  
Мне днепровскою водою  
Веки обмывая.

Образ этой женщины вырастает до широкого обобщения. И потому естественно и хорошо звучат строки, посвященные исторической роли Украины в Великой войне и в послевоенном устройстве мира:

Не она ль освобождала  
Западных соседей  
И в Нью-Йорке выступала  
На большом совете.

Но, к сожалению, ряд стихов этого цикла вял, риторичен, бесцветен. Говорят, что это плакаты, но в таком случае плакаты неживые, неубедительные. Стихотворение «Киргизия» Долматовский застилизова! под переводы из Джамбула, но дух казахской и киргизской степной поэзии остался ему чужд, и он только перечислил богатства Киргизии и ее фольклорные образы. Получилось бедно, неинтересно. То же самое надо сказать о стихах, посвященных Эстонии, Молдавии, Таджикистану..

Те стихи Долматовского, в которых он идет от своего человеческого, вынесенного из опыта войны, гораздо более убедительны. Таковы его «Стихи о ровесниках», многие из которых согреты живым чувством. «Стихи о ровесниках» посвящены нашим современникам, простым людям труда. Это стихи о студенте с седой головой, который, испытав все тяготы войны, пришел к учебе, как «шел из дальнего села крестьянский мальчик Ломоносов», о разведчике недр, о фотографe, который вырос в военного корреспондента из мальчика, шелкавшего любительские снимки. И наконец, превосходная вещь международного звучания—«Дело о поджоге Рейхстага». В персонажах своих стихов Долматовский не просто фиксирует черты человека нашего дня, но и сопоставляет их с чертами героев военных лет. Мотив преемственности войны и труда проходит, как лейтмотив книги. Это придает стихам Долматовского ту глубину и серьезность, которых ему часто недоставало ранее. Без назойливой акцентировки нарочитой простоты поэт изображает своих героев простыми и ясными, влюбленными в свою Родину. Во всем этом есть привлекательные черты реализма и одухотворенной, творческой романтики. Чувствуется, что этих своих героев Долматовский знает не по наслышке, что он с ними сроднился, сжился.

Интересна своей живой связью с современностью книга стихов Сергея Васильева, посвященная Москве. Книга эта, названная автором «Москва Советская», наиболее удачна из всего, что до сих пор делал Васильев. Хорошо, что в этих новых стихах Васильева нет стилизации под старину, нет того мишурного блеска реликвий прошлого, которые нередко увлекают поэтов, берущихся за темы, связанные с историческими датами (так случилось, например, а

Виктором Уриным). В одном из семнадцати стихотворений, составляющих его книжку, Сергей Васильев говорит о том, что ему сейчас тридцать пять лет, а приехал он в Москву пятнадцатилетним. Эти двадцать лет — самый важный и весомый отрезок биографии человека и поэта. За это время изменилась и наша Москва, став из «большой деревни», как ее иронически называли когда-то, одним из самых красивых и благоустроенных городов мира. В сознании поэта жив пафос этих изменений — и строительство метро, и реконструкция площади Пушкина, и превращение старого «АМО» в завод имени Сталина. Поэт был современником и участником великой битвы за Москву в 1941 году, он завсегда московских футбольных матчей, он увлеченно рассказывает о выставке трофейного оружия в Парке культуры и отдыха, торжественно повествует о народном шествии в Мавзолей, о параде войск Советской Армии на Красной площади, взволнованно описывает загородную поездку на автомашине по следам недавних боев, с любовью и вкусом описывает новый Крымский мост, который:

Как будто в прошлый ледостав  
напрягся что есть сил,  
над кручей вымахнул стремглав  
и так в прыжке застыл.

Может быть, во всем этом много внешне-го, но в книге Васильева Москва дана глазами живого, остро чувствующего современника. В этом одно из главных ее достоинств.

В стихотворении «Здесь жил Горький» точно передано ощущение молодого начинающего литератора, которому довелось в юности беседовать с великим писателем Советской страны в его доме у Никитских ворот.

Но в стихах Васильева много и недостатков. Они неровны. Наряду с вещами, отмеченными выше, в сборнике встречаются стихи риторичные, вялые. Таково, например, стихотворение «Москва праздничная», таково же и «Там, где упала немецкая бомба». Этим стихам не хватает живого, одухотворенного чувства. «Планетарий» и «Наши трофеи» написаны фельетонно. Нередко Сергею Васильеву изменяют художественный такт и вкус. Например, эпитет «чародей» попросту неприменим к Горькому

точно так же, как и «рай подземный» — в отношении московского метро. Васильев злоупотребляет вульгарно-разговорными интонациями (недостаток, свойственный его стихам и ранее). «Шастает мяч», «в эдакой заварухе», «как говорят, дай бог», «мог бы податься», «трещит у земли пуповина», «что миндальничать», «ну-ка крепче даву на газ», «хапнули денежки», — все это отнюдь не украшает стихотворную речь и совсем не придает ей жизненной убедительности, на что, видимо, рассчитывает автор. Искусственностью отдает и такая строчка: «туман своих усталых расседлал коней». Хорошо и точно описывая сборку автомобилей на конвейере завода имени Сталина, Сергей Васильев зачем-то употребляет нелепое, выдуманное слово «автороды». Встречаются в его стихах и просто банальности, например, «злой волны прожорливая сила».

Думается, что все это не пустые формалистические придирки, а разговор по существу поэтического дела. Поэт обязан быть гораздо более требовательным к слову, более точным в выборе метафор, более строгим в борьбе за чистоту русского поэтического языка.

Интересна жизненной правдивостью своих лучших стихов новая книжка Максимова «Ровесники», которая недавно вышла в Омске. Приметно в этом сборнике хорошее стихотворение «Солдатки», о силе и самоотверженности наших женщин, которые напряженно трудились и терпеливо ждали своих мужей и сыновей с фронта. Можно в книжке Максимова отметить и ряд удачных стихов на темы послевоенного труда, творчества, созидания. Например, стихотворение «Глаза» — об ответственности за судьбу детей, потерявших на войне родителей. В нем есть лирически переданное ощущение солдата-мужчины, отца.

Яркие книжки стихов выпустил в этом году Михаил Луконин («Сердцебиение» и «Дни свиданий»).

Луконин не хочет идти проторенными дорогами, его жизненный опыт подсказывает ему новое и, что очень важно, правильное решение военной и послевоенной темы. В его книге есть ощущение главной цели человека послевоенной сталинской пятилетки, перед которым стоит задача — воссоздать мирную жизнь, полную творческого горения:

Нам не отдыха надо  
И не тишины,  
Не ласкайте нас словом  
«Участник войны».  
Мы трудом обновим  
Ордена и почёт,  
Жажда трудной  
                                работы  
Нам ладони сечёт.

Луконин говорит о благородной, большой душе советского человека. В отличие от героев «проклятого поколения» он приходит с войны закалённым, мужественным человеком:

В этом зареве ветровом  
Выбор был небольшой, —  
Но лучше притти с пустым рукавом,  
Чем с пустой душой.

Эти строки запоминаются, их хочется повторять. Их уже цитируют наизусть, и это очень хороший признак. Поэзия Луконина — органически бодрая поэзия, без всякого розового сиропа, мужественная, волевая, подстать нашей молодежи, неубоявшейся ни военных, ни послевоенных трудностей. Но я хотел бы обратить внимание Луконина на то, что, желая освободиться от привычной ритмики стиха, он часто переходит на совсем прозаическую, трудную, неритмичную строку. Это мешает тому, чтобы его стихи стали подлинными произведениями искусства. Я вижу в этом издержки эксперимента. Хочется в этой связи напомнить одно место из автобиографического предисловия Твардовского к его одному томику:

«Моя поэма «Путь к социализму», озаглавленная так по названию колхоза, о котором шла речь, была сознательной попыткой говорить в стихах обычными для разговорного, делового, отнюдь не «поэтического» обихода словами:

В одной из комнат бывшего барского  
  дома  
Насыпан по самые окна овес.  
Окна побиты еще во время погрома  
И щитами завешаны из соломы,  
Чтобы овес не пророс  
От солнца и сырости в помещенье.  
На общем хранится зерно попеченье.

Поэма, выпущенная в 1931 году издательством «Молодая гвардия» отдельной книжкой, встречена была в печати положи-

тельно, но я не мог не почувствовать сам, что такие стихи — езда со спущенными вожжами — утрата ритмической дисциплины стиха, проще говоря, проза».

Когда я читаю у Луконина:

Мы сидим на косилке у магазина  
Сельскохозяйственных машин и орудий.  
Мы глядим на сраженный город, а  
  мимо,  
Пройдя через каменоломню Берлина,  
Идут советские люди, —

мне вспоминаются строчки молодого Твардовского. Я боюсь, что та утрата ритмической дисциплины стиха, которой так часто грешит Луконин, в конечном счете может привести к какофонии, к утрате мелодичности речи, к разрыву с ритмическими традициями русской поэзии.

Несмотря на то, что можно в нашей литературе отметить удачные дебюты молодых поэтов, порадоваться живому чувству современных поэтов, которыми проникнуты стихи некоторых представителей поэтического цеха, все же поэзия в целом сегодня оставляет чувство неудовлетворенности. Она не в рост делам и чувствам современников. Голоса поэтов часто скованы — то условностями литературной формы, то бедностью мысли, то небогатым жизненным опытом. Нет, не встала еще наша послевоенная поэзия вровень со своим героическим народом, со своим великим временем!..

#### IV

В своих исторических решениях о журналах «Звезда» и «Ленинград» Центральный комитет партии решительно осудил декадентские пережитки в советской поэзии. Еще раз об этом напомнил нам в своей недавней речи в Ленинские дни товарищ Суслов:

«Партия большевиков, следуя заветам Ленина и охраняя духовные интересы советского народа, стоит на страже принципиальной чистоты, высокой идейности и боевой партийности культурного творчества, давая решительный отпор всяким попыткам активизировать пережитки капитализма в сознании людей и протаскать в советскую культуру аполитичность, безидейность, формализм, представляющие плоды влияния растленной буржуазной идеологии».

Эти мысли мы никогда не вправе забывать.

Что же сделано в поэзии за время, прошедшее после решения ЦК партии? Есть ли заметные сдвиги в творчестве тех поэтов, которые подвергались за последнее время серьезной критике, у которых критика отмечала наличие элементов декадентства и формализма в творчестве?

Вот, например, поэма Семена Кирсанова «Небо над родиной». Эта вещь вызвала большое разноречие в оценках П. Антокольского и критика В. Александрова, причем Антокольский сильно преувеличил достоинства «Неба над родиной», а Александров преуменьшил.

Долгие годы критика наша упорно повторяла Кирсанову, что до тех пор, пока его словесные эксперименты не будут наполнены большим содержанием, его поэзия останется книжной, далекой от народа. Кирсанов попытался практически ответить на эту критику в своей поэме «Александр Матросов». Но «Александр Матросов» чисто головная, рационалистическая поэма, она вышла холодной, риторической, лишенной жизненного своеобразия и лирической теплоты. «Небо над родиной» удачнее «Александра Матросова».

В этой вещи Кирсанова передано чувство обновления, которое проходит во всей земле после победы над фашизмом. Прекрасно говорят в поэме Облака:

- Мы видели на танках звезды.—За  
Одер тянутся обозы.
- Дивизии подходят к Вене, — Над  
миром—мира дуновенье!
- Все реже в тучах бомбы воют, —  
в Берлине грянули раскаты.
- Взлетают над ночной Москвою  
красно-зеленые каскады.

«Натурфилософские переживания не могут иметь для нас того значения, какое они имели для Шелли, — писал В. Александров в «Литературной газете» от 13 декабря 1947 года. — Нам незачем обращаться с просьбами к ветру: «О, подыми меня, как волну, как лист, как тучу! Я падаю на терния жизни! Я истекаю кровью!» Шелли больше не к кому было обратиться. Теперь такой призыв был бы риторикой. Мы живем в движении общественных сил, наша общественная идея ясна. И когда Ветры и Облака появляются перед нами

не в сказке, а в «драматической поэме», — такое появление нам кажется придуманным, нарочито литературным и странным».

Это явная натяжка критика. Для Шелли обращение к Ветру было такой же условной риторической формулой, как и для нас. И Шелли, и мы, конечно, не верим, что ветер или облака могут нас услышать. И тем не менее такая форма в поэзии вполне приемлема и несколько не противоречит социалистическому реализму. Кирсанов законно вводит в свою поэму разговор туч, мотора, вихря.

Природа у Кирсанова принимает участие в празднике Победы. Это дано убедительно, в это веришь.

И однако поэме Кирсанова присущ ряд серьезных недостатков, которые говорят о том, что старые формалистические приемы им далеко не до конца преодолены. Сама форма его стиха мало демократична.

Можно и нужно сочетать формальное новаторство стиха с полной понятностью его для широкого читателя. Это задача, которую Кирсанову еще предстоит решать. В раешнике «Фома Смыслов», писавшемся в дни войны, Кирсанов, желая быть ультранародным в языке, становился попросту примитивным. В «Небе над родиной» — он снова литературно «изыскан». Метание от одной крайности к другой еще раз подтверждает, как неустойчивы взгляды Кирсанова на задачи поэзии. Маяковскому, учеником которого почитает себя Кирсанов, такое деление поэзии на стихи «для масс» и стихи «для знатоков» было органически чуждо.

В грудном, кризисном состоянии до сих пор находится И. Сельвинский. Недавно он опубликовал в своей книге «Лирика и драма» новое стихотворение «Ответ г. Уинстону Черчиллю». Внешне оно политически актуально, в нем Сельвинский поднимает голос против поджигателя войны Черчилля. Он говорит в его адрес ряд справедливых саркастических слов. Но лирическая философия этого стихотворения несостоятельна, она неправильно отражает отношение советских людей к гнусной возне поджигателей новой войны.

Как будто бы закончена война  
И можно тишиной блаженною утешиться...  
Но почему душа раздвоена  
И сны тревожны, словно птицы?



Вряд ли чувство, которое речь Черчилля вызывает в душе советского человека, можно назвать раздвоением. Вряд ли эта речь может заставить нас увидеть жизнь в мрачном свете, сделать рассвет «угрюмым, серым», как об этом говорит Сельвинский. На совещании представителей компартий в Варшаве сказано о том, что главной опасностью сейчас является переоценка сил реакции и недооценка сил демократии, сил простых людей. Без всякого раздвоения и тоски смотрят, уверенные в своих силах, народы Советского Союза в свое коммунистическое будущее. Это стихотворение неверно отражает чувства советских людей, без всякой тоски, без всякого душевного раздвоения глядящих вперед, Идейная ошибочность стихотворения ведёт за собой и его чисто литературное несовершенство. Оно риторично, юмор его невесел, натянут. Поэтому и сатира на Черчилля поэту не удалась. Сельвинского много и жестоко критиковали. Самое важное в этой критике было разоблачение той чуждой нам ницшеанской философии, которая лежала в основе ряда его произведений. Я не согласен с недавней статьёй т. Щербинны, который пытается зачеркнуть всю военную лирику Сельвинского. Автор статьи здесь преувеличивает. В военных стихах Сельвинского мы видим искренний патриотизм и заметную демократизацию формы. Но это не значит, что путь Сельвинского ныне благополучен. У него еще немало пережитков декадентщины. На коренные вопросы нашего времени он в своем творчестве все еще не нашел полноценных позитивных ответов.

Пример с Сельвинским говорит о том, насколько важны и жизненны для нас решения ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это относится и к ряду других участков нашей поэзии и журнально-редакционной практики.

Недавно, например, вышла в Ленинграде книжка стихов Глеба Семенова «Свет в окнах». В нем есть стихотворение под заглавием «Тишина». Я процитирую его целиком:

Мне зной отвесный памятен и люб!  
Коровы, как рогатые божки,  
С травинками, свисающими с губ,  
Стоят едва не посреди реки.  
Мне зной отвесный памятен и люб!

Но мне и дождь отраден проливной!  
Тугие струи, знаю вопреки,  
Шумят уже над взрытой целиной,  
Как урожая первые ростки.  
Нет, мне и дождь отраден проливной!

Мне по сердцу и вкрадчивый туман!  
Не видно, что за ним—как ни гляди,  
А подойдешь — и нет его, обман,  
Взглянул вперед — он снова впереди.  
Мне по сердцу и вкрадчивый туман!

Понятно мне и ветра торжество!  
Дома, деревья, даже валуны,  
Захваченные скоростью его,  
Стремительно вперед наклонены.  
Понятно мне и ветра торжество.

Вот уже поистине бездумная и беспринципная поэзия! Всё поэту любо: и зной, и дождь, и туман, и ветер — все стихии природы. Ни смысла, ни поэзии в этих стихах нет. Они написаны просто так, для того, чтобы что-нибудь написать. Желая всё же придать своему произведению видимость глубокомыслия, Семенов так завершает свое стихотворение:

Вы спросите, а где же тишина?  
Но это и зовется тишиною:  
Как белый цвет содержит все тона,  
Так из дождя, тумана, ветра, зноя  
И тишина земная соткана.

При чтении этих строк невольно вспоминается ранний Брюсов:

Хочу, чтоб всюду плавала  
Моя ладья,  
И господя, и дьявола  
Равно прославляю я.

Рядом стихотворение «Снежный сад», мысль которого состоит только в том, что «хорошо искать следы во саду березовом». Философия Семенова сводится к прославлению элементарных и банальных ощущений растительного бытия. Вот он идет по деревенской улице, наблюдает «коров рога», которые сравнивает почему-то с «неуклюжими лирами», вдыхает запах парного молока, а потом восклицает: «мир неогляден вокруг — хорошо и легко мне». Свое поэтическое внимание Семенов отдает пустякам. В стихотворении «Движение» он описал, как вместе со своей спутницей (или спутником?) присел у степного стога, чтобы отдохнуть. Но тут начал собираться дождь, и пришлось снова идти. Вот и все. Это поэт считает стихотворением.

Право, надо быть поостроже к себе и не каждую пришедшую в голову рифму отдавать в печать.

Кого подобная поэзия учит, куда зовет, чему помогает? Я не думаю, чтобы на этот вопрос автор сумел бы дать вразумительный ответ.

Война для всего нашего народа была великим испытанием душ и сердец, из которого многие вышли окрепшими, закаленными. Когда поэт сегодня обращается к темам войны, он как бы привстает над своими личными эмпирическими впечатлениями и видит далеко и просторно. Но, к сожалению, иным нашим молодым поэтам это еще далеко не удается.

Не пирам, не тавернам,  
Снова, снова и снова,  
До кончины, наверно,  
Предназначено слово  
Землякам по бойнице,  
По тоске медсанбатной. —

пишет А. Межиров.

Почему такой нажим на медсанбатной тоске? Она, эта тоска, окрасила слишком многие стихи первой книги А. Межирова «Дорога далека» — в тона безысходности и пессимизма. Критика уже не раз говорила об этом Межирову. Межиров как бы заново проходит в своем развитии многими из тех кривых путей, которыми в свое время шли поэты старшего поколения, связанные с эпохой символизма. Поэзия ради самой поэзии слишком часто превалирует в его стихах над интересами содержания. Сложное сплетение влияний Антоскольского, Пастернака и других поэтов, истоками своими связанных с декадентской культурой, подчас пагубно отзываясь на Межирове. Нередко бывает он декадентски старомоден и архаичен, хотя и думает, что идет дорогой новатора. Поэтому, отмечая у Межирова ряд очень хороших и верных стихов, таких, как, например, «Ладожский лед», как «Стихи о мальчике», надо прямо сказать, что свою первую книгу он составил неверно.

Я очень верю в Межирова и его незаурядные способности. Но в своей первой книжке он уходит от главных тем времени. Психологически можно понять Межирова. Война опалила его юную душу. Впечатления войны заслонили в нем весь остальной мир. Он резко и очень по-своему красочно выразил переживания человека, впервые в

жизни увидевшего войну. Но большие цели этой войны как бы заслонены от него подробностями суровых солдатских буден, горьким дымом сражений. Издательство, выпустившее книгу молодого поэта, должно было помочь ему правильно отобрать и переработать его стихи.

В связи с ничем не оправданной неразборчивостью, какую проявляют издательства при выпуске некоторых книг, нельзя не остановиться и на поэме Дмитрия Петровского «Святослав», вышедшей в «Советском писателе». Поэма оставляет впечатление крайнего сумбура. Видимо, автором прочтено много книг по истории Руси, но все это прочитанное предстает в поэме хаотическим смешением имен, фактов, географических наименований. Даже там, где Дмитрий Петровский пытается внести нечто собственное, новое в понимание истории, делает он это чрезвычайно наивно. Все мы знаем, например, что теория об образовании русского государства пришельцами из Скандинавии Рюриком, Трувором и Синеусом — это ложная теория, отразившая низкопоклонство известной части нашей исторической науки перед Западом. Петровский пытается опровергнуть эту теорию.

Но как он это делает? Он отнюдь не пробует опровергнуть в целом миф о пришествии трех скандинавских князей, якобы основавших Русь, он отнюдь не пытается показать подлинную историческую картину жизни Руси того времени. Нет, он идет по примитивному пути подыскания русских звучаний для имен Рюрика, Синеуса и Трувора, и таким образом пытается доказать русское происхождение этих мифических варягов. Он придумывает некоего Юр-Рюрика, то есть Рюрика-на-Юру:

Гей, он дружины был Трувором,  
Как волны, буен разговором,  
Был сивоус, хоть был он молод,  
Хоть сирым усом был убрат,  
Он был душой, как песня, млад.

Что все это значит? Где тут кончается поэзия и начинается исторический произвол, ничего общего не имеющий с реальной заинтересованностью в восстановлении действительной исторической истины? Все это не больше как ложная, беспредметная и ничем не оправданная формальная игра словами.

Не более оправдан и образный строй этой поэмы, и ее язык.

Что значат, например, такие причудливые афоризмы:

Хоть чту и в мраморе я гения —  
Мне выше птица на лету

Или:

...кий не перебьет соломы,  
покуда дар зерна не светит

Или:

Я песней скифа чествую,  
вещаньем государствую.

Значительная часть поэмы Петровского написана таким нечеловеческим языком. Содержание ее весьма смутно. Петровский хочет славить славянскую старину, славянское ратное содружество, но воспевает он, главным образом, лишь подвиги князей, перекраивая и неоправданно искажая народные былины и предания. Русского народа в его поэме нет. Сумбур звуков, странных рифм, полубредовых образов — вот из чего состоит поэма «Святослав». Я считаю эту вещь Петровского отрыжкой декадентства, которое ничем не становится лучше оттого, что автор уже не первый в истории русского поэтического декаданса избрал предметом своих упражнений русскую историю и облачился в псевдославянские одежды.

Издание поэмы — на мой взгляд, ошибка и поэта, и редактора, и издательства.

Наша передовая поэзия решительно отбрасывает в сторону все попытки навязать ей пути декадентства. Никакие разговоры об «эксперименте» не помогут поэме Петровского. Никакие ссылки на «своеобразие» художественной манеры тут не спасают положения. Мы за всяческое своеобразие, но тогда, когда оно служит великому делу борьбы за коммунизм, а не воскрешает пороки поэзии прошлого.

## V

Наша страна сегодня близка к реальному осуществлению коммунизма. Советский Союз стал могучей силой, на нас опираются в своих стремлениях к миру и свободе все демократические страны мира, на нас устремлены взоры всего свободолюбивого человечества.

В нашей поэзии должен громко, на весь мир, звучать голос правды, добра, справедливости.

С радостью мы должны отметить, что наши поэты начинают поднимать свой голос против поджигателей войны, за мир, за демократию. В «Литературной газете» и в толстых журналах за последнее время был напечатан ряд стихотворений такого характера. Среди них нужно отметить некоторые публицистические вещи А. Суркова («Возвысьте голос, честные люди», «Чикагскому фабриканту»), С. Маршака (многочисленные сатирические эпиграммы и памфлеты), С. Наровчатова («Костер»), П. Антокольского («Послание на дальний Запад»), отрывок из поэмы Веры Инбер «Путь воды», стихи С. Гудзенко («Мир и война»), Н. Старшинова («Старая гречанка»), В. Саянова («Грекам Маркоса»), М. Голодного («Суд линча»), Ю. Гордиенко («В южной Корее») и другие.

Однако далеко не все эти стихи отмечены той силой публицистического гнева и накала страсти, какие отличали стихи Маяковского на международные темы. И дело тут не только в разнице талантов, а в том, что для Маяковского его выступления на международные темы были органической частью поэтической и политической биографии, а для ряда наших современных поэтов переход от лирики к публицистике, к стихотворному памфлету, к сожалею, сопряжен с «издержками производства». Не все наши поэты умеют перевести свои чувства граждан на язык поэзии. Слишком часто сказываются навыки отвлеченной поэтической работы «вообще», без точного прицела и адреса.

Нет у многих поэтов и настоящего знания материала. Отсюда, например, то недоразумение, которое произошло в стихах Е. Шевелевой «В вестминстерском аббатстве». Несмотря на то, что автору довелось побывать в Лондоне, Шевелева, описывая его, называет английскую леди «мадам», считает Вестминстерское аббатство местом богослужения, а английского священника называет пастором. Лондонцы, по мнению автора, часто ходят в «чайные». Все это, конечно, развесистая клюква. Она не к лицу советским литераторам.

И однако эти частные ошибки не должны смущать тех поэтов, которые всерьез принимают за большие новые темы.

Поистине историческим качеством, воспитанным в советских людях за три десятилетия революции, является чувство дружбы между народами. Особенно горя-

чие симпатии советских людей возбуждают те народы, которые в своей борьбе за свободу высвободились от иностранного влияния и вышли на самостоятельный путь исторического развития.

Здесь следует упомянуть стихи о Закарпатье, которые опубликовал в «Знамени» Семен Гудзенко, много ездивший по этой самой молодой области Советского Союза, встречавшийся с рядовыми труженниками Закарпатья.

Значительно в стихах Гудзенко то ощущение исторических перемен, которым проникнуты строфы, рисующие возникновение новых общественных отношений в Закарпатье — самой молодой части СССР. Гудзенко не довелось видеть своими глазами ни революции, ни гражданской войны в России, он даже не успел быть участником первой сталинской пятилетки, коллективизации в деревне и знает обо всем этом только из книг и рассказов старших товарищей. И вот перед ним как бы возникают в своем новом рождении многие из этих процессов в Закарпатье. Особенно сильно стихотворение об украинском трактористе, который распахал узкие межи крестьянских наделов, ибо иначе было невозможно работать на тракторе. В результате — крестьяне решают организовать колхоз. Гудзенко говорит о новом строе общественных отношений, который возникает в Закарпатье. Стихи его свежи и интересны по выполнению, хотя, может быть, и не всегда достаточно глубоки.

В них есть ощущение того, что не даром лилась кровь советских людей во время войны, что в мире стало чище, просторней.

Гордость своим временем, своим веком, своей социалистической державой, ощущение близости коммунизма — вот что все чаще становится предметом лирического изображения в нашей поэзии.

Прекрасный образ советской пионерки, являющийся символом молодости нашей страны, нарисовал в одном из своих стихотворений Ярослав Смеляков:

У моей двоюродной сестрички  
твердый шаг и мягкие косички.

Аккуратно платьице пошито,  
белым мылом лапушки помыты.

Под бровями в солнечном покое  
тихо светит небо голубое.

Нет на нем ни облачка, ни тучки.  
Детский голос. Маленькие ручки.

И повязан крепко для примера  
красный галстук, галстук пионера.

Сохранит аленушкино братство  
нашей революции богатство.

Вот она стоит под небосводом,  
в чистом поле, в полевом венке —

против вашей статуи свободы  
с атомным светильником в руке.

Это небольшое стихотворение — целая программа, противопоставленная советским поэтом враждебному нам миру зла и насилия, миру буржуазных отношений. И сила этих строф, думается мне, заключается в том, что большая политическая идея здесь выражена подлинно лирическими средствами. Это редкая, радостная для нашей поэзии удача. Очень весомо, полно политической страсти и новое стихотворение Смелякова «Сердце Байрона», посвященное борьбе греческих демократов против англо-американских порабощателей.

Большую идею воплотил С. Маршак в своей балладе «Быль-небылица». Эпиграфом к этому произведению Маршак взял слова В. И. Ленина:

«Внуки наши, как диковинку, будут рассматривать документы и памятники эпохи капиталистического строя. С трудом смогут они представить себе, каким образом могла находиться в частных руках торговля предметами первой необходимости, как могли принадлежать фабрики и заводы отдельным лицам, как мог один человек эксплуатировать другого, как могли существовать люди, не занимавшиеся трудом...»<sup>1</sup>

В соответствии с этим замечательным ленинским эпиграфом Маршак рисует живую сценку сегодняшнего московского быта. От летнего ливня в подъезде большого старого дома укрылись мальчишки пионеры и два маляра, возвращавшиеся домой с работы. Ливень затянулся, и старики маляры вступают с детьми в неприкрытую беседу. Беседа начинается с вопроса о том, кому принадлежит этот дом. Пионеры по-разному отвечают на этот вопрос: один говорит, что дом ничей,

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. XXIV, стр. 270.

другой — что дом принадлежит СССР, третий утверждает, что это собственность Моссовета. Закурив, старик не спеша рассказывает мальчикам о дворянке, дочери камергера Хитрово, которой принадлежал этот дом до революции. И тут начинает раскрываться дикая, непонятная для советских детей картина жизни старого буржуазного общества. С искренним удивлением они узнают, что в старое время простых людей груды никогда не награждали орденами, пионерам непонятно — на какие средства жила дочь камергера, раз она не работала. Детям, выросшим при советском строе, кажется нелепым, как это могли в старое время продавать заводы:

— Да что вы, дедушка! Завод  
Нельзя продать на рынке,  
Завод — не кресло, не комод,  
Не шляпа, не ботинки!

Маршак утверждает в этой своей вещи очень серьезную идею — новизну тех общественных отношений, которые созданы в СССР, их высокую человечность и справедливость. С гордостью рассказывает маляр, что внук его учится в суворовской школе и может в будущем стать советским генералом. А ведь об этом не могли и помыслить рабочие люди до революции. Маляр говорит: «Я не учен, зато мой внук проходит полный курс наук».

«Быль-небылица» — одно из наиболее ярких, веселых и в то же самое время глубоких, политически насыщенных стихов Маршака.

Заслуживает внимания и новая поэма Анатолия Софронова «Слово Сталина». В поэме глубокий волнующий замысел. Это поэма о партии, об ее исторических путях, о ее победах. Но подобный замысел требует и большей широты охвата жизни и большей глубины в показе тех величественных явлений, о которых говорится в поэме, чем это мы находим сейчас у Софронова. В поэме есть вдохновенные, сильные строфы. Таковы, например, строки, посвященные книгам Сталина, да и некоторые другие места. И однако в целом всю свою довольно большую поэму Софронов ведет на однообразной, утомляющей читателя интонации восклицания. В результате, в ней больше горячности, чем глубины. И, признавая ее хорошо задуманной, приходится сказать о ней, что она

отвечает глубине замысла только в некоторых своих частях.

Стихи Маргариты Алигер, опубликованные двумя большими циклами в «Новом мире» и «Знамени», являются прекрасным ответом критику С. Тругубу. Маргариту Алигер в ее лирике отличает высокая честность, прямота, то святое чувство неуспокоенности, которое отвечает новаторскому духу исканий советского человека. У Маргариты Алигер есть понимание исторической значимости совершающихся в нашей стране дел. В одном из своих новых стихотворений Алигер рассказывает о странном сне: ей снится, что она лежит на морском дне, где нет ни дум, ни забот, где в вечном покое стоит тяжкий многопудовый слой зеленоватой воды.

И, боже мой, как хочется тогда  
в мир вечных битв, волнений и труда,  
в сороковые милые года.

Влюбленностью в мир земных, подчас очень трудных дел своего народа и поколения, ясным сознанием исторического смысла этих дел продиктованы умные и строгие строки поэтического раздумья Алигер:

А наши судьбы, помыслы и слава,  
мечты, надежды, радость и беда,  
сейчас еще расплавленная лава,  
текущая в грядущие года.  
Ничто не затерется, не сгинет.  
И эта лава, наших судеб сплав,  
от дуновенья времени остынет,  
прекраснейшие формы отыскав.

Цельным и верным чувством эпохи исполнены стихи Маргариты Алигер о нашем пути к коммунизму. Они точны, ибо прочно прикреплены к времени, они верны, ибо как бы изнутри высвечены партийной мыслью. Маргарита Алигер пишет о наших днях, ясно ощущая близость «коммунистического завтра», о котором когда-то так неистово и страстно мечтал Маяковский.

Что там за четвертой пятилеткой?  
Цель все зримей. Точен наш маршрут.  
В будущее первую разведкой  
Стал людской самозабвенный труд.

Если от величайшего поэта революции коммунизм был скрыт за «горами времени», то теперь для нас он уже почти рядом. С подлинно поэтической осязатель-

ностью Алигер говорит о том, что дерево, которое сегодня рубит лесоруб, при коммунизме станет домом или дымом над трубой, что сталь, которую сегодня варят в Запорожье, при коммунизме обернется уже «самолетом, трактором, пером».

Все крепчает в сердце ощущение:  
Лучшее свое стихотворенье  
Я при коммунизме напишу.

В своем замечательном стихотворении «Счастье», опубликованном недавно в «Комсомольской правде» и уже отмеченном нашей критикой, Алигер горячо и проникновенно говорит об участии новых поколений советских людей, о своих дочерях, которым она завещает в наследство мужество, трудные, прямые пути борьбы. Прекрасной мечтой звучат заключительные строки этого вдохновенного лирического этюда:

Осторожно штору приоткрою.  
Ясной вспышкой небо озарится.  
Что это? огни далеких строек?  
Коммунизма близкая зарница?  
Ночь на миг дыханье задержала.  
Люди спят. Наполнен воздух снами.  
И тридцатилетняя держава  
Бережно склоняется над нами.

Новые стихи Маргариты Алигер — это принципиальная дорога нашей лирики. В них нет и тени нытья, пессимизма, в них есть понимание суровой непреклонности нашего времени и в то же время светлая, чистая, предельно искренняя вера в будущее, в близкий уже коммунизм.

А вот перед нами кардинально противоположный ответ на тот же самый вопрос о пути поколения, который ставила перед собой Маргарита Алигер, — ответ, данный Всеволодом Рождественским в его стихотворении «Дочери Наташе», опубликованном в новой книге поэта «Родные дороги». Настораживает уже само начало этого стихотворения — своей олеографической красотью:

Наследница души моей крылатой,  
Цветок, который выращен в груди,  
Все, чем я жил и чем пылал когда-то,  
Прими как дар и вместе с ним иди.

Назвать свою дочь цветком, выращенным в груди, — верх литературной безвкусицы, но дело не только в этом.

Храни мое заветное наследство, —  
Отстой раздумий, горя и удач, —

призывает поэт. Он зовет свою дочь быть похожей на пушкинскую Татьяну, читать те книги, которые читал и любил отец. А ведь ни для кого не секрет, что в свое время Рождественский был эстетом, сторонником «мраморной» поэзии, удаленной от суеты мирской, исповедывал теорию искусства для искусства.

Поэт предупреждает:

Не в силах я спасти от злых ошибок,  
Замкнуть тебя в спокойствие и тишь, —  
Ведь все равно наш путь был крут и  
зыбок,

И ты его невольно повторишь.

Чем отличается философия этих строк от философии мировой скорби, теории вечного повторения одних и тех же «кругов», от так называемой философии пифагорийцев? Единственный идеал, который поэт завещает дочери — это доброта.

К ней зовет поэт:

Но не вверяй неправой укоризне  
Души своей, возвращенной добротой.  
И ты пройдешь по этой трудной жизни,  
Как шел я сам, крылатою стопой.

А где же борьба, где же дела современников в этом стихотворении? Рождественский писал во время войны стихи, направленные против врагов, славил Красную Армию. Некоторые из этих стихов вошли и в его новую книжку. Правда, большого художественного значения они не имеют. А вот в этом стихотворении поэт снова захотел оправдать свои прошлые ошибки и не только оправдать, но и завещать их новому поколению. «Крылатая стопа», явно заимствованная у акмеизма, здесь вообще не при чем. Ничего крылатого в этом пути не было.

Тот факт, что почти одновременно могли появиться такие стихи, как замечательная вещь Алигер «Счастье», и такое порочное, реакционное по своей философии стихотворение, как «Дочери Наташе» Рождественского, говорит о том, что в нашей поэзии происходит борьба, что сторонники «чистого искусства» еще пытаются отстаивать свои позиции.

Выше я говорил о Межирове, о неверных, больных тенденциях в его стихах. Но вот появилась новая вещь молодого поэта, опубликованная в «Знамени» (№ 2

за 1948 год), прекрасное стихотворение «Коммунисты, вперед», посвященное ведущей роли нашей партии в жизни советского общества и свидетельствующее о росте здорового жизнеутверждающего начала в творчестве Межирова.

Но повсюду, где скрещены трассы  
свинца,  
 Или там, где кипенье великих работ,  
 Сквозь века, на века, навсегда, до  
конца,  
 Коммунисты, вперед, коммунисты,  
вперед!

Так кончается это стихотворение, исполненное огня и таланта.

«Хочу снять заставить заново величайшее слово — партия», — говорил Маяковский.

Пусть эти слова станут руководящей звездой нашей поэзии. Партия — это одна из самых поэтических тем нашего времени, не раскрытая еще должным образом в нашей поэзии. В мире, где снова и снова поднимают свой голос слуги доллара — поджигатели войны, где снова выплывает со дна вся муть, вся грязь старого общества. — пусть раздастся голос советского поэта-трибуна.

---

Поэзия наша идет сложными, подчас противоречивыми путями. Нередко отдельные звенья ее еще подвергаются чужеродным влияниям, нам надо со всей энергией продолжать ее очищение от наносной грязи декадентства, помогая ряду старых

поэтов освобождаться от присущих их творчеству крупных идейных изъянов и пороков. Борьба за активную и волевою, действительную поэзию, поэзию школы Маяковского — еще далеко не доведена до конца. Во многом нашей поэзии еще присуща крикливая риторика, поверхностное скольжение по злободневным темам. Сравнительно скромны, если сопоставить их с достижениями прозы, послевоенные достижения наших поэтов. Еще более скромны они по сравнению с теми делами, которые творит наш народ. Поэзия наша сильно отстает от времени, от живой практики современности.

1947 год был для поэзии тяжелым, переломным годом. Темы труда, творчества, созидания, международные темы, тема партии, которые должны теперь встать в центре всего нашего литературного движения, еще не сделались генеральными темами нашей поэзии. Есть у нас первые успехи в области колхозной поэмы, есть первые успехи в области лирики нового типа, но темы стройки, темы созидания, индустрии, новаторского творчества наших рабочих, инженеров, ученых еще не заняли должного места в творчестве советских поэтов. Слаб пока и поэтический отклик на важнейшие международные события и вопросы.

Будем верить — и своими конкретными делами подтверждать обоснованность этой веры в то, что нашей поэзии предстоит в самом близком будущем большой расцвет. Все мы помним слова товарища Жданова о том, что партия заинтересована в изобилии духовной культуры. Поэзия — часть этой культуры. Не будем забывать, что мы строим культуру коммунистическую.



## ЗАБЫТЫЕ СТРОКИ

(Маяковский в Прессбюро ЦК РКП(б) в 1923 — 1924 гг.)

С. КАРОВ

★

*Я от партии не отделяю себя и считаю себя обязанным выполнять все постановления большевистской партии, хотя и не ношу партийного билета.*

В. Маяковский.

**В** 1923 году Владимир Маяковский выпустил сборник стихов «Вещи этого года». В предисловии к сборнику, датированном 25 июля, автор писал: «Эти 12 месяцев работал больше, чем когда-либо.

Для нас, мастеров слова России Советов, маленькие задачи чистого стиходелания отстают перед широкими целями помощи словом строительству коммуны.

В этот же год мною написаны многие агитлубли: «Вон самогон», «Ни бог, ни ангелы бога человеку не подмога», а также многочисленные вещи в горьких и деревенских бюллетенях ЦК.

Вполне отвечая за эти вещи, не помещаю здесь, считая их, по словесному мастерству, производными от вещей, печатаемых в этой книге.

Образцом даю «О том, как у Керзона...»<sup>1</sup>

1

О сотрудничестве Маяковского в городских и деревенских бюллетенях ЦК было известно давно. В. Тренин в своих комментариях ко второму тому Полного собрания сочинений В. В. Маяковского сообщает, что в них были впервые напечатаны стихотворения: «17 апреля», «На земле мир, во чужеземцах благоволение» и

<sup>1</sup> В. В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 12 томах, том 2. М. 1939, стр. 507. В дальнейшем все ссылки даются по этому изданию.

статья «С неба на землю». Номера бюллетеней установить не удалось, так как они сохранились только в вырезках.<sup>1</sup> О том, что в бюллетенях ЦК был впервые напечатан один из агитлубликов, вошедших в сборник «Обряды» («Крестьяне, собственной выгоды ради...»), сообщает и составитель пятого тома.<sup>2</sup>

Этим, однако, все сведения и ограничивались.

Чем же, в таком случае, руководствовался Маяковский, называя «вещи», сделанные им для бюллетеней ЦК, «многочисленными»?

На собранном нами материале мы постараемся показать, что никакого преувеличения выражение «многочисленные» в себе не содержит. Очень точно и верно отражает оно активное и весьма плодотворное участие великого поэта в работе Прессбюро агитпропа ЦК РКП(б), издававшего бюллетени, — участие, принадлежавшее до сих пор к числу наименее исследованных периодов жизни и творчества Маяковского. Представляется возможным не только полностью расшифровать этот период и проследить его шаг за шагом, но и познакомиться с рядом таких «вещей», о существовании которых было трудно даже предполагать.

<sup>1</sup> В. В. Маяковский, том 2, стр. 606, 662.

<sup>2</sup> Там же, том 5, стр. 696.



## 2

Во второй половине ноября 1922 года было создано Прессбюро при отделе агитации и пропаганды ЦК РКП(б).

Прессбюро ставило себе целью снабжать местную партийную и советскую печать высококачественными статьями, очерками и фельетонами на все темы дня; обслуживать эту печать путем привлечения для сотрудничества в ней виднейших советских литераторов и публицистов; представлять от нее на всяких съездах, конференциях, процессах и торжествах.

Чтобы лучше решить эти задачи, Прессбюро приступило в декабре 1922 года к изданию специальных бюллетеней (упомянутых Маяковским в его предисловии под названием «бюллетеней ЦК»). Выходило два бюллетеня ЦК: один — городской («А») — для губернских газет, рассчитанных, по преимуществу, на городского читателя, и другой — деревенский («Б») — для уездных газет, предназначенных, по преимуществу, для читателя-крестьянина. Кроме того, с января 1923 года Прессбюро приступило к изданию литературного приложения, рассылавшегося вместе с бюллетенем «А».

Бюллетени выходили четыре раза в неделю (два раза — городской и два — деревенский). Литературное приложение — еженедельно. В розничную продажу ни бюллетени, ни приложение не поступали, а рассылались по подписке только редакциям газет и журналов. Тираж их не превышал 200 экземпляров.

Печатались бюллетени на машинке, на одной стороне листа, через восковку, и затем размножались при помощи ротатора.

В бюллетенях сотрудничали: М. И. Калинин, Л. М. Каганович, Н. К. Крупская, Ем. Ярославский, А. В. Луначарский, Клара Цеткин, О. Куусинен и другие партийные работники; В. В. Маяковский, Н. Н. Асеев, Демьян Бедный, В. И. Лебедев-Кумач и другие писатели и поэты.<sup>1</sup>

Весьма характерно, что имя Маяковского — единственное из всех — встречается дважды: как в еписке сотрудников основных бюллетеней, так и в особом списке сотрудников литературного приложения.

<sup>1</sup> См. список авторов бюллетеней, напечатанный в 1923 году в журнале «Красная печать» (№ 11, 12).

Это вполне соответствовало взглядам Маяковского на место поэта «в рабочем строю».

## 3

Маяковский всегда придавал исключительное значение своей работе в газете и относился к ней с величайшей ответственностью. Он считал подобную работу одним из самых высоких видов литературной деятельности.

Газета — это не чтение от скуки;  
газетой с республики грязь скребёте;  
газета — наши глаза и руки,  
помощь ежедневная в ежедневной работе.<sup>1</sup>

— «Чистые» литераторы орут: газета снижает стиль... Ерунда! — заявлял Маяковский. — Газета не только не располагает писателя к халтуре, а, наоборот, искореняет его неряшливость и приучает к ответственности... Дайте, товарищи, по рукам тем, кто будет приравнять газетную работу к халтурной работе.

Он требовал, чтобы писатель шел в газету и не только довольствовался простым вхождением в нее, но и органически сросся с ней, «вработался» в газету, потому что «сегодня быть поэтом-газетчиком значит подчинить всю свою литературную деятельность публицистическим, пропагандистским, активным задачам строящегося коммунизма».

Он был решительным противником всяких самодовлеющих «литературных страничек» в газете. Когда, уже значительно позже, в период его сотрудничества в «Комсомольской правде», кое-кто стал упрекать Маяковского, что он способствовал затиранию «литературной страницы» в этой газете, поэт ответил: — Да, я открыто стремился к тому, чтобы она сдохла. Кому нужно, чтобы литература в газете занимала свой особый угол? Либо она будет во всей газете каждый день, на каждой странице, либо ее совсем не будет. Гониме к чёрту такую литературу, которая подается в виде десерта...

Естественно, что когда Маяковскому предложили сотрудничать в бюллетенях ЦК, он с радостью принял это предложение.

<sup>1</sup> В. В. Маяковский, том 8, стр. 372.

4

Может быть, нелишне проследить прямую связь и, пожалуй, даже известную преемственность между работой Маяковского в «Окнах сатиры Роста» и его же сотрудничеством в бюллетенях ЦК.

Связующим звеном здесь является листок «Агит-Роста», выходящий в 1919—1921 годах в издании Российского телеграфного агентства (Роста) и помещавший на своих страницах материалы для местных газет.

В отличие от бюллетеней ЦК, листок «Агит-Роста» печатался в типографии. Он выходил ежедневно, газетным форматом, причем материалы печатались только на одной стороне листа с пробелами между статьями, чтобы удобно было их вырезать для сдачи в набор.

В «Агит-Роста» 10 августа 1921 года была напечатана статья Маяковского «Умер Александр Блок».

Через 6 дней — 16 августа — в «Агит-Роста» появилось стихотворение Маяковского «Неразбериха». Оно тогда называлось «Наш быт (№ 1)».

Очевидно, Маяковский задумал в то время написать серию таких стихотворений. Следующее должно было называться «Наш быт (№ 2)». Но в конце 1921 — начале 1922 года листок «Агит-Роста» прекратил свое существование, и Маяковский дал «Наш быт (№ 2)» в «Известия ВЦИК».

Это и были знаменитые «Прозаседавшиеся», получившие вскоре высокую ленинскую оценку.

Одновременно с листком «Агит-Роста» перестали выходить (в конце января — начале февраля 1922 года) и «Окна сатиры Роста». В начале 1922 года агентство, согласно решению ЦК, ликвидировало все свои побочные задачи, в том числе издание агитплакатов и инструктирование печати, и передало: первое — Главполитпросвету, а второе — Отделу агитации и пропаганды ЦК.

В течение некоторого времени выходила «Помощь газете», выполнявшая те же обязанности, что и листок «Агит-Роста». В листке «Агит-Роста» активно сотрудничал в 1921 году Дмитрий Фурманов. Он напечатал в нем ряд статей о работе среди беспартийных. Обнаружили мы в листке «Агит-Роста» и малоизвестную статью

А. М. Горького «Этих людей нужно ценить» (о помощи ученым).

5

Одним из первых произведений Маяковского, появившихся в 1923 году при посредстве Прессбюро в местной печати, следует считать статью-очерк «Сегодняшний Берлин». Статья эта осталась забытой и не вошла ни в один сборник и ни в одно Полное собрание сочинений великого поэта. Мы обнаружили ее в белорусской республиканской газете «Звезда», в номере от 4 февраля 1923 года, а также в газетах Тамбова, Саратова, Челябинска, Краснодара, Барнаула, Семипалатинска и других городов.

9 октября 1922 года В. В. Маяковский выехал в Берлин, а оттуда в Париж. 13 декабря он вернулся в Москву. С этого момента, совпавшего во времени с выходом первых бюллетеней ЦК, и началось, очевидно, сотрудничество поэта в Прессбюро.

За несколько дней до отъезда за границу Маяковский выступил в Большом зале консерватории с чтением поэмы «V Интернационал».

«Слякоть и осенняя унылость не мешали публике собраться на вечер», — говорится в опубликованном в день отъезда газетном отчете. — «Я уезжаю в Европу, как хозяин, посмотреть и проверить западное искусство», — так заявил Маяковский в своем вступительном слове.<sup>1</sup>

Смотрел и проверял, однако, Маяковский не только искусство. Как хозяин, с точки зрения самого передового и прогрессивного в мире советского человека, подходил он ко всем явлениям западно-европейской жизни, что врезались «в сердце и в глаза», в том числе, конечно, и к явлениям политическим.

«Сегодняшний Берлин» продолжает серию заграничных впечатлений Маяковского, начатую стихотворением «Как работает республика демократическая» (май 1922 года).

Не случайно эта статья открывается признанием: «Я — человек, по существу, деревенский. Благодаря такому характеру, я однажды побывал в Латвии и, описав ее,

<sup>1</sup> «Вечерние известия». М. 3 октября 1922 года.

должен был второй раз уже объезжать ее морем».

Описал ее, как известно, Владимир Маяковский в результате своей первой поездки за границу 2—13 мая 1922 года.

Это было первое столкновение поэта с современной западной буржуазной «культурой», первое его свидетельство о ней, как человека, «очевидешего благоустройства заграничные»

В своем стихотворении Маяковский вдрызг высмеивает и издевается над буржуазной «демократией», буржуазной «свободой печати» и прочими побрякушками, способными в наш век ввести в заблуждение лишь очень наивных людей.

Буржуазную «свободу печати» Маяковский испытал на себе чуть ли не в первые же дни своего пребывания за границей. Он сам рассказал об этом с нескрываемой иронией по адресу всех, кто еще преклоняется перед заграничной «культурой» и не способен разглядеть ее истинного лица.

— О, да, конечно,— иронизирует Маяковский,— там...

... свободно —  
печатай сколько угодно!  
Кто не верит,  
убедитесь на моем личном примере.  
Напечатал «Люблю» —  
любовная лирика.  
Вещь — безобиднее найдете в мире-ка!  
А полиция хоть бы что!  
Насчет репрессий вяло  
Едва-едва через три дня арестовала.

Поэма Маяковского «Люблю», вышедшая во время пребывания Маяковского в Риге, в издании «Арбейтерхейм» («Рабочий дом»), была действительно через несколько дней после выхода конфискована полицией. Уже после присоединения Латвии к Советскому Союзу там были найдены документы, показывающие, с какой тщательностью следили буржуазные «демократы» за каждым шагом великого «агитатора, горлана-главаря», как боялись его.

Едва Маяковский приехал в Ригу, как с его паспорта, сданного для прописки, сняли копию, а имевшуюся в паспорте карточку размножили и роздали шпикам. Было заведено «дело», и в графе «суть обвинения» четким каллиграфическим почерком выведено: «работник просвещения — работник представительства Советской России».

По пятам поэта ходили опытейшие агенты буржуазно-«демократической» разведки. Однажды Маяковский заглянул во

время прогулки в книжный магазин. Как только он ушел, продавца подвергли перекрестному допросу: какими книгами интересовался «опасный иностранец»?

Поэму «Люблю» не просто конфисковали, а устроили «суд», когорый постановил: поскольку «Люблю» «натравливает одну часть населения на другую», немедленно арестовать поэму и уничтожить.

Интересная деталь. Маяковский словно предвидел, что западноевропейские ревнители «свободы слова» не простят ему той острой критики буржуазно-«демократического» строя, которая содержится в стихотворении «Как работает республика демократическая». Отсюда иредусматрительное: «кой о чем приходится помолчать условиться, помните пословицу: не плюй вниз в ожидании виз».

Во второй раз ему действительно пришлось уже объезжать Латвию морем.

## 6

Маяковский приехал в послеверсальскую Германию осенью 1922 года, когда везде еще заметны были следы войны и разрухи.

«При въезде в Берлин поражает кладбищенская гишь (сравнительно), — делится Маяковский с читателем своими впечатлениями о Германии в очерке «Сегодняшний Берлин». — Прежде всего результаты того же Версальского хозяйничанья... Конечно не удивляешься, что постепенно тухнут, темнеют и омертвечиваются улицы, — изпод рельс начинает прорастать трава, пунктуальность, размеренность жизни — дезорганизуется.

Рядом с этой внешней — страшная внутренняя разруха.

У прекрасного берлинского художника Гросса есть рисунок — что будет, когда доллар дойдет до 30 т. марок: нарисована полная катастрофа. Легко понять, что делается в Германии сейчас, если принять во внимание, что этот самый доллар стоит уже 26.000 марок!

Доллар — это тот термометр, которым мир измеряет тяжкую болезнь германского хозяйства. Отражение этой болезни внутри Германии: страшный рост спекуляции, рост богатства капиталистов, с одной стороны, и полное обнищание пролетариата, с другой... Понятно поэтому, что Германия наиболее вулканизированная революцией страна. Здесь еженедельно вспыхивают револю-

ционные выступления (во время моего пребывания, например, был целый бой у цирка Буша: рабочие выгоняли засевших националистов); ежедневно нарастают различнейшие забастовки — борются все — от кондукторов подземной железной дороги до актеров»...

Свои впечатления Маяковский изложил также в докладе «Что Берлин?», прочитанном около 20 декабря 1922 года в Политехническом музее, и в стихотворении «Германия», опубликованном 4 января 1923 года в «Известиях». Стихотворение вместе с докладом как бы дополняет статью и дает очень точную, верную характеристику положения Германии в этот период. Устами «рабов всемогущих Стиннесов» поэт говорит:

У них доллары.  
Победа дала.  
Из унтерденлинденских отелей  
ползут,  
вгрызают в горло доллар.  
пируют на нашем теле.

Очень похоже на поведение американцев в Бизонии в наши дни!

В докладе «Что Берлин?» интересные впечатления Маяковского о белоэмигрантской литературе. «На крайнем правом фланге этой литературы, — рассказывал он, — стоит Андрей Белый. Он поистине теперь такой белый, что даже кажется черным... Амфитеатров обливает грязью Россию в своих заметках о Руре... Игорь Северянин продает свое перо распивочно и на вынос за эстонскую похлебку и пишет, что он «не может признать советское правительство, которое лишило его уюта, комфорта и субсидии»... Эмигрантская литература не дала ни одного крупного произведения. Она бледна, скучна и бесцветна. Литературный костер эмиграции чадит и дымит угаром. Свет идет с Востока»<sup>1</sup>.

## 7

Другое произведение Маяковского, написанное им в начале 1923 года для местной печати, — это статья-очерк «Парижские провинции».

Обращает на себя внимание уже одно заглавие. С такой меркой к Парижу еще никто не подходил.

«Восемь лет Париж работал без нас. Мы работали без Парижа. Я въезжал с трепетом, смотрел с самолюбивой внимательностью.

А что если опять мы окажемся только Чухломоу?» — признается поэт в «Записках Людогуса», опубликованных 24 декабря 1922 года в «Известиях».<sup>1</sup>

Опасения его скоро рассеялись.

Никогда не виданными в истории темпами советский народ уже в первые годы существования нашего государства далеко обогнал в культурном отношении другие страны, и естественно, что в глазах поэта-патриота, свободного от какого бы то ни было раболепия перед границей, одна из величайших столиц мира, считавшаяся средоточием буржуазной культуры, стала выглядеть каким-то захолустьем.

«Раньше было так: были в России провинции, медвежьи углы и захолустья, — пишет Маяковский. — Где-то далеко были российские столицы — широкие, кипящие мировыми интересами. А совсем над всеми был Париж — сказочная столица столиц!

И здесь, как и во всем, Октябрьской революцией сделан невероятный сдвиг.

Мы даже не заметили, как наши провинциальные города стали столицами республик, федераций, как городки стали центрами огромной революционной культуры и как Москва из второсортных городов Европы стала центром мира.

Только в поездке по Европе, в сравнении, видишь наши гулливеровские шаги.

Сейчас Париж для приехавшего русского выглядит каким-то мировым захолустьем.

Все черты бывшей нашей провинции налицо.

Во-первых, страшно купое, ограниченное поле зрения, узкий круг интересов...

Во-вторых, самая затхлая, провинциальная сплетня. Кому сейчас в Москве придет в голову интересоваться: курица или телятина была сегодня у Иванова в супе, а в Париже мои случайные знакомые лучше знали, сколько я получаю в России построчных, нежели даже я сам. Париж — пристанище мировой эмиграции. Эмиграция, что ли, эту гадость рассадила?

В-третьих — разевание рта на столич-

<sup>1</sup> Единственный отчет о докладе см. в газете «Известия Одесского губисполкома», 23 декабря 1922 года.

<sup>1</sup> В. В. Маяковский, том 7, стр. 264.

ных — так сейчас ранее ничему не удивлявшийся Париж разевает рот на москвичей. Обладатель нашей красной паспортной книжечки может месяц оставаться душой парижского общества, ничего не делая, только показывая эту книжечку. А если дело дойдет до рассказов, то тут и за 10 часов не оторвешь..

И, наконец, древнее провинциальное обжорство. Нам, выучившимся и любящим насыщаться еще и хлебом работы, нам, привыкшим довольствоваться — пока — самым необходимым, нам, несмотря ни на какой голод, не продающим своих идей и целей, — нам просто страшно смотреть на общую, знаемую всеми и никем не прекращаемую продажность, на интерес огромных кругов, упертый только в еду — в кафе и трактиры»...

Какой высокой патриотической гордостью дышат эти слова, сколько достоинства в них! Вспомним, что это было за время.

Мы только что вышли тогда из опустошительной гражданской войны, блокады и интервенции. Когда Маяковский уезжал за границу, еще не был освобожден советский Дальний Восток. Страна только еще вступала в восстановительный период. И рядом с этим — Париж. «Столица мира». Париж — в блеске победы, в венце из кружев Эйфелевой башни, в огнях ресторанов и кабаков. Париж «во всей невозможной красе».

Великий поэт сразу увидел то главное, что произошло в наших взаимоотношениях с Западом после Октября. Увидел превосходство молодой только что народившейся советской культуры над современной буржуазной «культурой», невероятное убожество, полную опустошенность духовной жизни мещан, всеобщую продажность правящих классов.

Интересно, что Маяковский заметил во Франции 1922 года остановку роста не только духовной, но и материальной культуры.

...«Я обращался ко всем моим знакомым с просьбой указать какую-нибудь стройку, какое-нибудь мирное сооружение последних лет, которое можно было бы поставить в плюс французам. Нет.

Но, конечно, все сказанное мною относится, главным образом, к душевной опустошенности, к остановке роста материальной культуры. Во Франции, даже во вчерашней, есть на что разинуть рот, есть чему по-

учиться... Но это подготовка и работа веков. Для России, разгромленной голодом и войной, придавленной всей предыдущей безграмотностью, — ничуть не меньший факт — первая электрическая лампочка в какой-нибудь деревне Лукьяновке»...

Статья Маяковского «Парижские провинции» была напечатана в газете «Звезда» 17 февраля 1923 года. Других публикаций ее мы пока не обнаружили. В собрание сочинений она тоже не вошла.

## 8

Следующее по времени произведение Маяковского, напечатанное при содействии Прессбюро ЦК в местных газетах, — «На земле мир, во человецех благоволение».

Это стихотворение широко известно и вошло во все сборники и в Полное собрание сочинений Маяковского.

Однако составитель тома ошибочно отнес его к 1922 году на том, повидимому, основании, что, «судя по событиям, являющимся темой стихотворения (греко-турецкая война 1921—1922 гг.), оно было написано в 1922 г.»<sup>1</sup> На самом же деле оно было написано в начале 1923 года, на что прямо указывает имеющееся в стихотворении упоминание об оккупации Рура французами.

«На земле мир, во человецех благоволение» впервые появилось 25 февраля 1923 года в газете «Саратовские известия». В первой декаде марта его напечатали также рязанский «Рабочий ключ», ярославский «Северный рабочий», семипалатинская «Степная правда», уфимская «Власть труда» и многие другие газеты.

В середине марта 1923 года Маяковский написал для бюллетеней Прессбюро ЦК статью «С неба на землю».

Эта статья также известна. Беспощадно громит в ней Маяковский самовлюбленных эстетов, глядящих на мир сквозь запыленные окна своей квартирки, уходящих в сторону от жизни — в так называемое «чистое искусство». Резко и решительно выступает он против упогребления в живой разговорной речи и в статьях всевозможной иностранщины, никому не понятных, ничего уже не выражающих фраз, вроде: «достигло апогея», «дошло до кульминационного пункта», «потерпело фиаско» и т. д. Он

<sup>1</sup> В. В. Маяковский, том 2, стр. 606.

ссылается при этом на Ленина, который еще в 1918 году в статье «О характере наших газет» указывал на недопустимость «политической трескотни» и призывал писать просто, ясно и кратко о том, «как рабочая и крестьянская масса на деле строит нечто новое в своей будничной работе», призывал литераторов быть «поближе к жизни».<sup>1</sup> Вслед за Лениным Маяковский пишет об этих главных задачах советских поэтов и писателей, многие из которых, однако, в то время «забрались в такие заоблачные выси, что их и за хвост не вытащишь...

Надо бы попросить господ поэтов слезть с неба на землю».

К этой теме Маяковский вернулся шесть лет спустя в стихотворении «На что жалуетесь?».

Слезайте  
с неба,  
заоблачный житель.  
Онимайте  
мантис древности.  
Сильнейшими  
узами  
музу вяжите,  
как лошадь —  
в воз повседневности.\*

Статья «С неба на землю» была напечатана 25 марта 1923 года в харьковской газете «Наша неделя», в апреле — в гомельской «Наш понедельник» и в костромской «Красный понедельник», в мае — в минской «Звезде». В «Перечне статей, напечатанных в газете «Красный понедельник» в 1923г., в графе: «Статьи руководящего характера» — упоминается: «В. Маяковский. С неба на землю».

## 9

Небывалая засуха сожгла в 1921 году хлеб на Волге. Голод охватил 23 губернии. Маяковский был до глубины души потрясен размерами бедствия:

Пусть бабы баранки на Трубном нижут,  
И ситный лари Смоленского ломит, —  
Я день и ночь Поволжье вижу,  
Солому жующее, лежа в соломе.\*

В одном из самых сильных своих стихотворений: «Сволочи, гвоздимые строками,

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, том XXIII, стр. 214.

<sup>2</sup> В. В. Маяковский, том 10, стр. 116.

<sup>3</sup> В. В. Маяковский, том 2, стр. 150—152.

стойте немь!» поэт рисует леденящую кровь картину безысходного горя, охватившего тогда Поволжье, и бессовестное отношение к нему американских капиталистов:

«Хлеба!  
Хлебушка!  
Хлеба!»  
Радио ревет за все границы.  
И в ответ  
за нелепицей нелепица  
сыплется в газетные страницы...

Одна из таких нелепиц вызывает особое возмущение автора.

В те дни, когда голод на Волге принял особенно угрожающие размеры, пришло известие, что в Америке топят паровозы кукурузой:

Вашингтон.  
Фермеры,  
доевшие,  
допившие  
до того,  
что лебедками поднимают пузы,  
в океане  
пшеницу  
от излишества топившие, —  
топят паровозы грузом кукурузы...<sup>1</sup>

Эту кукурузу, рожь, пшеницу и другие продукты американские «благотворители» соглашались продать только за золото. Впрочем, они готовы были помочь и «бескорыстно», но взамен требовали «пустяка»: разрешения послать во все пункты, где будет производиться выдача продовольствия, своих уполномоченных. Таким путем небезызвестный Герберт Гувер, возглавлявший тогда так называемую «американскую администрацию помощи» (пресловутую «Ара»), хотел опутать нашу страну сетью своих шпионов.

Советское правительство отвергло эти условия. 16 февраля 1922 года Президиум ВЦИК постановил «немедленно изъять из церковных имуществ, переданных в пользование группам верующих всех религий по описям и договорам, все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать в органы Наркомфина со специальным назначением в фонд Помгола».<sup>2</sup>

Другого выхода не было. Маяковский в одном из своих плакатов усердно агитировал за него:

<sup>1</sup> В. В. Маяковский, том 2, стр. 150—152.

<sup>2</sup> «Известия ВЦИК», 17 февраля 1922.

Каждый рабочий знает, каждый крестьянин знает:  
если купцы жертвовали чаши,  
если помещик золотом отделывал иконостас, —  
для этого граблились прадеды наши,  
для этого заставляли работать нас.  
Нынче народ в нужде, народ по праву  
может взять из храмов и ризу и оправу.<sup>1</sup>

Иначе встретил, однако, это постановление бывший патриарх Тихон. Он объявил изъятие золота из храмов «неканоническим» и призвал верующих к сопротивлению.

Контрреволюционная проповедь Тихона успеха не имела. В подавляющем большинстве случаев изъятие ценностей из храмов прошло организованно, при полной поддержке и сочувствии верующих и духовенства.

На вырученные от продажи ценностей деньги Советское правительство закупило хлеб, семена и спасло от голодной смерти миллионы людей. Государство отправило Поволжью 15 миллионов пудов семян для озимого сева и 39 миллионов пудов для ярового; свыше 4 миллионов пудов семенного картофеля; 27 миллионов пудов муки и крупы.

Этим событиям Маяковский посвятил два стихотворения: «Когда голод грыз прошлое лето — что делала власть Советов? Когда мы побеждали голодное лихо — что делал патриарх Тихон?» и «О патриархе Тихоне — почему суд над милостью ихней?»

Стихи остались забытыми, не вошли в Полное собрание сочинений поэта и были обнаружены нами в местной печати.

### *Когда голод грыз прошлое лето — что делала власть Советов?*

Все знают:  
когда народ в страшные года,  
и скот оголодавший дох,  
и ВЦИК и Совнарком  
и скликали города,  
помочь старались из последних крох.  
Когда жевали дети глины ком,  
когда навоз и куст  
пошли на пищу люду,  
крестьяне знают:  
каждый исполком  
давал крестьянам хлеб,  
полям давал семесуду.  
Когда ж совсем невмоготу  
приплось Поволжью —  
Советским ВЦИКОМ был декрет  
по храмам дан:  
чтоб возвратили золото чинуши божьи —  
на храм помещиком собранное с крестьян.  
И ныне:  
Волга свет,  
в полях пасется скот.

Так власть, в гербе которой  
боролась за крестьянство в самый тяжкий год  
и победила голод...

Стихотворение «Когда голод грыз прошлое лето...» было напечатано в конце марта 1923 года в газетах: «Карельская коммуна», «Воронежская коммуна», «Степная правда»... Отделенное от нашего времени четвертью века, оно имеет, однако, не только историко-литературный интерес. Стихотворение воскрешает в памяти трудные и волнующие страницы борьбы народа за свое существование, «когда жевали дети глины ком, когда навоз и куст пошли на пищу люду», оно показывает, как спасла народ от голодной смерти «очень правильная эта самая Советская власть».

### 10

Указывая на необходимость всячески разоблачать классовую природу тех служителей культа, которые в 1918—1923 годах шли за Тихоном, приступая к постановке «систематической антирелигиозной пропаганды и агитации, как одного из действительных средств расширения партийного влияния на широкие трудящиеся массы»,<sup>1</sup> партия особое внимание обращала на просвещение.

В резолюции XII съезда партии, состоявшегося в апреле 1923 года, настоятельно подчеркивается «работа по школьному просвещению трудящихся города и деревни в духе научного материалистического естествознания».

«Только соответствующая организация школы и подготовка школьного учителя, распространение широкой сети политико-просветительных учреждений, прежде всего, изб-читален, систематическое и планомерное снабжение деревни советской газетой и книжкой и полная и окончательная ликвидация неграмотности, наряду с успехами Советской власти в деле поднятия сельского хозяйства и промышленности, создадут почву для окончательного и полного искоренения религиозных предрассудков в умах десятков миллионов граждан

<sup>1</sup> «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I, стр. 515.

<sup>1</sup> В. В. Маяковский, том 5, стр. 94.

республики»<sup>1</sup>, — говорится в этой резолюции.

Перед нами еще одно забытое стихотворение Маяковского, установка которого полностью отвечает поставленной съездом задаче. Стихотворение это было напечатано 12 апреля 1923 года в минской комсомольской газете «Красная смена», куда оно могло попасть только через Прессбюро ЦК.

### *Не для нас поповские праздники*

Пусть богу старухи молятся.  
Молодым — не след по церквям.  
Эй, молодежь!  
Комсомольцы — призывом летят к вам:  
Что толку справлять Рождество?  
Елка — детям только.  
Поставят елки ствол  
и топчут вокруг полки.  
Коммунистово Рождество —  
день Парижской Коммуны.  
В нем родился и со дня с того  
коммунизм растет юный.  
Кровь, что тогда лилась  
Парижем и грязью предместий,  
Октябрем разгорелась,  
разбуряясь рабочей мезью.  
Мы вызнали правду книг.  
Книга — невежд лекарь.  
Ни земных, ни небесных иг  
не допустим к спине человека...  
Не нам поп — няня.  
Христу отставку вручите.  
Наш наставник — знание.  
Книга — наш учитель.  
Отбрось суеверий сеянье.  
Отбрось религиоз обряд.  
Коммуны воскресенье —  
25 октября.  
Наше место не в перкви грязненькой.  
На улицы! Плакат в руку.  
Над верой в наши праздники  
Огнем рассияй науку.

«Не для нас поповские праздники» по теме и по манере очень напоминает другое стихотворение Маяковского — «Наше воскресенье», опубликованное 7 апреля 1923 года в «Известиях ВЦИК» и вошедшее в Полное собрание сочинений. Встречаются в них и одинаковые образы: («коммуны воскресенье — 25 октября»).

Но призыв к свету, к науке, звучит в первом стихотворении гораздо сильнее,

а такие лозунги, как: «наш наставник — знание. Книга — наш учитель», живут и поныне.

11

Через бюллетени Прессбюро ЦК РКП(б) прошли в 1923 году все 12 агитлубков, объединенных вскоре Маяковским в сборники «Обряды» и «Ни знахарь, ни бог, ни слуги бога нам не подмога».

Лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи принял не только к сведению, но и к неуклонному исполнению указание XII съезда партии о простой советской книжке, в которой заключался бы «ответ на те вопросы, на которые обычно до сих пор крестьянству дает ответ религия». В исключительно простой и ясной форме, умно, образно и убедительно рассейвает он вековые предрассудки крестьян, борется с суевериями, агитирует за агронома, ветеринара, призывает противопоставлять засухе не «прошения на имя бога», а снегозадержание, мелиорацию.

Как прямой поэтический перифраз решений съезда звучит голос поэта:

— Товарищ, подымись!  
В свободном нынешнем ученом веке  
не от попов и знахарей — из школ,  
из книг  
узнай о мире и о человеке!<sup>1</sup>

Разосланные через Прессбюро ЦК всей местной печати, исключительно доходчивые, доступные по форме и по содержанию лубки сразу нашли своего читателя. Местные газеты печатали их с видимой охотой, иногда по два в номере. Печатали лубки не только крестьянские газеты, но и такие, как «Пролетарская правда» (Киев), «Красный Крым». И так органически вросли они в газетный лист, так нужны и своевременны были, что некоторые газеты, например, калужская «Коммуна», печатали отдельные лубки вместо передовой.

Многое изменилось с тех пор, как Маяковский писал свои лубки. Выросла и поголовно грамотной стала деревня. Не встретить теперь уже в ней таких крестьян, как те, кому Маяковский адресовал агитлубки. Жадно тянутся советский кол-

<sup>1</sup> «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I, стр. 515—516.

<sup>1</sup> В. В. Маяковский, том 5, стр. 163.



хозник к книге, знанию и нередко сам берется за перо, чтоб поделиться своим опытом со всей страной.

Но отдельные лозунги Маяковского из цикла «Ни знахарь, ни бог...», такие, как «Чем в засуху ждать дождя по году, сам учись устраивать погоду» — вполне могут быть мобилизованы и призваны для нужд нашей агитации и на сей день.

Агитлублики неоднократно переиздавались и вошли в Полное собрание сочинений Маяковского. Нам, однако, кажется, что составитель тома время их написания неправильно отнес к 1922 году на том, по-видимому, основании, что «один из них («крестьяне, собственной выгоды ради...») был напечатан в бюллетене Прессбюро ЦК РКП(б) 3 июня 1922 года № 42 и затем перепечатан воронежской крестьянской «Нашей газетой» № 60».<sup>1</sup> Все лублики были напечатаны в бюллетенях в течение 1923 года и тогда же перепечатаны и воронежской и многими другими партийно-советскими, крестьянскими и комсомольскими газетами («Наша газета» напечатала в течение одного только июня четыре лублика).

## 12

К одиннадцатой годовщине Ленских событий — 17 апреля 1923 года — Прессбюро ЦК выпустило специальный номер бюллетеней с двумя стихотворениями Маяковского: «17 апреля» и «Крестьянин, помни о 17 апреля!» Первое из них вошло в Полное собрание сочинений, где, однако, ошибочно отнесено составителем к 1922 году, а второе осталось неизвестным и было разыскано нами в местной печати.

Стихотворение открывается мрачной картиной угнетения, которому подвергались до Великой Октябрьской социалистической революции рабочие Ленских золотых приисков, и чудовишной расправы, учиненной над рабочими царским самодержавием в угоду бывшим хозяевам приисков — английским капиталистам:

Об этом весть,  
до старости древней, —  
храните села,  
храните деревни.  
Далеко,  
на Лене,  
забитый в рудник,  
рабочий  
над жилами золота ник.  
На всех бы хватило,  
червонцев не мало.

<sup>1</sup> В. В. Маяковский, том 5, стр. 696.

Но всё  
фабриканта рука отнимала.  
И вот.  
для борьбы с их уловкою ловкой,  
рабочий на вора пошел забастовкой.  
Но стачку  
царь не спускает даром.  
Над снегом  
встал за жандармом жандарм.  
И кровь  
по снегам потекла по белым, —  
жандармы  
рабочих смирили расстрелом.

Поэт видит прямую связь между расстрелом на Лене и последующими событиями:

Легли  
и не встали рабочие тыщи.  
Легли,  
и могилы легших не сыщешь.  
Пальбу разнесло.  
По тундрам разухало.  
Но искра восстания  
в сердцах не потухла.  
От искорки той,  
от мерцания старого,  
заря сегодня —  
Октябрьское зарево...

Замечателен конец стихотворения. Поэт ни на минуту не забывает, что он пишет его для крестьянской печати, в момент, когда вопрос об укреплении союза рабочего класса с крестьянством, о «смычке», приобрел особое значение. В день, когда было опубликовано «Крестьянин, помни о 17 апреля!», открылся XII съезд партии. В резолюции по докладу товарища Сталина съезд особо подчеркнул «необходимость и в дальнейшем строго придерживаться тактики, ведущей к укреплению доверия крестьянства к пролетариату»<sup>1</sup>.

На историческом примере Ленских событий поэт раскрывает перед читателем ведущую роль и значение рабочего класса в революции:

Крестьяне забыли помещичьи плены.  
Кто первый восстал? —  
рабочие Лены.  
Мы сами хозяева земли деревенской.  
Кто первый восстал? —  
рабочий ленский.  
Царя прогнали.  
Порфиру в ключья.  
Кто первый?  
Ленские встали рабочие.  
Рабочий — за нас,  
а мы —  
за рабочего,  
лишь  
этот союз  
республики почва.

<sup>1</sup> «ВКП(б) в резолюциях и решениях», ч. 1, стр. 475.

Деревня!

В такие великие дни  
теснее ряды  
с городами  
с омками.

Мы шли  
и идем  
с богатеями в бой —  
одною дорогой,  
одною судьбой.  
Бей и разрузу,  
как бил по барам, —  
двойным,  
воедино слитым ударом.

В один и тот же день — 17 апреля 1923 года — стихотворение Маяковского «Крестьянин, помни о 17 апреля!» было напечатано в десятках областных, губернских и уездных газет по всей стране — от берегов Балтики (Кронштадт) до городов Средней Азии (Самарканд). Газета «Красный Балтийский флот» сопроводила его следующим советом: «Перепишите и пошлите в деревню своим родным и знакомым».

## 13

В Полном собрании сочинений Маяковского напечатано три стихотворения о рабочих и крестьянских корреспондентах: «Селькор» (1924), «Рабкор» («Ключи счастья» — 1925) и «Рабкор» («Лбом пробив безграмотья гору» — 1925).

Перед нами — четвертое.

Ко дню печати 5 мая 1923 года газета «Известия Одесского Губисполкома» выпустила специальный номер, значительную часть которого посвятила рабкорам.

Маяковский написал для этого номера стихотворение «Рабочий корреспондент».

Рабочие и крестьянские корреспонденты были тогда новым явлением в области партийно-советской печати. В резолюции XII съезда партии по вопросам пропаганды, печати и агитации подчеркивается, что значение этой «новой силы партии по советской журналистике — рабочих корреспондентов — огромно».

«Партийные организации как в центре, так и на местах. — говорится в резолюции. — должны принять меры к политическому просвещению рабкоров, к их объединению и вовлечению в общепартийную работу».<sup>1</sup>

Стихотворение Маяковского «Рабочий корреспондент» в полном соответствии с постановлением съезда разъясняет и популяризирует огромную политическую роль рабкоров.

<sup>1</sup> «ВКП(б) в резолюциях и решениях», ч. I, стр. 511.

Пять лет рабочие глотки поют,  
века воспевает рабочих любовь, —  
о том.

как мерили силы  
в бою  
с Антантой,  
вооруженной до зубов.  
Буржуазия зверела.  
Бселенной мощь —  
служила одной ей.  
Ей —  
танков непробиваемая толща.  
ей  
миллиарды Франков и рублей.  
И.  
накопел.  
карандашей,  
перьев леса  
ощетиня в честь ей,  
лили  
тысячи буржуазных писак —  
деготь на рабочих.  
на буржуев елей.

Посвященное только рабкорам, стихотворение Маяковского значительно перестает тему. Это гимн всей демократической печати, яркая формулировка ее больших и благородных задач:

Мы в гриву хлестали.  
мы били в лоб,  
мы плыли кровью рекой.

Мы взяли  
твердыню твердынь —  
Перекоп  
чуть не голой рукой.  
Мы силой смирили силы свирепость  
Избита.

изгнана стая зверья  
Но мыслей ихних цела крепость.  
Стоит

петляют штывки-перья.  
Пора последнее оружие отковать.  
В руки перо берем.

Пора  
самим  
пером атаковать!

Пора  
самим  
защищаться пером!  
Исписывая каракулю листов клочья  
с трудом вытягивая мыслей ленты —  
ночами скрипят корреспонденты рабочие  
крестьяне корреспонденты.  
Мы пишем.

горечь рабочих вобрав.  
нас заткнет пустомелей лак ли?  
Мы знаем:

миллионом грядущих правд  
разрастутся наши каракули...

Великолепна концовка стихотворения — восторженная здравица в честь подлинно свободной, годливной демократической, советской печати:

... В дрожь вгоняя врагов рой,  
трудящемуся защита дружья, —  
да здравствует

красное  
рабочее  
перо —  
нынешнее наше оружие!

Самым острым и самым сильным оружием нашей партии назвал печать на XII съезде партии великий Сталин. И тотчас же этот образ входит в поэтический арсенал гениального художника слова, неустанно черпавшего в трудах Ленина и

Сталина богатейший материал для своих сравнений.

Впервые приравнивает здесь также Маяковский перо к штыку — образ, с такой силой зазвучавший два года спустя в стихотворении «Домой».

«Рабочий корреспондент» был напечатан только в одесских «Известиях». Других публикаций его мы не обнаружили.

## 14

Весьма вероятно, что через Прессбюро ЦК прошла вся «Маяковская галерея» — большая серия политических памфлетов, написанных Маяковским в первой половине 1923 года. Это можно сказать с большей или меньшей уверенностью о памфлетах: «Пуанкаре», «Керзон», «Гомперс», «Вандервельде», и в порядке предположения о памфлетах: «Муссолини», «Пилсудский», «Стиннес».

«Пуанкаре» в его первом варианте появился в мае 1923 года в журнале «Пламя» (Тифлис). Он назывался «Мусье Пуанкаре» и имел подзаголовок «Моя галерея № 1».

Вслед за «Пуанкаре» из-под пера Маяковского вышел и был обнародован 27 мая 1923 года газетой «Бакинский рабочий» памфлет на пресловутого лорда Керзона.

«Керзон» не случайно выглянул на свет впервые со страниц бакинской газеты. В памфлете есть строки, рисующие внешний облик этого, давно уже сгнившего в мусорной яме истории, твердолобого джентльмена:

Керзон  
одеждой  
надаёт очок!  
Разглаженнейшие брючки  
и изящнейший фракчок;  
духами душится, —  
не помню имя, —  
предпочел бы  
бакинскими душиться,  
нефтяными.

Некоторыми своими чертами бывший английский министр иностранных дел, заслуживший поистине геростратову славу возмутительно наглым ультиматумом Советскому Союзу, весьма напоминает своего лейбористского последователя — мистера Бевина. Последний, как известно, тоже довольно часто вскакивает

от злости  
бегемотово-сер,  
да кулаками на карту  
ОССР.

Пока  
кулак  
не расшибет о камень, —  
бьет  
по карте  
стенной  
кулаками.

Опытные люди утверждают, кроме того, что и у Бевина «во всяких разговорах Керзонья тактика — передернуть парочку фактиков».

«Гомперс» и «Вандервельде» были впервые опубликованы в сокращенном варианте в газете «Известия Одесского Губисполкома». Первый — в начале июля 1923 года под названием «Тоже вождь», а второй — в конце того же месяца под названием — «Соглашательский идеал».

Одесским «Известиям» Маяковский, кроме того, послал в 1923 году через Прессбюро стихотворение «Разве у вас не чешутся обе лопатки?» (опубликовано под названием «Летим»), а «Бакинскому рабочему» — «Газетный день» и «Баку», специально написанное к третьей годовщине национализации бакинских нефтяных промыслов (25 мая 1923). Все эти вещи есть в Полном собрании сочинений.

## 15

Неслыханно наглая, подлая и провокационная нота Керзона (9 мая 1923 года) вызвала взрыв возмущения всех советских людей. На другой день после нее в Лозанне был убит белогвардейцем В. В. Воровский. По всем городам и селам необъятной нашей родины прокатилась волна демонстраций и митингов протеста.

Весь этот день поэт был с народом.

С пожелтевших от времени страниц «Правды» встает перед нами то бурное майское утро. Газета сообщает о митинге у Большого театра: «Там стальной голос Маяковского: «Разворачивайтесь в марше. Коммуне не быть покоренной! Левой! Левой! Левой!»

И внизу тысячеголосое: левой!»<sup>1</sup>

Под свежим впечатлением событий Маяковский пишет в мае — июне 1923 года ряд произведений, вызванных к жизни нотой Керзона, и среди них «Универсальный ответ» — необыкновенно точно, четко и верно формулирующий в нескольких

<sup>1</sup> «Правда», 13 мая 1923. Газета сообщает, что Маяковский выступил, кроме того, на Советской площади.

десятках строк независимую и миролюбивую внешнюю политику СССР. Это стихотворение, не потерявшее от первой до последней строки своего значения и сейчас, воспроизведено в Полном собрании сочинений со следующим примечанием:

«Печатается по беловику, сохранившемуся в бумагах Маяковского. Было ли где-нибудь напечатано — не установлено».<sup>1</sup>

Сейчас можно считать установленным, что стихотворение «Универсальный ответ» было также напечатано в бюллетенях ЦК. В один и тот же день — 25 мая 1923 года — оно было перепечатано в Минске, Чернигове, Саратове, Симферополе и многих других городах Союза под названием: «Мне надоели ноты — много больно пишут что-то. Предлагаю без лишних фраз универсальный ответ всем зараз».

Некоторые газеты снабдили его подзаголовком «Международное положение».

В ответ на ноту Керзона трудящиеся Советского Союза решили построить эскадрилью самолетов «Ультиматум». Первым начал сбор средств на самолет «Московский большевик» МК РКП(б). Уже через месяц, 29 июня 1923 года, самолет был построен и в торжественной обстановке передан на Ходынском аэродроме Военному ведомству.

Мы не знаем, был ли Маяковский в этот день на аэродроме. Но вот стихотворение, отразившее в себе его впечатления от всенародного патриотического подъема тех дней:

### Авиа-дни

Эти дни  
пропеллеры пели.  
Раструбите и в прозу  
и в песенный лад.  
В эти дни,  
не на словах,  
а на деле, —  
пролетарий стал крылат.  
Только что  
прогудело приказом  
по рядам  
рабочих рот —  
пролетарий,  
довольно  
пялиться на земы!  
Пролетарий,  
на самолет!  
А уже  
у глаз  
чуть не рвутся швы.  
Глазекот,  
забыв про сны и дремы, —  
это  
«Московский большевик»  
взлетает  
над аэродромом.

Больше,  
шире  
лётонедели.  
Воспевай их  
песенный лад.  
В эти дни  
не на словах —  
на деле  
пролетарий стал крылат.

Коротенькое (в нем всего 35 строк) это стихотворение дорого нам, как первый отклик поэта на создание мощного советского Военно-Воздушного флота, как показание очевидца о той, теперь уже легендарной поре, когда впервые в истории пролетарий «стал крылат».

«Авиа-дни» остались забытыми и в Полное собрание сочинений не вошла. Стихотворение было напечатано в конце июля 1923 года в газетах «За мир и труд» (орган Северо-Кавказского военного округа), «Красный мир» (Кострома), «Красное знамя» (Краснодар) и других.

### 16

В общем ряду забытых произведений Маяковского, связанных с его работой для местной печати, несколько особняком стоят четыре статьи-фельетона, опубликованные в 1923 году в журнале «Товарищ Терентий».

Журнал под таким названием выходил в свое время на Урале и ставил себе целью «давать оригинальные произведения современных российских и иностранных авторов».

По теме первая из напечатанных в журнале «Товарищ Терентий» забытых статей Маяковского «Можно ли стать сатириком?» — очень напоминает его же «Предисловие» к сборнику «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается». Статья как бы дополняет это предисловие и вместе с ним до известной степени обобщает большой опыт, накопленный в описываемый период Маяковским-сатириком.

«В РСФСР появился, появившись — размножился и в настоящее время усердно и успешно работает целый ряд сатирических журналов.

...Общее впечатление: количество и отчасти уровень сатиры сильно повысились.

Чем объяснить?

Во-первых, конечно, нашей политической победой и рядом наших экономических побед...»

<sup>1</sup> В. В. Маяковский. том 2, стр. 621

«Это первое условие,— говорит Маяковский, — возможность смеха. Необходимо профессиональное поднятие сатирика.

Вот это — область, поддающаяся любому обучению.

Тем смешных нет. Каждую тему можно обработать сатирически...

Приведя несколько примеров такой обработки, Маяковский устанавливает, что «обработка эта имеет свои законы, что, следовательно, сатирик не рождается, а учится своему делу, сознательно выработанные приемы дают произвольный смех».

«Сатира растет — нужно дать ей высокую квалификацию», — так заканчивается эта в высшей степени интересная и примечательная статья.

Большое значение имеет вторая статья Маяковского — «Агитация и реклама».

Широко известна работа Маяковского в области советской торговой рекламы и то место, которое он ей отводил. «Несмотря на поэтическое улюлюкание, считаю «Нигде кроме, как в Моссельпроме» поэзией самого высокого качества», — пишет поэт в своей автобиографии.

«Агитация и реклама» теоретически обосновывает эту весьма важную и плодотворную работу и поднимает ее на большую высоту.

«Мы знаем прекрасно силу агитации. В каждой военной победе, в каждой хозяйственной удаче на 9/10 сказывается умение и сила нашей агитации.

Буржуазия знает силу рекламы. Реклама — промышленная, торговая агитация. Ни одно, даже самое верное, дело не двигается без рекламы. Это оружие, поражающее конкуренцию.

Наша агитация выросла в подполье; до нэпа, до прорыва блокады нам не приходилось конкурировать.

Мы идеализировали методы агитации. Мы забросили рекламу, относясь пренебрежительно к этой «буржуазной штучке».

При нэпе надо пользоваться для популяризации государственных, пролетарских организаций, контор, продуктов, всеми оружиями, пользуемыми врагами, в том числе и рекламой»...

Статья Маяковского приобретает особый интерес на фоне первых лет нэпа, когда

значительная часть товарооборота еще находилась в руках нэпманов и других представителей частного капитала.

«Торговля в этот период являлась основным звеном в цепи задач, стоявших перед партией, — пишет товарищ Сталин в «Истории ВКП(б)». — Не разрешив этой задачи, нельзя было развернуть товарооборот между городом и деревней, нельзя было укрепить экономический союз рабочих и крестьян, нельзя было поднять сельское хозяйство, вывести из разлухи промышленность.

В то время советская торговля была еще очень слаба. Очень слаб был торговый аппарат, навыков к торговле у коммунистов еще не было, врага-нэпмана еще не изучили, не научились еще бороться с ним. Частные торговцы, нэпманы, воспользовались слабостью советской торговли и захватили в свои руки торговлю мануфактурой и другими ходовыми товарами. Вопрос об организации государственной и кооперативной торговли приобретал громадное значение!<sup>1</sup>

«Необходимо научиться хозяйничать, необходимо научиться торговать культурно», — требовала партия. Агитируя за советскую торговую рекламу, делая ее, Маяковский бил в ту же точку и, как всегда, помогал тащить основное звено в цепи задач, стоявших перед партией.

«Реклама должна быть разнообразием, выдумкой... — писал он.— Мы не должны оставлять это оружие, эту агитацию торговли в руках нэпача, в руках буржуа-иностранца. В СССР всё должно работать на пролетарское благо»...

Третья из серии статей Маяковского, напечатанных в 1923 году в журнале «Товарищ Терентий» — «Мелкий нэп», — ставит, в сущности, те же вопросы, что и вторая. Это ряд набросков, острых зарисовок московского быта первых лет нэпа, использованных впоследствии Маяковским в пьесе «Клоп».

Здесь впервые появляются механические, самопришивающиеся пуговицы, фигурирующие в «Клопе» (см. 1-е действие). Маяковский приводит их как пример частной рекламы:

...«Мальчишка орет:

<sup>1</sup> «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 248.

Если некому пришивать —  
 для этого не стоит жениться!  
 Если жена не пришивает —  
 Из-за этого не стоит разводиться!  
 — Три рубля дюжина. Пожалте!

— Хочешь, не хочешь — купишь, — шутит Маяковский. — До сих пор передо мной в коробке на столе три дюжины валяются. Опять-таки: Учись на мелочах».

«О мелочах» — так озаглавлена четвертая статья. Это, собственно, даже не статья, а заметка, но и в ней Маяковский поднимает большой и важный вопрос.

«В речах Ильича постоянно бывают указания на «веревочки», на веревочки, которые в хозяйстве обязательно пригодятся...

Эти мелочи, незаметные на первый взгляд, пустяковые — по своему личному значению, в общем отымают огромный запас сил и энергии, — запас, которого бы хватило и на большие дела...

... Маленькое усовершенствование бережет огромное время.

Внимание мелочи!»

★ ★  
★

В первых числах июля 1923 года Маяковский выехал за границу и около 18 сентября вернулся в Москву. Продолжал ли он и дальше, после своего возвращения из-за границы, сотрудничать в 1923 году в Прессбюро — пока не установлено. Не разыскано ни одного его произведения, напечатанного во второй половине года в провинциальной печати, и не исключена возможность, что после отъезда это сотрудничество временно оборвалось.

Возобновилось оно, по всем данным, только в марте 1924 года.

К этому времени относится появление в «Стенной крестьянской газете» (Рязань) и в газете «Известия» (Казань) стихотворения «Буржуй, прощайся с приятными деньками, добьем окончательно твердыми деньгами».

17

Весной 1924 года советский народ одержал большую победу. Вместо потерявшего почти всякую реальную цену совзнака был выпущен полноценный советский рубль, появилась звонкая монета, исчезнувшая из обращения еще со времен первой мировой войны.

«После первой мировой войны, гражданской войны и интервенции деньги совершенно обесценились, а денежная система была подорвана в самой основе. Понадобилась коренная денежная реформа. Обесценение денег было столь велико, что при завершении денежной реформы один рубль в новых деньгах приравнялся к 50 тысячам рублей старых денег образца 1923 г. или к 5 миллионам рублей старых денег образца 1922 г. В результате денежной реформы, произведенной в 1922—1924 гг. по указаниям и под руководством Ленина, были созданы новые деньги, которые способствовали быстрому развитию народного хозяйства СССР»<sup>1</sup>.

«Учитывая все политическое значение реформы, — писал в начале марта 1924 года всем губкомам и обкомам партии В. М. Молотов, — партийные организации энергичной агитационной кампанией (устной и в печати) должны обеспечить понимание необходимости, основ, характера условий проводимой реформы со стороны рабочих, крестьян и всего населения, а также обеспечить активное сочувствие и содействие советским органам и партии в ее проведении»<sup>2</sup>.

Одним из первых включился в эту кампанию Владимир Маяковский. Со свойственной ему энергией он принимается разъяснять трудящимся значение реформы. Кроме стихотворения «Буржуй, прощайся с приятными деньками...», он пишет около 10 плакатов для Наркомфина и еще одно стихотворение: «Твердые деньги — твердая почва для смычки крестьянина и рабочего».

Стихотворение «Буржуй, прощайся с приятными деньками...» известно, сохранилось в бумагах Маяковского и напечатано в Полном собрании сочинений под названием «Новые деньги, стоящие твердо, укрепят хозяйство деревни и города.»<sup>3</sup> Что же касается стихотворения «Твердые деньги — твердая почва», то оно осталось забытым:

<sup>1</sup> Из постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары, М. 1947, стр. 8.

<sup>2</sup> «Известия ВЦИК», 7 марта 1924.

<sup>3</sup> В. В. Маяковский, том 5, стр. 99—102.

*Твердые деньги — твердая почва  
для смычки крестьянина и рабочего*

Каждый знает:  
для смычки с деревней водопады бумажные  
почва не важная.

По нужде  
Колебался, совзнаками заливала казна.  
трясся  
и падал совзнак.

Ни завод не наладишь,  
Совзнак — что брат японскому землетрясению.  
Получилась не смычка, а фразы праздные.

Даже руки не пожмешь, как надо.  
С этой тряски в стороны разные  
рабочий с крестьянином лез от разлада.

Так никто связать и не мог  
цену хлеба с ценой сапог.  
Теперь после стольких  
серебро трясущихся лет,  
и твердый казначейский билет.

Теперь под хозяйством деревни и города  
фундамент — рубль — установлен твердо.

Твердо на дырах поставим заплаты.  
Твердые будут размеры зарплаты.

Твердо учтя, а не зря и не даром,  
твердые цены дадим товарам.

Твердо крестьянин сумеет расчесть,  
о чего ему прибыль твердая есть.

Труд крестьян и рабочий труд  
твердо друг с другом цену сведут.

Чтобы не только пожатьем слиться,  
а твердым обменом ржи и ситца.

Твердой ценой пойдут от рабочего  
сахар, соль, железо, спички.

Твердые деньги — твердая почва  
Для деловой настоящей смычки.

Знаменательно, что Маяковский сумел и эту тему использовать для агитации за союз рабочих и крестьян — важнейшую задачу тех дней.

Стихотворение «Твердые деньги — твердая почва...» было напечатано в начале апреля 1924 года в газетах «Звезда» (Минск), «Коммунар» (Тула), «Наша газета» (Воронеж) и других.

18

Около 15 апреля 1924 года Маяковский снова уехал за границу и в первой декаде мая вернулся в Москву. Это была одна из самых непродолжительных поездок великого советского поэта-патриота в страны капиталистического рабства. Предполагалось, что она не оставила в его творчестве никаких следов.

Предположение это оказалось неправильным.

Перед нами — архангельская газета «Волна» за 12 июля 1924 года. Переворачиваем газету и на четвертой странице читаем: «В. Маяковский. Два Берлина».

Мы помним впечатления Маяковского от Берлина 1922 года. Они изложены им в статье «Сегодняшний Берлин».

С тех пор прошел год. Уолл-стрит помог германскому монополистическому капиталу снова встать на ноги.

Маяковский, конечно, тотчас же увидел это. Он не скрывает своего удивления такой переменой. Но сытые и самодовольные физиономии немецких юнкеров не могут обмануть поэта. Он идет в рабочие районы и видит там оборотную сторону капиталистической медали. В итоге — стихотворение, которое по праву займет свое место в серии заграничных впечатлений основоположника советской поэзии. Полный текст этого стихотворения впервые перепечатывается ниже:

*Два Берлина*

Авто,  
Курфюрстендам-ом катая,  
удивляюсь,  
разевая глаза.  
Германия совсем не такая,  
как была год назад.  
На первый взгляд —  
общий вид:  
в Германии не скулят.  
Немец сыт.  
Раньше доллар —  
лучище яркий.  
Теперь — «принимаем только марки».  
По городу немец шествует гордо.

А раньше в испуге тек, как вода.  
 От этой самой, от марки твердой.  
 даже улыбка, как мрамор, тверда.  
 В сомненьи гляжу на сытые лица я.  
 Зачем же тогда что ни шаг — полиция?!  
 Слоняюсь и трусь по рабочему Норду.  
 Нужда художобой врывается в глаз.  
 Толки: «Вольфы... покончили с голоду...»  
 Семей... в каморке открыли газ.  
 Поймут, поймут и глупые дети.  
 Если здесь хоть версту пробрели,  
 что должен отсюда родиться третий —  
 третий родиться — Красный Берлин.  
 Пробьется — какие рогатки не выставь.  
 Прорвется сквозь штык, сквозь тюремный засов.  
 Первая весть: за коммунистов  
 подано три миллиона голосов.

В современной Бизонии тоже можно увидеть сейчас сытые и самодовольные морды немецких военных преступников. Свободно и беспрепятственно разгуливают они по улицам Гамбурга, Франкфурта и других городов, заседают в ландтагах, «самоуправлениях», экономических «советах». Вот Шахт «по улице шествует гордо». А давно ль он «в испуге тек, как вода?» Вот Динкельбах — некоронованный король Рура и другие магнаты рурской промышленности. Для них — и только для них — опять засиял сегодня всеми красками радуги «доллар—лучше яркой». Уж кто-кто, а они «не скулят».

Но присмотримся к положению широких трудящихся масс Западной Германии, и мы увидим другую картину. Опять, как и в 1924 году, там «нужда художобой врывается

в глаз». Опять то же отчаяние, те же толки и что ни шаг — полиция, полиция, полиция...

\* \*  
\*

В первых числах октября 1924 года Маяковский закончил работу над поэмой «Владимир Ильич Ленин». 21 октября он читал ее московскому активу партии в Красном зале МК. И тогда же принес отдельные главы поэмы в Прессбюро ЦК.

28 октября 1924 года отрывок «Улица в похороны» был напечатан в газете «Заря Востока» (Тифлис), и в тот же день другой отрывок, «Ленинцы» — в газете «Бакинский рабочий». В день седьмой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции — 7 ноября 1924 года — десятки газет в Баку и Самаре, Костроме и Одессе, Владимире и Гомеле и многих других городах напечатали отрывок «Октябрь», а некоторые — отрывок «Партия».

Так сразу вошла поэма, при помощи Прессбюро ЦК, в самую гущу народа и, размноженная (в отрывках) в десятках и сотнях тысяч экземпляров местных газет, стала еще задолго до ее выхода в свет отдельной книгой одним из любимейших народом произведений великого поэта...

Вот все, что нам пока удалось установить относительно сотрудничества Маяковского в городских и деревенских бюллетенях ЦК в 1923—1924 годах. Как и вся работа поэта после Великой Октябрьской социалистической революции, оно является образцом беззаветного служения родине, народу, примером глубочайшей, целеустремленной, большевистской партийности в литературе, когда основным мерилом ценности художественного произведения является его соответствие интересам широких народных масс и «меленькие задачки чистого стиходелания» отступают далеко назад «перед широкими целями помощи словом строительству коммуны».





---

---

# МАЯКОВСКИЙ В СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ

ЛЮБОВЬ ФЕЙГЕЛЬМАН

★

**В** странах новой демократии, там, где произошли коренные преобразования государственной и экономической жизни, с необычайной силой зазвучала поэзия Маяковского. Искусство Маяковского впервые приобрело за рубежом такую общенародную известность. Его поэзия выражает переживания, чаяния народов славянских стран.

Маяковский говорил, что писатель Советской страны видит «дальше всех. Видит только главное. Точно устанавливает отношения больших сил»<sup>1</sup>. Это было не только принципом, который Маяковский декларировал, это было свойством его искусства, и оно определяло масштаб его поэтического видения.

Неотъемлемым качеством его новаторства был широчайший охват явлений народной жизни в перспективе их развития, и это помогало Маяковскому видеть завтрашний день, только зарождающийся ныне.

В реализме Маяковского есть пафос революционного романтизма. И в этом ключ к объяснению того, почему поэзия

Маяковского нужна народам, заново строящим свою жизнь.

Творческий путь Маяковского, на который решающее влияние оказали события Великой Октябрьской социалистической революции, представляет собой поучительный пример для многих художников за рубежом. Эстетика Маяковского в своих главных чертах, так как она выявлялась в его поэтическом искусстве, составляет огромное богатство для писателей близких нам культур.

Создание хороших, полноценных переводов Маяковского неизбежно связано с проблемой новаторства в искусстве. Прежде всего, оно обусловлено идейной глубиной его поэзии. Новые переводы Маяковского на языках славянских народов помогут им еще глубже проникнуть в сущность искусства страны социализма.

Все народы стран новой демократии, славянских стран, обладают большими и самостоятельными, интенсивно развивающимися литературами. Тем более знаменательно принятие передовыми людьми этих стран лучших явлений советского искусства, поэтической классики советского народа.

## 1. Маяковский в Чехословакии

— В 1922 году мы посетили Горького, — рассказывает профессор Богатырев, — Эрвин Киш. Шкловский, я, жена и дочь Станислава Костки Неймана (зачинателя пролетарской поэзии Чехословакии. — Л. Ф.). Горький сказал, что ему хочется послушать чешское стихотворение, но так,

чтобы он мог его понять. Дочь Неймана, готовившаяся стать актрисой и обладавшая прекрасным голосом, прочла ему «Левый марш» Маяковского в переводе отца. Горькому очень понравились и перевод и декламация...

<sup>1</sup> В. В. Маяковский. Полное собрание сочинений, ГИХЛ, М. 1940, т. VII, стр. 257.

В 1922 году, как сообщали «Известия», к пятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, в Праге была поставлена «Мистерия-

Буфф» на чешском языке. Пьеса прошла с большим успехом<sup>1</sup>. В 1925 году в Праге была опубликована поэма «150.000.000» в переводе Богумила Матезиуса. Она приобрела широкую популярность среди рабочих. Под непосредственным влиянием этой поэмы талантливый чешский поэт и первоклассный переводчик Йозеф Гора пишет свое произведение «Иван и Ленин». Изнемогающий столетиями Иван, в образе которого олицетворяется народ России, получает спасение из рук Ленина — такова основная мысль произведения.

Одна из пражских газет так оценивала поэму Маяковского: «Звонкий ритм пронизывает его выкованные молотом стихи. Его образы взяты из саг, из сказок о великанах и героях. Его ритмом был марш тысячных толп. Его стихи были воинственны и остры... Раскрашенные деревянные гравюры, увеличенные до гигантских размеров, разукрашенные флагами города и буйная красочная симфония народных празднеств — вот что вдохновляет его резкие картины и карикатуры, полные гротеска и юмора. Все, до чего он касался, превращалось в былинку, он издевался, как Рабле, его пролетарии принимали образ Гулливера»<sup>2</sup>.

Популярности поэмы способствовала деятельность молодого одаренного актера Романа Тумы. Он читал поэму на производствах рабочим в Праге и в провинциях. Эта поэма оказала влияние и на смежные искусства. На тему «150.000.000» было написано большое хоровое сочинение композитором Вит Неелды. Художник Машек создал две серии гравюр к двум изданиям «150.000.000».

В 1945 году в Праге вышло второе издание поэмы, этой «песни молодой революции», как ее охарактеризовал переводчик Богумил Матезиус.

В апреле 1927 года в Прагу приехал Маяковский. Первое выступление его состоялось в революционном театре молодежи «Освобождене Дивadlo». Маяковский прочел «Левый марш». Слушатели горячо приветствовали его.

<sup>1</sup> «Известия» № 259, 16 ноября 1922.

<sup>2</sup> Цитируется по стенограмме доклада проф. Богатырева в Институте мировой литературы им. Горького от 27 ноября 1940 года.

«Я очень рад, что я в Праге, — сказал Маяковский, — это ведь единственный город за границей, где я могу разговаривать и выступать по-русски, не опасаясь, что меня неверно поймут».

Широкий резонанс приобретает выступление Маяковского в Виноградском народном доме. Впервые жители Праги видели и слышали подобное программное выступление советского поэта. Афиша гласила: «10 лет 10 русских поэтов». Маяковский не просто рассказывал о своем творчестве, он, в самом широком значении этого понятия, представлял советское искусство. Он читал свои новые произведения, среди них американские стихи, и познакомил аудиторию с произведениями Асеева, Сельвинского, Светлова и других поэтов.

В очерке «Ездил я так» Маяковский позднее писал: «Большой вечер в «Виноградском народном доме». Мест на 700. Были проданы все билеты, потом корешки, потом входили просто, потом просто уходили, не получив места. Было около 1500 человек.

Я прочел доклад «10 лет 10-ти поэтов». Потом были читаны «150.000.000» в переводе профессора Матезиуса. 3-я часть — «Я и мои стихи». В перерыве подписывал книги. Штук триста»<sup>1</sup>. На вечере председательствовал неизменный друг Советского Союза, крупный ученый и общественный деятель, организатор Общества культурного и экономического сближения с СССР Зденек Неелды. С приветствием от левого крыла литературной общественности выступил поэт Йозеф Гора.

Слушателей поразило не только остроумие Маяковского-полемиста и прекрасная декламация поэта, но необычность содержания доклада. Основной тезис выступления Маяковского был: «От искусства нынешнего дня нужно потребовать, чтобы оно помогало строить советское государство».

Маяковский рассказывал с гордостью о массовом интересе к поэзии в советской стране. В доказательство он называл тиражи стихотворных сборников, в частности, тиражи книг Демьяна Бедного. «Писатель является борцом за новый социа-

<sup>1</sup> В. В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 425—426.

листический строй», — подчеркивал Маяковский.

«Руде право» сообщало: «Маяковский захватил аудиторию... здоровым заражающим оптимизмом человека, прошедшего революцию и не боящегося поразить буржуазную Европу и Америку сильным ударом сатиры, бесспорным мастером которой он безусловно является». В заключение вечера Маяковский читал «Левый марш».

«Вечер Маяковского подтверждает... что чешско-русские отношения так живы, что только упрямый враг может не сделать необходимых выводов», — писала одна из газет.

Маяковский подчеркивал расслоение в среде писателей. Не случайно он называет имена поэтов, близких нам: Горы, Сойферта, Незвала и др. В очерке «Ездил я так» Маяковский отмечает деятельность писателей-коммунистов и с радостью говорит: «Мне показывают в журнале 15 стихов о Ленине».

Маяковский делил писателей на три группы. К первой он относил писателей, открыто служивших интересам эксплуататорского класса. Ко второй — писателей, которые руководствовались интересами конъюнктуры и наживы. Последняя группа, как говорит Маяковский, «это первые для нас, — это рабочие писатели... всех стран, связь которых с нами — это связь разных отрядов одной и той же армии — атакующей старё, разные отряды одного революционного рабочего человечества».

Маяковский как бы делал смотр боевых революционных сил в искусстве всего мира. Поэт советской страны, он ощущал себя лидером новой передовой культуры. Он радовался, замечая тягу передовых художников-новаторов к революции, он с большим интересом говорил о литературе, архитектуре и театре Чехии. Маяковский, очень хорошо осведомленный обо всех явлениях, происходивших в культурной жизни Европы, поражал встречавшихся с ним чешских писателей точностью характеристик, которые он лаконично и веско давал этим явлениям. Революционные чешские писатели слушали выступления Маяковского, читали ему свои произведения, показывали свои издания. Они знали, что Маяковский вел очень большую журналистскую, редакционную работу, ценил и бо-

ево́й дух произведений, и графическую выразительность оформления.

Маяковскому показывали издания группы «Деветсил», «Ставба», «Живот», «Пасмо», сборник, в котором были опубликованы 15 произведений о Ленине: стихи Сойферта, Незвала и других поэтов. Мы находим в его очерках имена тогда еще молодых передовых чешских писателей, большинство которых ныне стали гордостью своего народа.

Когда Маяковский умер, многие поэты откликнулись на его смерть взволнованными стихами. О поэте писали Индржих Горжейша, Владимир Холан, Станислав Костка Нейман, называвший Маяковского горном революционером. Искусство Неймана — основоположника новой поэзии Чехословакии — поэта-борца во многом было сродни искусству Маяковского. Еще десять лет назад Нейман писал, что культура Советского Союза является подлинно народной, «чешские революционные писатели с большим уважением и восхищением следят за развитием Советского Союза и все надежды на лучшее будущее связывают с судьбой Советского Союза». Другой крупнейший поэт Чехии Витезлав Незвал в своей книге «Невидимая Москва» раскрывает свое лирическое отношение к великому городу, и в этом произведении о столице СССР он посвящает горячие строки Маяковскому. Образу поэта посвящено и большое стихотворение Незвала «Маяковский в Праге». Маяковский, — говорит Незвал, — живет в произведениях все новых и новых поэтов мира.

За последние годы такие поэты Чехии, как Незвал, Галас, Холан, Грубин, создали произведения, в которых отражена борьба чешского народа с оккупантами, прославляется подвиг Красной Армии, освободившей Чехословакию.

В чешскую поэзию вошли большие темы современности.

Прошло двадцать лет после посещения Маяковским Праги. В разгар строительства нового, подлинно демократического строя жизни, в разгар идеологической борьбы сил демократии с силами реакции снова происходит встреча чешского читателя и чешских передовых художников с Маяковским. Но на этот раз Маяковский впервые в переводах представлен наиболее характерными произведениями:

программной для дореволюционного творчества поэмой «Облако в штанах», лучшими поэмами, созданными после Октября, — «Ленин», «Хорошо!», «Во весь голос». Эти произведения талантливо перевел Иржи Тауфер.

На примере Тауфера мы убеждаемся еще раз, что путь к искусству Маяковского обусловлен, прежде всего, глубокой идейностью. В 1935 году марксистский критик Бедржих Вацлавек писал о молодом поэте, что его «принадлежность к будущему сознательная и уверенная». Вся последующая деятельность Тауфера подтвердила эту характеристику.

Лучшие переводчики Маяковского — поэты, которые органически воспринимают целеустремленность и новаторство его поэзии. О значении и качестве новых переводов Маяковского в Чехии красноречиво свидетельствует пресса 1947 года. Писатель Карел Канрад отмечает большое значение появления поэмы «Облако в штанах» в «замечательном переводе Иржи Тауфера». Он характеризует искусство Маяковского-лирика и революционное содержание дооктябрьской поэмы. Высоко оценивает перевод и Витезлав Незвал.

В январе 1947 года в Праге в издательстве «Свобода» отдельным изданием вышла на чешском языке поэма «Владимир Ильич Ленин»<sup>1</sup>. Это одно из лучших изданий произведений Маяковского. Оно сделано очень любовно и продуманно.

Газета «Свободные новости» писала об этой поэме: «Поэзия начинается там, где есть тенденция», — написал Маяковский в своей статье о поэзии. Эта идея стала боевым лозунгом его творчества и определила характер его монументального произведения о Ленине... Потрясенный смертью Ленина, он ставит перед собой гигантскую задачу воплотить исторический образ великого вождя революционного социализма, показать его образ во внутренней связи с историческим развитием самого передового класса... С пафосом, который ему диктует строки: «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс», он выковысывает это свое произведение на историческом материале. Он весь полон горячей любви к народу Ленина...

С поэмой о Ленине в руках снова задумывается над образом ее творца. Снова

вперились в нас глаза Маяковского и снова, околдованные его взглядом, мы ставим вопрос: какова тенденция, какой имеет смысл, кому и чему служат в современной мировой и чешской поэзии постоянно возникающие попытки провозглашения «чистой», «абсолютной», надреальной поэзии?

Нам кажется, что в этом смысле издание поэмы «Ленин» является не только делом, заслуживающим похвалы, но и в известном смысле предостережением в высшей степени актуальным. «Можно без колебания сказать, что Иржи Тауфер дал чешскому читателю очень хороший перевод», — так принципиально оценивает критик значение появления поэмы. — «Пусть нам будет разрешено с удовлетворением констатировать, — продолжает он, — что Иржи Тауфер относится к тем из немногих переводчиков советской поэзии, которые очень тонко интерпретируют переводимое произведение, не перетолковывая и не дополняя его. Тауфера отличает строгость поэтики и внимательное отношение к оригиналу».

Журнал «Творба»<sup>1</sup>, характеризуя содержание поэмы, подчеркивает новаторство и реалистичность искусства Маяковского. Более полутора десятков периодических изданий поместили рецензии о переводе поэмы «Ленин», единодушно подчеркивая большое значение его появления.

Вслед за поэмой «Ленин» появились в 1947 году отдельным изданием переводы поэмы «Облако в штанах» и к 30-летию Октября — октябрьская эпопея «Хорошо», получившая высокую оценку прессы.

Переводчик ознакомил читателей с характерными особенностями творческого облика Маяковского, воссоздавая на своем родном языке его произведения разных периодов. Идя вслед за Маяковским, он должен был проделать колоссальный путь в поисках поэтической выразительности, диктуемой размахом авторской мысли. Особенности чешской поэтики осложняли задачу Тауфера.

При всей лексической близости, чешский строй речи резко отличен от русского. Совершенно отличны в русском и чешском языках идиоматические выражения. Кроме того, в чешском ударение стабилизировалось на первом слоге и, что гораздо

<sup>1</sup> «Свободные новости», 20 марта 1947.

<sup>1</sup> «Творба», № 15, Прага, 1947.

важнее, стих измеряется не ударностью и безударностью, а долгими и краткими слогами. Все эти трудности в переводах преодолены, сохранен интонационный рисунок Маяковского, передано ритмическое многообразие его стихов.

В чешской литературе существует до сих пор некоторое разграничение слов, возможных к употреблению в том или ином случае. Создание неологизмов имело ограниченное применение в чешской поэзии. Поэтому очень сложным оказался процесс создания неологизмов в переводе (особенно создание слов нового значения из слияния двух). Переводчик не всегда воспроизводил их точно, но искал соответствующий оригиналу эквивалент, убедительно звучащий в чешской речи. Часто для того, чтобы верно передать поэтическую мысль, Тауфер обращается к народному языку. В своих переводах он добивается точности, прозрачности, воссоздавая образную ткань произведений. Он смело воссоздает и рифму Маяковского. Маяковский придавал огромное значение рифме, она была для него, по выражению Винокура, «образным смысловым центром». Поэт искал новые рифмы, рифмуя самые характерные по смыслу слова, он подчеркивал содержание, мысль строфы. Рифма в переводе иногда возникает не в том месте, где она рождалась в оригинале, но в чешском варианте, рождаясь в другом месте, она возникает из сути и характера строфы и достойна силуя всей поэмы. Надо подчеркнуть, что в богатой средствами выразительности чешской поэзии рифма консервативна. Поэтому перевод Тауфера — это подлинное новаторство в переводческом искусстве.

Главы из поэмы «Ленин» до выхода поэмы в свет отдельным изданием печатались в журнале «Творба». Журнал возвращается вновь и вновь к произведениям советского поэта, в которых запечатлен образ Ленина. На обложке одного из январских номеров «Творбы»<sup>1</sup> за 1946 год напечатано стихотворение Маяковского «Мы не верим!» Перевод сделан безупречно. Великая вера в ленинское дело пронизывает все стихотворение, вера в то, что «вечно будет ленинское сердце kloкотать у революции в груди». Строфа Маяковского о

<sup>1</sup> «Творба», Прага, № 3, 1946. Перевод Иржи Тауфера.

бессмертия ленинского дела открывает следующий номер журнала: «Ленин — жил. Ленин — жив. Ленин — будет жить». Весь номер посвящен памяти Ленина. В журнале опубликован перевод третьей части поэмы Маяковского «Ленин» и стихи о Ленине крупнейших чешских поэтов Неймана и Йозефа Горы.

В столице Советского Союза продолжает биться ленинское сердце, — говорит Йозеф Гора. К образу Сталина обращается Нейман. Так происходит встреча поэтов двух славянских стран, и голоса их звучат в унисон. В октябрьском номере журнала<sup>2</sup> за 1945 год опубликована шестая глава поэмы «Хорошо!» — описание дня Октябрьского переворота.

Спустя два года, отмечая дату тридцатилетия Советского государства, Тауфер завершает перевод всей поэмы. В комментариях к ее отдельному изданию он подчеркивает, что это произведение было программным для всего послеоктябрьского творчества Маяковского. Воссоздавая на чешском языке лиро-эпическое произведение об Октябре, Тауфер одержал большую победу. Он не только проявил свое мастерство, точно передав оттенки поэтической мысли Маяковского, сохранив жанровое, ритмическое своеобразие каждой главы поэмы, но — что особенно важно — в чешском переводе не утрачена лирическая сила поэмы. Лейтмотив всего произведения — великая любовь к Советской родине и в переводе звучит с неослабевающей силой. Такое проникновение в творчество поэта социализма возможно только при глубочайшем понимании всего строя жизни советского человека. Это подтверждает «Письмо к советскому другу», опубликованное Тауфером в конце 1947 года в «Творбе»<sup>3</sup>. Это письмо — свидетельство глубокой любви передовых людей Чехословакии к Советскому Союзу и его культуре, той любви, которая так победоносно звучит и в книге верного сына чешского народа Юлиуса Фучика.

В «Творбе»<sup>4</sup> напечатано и вступление к поэме о пятилетке — «Во весь голос». Этот поэтический итог деятельности Маяковского и в чешском переводе звучит мо-

<sup>1</sup> «Творба» № 4, 1946.

<sup>2</sup> «Творба» № 15, 1945.

<sup>3</sup> «Творба» № 50, 1947.

<sup>4</sup> «Творба» № 16, 1946.

нументально, являясь одновременно и памятником поэту и прославлением героизма советского человека. Иржи Тауфер в статье о творчестве Маяковского, опубликованной вместе с переводом, говорит о патриотизме поэта. Он характеризует жизнь его стиха, прошедшего вместе с доблестной армией страны социализма от Москвы до Берлина, перешагнувшего через головы реакционных правительств и явившегося «как живой к живым» — к народам мира. Война показала, — свидетельствует чешский поэт, — что Маяковский, неустанно призывая к мобилизационной готовности и рассматривая искусство как один из видов вооружения, был прав. Устремленность Маяковского в будущее, ощущение социализма, «как простого делаемого дела», характерны для него, как для поэта нового типа. Искусство Маяковского, вступающего вместе со всем советским народом в светлые дни строительства коммунистического общества, привлекает внимание передовых людей Чехословакии. Знаменательно, что эта статья о партийности искусства Маяковского, опубликованная в «Творбе», называется «Как большевистский партбилет». Строка из «Во весь голос» стала оценкой значения книг Маяковского, которую мы слышим теперь из уст чешских читателей и деятелей искусства, продолжающих его традиции.

Новаторская деятельность неизбежно связана с борьбой.

Тауфер не только в переводах, но и в полемике с реакционными журналистами использует оружие из арсенала Маяковского. В журнале «Творба» Тауфер опубликовал серию статей, разъясняющих смысл решений ЦК ВКП(б) о литературе, театре и кино. В статье «По поводу ленинградских литературных журналов»<sup>1</sup> Тауфер напоминает читателям слова Маяковского о роли искусства. «Настоящая поэзия всегда хоть на час, а должна опередить жизнь». Поэзия должна быть эпична в своем размахе, — говорит автор статьи. «Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза» — это великое чувство советского человека стремится выразить советская поэзия... Ее отношение к советскому государству не может быть отношением равнодушного, болезненного, салонного поэта...» Отвечая тем, кто пытался иска-

зить значение решений ЦК ВКП(б) и доказать, что они, якобы, сковывают волю художника, Тауфер рассказывает об эпизоде, происшедшем с Маяковским во время его пребывания в Америке.

«В своем выступлении Маяковский, характеризуя труд советских поэтов, процитировал свою агитку, написанную для московского текстильного треста «Моссулко»:

Ткачи и пряжи, пора нам  
перестать верить  
заграничным баранам.

На следующем выступлении Маяковский получил записку: «Правда ли, что вы по приказу правительства пишете о баранах?» «Конечно, — отвечал Маяковский, — потому что гораздо лучше по приказу умного правительства писать о баранах, чем по приказу баранов писать о глупом правительстве». Этой цитатой, весьма красноречивой и проникнутой иронией в отношении защитников буржуазной «свободы» заканчивает автор свою статью.

«Творба» обращается и к сатире Маяковского в полемике с горе-теоретиками, профанирующими марксистскую терминологию, в частности выступая против Вацлава Черного — редактора «Критического ежесемесичника». По этому поводу «Творба» опубликовала фельетон, в котором широко используется стихотворение Маяковского: «Марксизм — оружие, огнестрельный метод, применяй умючи метод этот»<sup>1</sup>.

Эстетические принципы Маяковского находят глубокий отклик в современной литературной критике Чехословакии.

В одном из первых произведений о послевоенном строительстве Чехословакии не случайно прозвучало имя Маяковского в эпитафии к поэме. Молодой поэт, внук Станислава Костки Неймана — Станислав Нейман, написал поэму о двухлетке — «Сто десять процентов счастья»<sup>2</sup>. Такое название поэма получила потому, что в двухлетнем плане Чехословакии намечено достигнуть 110% по сравнению с показателями промышленного развития предвоенного 1937 года. Эпитафием к поэме молодой Нейман взял слова Маяковского, а стилистически поэма напоминает «150.000.000». Поэма звучит как ораторское обращение и пронизана пафосом тру-

<sup>1</sup> «Творба» № 7, 1947.

<sup>2</sup> «Свобода», Прага, 1947.

<sup>1</sup> «Творба» № 36, 1946.

дового подъема, который переживает страна. Поэма пользуется широкой популярностью, ее ставили самодеятельные заводские коллективы, солдаты в казармах. В Чехословакии широко развито искусство хоровой декламации. Театр Бурьяна «Д—47» поставил «Сто десять процентов счастья». Постановку хорошо приняли зрители. В ноябре 1947 года в театре Пионеров в Праге в связи с тридцатилетием Великой Октябрьской социалистической революции состоялся ряд вечеров, на которых исполнялся перевод поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Так Маяковский продолжает входить в театральное искусство Чехословакии.

Важно отметить, что крупнейший поэт Словакии — Ян Поничан, переводчик Маяковского на словацкий язык, в октябре 1945 года опубликовал перевод на словацкий язык поэмы «Ленин».<sup>1</sup>

Образ Маяковского в сознании передовых людей за рубежом олицетворяет лучшие черты советского человека. Именно

за это любил Маяковского верный сын чешского народа Юлиус Фучик, «Очень любил Фучик Маяковского и сам своей кипучей деятельностью, веселостью, любовью к острой шутке напоминал Маяковского»<sup>1</sup>, — свидетельствует Тауфер.

Зденек Неедлы говорит, что произведения Маяковского несли те черты, которые в гигантских масштабах проявились в подвигах Красной Армии, освободившей Чехословакию. В стихотворении «Красноармеец» Владимир Холан рассказывает о встрече с героем Кавказа и Керчи на чешской земле... «И он любил стихи и читал мне Маяковского с любовью»<sup>2</sup> — пишет Холан.

«Маяковский является представителем самой героической советской поэзии, источником силы и энергии, представителем самых лучших качеств советского человека, советского борца за лучшее будущее всего человечества», — говорит Зденек Неедлы, выражая отношение чешского читателя к Маяковскому.

## 2. Маяковский в Югославии

В Югославии с самого начала народно-освободительной борьбы большинство писателей оказалось в рядах партизан. Они были воинами — бойцами, офицерами, политработниками. Произведения писателей сербских, хорватских, словенских, македонских публиковались в партизанских газетах, их ставили в партизанском театре. Старейший писатель Югославии Владимир Назор, находясь среди партизан, с подлинно поэтическим вдохновением писал воззвания, листовки. Многие писатели погибли. Погиб Иван Горан Ковачич, его поэма «Яма» посмертно отмечена наградой правительства, погиб молодой и очень талантливый словенский поэт Каюх-Дестовник и многие другие.

Сражался народ, сражалась его замечательная интеллигенция. В годы невероятных лишений и жестоких сражений «и песня и стих» были «бомбой и знаменем», это было одним из проявлений богатейшей, своеобразной духовной культуры югославских народов.

Великая вера в непобедимость Советского Союза жила в сердцах народов Югославии. Немцы были под Москвой, немцы неистовствовали, трубя по радио о своих победах, а в Югославии свято верили в непобедимость Москвы, во встречу с Красной Армией на Балканах.

И в эти исторические дни патриотизм, пронизывающий все произведения Маяковского, его непримиримая ненависть к врагу и блистательная сатира, выжигающая старье, — неизменно находили широкий отклик среди воинов югославской армии.

В Югославии имя Маяковского пользуется любовью и широкой известностью. История создания и публикации переводов его произведений в дни народно-освободительной борьбы героична, как и вся литература Югославии тех лет. Очень часто на вечерах, которые устраивали партизаны в горах Черногории и Боснии, читались «Стихи о советском паспорте», многие знали их наизусть. Дружба с Маяковским, начавшаяся в годы народно-освободитель-

<sup>1</sup> «Правда», Братислава, 1945.

<sup>1</sup> Речь по радио, май 1947, Москва.

<sup>2</sup> «Творба» № 45, 1946.

ной борьбы и рождения новой государственности в Югославии, заслуживает пристального изучения. Поэт Радован Зогович сделал замечательный вклад в литературу Югославии своими переводами Маяковского. Зогович переводил Горького и Маяковского, его поэтические переводы представляют особую ценность. Зоговичу удалось, по существу, впервые так широко и верно познакомить югославского читателя с произведениями Маяковского. Первые переводы Маяковского, известные нам, появились в Югославии в 1923 году в левом журнале «Зенит» (№ 21, Белград, 1923) — это был отрывок из «Мистерии-Буфф». Но именно переводы Зоговича, появившиеся в предвоенные годы, свидетельствовали о проникновении поэта в сущность глубоко партийного и новаторского искусства советского поэта. В стихах Зоговича, посвященных Маяковскому и опубликованных в 1939 году<sup>1</sup>, звучит сильное непосредственное чувство горячего последователя Маяковского. Настоящее признание Маяковский (в переводах Зоговича) нашел среди партизан Югославии. Знаменательно, что Маяковский, зазвучавший на языке сербов и хорватов, был взят на вооружение партизанской армии. В Югославии в годы народно-освободительной борьбы о Маяковском говорили: «наш партизанский, наш югославский поэт Маяковский».

21 января 1942 года в партизанской газете «Омладински покрет»<sup>2</sup> появился перевод стихотворения Маяковского «Комсомольское». В вводной части к публикации этого стиха-марша о бессмертии Ленина редакция рассказала о ленинском комсомоле, его трудовых подвигах, о героизме, проявленном им в Великой Отечественной войне. В заключение молодежь Черногории призывалась следовать примеру старшего брата — ленинского комсомола. И затем шли строки Маяковского.

Перевод стихотворения «Комсомольское» сделан безукоризненно. Это произведение на сербском языке равноценно подлиннику. Во время третьего наступления немцев и итальянцев, в 1942 году, погиб весь архив партизанских газет и только случайно у

<sup>1</sup> «Српски книжевни гласник» № 2, Белград, 1939.

<sup>2</sup> Хранится в библиотеке-музее Маяковского в Москве.

Зоговича сохранился этот номер газеты «Омладински покрет», специально выпущенный к восемнадцатой годовщине смерти Ленина.

К образу Ленина в творчестве Маяковского снова и снова возвращается Зогович во время войны. В январе 1942 года в селе Гостилье над Белопавличем, на свободной черногорской территории, Зогович перевел главу из поэмы «Владимир Ильич Ленин», и хотя перевод был впервые опубликован после освобождения Югославии, в январе 1945 года в газете «Борьба», он уже задолго до этого пользовался широкой популярностью в Народно-освободительной армии и на свободной территории.

Глава о дне Великого Октябрьского социалистического переворота, о Ленине в штабе революции — в Смольном — впервые прочитана на освобожденной территории в городе Яйце, в Боснии, осенью 1943 года.

Именно здесь 29 ноября 1943 года было провозглашено новое государственное устройство Югославии — Федеративная Народная Республика Югославия. На освобожденных территориях народные массы уже во время войны принимали участие в строительстве новой государственной жизни. Поэтому стихи Маяковского, рассказывавшие о первых днях существования советского государства, о Ленине — великом зодчем новой жизни, особенно волновали слушателей.

В 1945 году в Белграде вышел одномоник произведений Маяковского.<sup>1</sup> Он был издан на кириллице (шрифт сербского языка) и латинице (шрифт хорватского языка). В одномоник вошли семнадцать стихотворений и отрывков из поэм в переводах Зоговича и «Как делать стихи» в переводе профессора Радована Лалича. В качестве предисловия помещена статья ныне президента Болгарской Академии наук Тодора Павлова, написанная еще до войны (публиковалась в хорватском журнале «Израз» и вышла отдельным изданием в Софии в 1940 году). Сборник готовился к изданию в 1940 году, но сперва полицейская цензура, а потом война воспрепятствовали его появлению. Теперь же

<sup>1</sup> Маяковский. Стихи. Белград, изд. «Культура», 1945.



его издание было приурочено к пятнадцатой годовщине смерти поэта.

Подбор произведений, вошедших в книгу, характеризует искусство Зоговича как переводчика. Ему удается хорошо перевести и лирические произведения и сатиру Маяковского. Интересно отметить, что такие произведения, как «Рассказ о Кузнецке и людях Кузнецка» и «Стихи о советском паспорте», опубликованные еще до войны, во время народно-освободительной борьбы печатались бесчисленное множество раз в типографиях, на шпирографе, на стеклографах. Зогович в переводах этих стихов проявил свое мастерство, оно сделало эти вещи Маяковского не только доступными, но и любимыми югославским читателем. Искусство Зоговича дает ему возможность познакомить читателей Югославии с более широким кругом произведений Маяковского различных периодов его деятельности и с крупнейшими поэмами.

Зоговичу в большинстве произведений удается достигнуть необычайной точности в передаче ритма. Маяковский говорил: «...ритм — основа всякой поэтической вещи... Ритм — это основная сила, основная энергия стиха»<sup>1</sup>.

Зогович достигает большой выразительности, реформируя ритмику сербского стиха, песенного по своей мелодике, обогащая его ритмическим многообразием разговорно-интонационного стиха. Но поэт сохраняет, как правило, только рифмовку второй и четвертой строки. В тех случаях, когда переводчик, стремясь воссоздать рифму Маяковского более полно, рифмует слова, в которых содержится смысловой ключ к строфе, он еще больше приближается к духу оригинала.

В 1947 году в Белграде вышла книга новых переводов Зоговича — детские стихи Маяковского — «Прочти и катая в Париж и Китай». Эти произведения, написанные Маяковским для самых юных читателей советской страны, проникнуты удивительным обаянием и простотой. В них для югославского читателя раскроется еще одна грань творческого облика поэта.

Вместе со стихотворениями Маяковского в сборник, вышедший в Белграде в 1945 году, включена статья Маяковского «Как

делать стихи», переведенная профессором Радваном Лаличем. Лалич сохранил лаконизм и точность фразы, присущей стилю прозаических произведений Маяковского, неожиданность сравнений, оттенки юмора, иронии.

Лалич понял, что отточенность формулировок характеризует стиль этого произведения, в котором Маяковский утверждал принципиально новое отношение к поэтическому труду, его целенаправленности. Работа Лалича указывает путь другим переводчикам прозаических произведений Маяковского.

В культуру югославских народов, прошедших через народно-освободительную борьбу, влилась свежая струя. В сербский литературный язык вошли новые элементы революционной лексики, отражающие политические, экономические, культурные преобразования в стране. В одной из своих статей<sup>1</sup> Лалич характеризует тесные, братские отношения между Югославией и Советским Союзом и проблеме влияния русского языка. Он подчеркивает, что обновляется то влияние, которое и раньше оказывал русский язык. Оно растет с новой силой, так как югославские народы глубоко знакомятся с жизнью страны социализма, с различными отраслями науки, техникой и культурой Советского Союза, и все большее число книг переводится с русского языка. В сербский литературный язык проникает много русских слов. Проникают эти слова вместе с новыми понятиями, рожденными Великой Октябрьской социалистической революцией, в процессе социалистического строительства. Лалич указывает на закономерность вхождения в сербский язык тех русских слов, смысл которых может быть искажен переводом. Но он справедливо подчеркивает, что нужно в сербском языке искать слова для обозначения новых понятий, взятых из русского, тем более, что в большинстве случаев это происходит органично.

Все эти положения, высказанные Лаличем, имеют актуальное значение как для писателей — переводчиков Маяковского, — так и для всех, кто стремится проникнуть глубже в сущность творчества поэта советской страны.

<sup>1</sup> В В Маяковский. Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 135, 137.

<sup>1</sup> «Наша книжность» № 5, Белград, 1946.

Важно отметить, что поэтические произведения, созданные Радованом Зоговичем в годы народно-освободительной борьбы, свидетельствуют о близости его поэзии этого периода искусству Маяковского.

Новаторские произведения эти, получившие широчайшее распространение в народе, выражали новый строй мыслей, убеждений человека новой Югославии, остро ненавидящего зло и ложь капиталистического мира.

Поэт-новатор учится у Маяковского. Он смело реформирует традиционные жанры. Его стиль соединяет народную простоту с художественным совершенством, обогащенными средствами выразительности, выработанными в «мастерской стиха» Маяковского.

В поэзии Зоговича живы эпические традиции народного творчества, но у него вместе с тем нет консерватизма в использовании фольклора. Его поэзия пронизана острой политической мыслью, а это определяет и характер развития и обогащение средств поэтической выразительности.

Одной из богатейших литератур Югославии является литература словенского народа. Народность искусства в Словении определяет и уровень требований читателей к современному искусству, перед которым стоят невиданные задачи. Болгарский писатель Караславов («Искусство», София, 1946) рассказывает о встрече в 1946 году со старейшим поэтом Словении Жупанчичем. Жупанчич говорил: «Мы не можем смотреть на народ, как на ребенка, которому нужно давать специальное чтение. Он зрелый. С ним нужно говорить, как с равным. В этой войне писатель стал активным. Но теперь и народ поднялся и активизировался... И я уверен, что эта новая связь между народом и писателями непременно породит что-то новое. Мы имеем самые лучшие условия для прекрасного развития нашей литературы... Сколько людей читают французского поэта Поля Валери? Тысяча человек. И это в стране, которая имеет 45 миллионов жителей. А нас, нас в маленькой Словении, которая имеет полтора миллиона жителей, нас читает весь народ».

В этой связи приобретает интерес появление переводов Маяковского на словен-

ском языке. Правда, это только первые ласточки. В Словении вообще очень высока культура переводов, в частности, произведения русской литературы, прозы и поэзии. Надо отметить, что очень талантливый поэт Миле Клопчич — автор переводов «Двенадцати» Блока, «Медного всадника» и лирики Пушкина перевел «Левый марш» Маяковского. В 1936 году в передовом журнале «Содобност», который редактировал Фердо Козак, были опубликованы отрывки из статьи Маяковского «Как делать стихи». Перевод статьи на словенский был сделан молодым журналистом Юрием Русс (Ю. Густинчичем). После освобождения Югославии Юрий Густинчич опубликовал в белградской газете молодежи «Омладина» статьи: «Маяковский и революция», «Маяковский и молодежь». Густинчич в этих статьях показал роль Маяковского как поэта революции, писателя, оказавшего огромное воздействие на молодежь. В 1946—1947 годах в словенских журналах появились переводы «Стихов о советском паспорте», отрывков из поэмы «Ленин»<sup>1</sup> и «Рассказ о Кузнецке и людях Кузнецка».<sup>2</sup> Сам факт появления Маяковского на словенском языке очень симптоматичен и важен. Характерен выбор произведений: стихи о любви к советской Родине, поэма о Ленине и рассказ о людях сталинской эпохи.

В стихотворении безвременно погибшего молодого словенского поэта-партизана Каюха Дестовник, образ Маяковского как бы сливается с образом Москвы 1941 года. Название стихотворения «Площадь Маяковского» приобретает широкое значение, став лейтмотивом произведения о героических днях.

Площадь Маяковского — поэта,  
Тишина подземного дворца...  
Речь вождя отсюда шла по свету  
Прямо в партизанские сердца.

Маяковский стал поэтом новых людей. Этим объясняется популярность его имени в Югославии.

<sup>1</sup> «Нови свет» №№ 1—2, 8. Перевод Фран Альбрехта, Любляна, 1947.

<sup>2</sup> «Обзорник» № 4—5, Любляна, 1947.

### 3. Маяковский в Польше

Приехав в Польшу в 1927 году, Маяковский, несмотря на краткий срок пребывания в Варшаве, сумел разглядеть главное — бедственное положение народа, изнемогавшего под гнетом белопоанской военщины. Именно об этом заговорил Маяковский в своих стихах о Польше и в очерках «Наружность Варшавы» и «Поверх Варшавы».

Маяковский в своих выступлениях за рубежом подчеркивал массовый интерес советского народа к литературе, и поэзии в частности. Именно поэтому в своих очерках он большое место посвящает описанию бедственного положения, на которое были обречены многие польские писатели в те годы. Маяковский рассказывает о крохотном гонораре, маленьких тиражах и об отсутствии возможности в Польше написать правдивую книгу. В связи с этим Маяковский характеризует судьбу последней книги известного писателя Жеромского — «Канун весны»: «... такую польскую славу, как Жеромский, и то перед смертью вызывали в дефензиву с недоуменнейшим вопросом — как это ему в голову пришло написать такую революционную вещь? И Жеромский шел!

Правда, можно писать и против того, что видишь. Но тогда кто тебя будет печатать?».

В Варшаве происходят встречи с писателями. Маяковский четко формулирует различие их позиций. Он называет имена наиболее передовых поэтов: Тувима, Броневского. «В первый вечер я, конечно, встретился с самыми близкими нам и мне писателями.

Интереснейшие здесь: поэт Броневский, только что выпустивший новую книгу стихов «Над городом». Названия его стихов говорят за себя: «На смерть революционера», «Пионерам», «Кабала» и т. д.»

Стихи, вошедшие в книгу Броневского, о которой говорит Маяковский, во многом родственны его произведениям (особенно дореволюционного периода).

Тема революционной борьбы и идейное понимание роли поэта и поэзии привели Броневского к использованию элементов поэтики Маяковского.

В 1930 году Броневский написал стихи «14 апреля». В этом произведении поль-

ский поэт пишет о вечной молодости стиха Маяковского:

Но песня никогда не смолкает,  
взнесенная из катакомб на форум.  
Она гораздо выше взлетает,  
чем черный дым над крематорием...<sup>1</sup>

Все последующие годы Броневский выступал как убежденный антифашист. Автор многих переводов русских классиков и современных писателей, он в 1946 году опубликовал перевод стихотворения «Во весь голос». <sup>2</sup> Избран для перевода поэтическое кредо Маяковского, Броневский еще раз как бы подчеркнул свою близость к советскому поэту.

В Варшаве произошла встреча Маяковского с крупнейшим польским поэтом Юлианом Тувимом. Тувим был первым переводчиком Маяковского на польский язык. К моменту приезда Маяковского перевод Тувима «Облако в штанах» был уже опубликован. Свое впечатление от знакомства с Тувимом Маяковский описывает в очерке «Ездил я так»: «Тувим, очевидно, очень способный, беспокоящийся, волнуемый, что его не так поймут, писавший, может быть и сейчас желающий писать настоящие вещи борьбы, но, очевидно, здорово прибранный к рукам польским официальным вкусом».

Большой художник, Тувим долгие годы трагедийно воспринимал жизнь в мизерном и затхлом мире Польши Пилсудского. Тувим написал множество тонких лирических и сатирических произведений, в его искусстве было много правдивости и новизны, и именно в этом мы находим близость к Маяковскому. В отличие от Маяковского сатирические произведения Тувима часто не имели определенного адресата. Это был протест против пошлости, филистерства, мещанства, и все же он часто звучал только как чисто эстетический бунт.

Тувим обогатил сокровищницу польского искусства первоклассными переводами русской поэзии. Он — лучший переводчик

<sup>1</sup> Владислав Броневский. Печаль и песня. ГИХЛ, М. 1937. Перевод Марка Живова.

<sup>2</sup> «Кузница» № 23, Лодзь, 1946.

Пушкина, автор трех переводов «Слова о полку Игореве» и произведений Маяковского. То, что еще в середине двадцатых годов разглядел Маяковский в талантливом и грустном облике поэта, в основном было справедливо. Маяковский писал тогда: «... Тувиму надо и некоторой бури, и некоторого оживленья...»

И он был прав. Произошли события, потрясшие весь мир, и изменился характер деятельности Тувима. Гитлеровское нашествие, вынужденная эмиграция, страдания родины, которые стали и мукой ее верного сына, пересоздали Тувима. В эти годы он стал поэтом-борцом. Тувим в речи, которую он произнес на митинге в Чикаго в 1943 году, говорил: «В эти минуты, в эти дни борьбы на жизнь и на смерть за будущее мира... в дымящихся развалинах героического Сталинграда мы видим живое воплощение слов нашей песни «Крепостью будет нам каждый порог». Честь и слава вызывающим о возмездии руинам этого победоносного города... Имя этой войны — революция. Революция правды против лжи, свободы против тирании, справедливости против бесправия, сердца против кулака, — словом, демократии против фашизма!»<sup>1</sup>.

Во время пребывания в Америке Тувим примкнул к лагерю демократических польских деятелей, которые последовательно поддерживали идею совместной борьбы Польши и Советского Союза против фашизма. В ряде статей он выступал за демократизацию Польши. Мы еще раз убеждаемся, как был прав Маяковский, определив необходимость для дарования Тувима активного, смелого выхода из эстетического бунтарства. Маяковский тем более был прав, что сам шел путем, поистине замечательным в своей целеустремленности.

Тувим вобрал в свое творчество и чудесные разряды революционных молний, насыщавших искусство Маяковского. Задача специального исследования установить, как претворенное влияние Маяковского стало плодотворным и для этого большого поэта новой Польши.

Во время пребывания Маяковского в Варшаве был издан сборник его произведений; Маяковский написал к нему предисловие.

<sup>1</sup> Юлиан Тувим. Избранное. Гослитиздат, М. 1946.

Он понимал, какие трудности стояли перед поэтами-переводчиками. Как явствует из самого предисловия, переводы ему понравились. «Эта книжка, где собраны мои стихи разных периодов и отрывки из наиболее принципиально важных поэм, даст читателю вполне точное представление о характере моей работы»<sup>1</sup>.

В годы борьбы с фашизмом количество новых переводов значительно возросло. В польской литературе, которая из всех литератур славянских народов обладала наибольшим числом переводов Маяковского, это было весьма примечательно, так как свидетельствовало о настоятельной потребности вновь возвращаться к его творчеству. Переводили Маяковского поэты разных поколений.

В 1939 году группа польских писателей нашла в Советском Союзе, во Львове, убежище от немецкого террора и условия для дальнейшего развития польской литературы. Польские поэты во Львове подготовили и издали книгу новых переводов Маяковского<sup>2</sup>. Переводы были осуществлены такими поэтами, как Яструн, Пшибось, Важик, Леон Пастернак, Добровольский, Путрамент и другие. В предисловии к этой книге редактор ее — виднейший польский критик и общественный деятель Юрий Борейша — писал о Маяковском: «Он всегда и во всем оставался революционером и новатором... Если проза является пехотой литературы, поэзия же — ее авиацией, то Маяковский был лучшим асом поэзии, который метко бросал бомбы в ряды противников и всегда с победой возвращался на землю».

Рассматривая его творческий путь, Борейша подчеркивает партийность поэзии Маяковского, а в специальной главе о новаторстве он пишет о том, что Маяковский совершил революцию на фронте поэзии — революцию образа, стихосложения, боролся за демократизацию словаря. «Он не принизил поэтическое слово, а поднял поэтический словарь. Он имел дарование создать слово, которое еще никто не выговаривал. Никто другой, кроме Пушкина,

<sup>1</sup> В. В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. XII, ГИХЛ. М. 1937, стр. 371.

<sup>2</sup> В. Маяковский. Стихи. Киев — Львов, 1940.

Лермонтова и Некрасова, не совершил столько завоеваний в обновлении языка... Мы изломали всю метрику, но мы не создали нового размера — новый размер создал Маяковский».

Борейша отмечает, что ритмическим многообразием Маяковский пользуется для выявления содержания, что он не только обновил старую лексику, но изменил понятие о жанровых разграничениях, о разделении лирики, эпики и сатиры. Борейша сравнивает Маяковского с польским классиком Словацким, подчеркивая, что его ни на один миг не покидает ирония, которая сохраняется в лирике мужественность.

«Маяковский сам стал эпохой... Сегодня могучий металлический колокол этого голоса — трибуна народа будет призывать польских поэтов к борьбе. Сегодня его лирика, не замкнувшаяся в собственном «я», но, как лирика мицкевического миллиона, укажет наверно не одному художнику новый путь творчества». (Герой поэмы Мицкевича «Поминки» Конрад говорит: «я миллион потому, что я за миллион люблю и страдаю». — Л. Ф.) И поэтому над хребтами веков пронесется голос Маяковского, сказавшего о себе:

Я  
всю свою  
звонкую силу поэта  
тебе отдаю,  
атакующий класс.

Влияние Маяковского на польских поэтов не ограничивалось, как правило, только областью поэтики. Оно прежде всего определялось глубиной идейного содержания, в свою очередь требовавшего для своего выявления нового сочетания поэтических выразительных средств. Мы можем еще раз оценить значение Маяковского для польской литературы сейчас, когда происходит дискуссия о путях ее развития, о реализме. Поэт Яструн — большой художник и автор интересных статей, выступил в 1944 году со статьей, характеризующей проблему различия поэзии и поэтичности, правды и имитации. (Яструна мы называли в числе переводчиков Маяковского. Он перевел «Облако в штанах», «Хорошее отношение к лошадям» и другие стихи Маяковского). Некоторые его суждения, высказанные в статье «Поэзия

и поэтичность»<sup>1</sup>, приобретают весьма актуальное значение.

«Поэзия, если не желает быть игрушкой эстетов, должна быть воплощением правды. Писать можно собою, опытом всей жизни, а не частицей чувств. Писать можно тогда, когда несешь в себе современность. Поэт... должен выражать не красоту подобий, но красоту правды. Точно так же, как поэты эпохи символизма созрели в одиночестве, так современный поэт вырастает из коллектива, и нет причины думать, что этот вид человечности не будет более полным».

В этом смысле знаменательна история создания перевода поэмы Маяковского «Хорошо!» эссеистом, новеллистом и переводчиком Артуром Зандауером. Этот перевод возник как настоятельная потребность преодоления ужаса немецкого нашествия на Польшу, которое со всей тяжестью обрушилось и на Артура Зандауера. В предисловии к переводу он рассказывает: «Времени было вдоволь. Издатели не торопили. Фронт в эту зиму 1943 года находился на расстоянии в тысячу километров, и надежды на издание поэмы в Карпатских горах было немного. В полном одиночестве, иногда по целому месяцу в лесу или в каком-нибудь сарае, без оригинала, без бумаги, без карандаша, которым все равно нельзя было бы воспользоваться из-за мороза и темноты, я переводил по памяти — на память, ища в стихах спасения от тьмы, голода и мороза. Лучшее всего удался, полагаю, перевод тех отрывков, содержание которых было особенно близко мне тогда... Только после выхода из подполья я сравнил восстановленный по памяти перевод с оригиналом. Если эта книга не имеет других достоинств, то во всяком случае одна особенность отличает ее от многих других — то, что она вся создана наизусть»<sup>2</sup>.

Зандауер говорит, что в стихах Маяковского он искал спасения от тьмы, голода и мороза. Эта поэма была буквально светом во тьме долгой оккупационной ночи. «Строящая и бунтующая сила» советского поэта согревала в Карпатских горах польского изгнанника.

<sup>1</sup> «Одрозzenie» № 8—9, Краков, 1944.

<sup>2</sup> В. Маяковский. «Хорошо!» Лодзь, 1945.

В статье о переводе поэмы критик Генрих Фоглер<sup>1</sup> характеризует новаторское влияние Маяковского на польскую поэзию, говорит о необычайной силе поэзии агитатора и пропагандиста. «Радость становления, наслаждение творчеством, созиданием нового строя... заставляют поэта полностью принимать трудную действительность. Вопреки голоду, холоду и нищете... поэт может воскликнуть «Хорошо!» Изумительное богатство звуковых сочетаний, красота дерзкого стихосложения, музыкальность, не потрясающая бубенцами дешевого эффекта, но полная глубокой внутренней правильности, — вот элементы, которые в другом языке может воссоздать только настоящий творец и поэт. Артур Зандаур преодолевает все препятствия с настоящим художественным тактом». Фоглер приводит ряд примеров, характеризующих поэтику перевода, и резюмирует свои наблюдения: «Все это удачные и интересные попытки воссоздать те элементы революционной поэтики Маяковского, которых не хватает в польском стихосложении...»

«В тесном единении с поэтом, будет с нами говорить переводчик словами, которые повторял каждый страдалец и борец в течение шести лет оккупационной ночи:

Землю,  
где воздух,  
как сладкий морс,  
бросишь  
и мчишь, колеса, —  
но землю,  
с которой  
вместе мерз,  
вовек  
разлюбить нельзя».

Маяковский оказывает сильнейшее влияние и на многих молодых польских поэтов, в частности, на Братного, участника партизанской борьбы и варшавского восстания 1944 года. Поэт Павел Герц в 1945 году в «Кузнице» опубликовал стихи—«Маяковский», в которых он рассказал своему читателю, как дорог Маяковский всем, кому дорог Страна Советов.

#### 4. Маяковский в Болгарии

В Болгарии имя Маяковского не сходило со страниц газет и журналов. К нему апеллируют, выражая любовь к Советскому Союзу, характеризуя принципы реализма в современной поэзии, борясь с формализмом. Популярность Маяковского в Болгарии огромна. К семнадцатой годовщине смерти поэта газеты молодежи поместили портреты, стихи Маяковского, статьи о нем. Орган ЦК болгарского рабочего союза молодежи — газета «Младежка Искра» опубликовала высказывание президента Болгарской Академии наук Тодора Павлова о Маяковском, как поэте, наущно необходимом людям нового общества. Тодор Павлов посвятил ряд своих работ рассмотрению основных проблем творчества Маяковского. Орган ЦК демократической молодежи Болгарии — газета «Народна младеж» пишет: «Творчество Маяковского является гигантским прыжком в развитии мировой поэзии. Отсюда вытекает огромное значение его поэтического труда, который приобретает все большую силу и актуальность... Маяков-

ский является создателем нового стиха социалистического реализма. Свой талант в свои поэмы он бросил в атаку за укрепление великого дела Октябрьской революции... Не случайно свою лучшую поэму он написал о «самом человеческом человеке», самом простом и самом могучем из людей — создателе первого социалистического государства — Владимире Ильиче Ленине».

Поэты, артисты, самодеятельные коллективы на митингах, торжественных собраниях и литературных вечерах читают произведения Маяковского. Художественный коллектив имени поэта Николы Йонкова Вапцарова провел сотни литературных вечеров, и одной из наиболее любимых рабочей аудиторией программ был литературный вечер Маяковского.

Маяковский стал достоянием болгарского читателя не только в переводах, но и в оригинале, так как в Болгарии широко распространено знание русского языка. Поэт Христо Радевский, один из лучших переводчиков Маяковского на болгарский язык и убежденный пропагандист его искусства, говорит о значении Маяковско-

<sup>1</sup> «Одродzenie» № 7, 1946.

го для болгарской поэзии: «Сегодняшняя поэзия нуждается в его страстности, в его безграничном патриотизме, в его непримиримой ненависти к реакционному прошлому, так зверски проявившемуся в лице фашизма... Едва ли имеется в мире более или менее развитая прогрессивная и революционная поэзия, в которой не чувствовалось бы властное присутствие Маяковского»<sup>1</sup>. Так оценивают значение Маяковского поэты, критики, общественные деятели Болгарии. В восприятии Маяковского сказались и замечательная революционная традиция, связывавшая литературу Болгарии с русской культурой.

Русская передовая революционная мысль, так полно выразившаяся в литературе России, нашла своих горячих последователей в Болгарии. Ботев, Каравелов находились под влиянием великих русских демократов Белинского, Чернышевского, Герцена. Продолжение этих традиций сближения с передовой мыслью России мы видим в горячем отклике, который находят в Болгарии все новые явления советской культуры. Как справедливо отмечает Людмил Стоянов, «это объясняется не только установленной традицией, но и тем, что народная республика как облик своей культуры, так и своей любовью к труду и отсутствием хищнического капитализма, ближе всего стоит к культуре Советского Союза»<sup>2</sup>.

Попытаемся проследить, как в Болгарию пришло искусство Маяковского, как оно было воспринято и как теперь оно широко входит в основной фонд болгарской культуры.

Еще в 1921 году, в альманахе «Везни» («Весы»)<sup>3</sup> были опубликованы стихи Маяковского. Они подкрепляли литературную декларацию, напечатанную в том же номере «Везни». Декларация была направлена против старого искусства и утверждала гуманистические принципы. Автором ее был Гео Милев

Гео Милев был талантливым поэтом, прекрасным переводчиком, критиком. Он отдал дань увлечению символизмом, но постепенно он все глубже осознавал, что новое искусство Болгарии должно родить-

ся в борьбе за изменение всего общественного строя. Он понимал, что самоценное, эстетическое обновление может носить только чисто формальный характер, что должно измениться содержание искусства, а для этого оно должно стать подлинно народным. И в этом смысле большое значение имело для Гео Милева его знакомство с поэзией Маяковского. Перед поэзией распахивались широкие двери — от нее требовалось активное революционизирующее участие в жизни народа.

Гео Милев погиб от рук фашистов в 1925 году в Болгарии. Он был первым пропагандистом и восторженным последователем Маяковского.

В журнале «Пламак» («Пламя», 1924, кн. 1) Гео Милев писал: «Маяковский... поэт миллионно-взволнованной улицы открывает и вносит во всемирную лирику новые тона, которые литература до него не знала, улавливает и создает в поэзии нечто новое: стихийный ритм безымянной пришедшей в движение массы; создает новую поэзию, новое искусство, искусство динамики и ритма. Это новое завоевание в области литературы...» И дальше Гео Милев сообщает, что собирается переводить и печатать произведения Маяковского в «Пламак». В этой же статье, явно разделяя убеждения Маяковского, он утверждает: «Башня из слоновой кости, убежище поэзии, новое слово звучит убедительнее — «скрывалище». — Л. Ф.), лежит разрушенная, превратившись в груды обломков. Мы останемся там, где Народ, с Народом, среди Народа».

В обстоятельной и интересной статье<sup>1</sup> болгарский критик Цанев подчеркивает, что пример Маяковского действует на Гео Милева более сильно, чем пример Блока, поэму которого «Двенадцать» Милев перевел и напечатал в 1921 году. Поворот Гео Милева к поэзии Маяковского становился все более очевидным.

Гео Милев обрушился на поэтику символистов, провозгласил необходимость обновления искусства. Влияние Маяковского обнаруживается в ритмическом рисунке, в образной системе ряда произведений Милева, но — что особенно важно — в широком революционном размахе поэмы «Сен-

<sup>1</sup> «Литературен фронт», 1945. София.

<sup>2</sup> «Бюллетень культурной информации». София, 1947, № 29.

<sup>3</sup> Часть III, книга 4.

<sup>1</sup> «Изкуство и критика» № 4, София, 1940.

тябрь» (которая и в наши дни пользуется в Болгарии большой известностью) и в теоретических высказываниях — в полемике Гео Милева против декадентов.

В 1923 году на страницах антологии «Крещение огнем и духом» Гео Милев опубликовал перевод большого отрывка из поэмы «150.000.000». В этой антологии Милев говорит: «Маяковский — это крупнейший русский поэт, созданный революцией...»

Поэт Ламар, друг Милева, вспоминает: «Когда Маяковский издал «150.000.000», Гео был снова вдохновлен. Сколько новизны вторглось тогда в наш круг». В письме к Ламару Гео Милев советует ему обратиться к искусству Маяковского.

Гео Милев написал поэму «Сентябрь» о сентябрьском восстании 1923 года. Это была первая попытка восстания против фашистского режима правительства Цанкова. Восстание было подавлено с невероятной жестокостью, но поэма Милева завершается строфами, прославляющими грядущую победу. Бесспорно, необычайно сильно влияние «150.000.000» Маяковского на поэму Милева «Сентябрь». Само задание определило стиль произведения и близость к поэме Маяковского. «Сентябрь» распространялся в рукописи, заучивался наизусть молодежью. Поэму читали крестьяне, рабочие, и, как справедливо говорит критик Пангелей Зарев, она проникла в широкие слои народа, в которые никогда не могли бы проникнуть произведения так называемой «изящной словесности» со своим холодным и индивидуалистическим содержанием. Таким образом Гео Милев в зрелый период своего творчества стал поэтом большого революционного звучания.

По признанию многих поэтов и критиков, именно Гео Милев по своему поэтическому темпераменту, высокой стихотворной культуре из всех поэтов Болгарии наиболее близок к Маяковскому.

Георгий Цанев в 1940 году так определял воздействие Маяковского на болгарскую литературу двадцатых годов: «Естественно, что это влияние, пришедшее в неспокойное время, находит самую лучшую почву в идейно левой революционной болгарской поэзии, в той, которая ищет новые пути...»<sup>1</sup> Известно, что к Маяковскому

обращались болгарские революционные поэты с предложением перевести на русский язык поэму его болгарского последователя.

Влияние Маяковского испытал и Ламар. Непосредственное воздействие Маяковского заметно в первом сборнике Ламара — «Арена» (1922). Влияние более поздних произведений Маяковского можно проследить в творчестве писателей, группировавшихся вокруг передовой революционной прессы.

После трагической гибели поэта группа писателей, объединившихся вокруг журнала «Новис» («Новое искусство»), издала специальный «Маяковский лист», редактором его был Ламар. В передовой статье говорилось: «В Болгарии Маяковский — наш. Настолько наш, что мы горюем, как горюют его личные друзья». Поэты Ламар, Николай Хрелков опубликовали в этом же номере стихи о Маяковском. Влияние Маяковского сказалось и в творчестве Христо Радевского, который перевел многие произведения Маяковского. (Стихи о поэзии, отрывки из поэм, в частности из «Хорошо!» и другие). Переводы, сделанные Радевским, очень близки к оригиналу, а в творчестве Радевского воздействие Маяковского сказывается в политической лирике.

Необычайно велика сила примера Маяковского в служении своему народу. Семь лет тому назад виднейшие писатели Болгарии писали о нем: «Десятилетие со дня смерти Маяковского совпадает с новой мировой войной, когда в хаосе собственных противоречий старый мир сжигает за собою последние мосты и когда идеал, вдохновлявший поэзию Маяковского, находит во всем свете миллионы последователей. Эта поэзия сыграет теперь огромную роль, она прояснит сознание и укрепит волю широчайших масс для создания новой всемирной гуманистической культуры... Значение Маяковского как поэта и организатора мыслей и чувств людей советской эпохи будет все более и более возрастать во всем мире, ищущем ответа на бесчисленные вопросы, которые непрерывно ставят перед нами великие исторические события».<sup>1</sup> Закономерно, что в борь-

<sup>1</sup> «Искусство и критика» № 4, 1940.

<sup>1</sup> «Интернациональная литература» № 5 — 6, 1940.



бе болгарского народа звучало слово Маяковского. Талантливый поэт — инженер Велчев, сложивший свою голову в борьбе за освобождение Болгарии, переводил Маяковского. Он перевел «Во весь голос», познав в борьбе своего народа силу слова-оружия.

Дружба с Маяковским в Болгарии крепла в самые тяжелые годы. Опыт его поэтического труда становился необходимым все более широкому кругу писателей, связавших свою судьбу с судьбой народа. В Болгарии высоко ценится поэзия Николая Йонкова Вапцарова. Вапцаров уходил от влияний индивидуалистической поэзии, и в последние годы перед войной его искусство было проникнуто реализмом и революционной романтикой. Он очень любил Маяковского. В его комнате висел только один портрет — портрет советского поэта. В 1942 году фашисты расстреляли молодого поэта за подпольную деятельность, но стихи Николая Вапцарова находят все новых читателей. Это стихи поэта-борца, страстные и глубокие. Поэзию Вапцарова роднит с Маяковским ее боевой дух, необычайная свежесть, неожиданность образов, удивительная свобода интонации.

Николай Тихонов, характеризуя поэзию новой Болгарии, обратил внимание на ее народность и на горячую любовь поэтов к Маяковскому.

«В Болгарии много поэтов,— писал он.— Чувство поэзии, может быть, никогда с такой освежающей силой не требовалось стране, как сейчас, поэзии, питающейся от самых истоков народного чувства, от революционных ритмов, сотрясающих страху, от жажды нового.

Вот почему так свежо звучит Маяковский в стихах старых и молодых поэтов. И это не подражание. Это растущая сила, которая не ищет повторения. Это поиски зримого, грубого стиха, глубокого и широкого дыхания»<sup>1</sup>. Тихонов рассказывает о встрече с поэтом Богумилом Райновым, одним из наиболее даровитых поэтов современной Болгарии, переводчиком Маяковского: «Молодой и бурный Богумил Райнов полон подлинного жара раннего Маяковского. Я вспоминаю ночь, когда мы разговаривали о стихах, забыв о времени... Он с растрепанными жесткими волосами, с

юношеской мимикой взволнованного нервного лица, смуглый, ершистый, сверкая черными глазами, говорил о своей поэме «Сталин», отрывки которой он читал этим вечером».

Райнов перевел многие произведения Маяковского, среди них отрывки из поэмы «Ленин», «Разговор с товарищем Лениным». После освобождения Болгарии вышла книга переводов, сделанных Христо Радевским и Райновым.

Сила мысли поэта страны социализма, великолепное своеобразие его мастерства и требовательность к качеству искусства не только вызывают у болгарских поэтов признание его достоинств, но и желание следовать его примеру. «Во имя счастья народов и работает Маяковский...— пишет Райнов. — Жизнь Маяковского, равно как и все его творчество, является образцом для всех поэтов. Каждый человек, который хочет достойно носить имя поэта, должен идти по пути, указанному нам Маяковским».

Что же имеют в виду деятели культуры славянских стран, призывая следовать по пути Маяковского? Не о механическом перенесении отдельных элементов поэтики Маяковского идет речь, а о восприятии духа его искусства.

Маяковский был поэтическим выразителем суждения народа о самом себе, о своих героях и о своем будущем. Народ этот совершил Великую Октябрьскую социалистическую революцию, имеющую всемирно-историческое значение. Искусство ее художника должно было приобщить не только мировую известность, но и влияние.

Искусство Маяковского не требует подражания, а наоборот, определяет необходимость новаторства в самом широком значении этого понятия. Как говорил Маяковский, каждому циклу идей надо находить присущее ему выражение. Поэт Христо Радевский, талантливо переводивший на болгарский язык не только произведения Маяковского, но и множество произведений других советских поэтов (Багрицкого, Светлова, Тихонова и других), неоднократно в своих статьях отмечал плодотворное влияние русской революционной советской поэзии на искусство Болгарии. Он говорит: «Маяковский во многих отношениях является законодателем в нашей поэзии. Он один из высших критериев и в

<sup>1</sup> «Литературная газета», 7 апреля 1945.

теоретических доводах при утверждении нашей революционной поэзии, и в ее практическом создании».

Переводят Маяковского многие поэты Болгарии. Не все переводы одинаково полноценны, но интерес и любовь к Маяковскому все более возрастают. Людмил Стоянов проделал большую творческую работу, переведя на болгарский язык поэму «Ленин»<sup>1</sup>. Ценность ее несомненна. Но надо сказать, что в некоторых частях поэмы в переводе нивелируются особенности стиля Маяковского, иногда утрачивается своеобразие и острота его поэтической мысли. Это происходит, когда автор перевода традиционными и стертыми выражениями передает те мысли, слова для выражения которых можно было найти в сокровищнице болгарского народного творчества, в разговорной речи, песне. В еще большей мере это относится к переводу «Стихов о советском паспорте». Динамичность, присущая поэзии Маяковского, заменена в этом переводе повествовательностью. И если слово Маяковского действенно, оно раскрывает новые явления, слово переводчика подчас только осведомляет, не затрагивая читателя. В таких случаях простота Маяковского утрачивает присущую его искусству глубину, и происходит примитивизация. Мы заговорили о некоторых погрешностях в целом удачного перевода поэмы потому, что именно на примере работы крупнейшего писателя, вдумчивого художника, мы яснее обнаруживаем ту опасность нивелировки, от которой нужно уходить.

О необходимости дальнейшего совершенствования переводов Маяковского сам Людмил Стоянов говорит так: «Любовь болгарских поэтов к Маяковскому и серьезное отношение к его творчеству дают все основания надеяться, что в скором времени он достойно и широко будет представлен на языке Ботева и Димитрова».

Полное слияние высокого искусства Маяковского с жизнью народа Советского Союза сделало его любимейшим автором болгарского народа.

Пройдут века — в веках должны остаться Стихи бессмертные — бессмертные дела.

<sup>1</sup> Вл. Маяковский. Ленин. София. 1947.

Сняет родина его,  
и возвышаться

В ней будет Маяковский,  
как скала.

Так выражает эту мысль в своих стихах Матеев, поэт, который переводил Маяковского на свой родной язык.

Для многих писателей и для молодежи новой Болгарии Маяковский на фронте труда и творчества — правофланговый, по которому выравнивают ряды. Став поэтической совестью своего народа, Маяковский стал мерилом истинного искусства для миллионов подлинных демократов мира.

\*  
\* \* \*

Для народов славянских стран социалистическая культура Советского Союза приобрела новое значение в годы борьбы с фашизмом и в послевоенный период.

Советские люди и их деяния стали темой поэтического вдохновения. Образ Красной Армии вошел в лирические произведения чешской, болгарской, польской поэзии. О великом Сталине, о Советском Союзе и его доблестной армии в Югославии поют песни — их сложил народ.

Стихи Маяковского помогают братским народам проникнуть в самые глубокие мысли советского человека. Чувство долга перед народом и временем — одна из основных черт поэта — народа водителя и одновременно народного слуги. Это чувство долга свойственно ныне всей нашей поэзии. Мы видим, как крупнейшие художники братских нам стран стали участниками величайшей борьбы. Это и есть выполнение долга, завещанного Маяковским. Его искусство стало животворным для этих стран, так как его путь был путем замечательного новатора, выразителя самых передовых идей времени. Поэтому его имя в славянских странах сочетают с именами Христо Ботева, Ньегоша, Прешерна, Мицкевича, подтверждая этим его народность, его своеобразие.

Литературы стран новой демократии прошли различные пути развития, но сейчас они переживают процесс обновления. Этот процесс определяется коренным изменением всего строя общественной жизни. Было бы ошибочным упрощать эти процессы, не понимать своеобразия развития

каждой из этих литератур, проводить прямые аналогии с тем или иным этапом развития нашей послеоктябрьской литературы. Но безусловно, именно сейчас огромное значение приобретает слово Маяковского, характер его поэтического развития. Маяковский понимал, что сила его искусства — в народности, и, понимая это, так уверенно говорил от имени народа, обрушивался на его врагов и прославлял Родину. В этом — значение его искусства для наших зарубежных друзей.

Маяковский говорил с народом, как со своим другом, собеседником и никогда не принижал искусство поэта, высоко ценя доверие советского читателя. Его путь — путь неустанных поисков. Все новые качества его лиризма открывались в каждом новом крупном произведении. «Творчество Маяковского разрушает веру в неизменность традиционных поэтических канонов, — говорит болгарский поэт Христо Радевский. — В этом отношении влияние Маяковского распространяется даже на тех,

кто открыто или втайне сопротивляется обновляющей силе его поэзии.

...Носители молодой революционной поэзии подняли его, как знамя и оружие в борьбе против декадентствующих представителей буржуазной поэзии».

Относясь к слову, как к «грозному оружию», Маяковский был требователен к качеству его «выделки». Лучшие переводчики поняли это и пошли за поэтом. О значении примера Маяковского Луи Арагон сказал: «Дело идет о человеке, который достиг высочайшей поэтической квалификации в эпоху самой великой социальной революции. Этот пример имеет ни с чем не сравнимое значение».

Только опираясь на лучшие традиции своих культур и языковое новаторство своих народов, славянские поэты смогли воссоздать на родных языках произведения лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи и продолжать его великие творческие традиции.



---

---

# ЩЕДРИН и ДОСТОЕВСКИЙ

(Из истории их идейной борьбы)

С. БОРЩЕВСКИЙ

★

**И**дейная борьба между Щедриным и Достоевским, которая велась ими на протяжении двух десятилетий, представляет значительный интерес не только для историка русской общественной мысли, но и для каждого читателя, желающего уяснить себе, как отразилась в русской литературе борьба классов, с такой силой развернувшаяся в нашей стране во второй половине XIX столетия.

Общественно-политическая позиция Щедрина к началу 60-х годов, когда началась его полемика с Достоевским, совершенно определилась. Уже самый факт вступления Щедрина в редакцию некрасовского «Современника» тотчас же после ареста Чернышевского свидетельствует о многом. Это был критический момент для революционно-демократического лагеря, когда друзья познавались только по делам. Либералы, которые недавно еще разрешали себе слегка пофрондировать, поскольку, по бессмертному выражению Щедрина, им от начальства «вышло позволение говорить», теперь переметнулись в лагерь реакции. Для нашего сатирика такое поведение либералов не явилось неожиданностью: уже в очерке «Скрежет зубовый» (1860) он охарактеризовал их с позиций крестьянского демократа. Это выступление Щедрина, в эзоповской форме беспощадно разоблачавшее лживость либеральной фразеологии и подлинные помещичьи вождения ее носителей, вызвало против него озлобление во всем охранительном лагере. Не случайно автор доносительского «мемуара», изобличавший «преступность» литературной деятельности заключенного в крепость Чернышевского, приводил выдержки и из «Скрежета зубового» для доказательства

«вредного направления» «Современника».

Став одним из редакторов «Современника», издание которого возобновилось в январе 1863 года после восьмимесячной приостановки его правительственной властью, Щедрин развил кипучую журнальную деятельность. Помимо беллетристических произведений и литературно-критических работ, он печатал почти в каждой книжке «Современника» статьи, объединенные заглавием «Наша общественная жизнь». Блестящая художественно-публицистическая форма этих статей; высокая способность их автора вскрывать в примелькавшихся явлениях повседневной жизни ее сокровенную сущность и, сделав ее наглядно зримой читателю, навести его на серьезные размышления о деятельном участии в общественной борьбе; проникновенная сила и широта обобщения рассматриваемых фактов при неослабевающей идейной целеустремленности в формулировании конечных выводов — все это делало каждую щедринскую статью из серии «Наша общественная жизнь» литературно-политическим событием дня. Знаменательно, что даже такой заклятый враг революционно-демократического лагеря, как соратник Достоевского и член редакций издававшихся им журналов «Время» и «Эпоха» — Н. Н. Страхов, засвидетельствовал этот факт. «Если кто читался из петербургских писателей и публицистов, — отмечал он в статье «Последние два года в петербургской журналистике» (1864), — так именно г. Щедрин. Два три печатных листа его регулярно появлялись в «Современнике» под веским заглавием: *Наша общественная жизнь*.. Щедринские фельетоны имели в тот достопамятный год величайший успех».

Чтобы публицист «Современника» мог иметь такой беспримечный успех в 1863 году, когда, в связи с польским восстанием, правительственная и общественная реакция усиливалась со дня на день, он должен был, вопреки всем цензурным препонам, наносить сокрушительные удары по врагам революционной демократии и воодушевлять своих читателей глубокой верой в победу ее дела. После ареста Чернышевского это оказалось по силам только такому несравненному мастеру эзоповского стиля и столь убежденному противнику самодержавно-крепостнического строя в его дореформенном и пореформенном облике, как Шедрин. Общественно-политическая позиция Щедрина в 60—70 годах прежде всего характеризуется его отношением к крестьянскому движению и революционному лагерю. Высказывая подцензурным языком, в урезанном виде, свое отношение к борьбе «освобожденного» крестьянства с помещиками и правительственными войсками, Шедрин стремился укрепить в сознании читателей убеждение, что эта борьба является главной созидательной силой, ибо только она способна ликвидировать поместное дворянство и опирающийся на него самодержавный режим.

Другой положительной силой в стране Шедрин считал революционные кадры, которые вели пропаганду среди крестьянства. Свое отношение к ним он выразил в первой же статье из публицистического цикла «Наша общественная жизнь». Имея в виду правительственные репрессии против революционеров — «нигилистов», переименованных главарем охранительного лагеря Катковым в «мальчишек», Шедрин писал: «...Я не прошу для мальчишек ни сожаления, ни снисхождения. Я нахожу, что мальчишество—сила, а сословие мальчишек—очень почтенное сословие. Самая остервенелость вражды против них свидетельствует, что к мальчишкам следует относиться серьезно...». В этой же статье Шедрин начал свою полемику с Достоевским, разоблачив его замаскированное нападение на революционную молодежь и ее идейных вождей в редакционной программе журнала «Время» на 1863 год. Этим выступлением Достоевский, по убеждению публициста «Современника», порывал со своим прошлым.

В дальнейшем этот спор еще резче обострился вследствие превознесения Достоевским покорности и смирения, идеализации страдания и призывов к интеллигенции о «единении с народом» путем приобщения к его «глубоко консервативному» духу. Такая проповедь вызывала у Щедрина негодующий протест. «...Не герпеть прилачивается, а ликвидировать», — писал он в статье «Современные призраки», запрещенной цензурой.

Общественно-политическая позиция Щедрина осталась неизменной и в конце 70-х годов, на заключительном этапе его идейной борьбы с Достоевским. После разгрома многочисленных кружков революционной молодежи, предпринявшей «хождение в народ», и ее разочарования в пропагандистской деятельности он попрежнему считает, что работа в массах—единственный путь к достижению «высшей цели». В то же время он резко отрицательно оценивает проекты о «сближении с народом» людей, стоящих на почве существующего строя.

Таким образом, долготелный страстный спор между Щедриным и Достоевским был вызван непримиримыми расхождениями в оценке актуальнейших проблем того времени. В корне различное отношение к царскому самодержавию, к темноте и нищете бесправных народных масс, к революционному движению и социализму — вот то главное, что разделяло их. Первостепенная значимость этих проблем для судеб страны, обостренное чувство переживаемого времени—60-70 годов прошлого века, как решающей переломной эпохи в истории России, эпохи подготовки первой русской революции — поднимают разногласия идейных антагонистов на большую принципиальную высоту. Проникновение же полемических мотивов из сферы публицистических выступлений в область художественного творчества придает их напряженной борьбе яркую эмоциональную окраску.

По своему содержанию и объективному значению полемика между Щедриным и Достоевским выходит за пределы личного спора — их идейная борьба была обусловлена ходом исторического развития России в пореформенный период. И вполне закономерно, что она началась в этот период — именно тогда особенно усилился процесс

размежевания разных направлений общественной мысли. Закономерен и тот факт, что в русской литературе именно Щедрин и Достоевский на протяжении десятилетий не прекращали взаимной борьбы—каждый из них в процессе этого размежевания до конца осознал свой особый путь и не мог не выступать против наиболее сильного и опасного идейно-политического врага.

Под таким, историческим, углом зрения мы рассматриваем уже известные, а также впервые установленные нами факты, относящиеся к исследуемой теме. Известные факты, за самыми малыми исключениями, исчерпывались сведениями о начальном этапе спора между Щедриным и Достоевским, то есть об их публицистической полемике 1863—1864 годов в «Современнике», с одной стороны, и во «Времени» и «Эпохе»—с другой. Но как раз этот этап и нуждался в особенно внимательном изучении, так как предшествующие историки литературы (А. Волынский и И. Иванов), писавшие о нем в 90-х годах прошлого века, внушили читателям совершенно ложное представление о характере спора, а главное—не выяснили его причины и даже исходного пункта. Между тем, без установления причины, на первый взгляд, совершенно неожиданно и неизвестно почему возникшей, полемики оказывалось невозможным исследование второго, главного этапа идейной борьбы между Щедриным и Достоевским, отразившегося уже в их художественных произведениях. На каком широком поле развернулась эта борьба на втором этапе, видно из того, что, как показали изучение и анализ художественного наследия обоих писателей, она воздействовала на творческие замыслы и получила отражение в образах и ситуациях многих произведений Щедрина и Достоевского. К числу этих произведений относятся «Помпадур и помпадурши», «История одного города», «Господа ташкентцы», «Благонамеренные речи», «Господа Головлевы», «Круглый год», «За рубежом», «Письма к тетеньке», «Сказки»—Щедрина, и «Записки из подполья», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»—Достоевского. Укажем также на то, что полемика с Щедриным велась Достоевским и в «Дневнике писателя» И весьма знаменательно, что в неопубликованных черновых заметках к последнему, январскому, выпуску «Дневника писа-

теля» за 1881 год, набросанных перед самой смертью, Достоевский чрезвычайно резко выступает против щедринского цикла «За рубежом»; и, как бы мотивируя свою борьбу с великим представителем революционной демократии, записывает:

«—Две партии в бою, в настоящем организованном бою. Ложно, если говорят, что нет партий»<sup>1</sup>.

И не менее характерна другая неопубликованная запись, показывающая, к чему стремился Достоевский и на кого хотел распространить свое влияние, борясь с Щедриным:

«Наши идеи должны заменить нигилизм и проч. и тогда все будет спасено в нашей родине.

Они проникают в философию и даже в подпольное движение».<sup>2</sup>

Стремление овладеть умами молодого поколения побуждало Достоевского на первых порах по возвращении из Сибири не идти наперекор «ярому вольнодумству» шестидесятников. Настроение молодежи, «властителем дум» которой он желал стать, не вызывало сомнений: на публичных чтениях «Записок из мертвого дома» она встречала автора демонстративными овациями, как человека, заплатившего каторгой за свои политические убеждения, враждебные всей системе полицейского государства. Но после ареста Чернышевского Достоевский решил, что настало время исподволь готовиться к тому, чтобы, не порывая с передовым общественным мнением, мало-помалу начать высказывать свои «заветнейшие убеждения». Пробный шаг на этом пути Достоевский сделал в двусмысленно составленном им программном заявлении журнала «Время», который он редактировал. Последствия для него оказались совершенно неожиданными: в «Современнике» выступил Щедрин с сатирически резкими обличениями его двойственной общественно-политической позиции. Этими первыми выступлениями, положившими начало долголетней полемике, публицист «Современника» предостерегал молодежь от некритического отношения к «почвенническим» идеям Достоевского, а его

<sup>1</sup> ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, № 1/13, стр. 2.

<sup>2</sup> Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Фонд Ф. М. Достоевского, № 27.

самого—от «сиденья между двумя стульями». Единомышленник Достоевского и член редакции «Времени»—Н. Н. Страхов впоследствии объяснял «неясность того духа, в котором велся журнал», тем, что «кругом царило... ярое вольнодумство», вынуждавшее его руководителей «прибегать до более удобного времени публичное выражение своих заветнейших убеждений». В этом смысле, по его же словам, «почвенническое» направление отличалось «выгодной неопределенностью». Но Щедрин нанес беспощадный удар по избранной Достоевским тактике лавирования следующим сопоставлением направления «Времени» с откровенно реакционным «Русским Вестником» Каткова: «А знаете ли вы, — писал он, обращаясь к Достоевскому, — что с «Русским Вестником» все-таки приятнее иметь дело, нежели с вами? По крайней мере, не обманываешься: войдешь в «Русский Вестник», — ну, и знаешь, что вошел в лес. А в вас войдешь — не можешь даже определить, во что попал: и серенько, и жиденько, и сколько...»

Стремясь уклониться от ответа на предъявленное Щедриным обвинение в измене прежним политическим убеждениям — измене, которая проявилась в замаскированных выпадах против руководителей «Современника» и революционно настроенной молодежи, Достоевский пытается подменить принципиальный спор личной полемикой. Этим объясняется ожесточенность его нападок на Щедрина, имевших целью посредством моральной дискредитации идейного противника свести на нет брошенное им политическое обвинение, а заодно и оправдать уклонение от полемики с ним по такому щекотливому вопросу. Вместе с тем, чтобы не дать укрепиться нежелательному для него истолкованию однозвучных мест в редакционной программе «Времени», Достоевский заверил своих чигателей, что высоко ценит деятельность Добролюбова и Чернышевского, а о молодом поколении писал, что «без нетерпеливых, передовых и свет не стоит».

На все эти демагогические заявления Щедрин отвечал Достоевскому кратко и с не оставляющей сомнений определенностью.

«Вы называете господина Каткова булгаринствующим, но разве не прав будет тот, кто вас, «Время», назовет катков-

ствующим? Вот я, например, одарен такой прозорливостью, которая так и нашептывает мне, что вы начнете катковствовать в самом непродолжительном времени».

Справедливость политических обвинений, предъявленных Щедриным, вскоре признал и сам Достоевский в интимном письме к своему другу А. Н. Майкову. Возмущенный перлюстрацией его писем из-за границы, он жаловался Майкову: «Каково же (это) вынести человеку чистому, патриоту, предавшемуся им до измены своим прежним убеждениям, обожающему государя... Руки отваливаются невольно служить им. Кого они не просмотрели у нас, из виновных, а Достоевского подозревают!.. Но ведь они должны же знать, что нигилисты, либералы — Современники еще с третьего года в меня грязью кидают, за то что я разорвал с ними...»<sup>1</sup>.

Это признание Достоевского свидетельствует о том, что Щедрин имел все основания не прекращать с ним принципиального спора и в дальнейшем. И действительно, когда, по не зависевшим от него обстоятельствам, прервалась его журнальная, публицистическая полемика с Достоевским, он перенес спор на страницы своих художественных произведений, где вел его иными средствами, но с той же неуклонной принципиальностью и исключительной пронизательностью. В этой борьбе Щедрин воодушевлялся горячим стремлением оградить молодое поколение от идеологии Достоевского, в корне враждебной революционному движению, без которого он не мыслил переустройства общественных отношений в России на социалистических началах.

Кульминационного пункта достигла идейная борьба Щедрина с Достоевским в конце 70-х годов, когда революционное движение в стране приобрело небывалый до того размах. В публикуемых ниже главах нашей работы обрисовывается именно этот последний, завершающий этап многолетней полемики.

## I

Замысел «Братьев Карамазовых», по словам Достоевского, созрел у него «неприметно и невольно» на протяжении 1876—1877 годов, когда он вел «Дневник

<sup>1</sup> Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, стр. 130 и 131, ГИЗ, 1930.

писателя». Ощувив настоятельную потребность в разработке и оформлении накопленного материала, Достоевский прекратил издание «Дневника», который отнимал много времени и сил, и с 1878 года весь отдавал творческому труду над созданием своего последнего художественного произведения. «Братья Карамазовы» начали печататься в январской книге «Русского Вестника» за 1879 год, и уже в первой части романа намечалась полемическая тенденция автора, направленная против враждебных ему литературных деятелей. Мы имеем в виду обрисовку характера «семинариста-карьериста» Ракитина.

В критической литературе давно был высказан взгляд, что карикатурным образом Ракитина Достоевский метил в Елисеева—соредактора Щедрина по «Отечественным Запискам», а также в издателя радикального журнала «Дело» Благосветлова. Наличие такого умысла подтверждается свидетельствами самого Достоевского в неизданных заметках из черновой тетради «Дневника писателя» 1876 года и в одной записи, относящейся к «Братьям Карамазовым».

Полемическую направленность образа Ракитина подметил еще Михайловский, подчеркнувший в «Записках современника» (1881), что в его обрисовке «всякий узнает.. внешнюю сторону истории одного недавно умершего журналиста», то есть Благосветлова. От Михайловского, конечно, не укрылся и умысел Достоевского, относившийся к Елисееву, но этого вопроса неудобно было касаться в «Отечественных Записках». Посему он ограничился дополнительным общим замечанием, что при создании образов, подобных Ракитину, Достоевский «берет несколько черт, по которым если не все, то очень многие могут узнать, о ком речь идет...» Быть может, Михайловский заметил еще одну особенность в изображении «семинариста-карьериста», но не коснулся ее по той же причине, почему он умолчал о Елисееве. Эта до сих пор не обращавшая на себя внимания исследователей особенность носит также полемический характер, но она задевает не Благосветлова и Елисеева, а давнишнего идейного противника и оппонента Достоевского — Щедрина.

В уста Ракитину Достоевский вкладывает знаменитую щедринскую формулу:

«С одной стороны нельзя не признаться, с другой — должно сознаться».

«Что сей сон означает?» — иронически допытывается Ракитин у Алеши, имея в виду земной поклон старца Зосимы Дмитрию Карамазову. И тут же добавляет, что это «кажись всегдашние благоглупости». «Что сей сон значит?» — излюбленный щедринский оборот, а «благоглупости» — словообразование сатирика, впервые появившееся в его рассказе «Деревенская тишь» (1863), где помещик Кондратий Трифонович дразнит им гостя—«батюшкина брата», который уснащает свою речь выражениями, начинающимися словом «благо». И дальше, сказав Алеше: «ты всегда правду говоришь», Ракитин вслед прибавляет: «хотя всегда между двух стульев садись». Здесь Достоевский относит к своему герою брошенные сатириком (в статье «Тревоги «Времени», 1863) по его собственному адресу полемическое утверждение, что он «сидит между двумя стульями»...

Трудно уверенно сказать, что именно побудило Достоевского в «Братьях Карамазовых» перейти к открытой полемике с сатириком. Возможно, что важную роль сыграла одна причина общего характера—крайне напряженная политическая обстановка 1879 года в связи с покушениями на Александра II. В этой обстановке «Отечественные Записки», унаследованные «предания» «Современника» Чернышевского, должны были особенно тяжело ощущать усиление правительственной реакции. Негодующий ответ Щедрина на выпад против него в «Братьях Карамазовых» и проникнут именно такими переживаниями «страшного года»; еще раньше они отразились на обличительной речи сатирика в «Убежище Монрепо». В свою очередь эта инвектива могла подстрекнуть Достоевского на резкую полемическую выходку. Во всяком случае, совокупность различных и недостаточно выясненных обстоятельств привела к тому, что в 1879 году, после долголетнего скрытого спора с Щедриным, Достоевский впервые в произведении, подписанном его именем, открыто выступил против своего оппонента.

Этот полемический эпизод предстает в сцене свидания Мити с Хохлаковой, описанной в восьмой книге романа (глава «Золотые прииски»). Митя в крайнем волнении прибегает к Хохлаковой, подгоняемый на-



деждой занять у нее деньги, необходимые ему для увоза Грушеньки, но уже на пороге хозяйка оглушает его потоком речей. Барынька тараторит о том, что разуверилась в чудесах и «теперь вся за реализм», что она исцелит Митю, как «опытный душевный доктор», и заодно даст ему «бесконечно, бесконечно больше, чем три тысячи», которые он просит. Подобно гоголевской даме, приглашавшей Чичикова в пустыню, Хохлакова советует Мите отправиться на золотые прииски, для которых он предназначен самой природой, что она безошибочно узнала по его твердой походке, обличающей в нем энергичный характер.

И вдруг ее бессвязная болтовня разрешается такой тирадой: «— Я вовсе не прочь от теперешнего женского вопроса, Дмитрий Федорович. Женское развитие и даже политическая роль женщины в самом ближайшем будущем — вот мой идеал. У меня у самой дочь, Дмитрий Федорович, и с этой стороны меня мало знают. Я написала по этому поводу писателю Щедрина. Этот писатель мне столько указал, столько указал в назначении женщины, что я отправила ему прошлого года анонимное письмо в две строки: «Обнимаю и целую вас, мой писатель, за современную женщину, продолжайте». И подписалась: «мать». Я хотела было подписаться «современная мать», и колебалась, но остановилась просто на матери: больше красоты нравственной, Дмитрий Федорович, да и слово «современная» напомнило бы им Современник — воспоминание для них горькое, в виду нынешней цензуры...»<sup>1</sup>

Эти строки были напечатаны в октябрьской книжке «Русского Вестника» за 1879 год, а в ноябрьском номере «Отечественных Записок» появился первый ответ сатирика. Приведя тираду Хохлаковой в постскриптуме к «Круглому году», он отошел на полемическую выходку Достоевского следующим образом: «Такого письма я не получал, и вся эта «выдумка», очевидно, сочинена салопницей Хохлаковой для того, чтоб напомнить: был, дескать, журнал «Современник», так вот не он ли устами «писателя» Щедрина продолжает говорить. Ах, эти салоп-

ницы! То из старой одёжи чего-нибудь на бедность просит, а то вдруг, ни с того, ни с сего, съязвит. Съязвит глупо, беззубо, но в то же время ужасно противно, хоть форточки отворяй. Вот хоть бы в данном случае: об чем докучает салопница Хохлакова? — об том, чтоб я продолжал писать о назначении современной женщины. Но я об этом-то именно предмете всего менее и писал, а следовательно, не только не мог «столько» указать г-же Хохлаковой, но просто ничего. Вот если б вы, салопница Хохлакова, поблагодарили меня за изображение людей, «которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси» — такой благодарности, быть может, я заслуживал бы. Подобных людей я действительно изображал и надеюсь изображать и в будущем без ваших просьб. Останетесь довольны».<sup>1</sup>

В своем ответе сатирик привел в ясность и выдвинул на первый план самое опасное для себя — завуалированное противником одностороннее обвинение, что его устами продолжает говорить запрещенный правительством в 1866 году «Современник», и ни одним словом не опроверг этого. Затем он вскрыл несостоятельность попытки поставить его в смешное положение, навязав ему в почитательницы Хохлакову, и закончил указанием на то, чей образ мыслей, какую идеологию он разоблачает, изображая людей, «которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси».

Однако этот беглый ответ, набросанный перед самым выходом книжки журнала, не удовлетворил Щедрина, и в следующем, декабрьском номере «Отечественных Записок» он вернулся к полемике с Достоевским. Имея в виду, что читателям уже известен предмет полемики, сатирик прямо приступил к его обсуждению.

«Остановлюсь на минуту, — писал он, — на г-же Хохлаковой, которую г. Достоевский так некстати и неуклюже подсунул мне в прежнем месяце.

Письма, возвешенного ею, я не получил.

Очевидно, она лгала, говоря, что написала его. Зачем она лгала?»

Для объяснения этого Щедрин охарактеризовал Хохлакову как тип, который

<sup>1</sup> Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений, т. X, стр. 64.

<sup>1</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 570, изд. Гослитиздата.

был впервые воплощен Гоголем «в двух незабвенных личностях: даме просто приятной и даме приятной во всех отношениях». Отметив самую выдающуюся черту гоголевских прототипов «несметного Хохлаковского воинства» — то «неотвязное пустодушие, которым почти поголовно обуреваемо общество в известные исторические моменты», сатирик подчеркнул, что «жизнь этих дам есть сплошное лгание во всех формах и видах, начиная от простого пускания пыли в глаза и кончая несомненным предательством». Что Достоевский воспроизводил этот тип, Шедрин считал совершенно понятным, поскольку писатель-реалист и «один из наиболее чутких последователей Гоголя» не мог отвернуться от действительности. Однако, на его взгляд, при разработке образа Хохлаковой романист допустил погрешности, которые существенно «затемнили тип, первоначально начерченный Гоголем с поразительной ясностью». Такие погрешности в обрисовке Достоевским образа Хохлаковой сатирик усматривал в том, что «с одной стороны, он утрировал его до степени полоумия, с другой — снабдил свойствами, совершенно ему чуждыми, и даже пристегнул к этому типу какие-то полемические цели».

Это свое утверждение Шедрин обосновал с особой тщательностью, стремясь объективным анализом образа Хохлаковой, как разновидности гоголевского типа, ясно и убедительно определить те характерные черты, которыми Достоевский мог наделять ее без нарушения художественной правды. На взгляд сатирика, природная емкость этого типа такова, что творческая фантазия может представить его в самых различных и неожиданных воплощениях, не отступая от реальной действительности. По определению Шедрина, представляющему собою замечательно своеобразное сочетание художественно-объективного суждения с резкой полемической мыслью, Хохлакова «есть не что иное, как проезжий шлях, который всякий может топтать ногами: и мудрец, и глупец, и человек убежденный, и человек, стучащий мертвыми дланями в пустые перси, и человек добра, и изувер, мечтающий о кострах. Ее можно заставить и фригийский колпак надеть, и облечься в костюм сердобольной — все это она сделает, и притом непременно

уладится так, что оба костюма будут ей одинаково к лицу». Но при всех видительных отличиях, людям этого типа присуща одна общая и коренная черта — инстинктивное отвращение к какой бы то ни было работе мысли и неспособность на чем-либо сосредоточить внимание. Эта черта свойственна и Хохлаковой. «А потому все серьезное (а в том числе и серьезная подлость) противно ее природе. В силу своей беспутной подвижности, она ко всему прислушивается и присматривается, но ежели это слышанное и виденное хотя сколько-нибудь выходит за пределы самой несомненной низменности, то она положительно ничего не поймет... Конечно, в крайнем случае, и ее можно заставить вытвердить фразу более или менее сложную, но все-таки это будет предприятие очень рискованное, потому что она, наверное, либо слова переставит, либо что-нибудь пропустит, либо от себя нечто приосчинит. И в конце концов, никого не убедит, а только сконфузит и выдаст того, кто ее научил».

Поэтому, если писателю нужно, чтобы Хохлакова произносила «страшные слова», то надлежит выбирать таковые исключительно из замоскворецкого лексикона. Например: «жупел», «кимвал», «металл». Такие слова по плечу Хохлаковой, потому что они приобрели право гражданственности в той среде, в которой она вращается. А если б она даже и переврала их, переставила один слог на место другого, то тут большой беды нет: кому какое дело, так или иначе то или другое слово произнесено? Но писатель поступит несогласно с истиной и совершенно бестактно, если в уста Хохлаковой вложит «страшные слова» иного, не замоскворецкого пошиба. Таковы, например: «прозелит», «преуспеяние», «Современник» и другие. Перед этими словами Хохлакова может только гребетать, но произносить их отчетливо, безошибочно и притом самостоятельно она не в силах. Она наверное перепутает, смешает: «прозелита» с «протодиаконом», «преуспеяние» с «успением», «Современник» с «Временем» или «Эпохой». Да и с какой стати ей придет в голову такое, например, мудреное слово, как «Современник»? Где она могла слышать это слово? а если даже случайно и слышала, то правдоподобно ли,

чтоб ее необузданно-легковесная память могла задержать его!»<sup>1</sup>

Эта характеристика замечательна тем, что проникающая ее полемическая мысль не привносится, как нечто инородное, извне, а естественно возникает из художественного раскрытия образа Хохлаковой. В то же время резкая отповедь Достоевскому сочетается в ответе сатирика с чрезвычайно высокой оценкой его как художника, что придает еще больший вес аргументации оппонента. Мы имеем в виду указание Щедрина, что Хохлакова потому «выдала» Достоевского, что вторую половину тирады (о «Современнике») он «заставил ее вымолвить совершенно вопреки тому верному художественному чутью, которое составляет отличительное достоинство этого талантливейшего из последователей Гоголя». Такое признание свидетельствует о том, что, несмотря на непримиримую полемику, которую Щедрин вел с автором «Бесов» и «Дневника писателя» на протяжении семидесятих годов, он немало не снизил оценки его творческого дарования, данной в анонимном отзыве 1871 года.

Однако в этих двух отзывах Щедрина о Достоевском нельзя не заметить и существенного различия. В рецензии 1871 года сатирик, высоко оценивая художественную силу автора «Идиота», писал, что его «заветнейшая мысль» устремлена, повидному, к той же конечной цели, куда обращены усилия самых передовых людей, и выражал надежду, что он преодолет некоторые «уродливые тенденции» в своем творчестве, если они являются случайностью. В «Круглом годе» об этом уже нет речи. И не только потому, что Щедрин отвечал здесь на очень одиозное выступление Достоевского в «Братьях Карамазовых», а, главным образом, вследствие того, что уже гораздо раньше, после опубликования «Бесов», ему окончательно уяснился неслучайный характер реакционной направленности образа мыслей их автора.

И все же полемический эпизод в «Братьях Карамазовых» явился для сатирика столь же неожиданным, сколь и тяжелым ударом. Дело в том, что выпад Достоевского совпал с очень трудными для «Оте-

чественных Записок» и их ответственного редактора обстоятельствами. После расправы над сентябрьской книгой журнала цензурное ведомство заставило Щедрина изъять еще один очерк в ноябрьском номере. Вместе с тем из источников, близких к официальным кругам, до него дошли слухи о готовящемся закрытии «Отечественных Записок» — слухи, которые в обстановке «белого террора» могли предвещать пагубные последствия для журнала, уже получившего два правительственных предостережения. Совокупностью всех этих обстоятельств и объясняется чрезвычайно резкий характер отповеди Достоевскому в заключительной части ответа Щедрина, к которой мы сейчас переходим. Придерживаясь принятой им формы литературно-критической оценки, сатирик указал здесь на то, как автор «Братьев Карамазовых» мог бы избежать нарушения художественной правды при осуществлении своего полемического замысла.

«Таким образом, — писал он, — если уж непременно требовалось потревожить прах «Современника» и сопоставить его с моею фамилией, то, мне кажется, г. Достоевский поступил бы несравненно целесообразнее, возложив это поручение на старика Карамазова. Этот развратный и насквозь прогнивший старикашка, действительно, должен быть сердит на меня, и так как он, по природе своей, на всякие предательства способен, то, конечно, мог и в данном случае соорудить что-нибудь воистину язвительное. Я думаю даже, что он не ограничился бы напоминанием о «Современнике», но при сем присовокупил бы, что мои сочинения нужно сжечь рукой палача, или что я проповедую презрение к России, а потом, помаленьку да полегоньку, пустил бы, пожалуй, букетами и по части событий, которые, в последнее время, так глубоко взволновали Россию... Повторяю: если бы г. Достоевский какую угодно выходку, даже самую омерзительную, относительно меня внушил не Хохлаковой, а старику Карамазову, я несколько не увидел бы в ней ничего неожиданного или бестактного, но, напротив того, нашел бы ее вполне резонною, злопахательному сердцу свойственною и с обстоятельствами дела согласною...

Но страшно, даже и в Карамазовских устах, я все-таки ее не нашел бы».

<sup>1</sup> Н. Щ е д р и н (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 571—572.

Этот беспощадный саркастический ответ — ответ не только на выступление Достоевского в «Братьях Карамазовых», но и на другие одинозные его выпады — в «Бесах» и «Дневнике писателя», — был вместе с тем вызовом всему лагерю реакции. Такой вызов, проникнутый нескрываемым презрением к политическим врагам, еще отчетливее слышится в дальнейших словах сатирика:

«...Я могу совершенно искренно заверить Карамазовскую семью, — продолжал Шедрин, — что «страшные слова» давным-давно утратили в моих глазах всякий престиж. Я знаю, конечно, что легкомысленное Хохлаковское воинство (обоего пола) и донныне не упразднилось, а следовательно у Карамазовых всегда найдется готовая к их услугам аудитория, которую они могут, по своему усмотрению, повергать в суеверный трепет; но я знаю также, что на ряду с легковесным Хохлаковским воинством уже существует достаточное количество и таких людей, в которых такие личности, как гнилой старик Карамазов, ничего, кроме отвращения, возбудить не могут. В самом деле, что такое Карамазов?—это не человек, а оборотень; это нечистое животное, которому горькая случайность дала возможность восхитить человеческий образ. Вот истина, которая сделалась понятно уже для очень многих... А коль скоро это достаточно ясно, то весьма естественно, что против Карамазовских каверз никакого другого корректива и искать не требуется, кроме того, который указывается в общеизвестной мудрой русской поговорке: «Бог не попустит — свинья не съест». Именно так — не съест свинья — только и всё...

Вижу я, правда, особливо в последнее время, как бродят около меня нечистые животные и обнюхивают меня... Но чтобы они так-таки съели, потому что такова их свиная фантазия... помилуй бог!..

Вот почему я немало не сомневаюсь и в ответ на отвратительные обнюхивания уверенно восклицаю: жив есмь и жива душа моя!».<sup>1</sup>

В этом финале ответа Достоевскому обращает на себя внимание превращение, под

пером сатирика, Федора Павловича Карамазова в свинью-оборотня. Poleмическая подоплека такого превращения раскрывается в шедринском обличении тех людей сороковых годов, которые вращались в кругу Белинского и Грановского и «обратились потом в стадо свиней», став ренегатами, деятелями и пособниками реакции. Таким переосмыслением евангельского сказания, поставленного эпитафией к нашему роману Достоевского «Бесы», сатирик подчеркивал, что в нем не изображены как раз те «бесы», которые действительно заслуживают беспощадного разоблачения. В непосредственном ответе Достоевскому он чрезвычайно резко заострил эту мысль аналогичным переосмыслением образа Карамазова-отца. Шедрин бросил здесь вызов всем врагам революционной демократии. К такому выводу мы приходим, устанавливая тот факт, что свою характеристику старика Карамазова Шедрин затем положил в основу знаменитого «Разговора свиньи с Правдою», написанного после 1 марта 1881 года, когда правительственный террор, достигший апогея, сопровождался неистовством реакционной прессы, которую возглавлял Катков, когда-то причастный к кругу Белинского и Станкевича. Образ «торжествующей свиньи», «изменнически-подло» допрашивающей Правду, явился автору во сне, и свои переживания он перedal словами, которые вызывают в нашей памяти заключительные строки его ответа Достоевскому: «Я лежал как скованный, в ожидании, что вот-вот сейчас и меня начнут чавкать. Я, который всю жизнь в легкомысленной самоуверенности повторял: бог не попустит, свинья не съест!—я вдруг во все горло заорал: съест свинья! съест!».<sup>1</sup>

## II

К выступлению Шедрина в «Круглом годе» Достоевский не отнесся безразлично. Напротив, оно, повидимому, сильно затронуло его, и он собирался ответить сатирику. Это важное обстоятельство впервые установил В. Комарович, который связал одно poleмическое заявление Шедрина в «Круглом годе» со следующим черновым наброском Достоевского:

<sup>1</sup> Н. Шедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 247.

<sup>1</sup> Н. Шедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 573—574.

«Мертвые руки, бьющие по мертвым персям.

З о с и м а и который верит, что во Христе заключаются все правды и всякий исход»<sup>1</sup>.

Эти строки содержатся в черновике письма Достоевского к редактору «Русского Вестника» Н. А. Любимову, что объясняется намерением автора «Братьев Карамазовых» именно в такой форме публично выступить с «некоторыми разъяснениями идеи романа для косвенного ответа на некоторые критики, не называя никого», как он сообщил своему корреспонденту 12 декабря 1879 года<sup>2</sup>. Этого намерения Достоевский не привел в исполнение, но ряд позднее написанных им эпизодов романа показывает, что он ответил сатирику иным образом.

Первый из этих эпизодов заключен в диалоге, который происходит между тринадцатилетним Колей Красоткиным и пригостишкой Смурумов в десятой книге «Братьев Карамазовых», озаглавленной «Мальчики». Здесь Достоевский пытается высмеять Щедрина посредством детских разглагольствований Коли Красоткина, нахватывшегося обрывков нигилистической премудрости у «семинариста-карьериста», которого Достоевский пытается выдать за единомышленника сатирика. Эта идея, в общей форме, быть может, подсказанная Достоевскому острым сатирическим приемом самого Щедрина в «Испорченных детях», прикровенно выражена следующим диалогом:

«— Я люблю наблюдать реализм, Смурумов, — заговорил вдруг Коля. — Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются? Тут какой-то общий у них закон природы.

— Да, какой-то смешной.

— То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то наверно бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собою людей, их повелителей, — если не гораздо больше; это

я повторяю потому, что я твердо уверен, что глупостей у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина, мысль замечательная. Я социалист, Смурумов.

— А что такое социалист?

— Это коли все равны, у всех одно общее именование, нет браков, а религия и все законы как кому угодно...»<sup>1</sup>

Полемический подтекст этого рассуждения юного «наблюдателя реализма» раскрывается его признанием, что он лишь повторил «замечательную мысль» Ракитина, и акцентируется объяснением, повидимому заимствованным из того же источника. «Что такое социалист», которое заканчивается загадочной фразой «как кому угодно...» В этой фразе заключен намек на незавершенный цикл Щедрина «Как кому угодно», уже раньше осмеянный Достоевским в «Записках из подполья». В данном цикле сатирик положил начало съему «разоблачению краеугольных камней» — семьи, собственности и государства, осуществленному впоследствии в «Благонамеренных речах», «Господах Головлевых» и «Круглом годе».

Непосредственный отклик на выступление Щедрина в «Круглом годе» с полемическими характеристиками Хохлаковой и старика Карамазова можно усмотреть в том направлении, какое придал Достоевский литературной деятельности Ракитина. В анонимной газетной корреспонденции «семинарист-карьерист» пишет пасквиль на Хохлакову, изображая эту экспансивную молодящуюся барыньку так, что вспоминаются слова сатирика о ее «распутной подвижности» и его замечание, что «народ очень своеобразно и метко заклеивал подобных женщин именем «шлюх». Помимо того, Ракитин собирается писать о Карамазовых в связи с процессом Мити и, чтобы раздобыть необходимые сведения, посещает его в тюрьме. По этому поводу Митя говорит Алеше: «Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не жалует. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень однако. Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские

<sup>1</sup> «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». Под ред. А. С. Долиннина, 1935, стр. 376.

<sup>2</sup> «Былое», т. XV, стр. 117.

<sup>1</sup> Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений, т. X, стр. 195.

люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд». Смеется, злобно так».<sup>1</sup>

И дальше—в пояснение этой мысли:

«— А не любит бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое большое место у всех! Но скрывают. Лгут. Представляются. «Что же, будешь это проводить в отделении критики?»—спрашиваю. — «Ну, явно то не дадут», — говорит, смеется. — «Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без бога-то и без будущей жизни? Ведь это стало быть теперь всё позволено, всё можно делать?» — «А ты и не знал?» говорит. Смеется. — «Умному, говорит, человеку всё можно, умный человек умеет раков ловить, ну а вот ты, говорит, убил и влопался, и в тюрьме гниешь!» Это он мне-то говорит. Свиныя естественная!»<sup>2</sup>.

Так достается Ракитину, к которому, по словам одного современного критика, Достоевский «чувствует ненависть и злобу... как к своему личному врагу и обидчику»<sup>3</sup>. Тогдашним читателям, помнившим недавний ответ Щедрина на выпад против него в «Братьях Карамазовых», намек критика был понятен без дальнейших пояснений. Ракитину достается за его утверждение, что «можно любить человечество и без бога». За эту мысль он с позором изгоняется из семьи «настоящих русских людей», которые суть философы, и презрительно обзывается «смердом». Так устами Дмитрия Карамазова Достоевский заключает свою скрытую полемику с Щедриным на тему об атеизме. Тут уместно будет отметить, что Елисеев, перечитав за границей сочинения Достоевского, посланные ему Щедриным, именно эту тему выделил в объяснение того, почему мысль автора «Бедных людей» после возвращения из Сибири «направилась в другую сторону». «Он никогда не вышел бы из той области мысли, в которую раз попал, — писал Елисеев Щедрину 28 декабря 1884 года, — он стал бы разрабатывать ее одну, и только ее одну до бесконечности. А он ведь с начала своего

писательства был на другой стороне. И надобно было много усилий, чтобы свернуть его отсюда. Только посредством бога могли его свернуть отсюда»<sup>1</sup>.

В январской книге «Отечественных Записок» 1875 года начал печататься роман Достоевского «Подросток». Там же была помещена статья Михайловского «Записки профана», где факт сотрудничества Достоевского в некрасовском журнале объяснялся таким образом: «Отечественные Записки», как и всякий другой журнал, не могут, разумеется, брать на себя полную ответственность за все в них печатаемое. Условия нашей печати для этого слишком неблагоприятны. Я разумею не одни цензурные условия, а и количество и качество наличных литературных сил. Достойный внимания фактический материал, талантливость его обработки и известная точка зрения на вещи — вот три фактора всякой журнальной статьи. К сожалению, гармоническое сочетание этих трех факторов не составляет заурядного явления. Всякому журналу приходится печатать вещи или только ради их богатого фактического содержания, или только ради таланта автора. Последнее обстоятельство обуславливает чаще всего, разумеется, беллетристический отдел журнала. Но и тут материал и точка зрения автора все-таки не могут упускаться из виду. Например, с этой же книжки «Отечественных Записок» начинается печатание романа г. Достоевского «Подросток». В нем читатель найдет... сцену у Дергачева, где молодые люди ведут какой-то странный политический разговор. В сцене есть некоторые подробности, весьма напоминающие недавнее дело...<sup>2</sup> Я уже говорил однажды, именно по поводу «Бесов», о странной и прискорбной мании г. Достоевского делать из преступных деяний молодых людей, немедленно после их раскрытия, исследования и наказания, тему для своих романов. Повторять все это тяжело, да и

<sup>1</sup> «Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину». Подготовка текста писем и примечания И. Р. Эйгеса. Редакция и вступительная статья Я. Е. Эльсберга. Под общей редакцией Н. Л. Мещерякова. М. 1935, стр. 163.

<sup>2</sup> Михайловский имел в виду процесс революционного кружка «долгушинцев», состоявшийся в июле 1874 года.

<sup>1</sup> Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений, т. X, стр. 255.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> М. Антонович. Избранные статьи. Гослитиздат. 1938, стр. 270.

не нужно. Скажу только, что редакция «Отечественных Записок» в общем разделяет мой взгляд на манию г. Достоевского. И тем не менее «Подросток» печатается в «Отечественных Записках». Почему? Во-первых, потому, что г. Достоевский есть один из наших талантливейших беллетристов, во-вторых, потому, что сцена у Дергачева со всеми ее подробностями имеет чисто эпизодический характер. Будь роман на этом именно мотиве построен, «Отечественные Записки» принуждены были бы отказаться от чести видеть на своих страницах произведение г. Достоевского, даже если б он был гениальный писатель».<sup>1</sup>

Мы видим, таким образом, что, начав печатать роман «Подросток», редакция «Отечественных Записок» сочла нужным тут же решительно высказаться против склонности Достоевского к использованию в своих произведениях материалов судебных процессов политического характера. Отсюда можно заключить, что умомянутая Михайловским «сцена у Дергачева» явилась предметом особого внимания редакции и, повидимому, вызвала в ней толки. Это иносказательно подтверждается другим источником. Мы говорим об очерке Щедрина «Между делом», напечатанном в той же январской книжке «Отечественных Записок», где были опубликованы первые главы «Подростка» и цитированная статья Михайловского.

Тема этого очерка — «психология как орудие травли». Так определяет ее в беседе с рассказчиком, благодушным, всюду усматривающим «отрадные явления», человеком сороковых годов, его сверстник и друг Глумов — персонаж с желчным характером, резко парадоксальным складом ума и саркастической речью. Глумов заводит разговор о пореформенном суде и делает рассказчику интимное признание, которое своей неожиданностью и странностью ошорошивает собеседника. Он заявляет: «— Люблю, братец, видеть, как связанного человека бьют. Нет для моего нутра усладительнее этого зрелища! Искажения человеческого лица, корчи, подавленные вздохи... прелести!

— Да где же ты ухитряешься нынче отыскивать подобные зрелища?

<sup>1</sup> Н. К. Михайловский. Сочинения, том третий, 1897, стр. 302.

— Везде, голубчик, на каждом шагу; а чтоб не захватывать слишком широко, ограничимся хоть камерой суда.

— Помилуй! отправление правосудия...

— Отправление правосудия — само собой, а травля — сама собой. В том-то и вещь, душа моя, что отправление-то правосудия интересует меня на золотник, а от травли—у меня дыхание в зобу спирается».<sup>1</sup>

Из дальнейших слов Глумова рассказчик узнает, что «действующим лицом в новейшей травле является не плеть, а психология», которая «только делает вид, что доказывает, а в действительности ничуть ничего не доказывает. Она только для формы признает своим исходным пунктом суровый факт, называемый поличным, но на деле сейчас же оставляет его и сочиняет по поводу его роман, роман косвенных улик, который по очереди принимает то обвинительный, то защитительный характер». И перейдя таким образом от «психологических приемов» прокурора и адвоката к художественному творчеству, Глумов далее утверждает, что «Шекспир одинаково отказался бы и от роли защитника, и от роли обвинителя», и свою мысль обосновывает следующим доводом: «Ведь его психология, — говорит он, — чувствовала себя гораздо свободнее и независимее, имея под руками Гамлета и Ричарда III, нежели тот уголовный материал, который украшает скамьи подсудимых в современных судах».<sup>2</sup> Рассказчик пытается возражать, но не находит аргументов, которые опровергли бы категорическое утверждение Глумова: «Психология в смысле орудия травли — не только не прогресс, но шаг назад. Она менее убеждает, нежели плеть и пощечина, и более уязвляет, ибо захватывает не только тело человека, но и его внутреннее существо».<sup>3</sup> Эта беспомощность рассказчика ясно выражена в его недоуменных словах: «Итак, вот оно, вот откуда ведет начало психология! — думалось мне, откуда Глумов разъяснял свою теорию родства психологии с пыткой. Прекрасно; но почему же, однако, вмешательство психологичес-

<sup>1</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 330.

<sup>2</sup> Там же, стр. 339.

<sup>3</sup> Там же, стр. 337.

кого расследования в сферу телесных истязаний все-таки повсюду принимается, как признак смягчения нравов?»<sup>1</sup>.

Объяснение редакции «Отечественных Записок» с читателями по поводу «Гюдротка» не могло не задеть Достоевского. По крайней мере, в близком ему кругу и много лет спустя с негодованием вспоминали цитированное место «Записок профана», причем тут же утверждалось, что в некрологе Достоевского, составленном Михайловским, и в его известной статье «Жестокий талант» «беспрестанно чувствуется рука Салтыкова»<sup>2</sup>. Этот вымысел отчасти, быть может, обязан своим происхождением и рассмотренному очерку Щедрина «Между делом», в котором иносказательно затронута тема, впоследствии разработанная автором «Жестокое таланта». Но как бы то ни было, Достоевский, во всяком случае, мог усмотреть связь между задевшим его местом в «Записках профана» и этим щедринским очерком, что, на наш взгляд, и отразилось в знаменитой сцене «Чорт. Кошмар Ивана Федоровича» саркастическим штрихом. Этот штрих возник таким образом. Ночной посетитель Ивана Карамазова рассказывает ему легенду о некоем «мыслителе и философе», который отвергал загробную жизнь, и когда она ему открылась после смерти, то он «изумился и вознегодовал: «Это, говорит, противоречит моим убеждениям». Вот его за это и присудили... чтобы прошел во мраке квадриллион километров... и когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и все простят...» В этом месте слушатель останавливает словоохотливого рассказчика не относящимся к самой легенде, но, видимо, заинтересовавшим его по другому поводу вопросом:

«— А какие муки у вас на том свете кроме квадриллиона? — с каким-то странным оживлением прервал Иван.

— Какие муки? Ах и не спрашивай: прежде было и так и сяк, а ныне всё больше нравственные пошлы, «угрызения совести» и весь этот вздор. Это тоже от вас завелось, от «смягчения ваших нравов».. Тот-то вот реформы-то на не-приготовленную-то почву, да еще списан-

ные с чужих учреждений, — один только вред! Древний огонек-то лучше бы». (Разрядка моя. — С. Б.)<sup>1</sup>.

Саркастический характер и полемическая подоплека этого ответа становятся ясными при сравнении с цитированными местами щедринского очерка «Между делом». На одно из этих мест Достоевский выразительно указал, взяв в кавычки, как цитату, слова сатирика о «смягчении нравов», а другое — язвительно истолковал, отдав предпочтение «древнему огоньку» перед нравственными муками... Что же касается сделанного сатириком сопоставления «психологических приемов» прокурора и защитника с «романом», то Достоевский использовал его в главах, посвященных описанию судебного процесса Дмитрия Карамазова. Так, адвокат Фетюкович по поводу «психологических глубин» речи прокурора замечает, что «психология подзывает на роман», а в другом месте прямо говорит: «Обвинению понравился собственный роман...»<sup>2</sup>. В свою очередь, и прокурор не остается в долгу. «...Нас упрекают, — говорит он в ответ знаменитому адвокату, — что мы насоздавали романов. А что же у защитника как не роман на романе? Не доставало только стихов»<sup>3</sup>.

Так завершилась полемика Достоевского с Щедриным в «Братьях Карамазовых». Как мы выяснили, его открытое выступление против сатирика в главе «Золотые прииски» было лишь одним из ее эпизодов. Этому выступлению предшествовал ряд скрытых выпадов, и в такой, прикровенной форме Достоевский продолжал полемизировать с Щедриным и после его ответа в «Круглом годе». Что привнесла эта полемика в изображение отдельных персонажей и ситуаций романа, мы пытались установить посредством литературного анализа, который, нам думается, уяснил смысл некоторых мест в «Братьях Карамазовых», до сих пор остававшийся нераскрытым.

### III

«Братья Карамазовы» были закончены Достоевским в ноябре 1880 года, и вскоре

<sup>1</sup> Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений, т. X, стр. 308.

<sup>2</sup> Там же, стр. 394.

<sup>3</sup> Там же, стр. 411.

<sup>1</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 333.

<sup>2</sup> «Гражданин», 1882, № 94.



он приступил к подготовительной работе над «Дневником писателя», который намеревался издавать, по примеру прошлых лет, ежемесячными выпусками. Сильное стремление к публицистическим выступлениям не оставляло романиста и в периоды самой напряженной творческой деятельности. Так, летом 1879 года Достоевский писал Победоносцеву: «Я вот занят теперь романом (а окончу его лишь в будущем году!) — а между тем измучен желанием продолжать бы Дневник, ибо есть, действительно имею, что сказать — и именно, как Вы желали — без бесплодной одноколейной полемики и твердым небоющимся словом».<sup>1</sup>

Однако полемики Достоевский все же не смог избежать. В следующем, 1880 году, еще не закончив «Братьев Карамазовых», он издал единственный выпуск «Дневника писателя», куда включил свою речь на Пушкинском празднике и обширный полемический ответ ее критике, профессору А. Градовскому. Возражая И. Аксакову, который, в связи с этим ответом, упрекал его за то, что «проповедуя нравственные высшие начала, он в изображении безнравственных явлений излишне реален и словно смакует их», Достоевский писал ему 4 ноября 1880 года: «Ваш тезис мне о тоне распространения в обществе святых вещей, т. е. без испуга и ругательства, не выходит у меня из головы. Ругательств, разумеется, не надо, но возможно ли быть не самим собою, не искренним? Каков я есмь, таким меня и принимайте: вот как бы я смотрел на читателей. Заволакиваться в облака величия (тон Гоголя, например, в «переписке с друзьями») — есть неискренность, а неискренность даже самый неопытный читатель узнает чужьем. Это первое что выдает. Ну, как отказаться от полемики и иногда горячей?»<sup>2</sup>

И действительно, черновые материалы январского выпуска «Дневника писателя» за 1881 год — последнего произведения Достоевского — подтверждают, что он не отказался от горячей полемики со своими идейными противниками. Из полемических заметок, направленных против Щедрина и отредактированного им журнала, приведем два наиболее цельных отрывка:

«— Вас трепещет вся литература, осо-

бенно Сатирического старца. — Никто против него не посмеет: дескать либерал, проеден либерализмом. — Нет вы полиберальничайте, когда это невыгодно, вот бы я на вас посмотрел.»<sup>1</sup>

Эта тема затронута и в другой записи Достоевского — по поводу щедринского цикла «За рубежом». В первой главе нового произведения сатирика его внимание остановила беседа рассказчика с «бесшабашными советниками» Удавом и Дыбой, из которых один преуспел еще при Аракчееве, исправляя должность «чиновника для чтения в сердцах», а другой сделал значительную карьеру при Муравьеве-вешателе в качестве «чиновника для преступлений»... Эти случайные спутники рассказчика по заграничной поездке, как только пересаживаются в немецкий вагон, начинают развязно фрондировать, пытаясь и соседа вовлечь в «вольный разговор». Но последний отвечает на «интимное сквернословие» такими дифирамбами бюрократии и российским порядком, что ставит тайных советников втупик. Впрочем, за неумеренные восторги рассказчик поплатился: когда причину неурожая в России он объяснил тем, что «много уж очень у нас свобод развелось», его замутило: «Сказал, и стошнило меня». В этих мнимых похвалах поддерживающим властям резкость щедринского сарказма особенно остра и беспощадна.

Во второй главе «За рубежом», посвященной характеристике милитаристского духа германской столицы, Достоевский обратил внимание на одно место, относившееся к Петербургу. Сказав, что берлинские улицы производят гнетущее впечатление «каким-то озабоченным, почти вымученным движением», Щедрин мимоходом заметил: и на Невском в предобеденный час голодные чиновники спешат, не осматриваясь по сторонам, потому что «не до гляденья тут, а как бы по-добру, по-здорову домой добежать, да чтоб по дороге в участок не свели». Эти последние слова Достоевский прежде всего и комментирует в своей полемической записи: «Щедрин. Очерки: За рубежом. Отеч. Зап. Сентябрь и октябрь 80 г. «Отведут в участок». Тот и есть, что совсем не отведут в участок. Вот тут-то бы и сатире. Оскорбление жен-

<sup>1</sup> «Красный Архив», т. II, стр. 245.

<sup>2</sup> Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений. Изд. 1883, т. I, стр. 346.

<sup>1</sup> ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского. № 1/13, стр. 6.

шине (у Палкина<sup>1</sup>), кража и оскорбление личное, стрельба в Лорис-Меликова, а они только под козырьки. — Когда-то, лет сорок назад, отвели Щедрина в участок и вот он испугался. А ведь на прокурорское место. Чуть тюрьму и ссылку не написал. Разговоры с советниками Дыбой и Удавом — верх глупости и лакейства. О Берлинском офицере. А разве вы не выпячиваете сами-то грудь у себя дома? Не ставите себя героем? NB. Хвалят Щедрина из-за страха перед либерализмом и даже Отечественными Записками».

## IV

В январском выпуске «Дневника писателя» за 1881 год цитированные заметки не нашли прямого отражения. Быть может, Достоевский предполагал использовать их в дальнейшем, связав с развернутой критикой нового щедринского цикла. Это тем более вероятно, что уже в первых главах «За рубежом» он мог обратить внимание на полемические высказывания, относившиеся к его Пушкинской речи и ответу А. Градовскому. В первой главе «За рубежом» содержится ироническое замечание<sup>1</sup> Щедрина по поводу утверждения Достоевского в споре с Градовским, что «наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его». Это замечание вложено в уста «мальчика без штанов», и тут же, в репликах собеседника последнего, Достоевский мог уловить сатирическую интерпретацию своих заявлений о России и Европе, сделанных им в Пушкинской речи и в предисловии к ней.

Выступая против стремления западников «перетащить к себе европейское гражданское устройство», Достоевский в «объяснительном слове» к речи о Пушкине указывал на то, что экономически могущественная Европа «завтра же рухнет», ибо «подкопан и заражен» ее общественный порядок, раздираемый социальными противоречиями. В России же, утверждал он, господствует такое «духовное единение» народа, которое предохранит ее от революционных потрясений. Отсюда следовал вывод, что «вмещать и носить в себе силу любящего и всеединящего духа можно и

при теперешней экономической нищете нашей...» На ту же «силу любящего и всеединящего духа» указал Достоевский и в речи о Пушкине, усматривая ее «в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей». Заявляя, что после петровской реформы, в продолжение двух столетий, Россия «служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой», Достоевский видел в этом ее исторический удел, свидетельствующий о том, что ей «предназначено в человечестве высказать новое слово», а именно — «изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по христову евангельскому закону».

Эта славянофильская концепция «служения Европе» и идеализации материальной нищеты русского народа, который, вопреки ей, якобы, являл миру высокий образец «духовного единения», — нерушимый оплот существующего порядка вещей, — как будто над ним не висел политический и социальный гнет самодержавия и господствующих классов, нашла сатирическое истолкование в знаменитом разговоре «мальчика в штанах и мальчика без штанов». «Вот уже двадцать лет, — говорит «мальчик в штанах», — как вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами вперед, а некоторые из вас даже и о каком-то «новом слове» поговаривают, — и что же оказывается? — что вы беднее, нежели когда-нибудь...»<sup>1</sup>.

Эти слова обращены к русскому крестьянскому мальчику, который со своей стороны указывает на существующий государственный и общественный порядок, как на основную причину беспорядка и нищеты народных масс. Такая мысль выражена в простодушном замечании «постреленка», что он «без штанов по праву ходит». И тут же «мальчик без штанов» поясняет недоумевающему собеседнику сущность этого загадочного «порядка вещей», представляя его наглядным образом: «У нас, брат, без правила ни на шаг... Задуматься, слово молвить—нельзя без правила... И в конце всякого правила—или по-

<sup>1</sup> Петербургский ресторан.

<sup>1</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 94.

ронцы, или в холодную»<sup>1</sup>. Такие «правила» в действительности не располагали к «духовному единению», и это подчеркивает «мальчик без штанов», настойчиво повторяя: «надоело, надоело» и высказывая уверенность в том, что «будет и на нашей улице праздник!..»

## V

К вопросу о материальной бедности и единении народа Достоевский вернулся в «Дневнике», который он начал писать в первых числах января 1881 года, за несколько недель до своей внезапной кончины. Но здесь он интерпретирует занимающую его проблему уже не так отвлеченно, как в предисловии к Пушкинской речи. Попржнему отставая ту мысль, что «основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей, по крайней мере, не зависят от экономической силы», Достоевский вместе с тем обращает внимание на такие стороны народной жизни, которые объективно противоречат его утверждению, будто «наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек», хотя он и остается при этом своем убеждении. Оказывается, что как раз народ, или «корень» — как Достоевский именует здесь народ, давая другое название «почве», — нуждается в оздоровлении, ибо он «духовно болен». Эта «жестокая болезнь» проистекает из неутоленной жажды правды, которую народ безуспешно ищет после отмены крепостного права, когда он стал неудержимо стремиться к «полному гражданскому воскресению своему». Отсюда возникло в нем «нравственное беспокойство», сделавшее его беззащитным перед «нигилистической пропагандой». Чтобы внушить народу доверие, надо прежде довериться ему

<sup>1</sup> Н. Ш е д р и н (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 87. Разговор «мальчика в штанах и мальчика без штанов» был напечатан в сентябрьской книжке «Отечественных Записок» 1880 года. Poleмический смысл указанных мест в этом диалоге мог быть тем легче разгадан внимательным читателем, что в том же номере журнала появились «Литературные заметки» Михайловского, также направленные против Пушкинской речи Достоевского и его спора с Градовским.

самому. Для этого необходимо смириться перед ним, преклонившись перед его религиозным сознанием, что он «спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христа», проникнуться его «национальным и глубоко консервативным» духом. И Достоевский призывает к духовному слиянию с народом «интеллигентные сословия», в особенности — «светлую, свежую молодежь», убеждая ее бросить «те крайние бредни, которые увлекли-было столь многих из нее, вообразивших, что они нашли истину в крайних европейских учениях»<sup>1</sup>.

Достоевский считал, что «духовное слияние сословий» вскоре станет совершившимся фактом. Не сомневался Достоевский и в том, что осуществление его проекта «оздоровления корней» окажет самое благотворное влияние на всю экономическую жизнь страны. «О, господа министры финансов, — писал он, — не такие бы годовые бюджеты составляли вы тогда, какие составляете ныне! Молодые реки потекли бы в царстве, все идеалы ваши были бы достигнуты разом!»<sup>2</sup> В обобщенном виде Достоевский формулировал свою мысль такими словами: «Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней — и получишь финансы». И тут же Достоевский добавил: «Ну, разумеется, тотчас же раздастся смех»<sup>3</sup>. Это последнее замечание дополняется следующим неопубликованным диалогом из черновой тетради к январскому «Дневнику писателя» за 1881 год:

«Проект. — Твой проект сатира.

— Какая сатира? Я в самом деле.

— Да вот «в самом-то деле» самые лучшие сатиры и выходят.

<sup>1</sup> Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя» за 1877, 1880, 1881 годы. ГИЗ, 1929, стр. 441. Эта мысль поясняется и дополняется следующей неопубликованной записью Достоевского: «Искусственное возбуждение социализма есть (и у нас) — наши юноши уже 30 лет идут (за это) в ссылку за эти бредни. Ибо если там, в Европе, и вопрос, то у нас бредни». (ЦГЛА. Фонд Достоевского, № 1/9, стр. 69).

<sup>2</sup> Там же, стр. 437.

<sup>3</sup> Там же, стр. 429.

— Так ты думаешь за сатиру примут?  
 — Очень может быть.  
 — На кого? на что? О, если-б только они знали как я искренно!<sup>1</sup>

## VI

Рассуждения Достоевского «о финансах и оздоровлении корней» за сатиру никто не принял, но в сатирическом аспекте, как это уже отмечалось в литературе о Щедрина,<sup>2</sup> оно было действительно истолковано. Мы имеем в виду то место в «Современной идиллии» (1882), где между тайным советником Перекусихинным I-м и странствующим полководцем Редедей, командовавшим в Африке зулусами, происходит следующий разговор:

«— А что, в этой Зулусии... финансы есть? — обратился он к Редеде.

— Настоящих финансов нет, а в роде финансов — как не быть!..

— А внутренняя политика у них есть?

— И внутренней политики настоящей нет, а есть оздоровление корней».<sup>3</sup>

Но еще раньше, чем в «Современной идиллии», а именно в «Письмах к тетеньке» (1881), то есть к русской интеллигенции, Щедрин полемически отозвался на последний выпуск «Дневника писателя», присвоив Расплюеву роль «делопроизводителя коммиссии «Оздоровления корней». И тут же он сатирически интерпретировал рассуждения Достоевского о «бреднях», «общей пользе» и внушении доверия народу. Так, уже в первом письме, намекая на то, что известная часть интеллигенции, сочувствовавшая революционному движению в стране, после царубийства поспешила оправдаться перед властью ренегатскими поступками, Щедрин высказал свой взгляд на этот знаменательный факт таким саркастическим обращением к «тетеньке»: «Иногда мне кажется, — писал он, — что управа, рассмотрев наш прежний образ мыслей и приняв во внимание наш образ мыслей нынешний (какой, с божьей помощью, поворот!) просто-напросто возьмет да и сдаст наше дело в архив. Или, много-много, вну-

шение делает: смотрите, дескать, чтобы на будущее время «бредней»—ни-ни!

— Помилуйте, вашество! кто же нынче о бреднях думает? Бредни...фууй!

Это, впрочем, скажете, тетенька, вы, а не я...

И поедете вы, вся в кружевах и прошивочках, вашу волну по городу с визитами развозить. «Бредни... но ведь это смех, право! Бредни... но разве можно без омерзения об этом говорить!». Вот сколько предательства нынче, милая тетенька, развелось!»<sup>1</sup>. И дальше Щедрин к этому добавляет: «Я твердо верю, что... так называемые «бредни» ежели и не восторжествуют вполне, то, во всяком случае, будут иметь свое значение на весах будущего»<sup>2</sup>.

Во втором письме к «тетеньке» сатирик вновь затрагивает тему «бредней», но теперь — в связи с вопросом о внушении доверия народу, который он иносказательно именует здесь Корелой, и требованием, чтобы «умники» оставили свои заблуждения ради «общей пользы».

«... Внушать доверие, — замечает Щедрин, — значит перемещать центр «бредней» из одной среды (уже избредившейся) в другую (еще не искушенную бредом). Например, мы с вами обязываемся воздерживаться от бредней, а Корела пусть бредит. Мы с вами пусть не надеемся на сложение недоимок, а Корела—пусть надеется. И всё тогда будет хорошо, и мы еще проживем. Да как еще проживем-то, милая тетенька!»<sup>3</sup>.

Высказавшись, таким образом, в том смысле, что если народ проникнется доверием к посулам улучшить его положение, то от этого выиграют только имущие классы, сатирик затем связывает тему «бредней» с вопросом об «общей пользе».

«С одной стороны, я очень хорошо понимаю, — пишет он «тетеньке». — что, в виду общей пользы, необходимо отказаться от заблуждений; но, с другой стороны, как только начну приводить это намерение в исполнение, так, незаметно для самого себя, слагаю заблуждениям панегирик. Но, право, это зависит не от меня. Вся обстановка нашего существования такова, что никаким образом от двоегласия не убе-

<sup>1</sup> ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского, № 1/13, стр. 48.

<sup>2</sup> М. Е. Салтыков (Щедрин). Сочинения. ГИЗ. 1927, т. IV, стр. 690.

<sup>3</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 159.

<sup>1</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 291.

<sup>2</sup> Там же, стр. 346.

<sup>3</sup> Там же, стр. 306.

жишь. В молодости за нами наблюдали, чтобы мы не предавались вредной праздности, но находились на государственной службе, так что все усилия наши были направлены к тому, чтоб в одном лице совместить и человека, и чиновника. Это ли было не доегласие? Теперь от нас требуют, чтоб мы исключительно об общей пользе радели, а между тем далеко ли время, когда в «бреднях» (упразднение крепостного права — разве это не величайшая из «бредней»?) не только ничего потрясательного не виделось, но и прямо таковые признавались благопотребными и спешествующими? Как тут сообразить?

Знаю я, голубушка, что общая польза неизбежно восторжествует, и что затем, хочешь не хочешь, а всё остальное придется «бросить». Но покуда как будто еще совестно. А ну как в этом «благоразумном» поступке увидят измену и назовут за него ренегатом?» Отказ от «бредней» во имя «общей пользы» является ренегатским поступком потому, — поясняет далее Щедрин, — что на деле эта «общая польза» мало в чем изменилась с тех времен, когда «старинными определениями» она отождествлялась «с пользою квартальных надзирателей».<sup>1</sup>

В третьем письме к «тетеньке» Расплюев выведен в роли «делопроизводителя комиссии «Оздоровления корней». В одном из рукописных вариантов этого письма полемическая нога звучит еще отчетливее. Намекая на призыв правительства к обществу оказать ему поддержку в деле искоренения революционной крамолы, Щедрин насмешливо замечает, что насчет цели такого содействия мнения разошлись: «Идеалисты полагают, что оно должно, по преимуществу, иметь в виду изобилие плодов земных; практики думают, что временно можно обойтись и без плодов земных, главной же задачей минуты должно быть оздоровление корней». Председатель же «комиссии практического оздоровления корней» статский советник Дубина считает, что для осуществления этого содействия наступил, после события 1 марта, самый благоприятный момент, так как «умники-то повывелись или попрятались».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 312 и 313.

<sup>2</sup> Там же, стр. 556.

Таким-то «умником», якобы образумившимся после правительственного запрещения в 1884 году «Отечественных Записок», и представил себя сам Щедрин в «Пестрых письмах», заявив, что вслед за тем, как «совершенно неожиданно лишился употребления языка», он «сделался способен произносить только служительные слова»: «чего изволите?», «как прикажете», «не погубите!»

С презрительной издевкой над предержавшей властью характеризуя свое мнимое превращение из обличителя современного обывателя, сатирик пускает полемическую стрелу во враждебный общественный лагерь. Этот выпад заключен в следующей тираде:

«Мало обличать — любить надо», прорицали когда-то наши «почвенники», тонко инсинуируя, что обличение равносильно отсутствию патриотизма и измене. Я же, от себя, в превосходной степени прибавляю: «Мало любить; надо, сверх того, представить несомненные таковой любви доказательства». Раз эти доказательства представлены, можно смело глядеть в глаза будущему».<sup>1</sup>

Здесь уместно будет указать на тот литературный источник, которым пользовался Щедрин, когда писал цитированные строки. Этот источник — программное «Объявление о подписке на журнал «Эпоха» 1865 г.», основная мысль которого была формулирована такими словами: «Направление журнала неуклонно остается прежнее... — Мы попрежнему убеждены, что не будет в нашем обществе никакого прогресса, прежде чем мы не станем сами настоящими русскими. Признак же настоящего русского теперь, это — знать то, что именно теперь надо не бранить у нас на Руси. Не хулить, не осуждать, а любить уметь — вот что надо теперь наиболее настоящему русскому. Потому что кто способен любить и не ошибается в том, что именно ему надо любить на Руси — тот уж знает, что и хулить ему надо... и полезное слово умеет он лучше и понятнее всякого другого сказать, — полезнее всякого присяжного обличителя».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XVI, стр. 260.

<sup>2</sup> Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений. Изд. 1883, том первый, стр. 36 (приложение).

Анонимное программное заявление «почвенников» вспомнилось «присяжному обличителю» во время работы над «Пестрыми письмами», может быть, потому, что оно незадолго перед тем было напечатано в первом томе собрания сочинений Достоевского, как принадлежащее его перу. Вслед за журнальным «Объявлением» был помещен юмористический фельетон «Из дачных прогулок Кузьмы Пруtkова и его друга», опубликованный в «Гражданине» 1878 года, причем и в отношении данного произведения авторство Достоевского устанавливалось впервые. Этот фельетон тем более мог привлечь внимание Щедрина, что в нем упоминалось его имя. Говоря в шутовском тоне о самых разноречивых и сенсационных толках, которые возбудил на Елагином острове, близ Петербурга, всплывший в пруду мифологический Тритон, Достоевский приводит имевшее «особенный и почти колоссальный успех мнение известного нашего сатирика, г. Щедрина». Случилось так, что последний, вместе с другими дачниками, оказался свидетелем необычайного происшествия. «Быв тут же на гуляньи, он не поверил Тритону, — продолжает Достоевский, — и, рассказывали мне, хочет включить весь эпизод в следующий же номер «Отечественных Записок», в отдел «Умеренности и Аккуратности». Взгляд нашего юмориста очень тонок и чрезвычайно оригинален: он полагает, что всплывший Тритон просто напросто передетый, или, лучше сказать, раздетый до нага квартальный, отряженный еще до начала сезона, тотчас же после весенних наших петербургских волнений, на все лето в пруд Елагинского острова, на берегах которого столь много гуляет дачников, для подслушивания из воды преступных разговоров, буде таковые окажутся. Догадка эта произвела впечатление потрясающее, так что даже дамы перестали спорить и задумались».<sup>1</sup>

Полемический эпизод в фельетоне Достоевского «Из дачных прогулок Кузьмы Пруtkова и его друга» косвенно отразился в пятом «Пестром письме», где сатирик, снова воспроизводя цитированную выше

фразу из программного заявления редакции «Эпохи», выразился таким образом: «Не обличать надо, а любить», говаривал покойный Пруtkов, а я с своей стороны присовокупляю: не сомневаться надо (сомневаться-то всякий умеет!), а радоваться»<sup>1</sup>.

Из нашего анализа видно, что на публицистические высказывания Достоевского в его последнем произведении — январском «Дневнике писателя» 1881 года — Щедрин прямо отозвался в «Письмах к тетеньке», «Современной идиллии» и косвенным образом — в «Пестрых письмах». Эти полемические отклики оправдали предвидение Достоевского, что по поводу его «проекта оздоровления корней» «раздастся смех».

В те мрачные годы в царской России бушевал правительственный террор, и реакционными силами удалось погромной агитацией разжечь в темных массах чувство национальной розни и вместе с тем натравить их на передовую русскую интеллигенцию призывом «топить умников»... Именно в это время и была образована придворными кругами «Священная дружина» — антиреволюционная террористическая организация, которую сатирик вскоре разоблачил в знаменитом третьем письме к «тетеньке». И крайне характерно для его мировоззрения, что, именно тогда, напоминая своим читателям о «личностях исключительных», для которых «история служит только свидетельством неуклонного нарастания добра в мире», Щедрин делает такое знаменательное признание: «Этот изумительный тип глубоко верующего человека, — пишет он, — нередко смущал мое воображение, и я не раз пытался воспроизвести его. Но задача оказывалась непосильною. Нужно иметь и громадную подготовку, и почти сверхъестественное художническое чутье, чтоб отыскать неисчерпаемое богатство содержания в этом внешнем однообразии веры. Часто представлял я себе человека, забытого, затерянного и все таки обращающего глаза к востоку. Он ясно видит, как горит и пламенеет этот восток, и совсем не замечает, что, на самом деле, и восток и запад, и север и юг — все кругом охвачено непроглядною тьмой... И вот тот, кто сумеет раскрыть всю беспределность этого содержания, кто найдет в себе мощь воспроизвести все разнообразие идеалов, кото-

<sup>1</sup> Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений. Изд. 1883, том первый, стр. 44.

<sup>1</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XVI, стр. 323.

ров составляет естественный вывод этого содержания, — тот, несомненно, напишет картину, бесконечное разнообразие и яркость которой зажжет все сердца. Слово утратит вялость, образы будут полны жизни и огня. Но спрашиваю по совести: где тот художник, которому были бы под силу такие глубины?»<sup>1</sup>

Какие реальные образы волновали воображение Щедрина, когда он пытается решить огромную художественную задачу создания «изумительного типа глубоко верующего человека», мы узнаем из его письма к Анненкову. Сообщая ему об одном своем творческом замысле, Щедрин в пояснение писал: «Чернышевский или Петрашевский, все равно. Сидит в мурье, среди снегов, а мимо него примиренные декабристы и петрашевцы проезжают на родину и насвистывают «Боже, царя храни»... И все ему говорят: стыдно, сударь, у нас царь такой добрый — а вы что! Вопрос: проклял ли жизнь этот человек, или остался он равнодушен ко всем надругательствам, и все в нем старая работа, еще давно, давно до ссылки начатая, продолжается? Я склоняюсь к последнему мнению. Ужасно только то, что вся эта работа в заколоченной клетке заперта».<sup>2</sup>

Таким конкретным раскрытием своей граковки волнующей темы об «исторических утешениях» Щедрин дал понять, что, на его взгляд, только самоотверженная и бескомпромиссная борьба за освобождение угнетенных масс выковывает подлинный исторический оптимизм, прямую противоположность которому являют ренегатские обвинения и верноподданнический «свист» «примиренных декабристов и петрашевцев»...

\*  
\* \* \*

В воспоминаниях современников о Щедрине запечатлены характерные черты его духовного облика, наблюдаемые в продолжительном общении или при случайных встречах. Но, быть может, наиболее живым и цельным предстает нам его образ в следующем коротеньком рассказе о последнем прощании с ним: «Еще раз и по-

<sup>1</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 268.

<sup>2</sup> Там же, т. XVIII, стр. 324.

следний я видел его в гробу. Он лежал там как-то съежившись, точно придавленный непобедимой, необъятно-могучей силой. Даже его голова стала как-то меньше. Я не мог смотреть на это тело, задавленное роком, и плакал над ним, как ребенок. Ни одни литературные похороны не производили на меня такого потрясающего впечатления — даже похороны Достоевского. Ведь тот, в конце жизни, все же покорился и даже сделал принципом своей проповеди «смирение» и «покорность». Поэтому его смерть не была такой трагедией, как смерть Салтыкова. Этот не покорился судьбе до последнего издыхания, боролся за жизнь, за мысль до последнего момента, и даже в гробу, даже мертвый, сохранил на своем лице такое выражение, что, мне казалось, его сжатые уста каждую минуту готовы крикнуть грубым, хриповатым голосом:

— А я все же не покорюсь!

Таково мое общее впечатление и от этого человека, и от его сочинений, и даже от его мертвого тела»<sup>1</sup>

Это непосредственное и яркое впечатление, возбужденное необычайной силой и целеустремленностью воинствующей мысли Щедрина, дополняет рассказ Михайловского об одной беседе с последним. «Однажды, — вспоминал Михайловский, — по некоторому особенному случаю, мы разговорились с Салтыковым о картине Каульбаха «Каталаунская битва» или «Сражение с гуннами», — не помню, как она называется. На этой картине, внизу, на земле, гунны дерутся с римлянами и их союзниками, а сверху, на небе, души погибших в сражении продолжают яростную битву. Салтыкову очень нравилась эта мысль о загробном продолжении земной битвы. В нем, в его личности, эта мысль получила свое осуществление: он умер, но живет и продолжает свою битву жизни; мне кажется, именно потому, что он при жизни много жил будущим»<sup>2</sup>.

Характеризуя неразрывную связь с будущим людей «убежденной и верующей мысли», Щедрин писал, что она создается их участием в борьбе настоящего. Подвиг,

<sup>1</sup> Л. Е. Оболенский. Литературные воспоминания. «Исторический Вестник», 1902, № 1, стр. 137.

<sup>2</sup> Н. К. Михайловский. Полное собрание сочинений. Изд. 4-е, 1908, т. V, стр. 154.

благодаря которому Щедрин доселе живет как участник в борьбе настоящего, заключается в том, что свой творческий гений, могучий ум и отважное сердце он безраздельно отдал угнетенным массам, пробуждая и воспитывая ненависть к открытым врагам и лицемерным друзьям демократии. В продолжение десятилетий наш великий сатирик и публицист непреклонно боролся с реакцией. Об этом убедительно свидетельствует и его долголетняя полемика с Достоевским, представляющая для нас не только исторический, но и существенный современный интерес, поскольку антиреволюционные и антисоциалистические воззрения автора «Бесов» служат сейчас смертельным врагам демократии во всем мире и с особым озлоблением используются ими против нашей социалистической страны. Вот почему, и как непримиримый идейный противник Достоевского, Щедрин—наш соратник в борьбе с международной реакцией.

Великий революционный демократ представлял на позор и осмеяние всяческие попытки оправдать общественный строй, основанный на эксплуатации человека человеком. Какими бы покровами ни облакалось такое оправдание, какими бы казуистическими хитросплетениями ни затемнялось оно, Щедрин беспощадно разоблачал его подлинную сущность — стремление увековечить социальное неравенство людей, классовый гнет.

Безоговорочное отрицание «морали господ» обострило зоркость великого сатирика, и он еще в восьмидесятых годах прошлого века отчетливо разглядел характерные черты ее загнивания и распада — отрицание разума, человеконенавистничество

и растленную проповедь аморализма. Вглядываясь, говоря его же словами, в «проказы будущего», Щедрин с потрясающей силой гневного воодушевления нарисовал образ мракобеса, который раньше «прятался в темных извилинах человеконенавистнического ремесла и там пакостил», а «теперь просиял из тьмы и сам о себе засвидетельствовал».

В уста этого отвратительного мракобеса Щедрин вкладывает такое откровенное признание: «Я — ярмо, призванное раздавить жизнь. Я — позор, призванный упразднить убеждение, честность, правду, самоотвержение. Я — распутство, поставившее себе задачей наполнить вселенную гноем измены, подкупа, вероломства, предательства». В поисках последователей он проникает всюду и проповедует: «Нет выхода вне негодяйства! все будут негодяями, все, будут! будут! Ибо он ищет утопить в позоре не только себя лично, но и все живущее, не только настоящее, но и будущее».

Это предсказанное Щедриным будущее осуществилось в мире капитализма. Ведь именно сейчас все эти сартры, миллеры, фолкнеры, сантаяны и прочие реакционеры от «искусства» и «философии» выступают с гнусной проповедью ренегатства, предательства, измены, цинично и пошло отстаивают всяческое скотство.

Предвидение деградации буржуазной идеологии вплоть до специфических особенностей, характеризующих ее современные, например, американские, формы, убедительно свидетельствует о том, что наш великий сатирик и ныне живет как пламенный борец против реакции.





---

---

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

## ВЕНИАМИН КАВЕРИН

НИКОЛАЙ МАСЛИН

★

**Б**олее четверти века тому назад был напечатан первый рассказ семнадцатилетнего Вениамина Каверина. С тех пор писатель прошел трудный и сложный путь. В начале своей творческой деятельности В. Каверин был связан с группой «Серапионовы братья», возникшей в первые годы революции, как воинствующее, вредное и чуждое советской литературе направление, проповедующее буржуазные взгляды на искусство. Разоблачая попытку Льва Лунца и других «теоретиков» «дать идейное обоснование» этого направления, тов. Жданов говорил в своем докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград»:

«Такова роль, которую «Серапионовы братья» отводят искусству, отнимая у него идейность, общественное значение, провозглашая безидейность искусства, искусство ради искусства, искусство без цели и без смысла. Это и есть проповедь гнилого аполитицизма, мещанства и пошлости».

Состав «Серапионовых братьев» не был однороден. Из этой школы вышел проповедник безидейности — Зощенко. Однако большинство «серапионовцев» порвали с этой школой и связали свою творческую судьбу с народом. В числе их был Вениамин Каверин.

1

«Для того, чтобы стать писателем... вовсе не нужно писать стихи, повести или рассказы. Достаточно было придумать одно слово... но такое, чтобы оно было лучше всего Пушкина, Байрона, Шекспира. В четвертом классе гимназии он даже пытался найти это слово. Одно время ему казалось, что это — «колыбель», потом (начитавшись Майн-Рида) он решил, что это — «карамба» («Скандалист», 1928).

Так начиналась юность героя этой повести, Ногина. И прошла она в тоске по такому весомому слову, перед которым мировая литература отошла бы в тень. Гимназию сменил институт восточных языков, а студент Ногин не отрешился от своих гимназических мечтаний и иллюзий. Искренняя неисчерпаемая вера в магическую силу слова превращала Ногина в фанатика лингвистических исканий. С течением времени поиски слова уступили место поискам новых сюжетных конструкций, но основа чудачества Ногина оставалась старой — формалистской. И когда он, под влиянием теории Лобачевского о параллельных линиях, написал «параллельный рассказ», — задача была решена. Так по крайней мере казалось самому Ногину, обессиленному от болезни, безответной любви и прогиворечий собственного сознания.

«Я рассказ написал, — говорил он. — Я теорию Лобачевского в литературу ввел. Параллельный рассказ. Я на одном месте два рассказа в один соединил... я изоставил их на Университетской набережной повстречаться, ночью. Они у меня как старые приятели разговаривают. Никто не поймет ни черта... Разные эпохи, разные страны.»

О Ногине можно было бы не говорить вовсе, если бы в нем не воплощались черты ученических лет самого автора «Скандалиста», именно те, которые взяты Ка-

верным в этом романе под обстрел. Существенное сходство автора и героя здесь проявляется в типе мышления, в понимании основы писательского мастерства, в экспериментаторском подходе к литературному образу. В идейном содержании образа Ногина легко раскрываются идейные и творческие устремления Каверина в годы его литературного ученичества, когда его «гимназией» был кружок «Серапионовых братьев».

Бесстрастным геометром, плененным строгими и стройными чертежами, острыми и сухими контурами, выступает Каверин в первой своей книге рассказов «Мастера и подмастерья» (1923). В этой книге в сущности нет ни одного живого образа: она густо населена алгебраическими символами, сюжет в ней заменен произвольной «замкнутой» игрой, формалистическими конструктивными выкрутасами. Каверин решает экспериментальные сюжетные задачи на материале, чуждом советской действительности того времени; он прихотливо смещает пространственные и временные плоскости. О «художественной географии» первой книги сказал сам автор: «Никто не поймет ни черта... Разные эпохи, разные страны». И, подобно Ногину, Каверин видит и рисует людей подверженными странным и нелепым превращениям.

«Из ворот дома на углу Литейного выходил человек. Опытный в геометрии глаз тотчас мог определить в нем два измерения. Тело его представляло собою только поверхность, ширина и высота ее врезалась плотной и отточенной массой, но толщина отсутствовала» («Инженер Шварц»).

И событий нет в книге. Социальная действительность, находящаяся в орбите внимания писателя, дана не в реальных событиях своих, а в бесконечной веренице уравнений с несколькими неизвестными. В этом отражена установка писателя на решение самоцельных конструктивных задач сюжета, развивающегося во всем цикле ранних рассказов Каверина вне реалистических мотивировок, контрастными перебрисками и неожиданной сменой мест и точек зрения. Для раннего Каверина, как для всякого правоверного формалиста, основой сюжета является «остранение», то есть предельная заторможенность действия с помощью чисто формальных средств.

Идя по пути увлечения «сюжетной» прозой, решая преимущественно экспериментальные задачи, Каверин далеко отошел от требований, которые революционная действительность предъявляла к советской литературе того времени.

Это был ложный путь. И пороки его заключались, конечно, не в пристрастии писателя к «сюжетной» прозе вообще, а в том, какую функцию выполнял сюжет у Каверина.

Сюжет — существенный элемент литературы, один из главных показателей ее художественного качества, потому что в нем выражаются реальные связи событий, конфликты самой действительности. Беда Каверина была в том, что им создавалась «условная» сюжетная проза, при помощи которой решались экспериментальные задачи чисто формального порядка. Действительность в книге «Мастера и подмастерья» становилась нелепой и странной, связи ее теряли реальное значение, персонажи действовали в искусственной обстановке.

Известно, что манифест «Серапионовых братьев» противопоставлял литературу интересам практической жизни, утверждал безидейное искусство, оторванное от действительности. «Произведение может отражать эпоху, но может и не отражать, от этого оно хуже не станет... Мы верим, что литературные химеры — особая реальность, и мы не хотим утилитаризма. Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь, и, как сама жизнь, оно без цели и без смысла: существует потому, что не может не существовать» («Литературные записки», № 1, 1922). И Каверин, как никто, пожалуй, из «серапионовцев», педантично реализовал эти установки в своей художественной практике. Чтобы писать в стиле условной романтики, Каверину не нужно было знать советскую действительность, не нужно было уметь строить реалистический образ. Каверин и другие «серапионовцы», в сущности, тогда вовсе не знали того, о чем писали. Они исходили не из реальной действительности, а из книг, из литературных образцов прошлого или настоящего, реальную историю они приносили в жертву «литературным химерам».

«Мастера и подмастерья» при всей своей композиционной клочковатости и сюжетной чересполосице — книга глубоко монолитная. Это книга о художнике в действительности, об отношении «мастера» к жизни. В ней действительность первых лет революции спроецирована на экране чужих эпох и далеких пространств. Творческий процесс ограничен рамками саморазвивающегося сознания, он бесконтролен и бесцелен. По этой орбите движется мышление Каверина, создавая впечатление ирреальности предметного мира. Стилистическое юродство, гротеск, ироническая клоунада основываются на вере писателя в фантастическое начало обычных бытовых явлений; стремление глубже проникнуть в загадочную игру скрытых сил жизни вырастает в целую философию фаталистического толкования истории.

Все это свидетельствовало о наличии у «серапионовцев» огромного груза старых буржуазных форм художественного мышления, о буржуазно-индивидуалистическом понимании роли художника.

Каверин выражает в своем творчестве модные тогда буржуазно-идеалистические теории о художнике, борющемся со своим временем.

Столкновение человека и времени — характерная для раннего Каверина тема. Из пафоса борьбы со временем вырастет впоследствии центральная тема столкновения эпохи революции и индивидуалиста («Скандалист», «Художник неизвестен»).

Однако в отдельных случаях Каверин выходит за пределы фантастики, за пределы капризного и иллюзорного восприятия действительности и пытается отобразить реальную правду бытия. Тогда создаются образы, социальные устремления которых еще неясны и малоустойчивы, но маска с которых все же сброшена. Таков студент Корчага, занятый страной, «в которой так чудесно стройна и ясна перспектива». К такому же должен быть отнесен и инженер Шварц. Выход в действительность отражен и в лирических отступлениях новелл. Эти публицистические отступления, посвященные революции, показывали прогрессивные устремления Каверина, подчеркивали противоречивость его сознания.

Подобные вспышки социального сознания Каверина показывали какую-то близость писателя к революции, стремление нести ее знамена и петь ее песни. Лишь в дальнейшем, в «Девяти десятых судьбы», в «Прологе» и других произведениях эти мотивы достигают более значительной силы.

Таким образом, наряду с увлечением формально-«сюжетной» прозой, уводящим Каверина в область условного материала, вызревало и стремление укрепиться на реалистических позициях. В докладе о путях современной прозы, прочитанном в 1924 году в Институте истории искусств, Каверин вместе с отрицанием орнаментализма отмечает неприемлемость и обнаженной динамики авантюрного сюжетного романа. В творчестве писателя этому соответствовал переход от романтических новелл к повести «Конец хазы» (1923). Эта повесть показательна для той колеблющейся части «попутнической» литературы восстановительного периода, которая искала положительных героев среди воров, бандитов, представителей городского «дна». В ней Каверин отдает дань воровской «героике», окружая романтическим ореолом бандитов и налетчиков.

Романист резко меняет свою прежнюю художественную географию: он переселяет своих героев из Лейпцига на окраины Ленинграда и дает им другую профессию. В повести уже нет условных персонажей, путешествующих в «осязаемое ничто». Их сменили налетчики и громилы, представители уголовного «дна», окопавшиеся в «хазах». Но и здесь, работая на новом материале, Каверин не смог преодолеть старых навыков работы. Да и сам этот новый материал, несмотря на свою реалистическую, бытовую ощутимость, крайне условен. Лексическая сторона повести, а также характеристика психологии персонажей и бытовой среды знаменовали нерешительность отхода писателя от увлечения «сюжетной» прозой.

Реалистическая по своему замыслу, повесть не удалась Каверину. Не намечали значительного поворота к реализму и другие его вещи. О таких из них, как «Большая игра» (1923) или «Бубновая масть», можно сказать не больше, чем о «Конце ха-

зы». То же стремление индивидуализировать свои персонажи — указать их имя, отчество и фамилию и, вместе с тем, та же схематичность психологической и бытовой характеристики их; то же мастерство Каверина, скорее умеющего занимательно развешивать фабулу, нежели выпукло рисовать характеры.

В дальнейшем Каверин пытался создать реалистически значимые образы. И это своеобразное устремление к реализму шло через «Большую игру» к «Воробьиной ночи» (1926). Здесь тема мещанского быта впервые разрабатывается в плане социального гротеска. «Среди кассиров средней полосы Республики вообще немало чудачков и мечтателей. Сидя в замкнутом кругу своих фантастических решеток... они естественным образом склонны к мечтательности и честолюбию. Именно из кассиров в наше время выходят новые Цезари и Бонапарты».

Герой проигрывает в карты казенные деньги и, чтобы вернуть их, решается на аферу, которая, однако, ему не удается. После бесконечных нелепых разговоров в нелепой обстановке кассир нелепо попадает в ЗАГС. Эксцентрический сюжет обрывается самоубийством кассира, так и не ставшего «Бонапартом».

Однако характерная для Каверина ирония, направленная на провинциальное мещанство, отбрасывается автором «Воробьиной ночи» и на свои собственные вчерашние творческие установки. Начинается повесть ироническим обращением к рецензенту, увлеченному «сюжетными романами» и не видящему живой жизни.

## 2

Роман «Девять десятых судьбы» (1926), написанный после «Воробьиной ночи», продолжает наметившееся движение Каверина к реализму. Анализ образов романа, в котором революция, ранее находившая место лишь в лирико-публицистических отступлениях, органически вошла в тему, крайне необходим для понимания творческого пути Каверина.

Правда, и здесь, создавая сюжет авантюрно-приключенческого порядка, Каверин занят больше личными судьбами героев, чем величайшими социальными потрясениями. Впрочем, в самом переключении писателя на личную судьбу героев заключалось некоторое положительное начало: это переключение обязывало индивидуализировать образ, что никогда раньше не было сильной стороной творчества Каверина.

В ранних его рассказах за движущимися масками индивидуальность образа терялась вовсе. Каверин лепил условные образы и нарочито подчинял их самодовлеющей фантастике.

В повести «Девять десятых судьбы» Каверин, создавая образ-характер на фоне великих социальных потрясений, пытается нащупать те связи, какие существуют в жизни между человеком и социальной средой.

Внимание в романе сосредоточено на человеке, безвозвратно утратившем одну десятую своей судьбы. «Есть такие люди, у которых... судьба выходит на все сто процентов. Наоборот, у той личности, о которой я хотел бы с вами поговорить и даже предупредить вас кое о чем, имеется на этот счет некоторый изъян, то есть девять десятых. Одна же десятая и может быть самая счастливая утеряна безвозвратно».

Так говорит авантюрист Головецкий Гале о том самом Шахове, для которого Галя была «самым тяжким горем и самой большой радостью».

Кто же такой Шахов? Автор о его прошлом говорит скупое. Только по мере приближения развязки читатель узнает о тех обстоятельствах, в которых была утеряна им десятая часть судьбы. В бытность прапорщиком Шахов был привлечен военнопольным судом к ответственности за «подстрекательство к бунту». На допросе он случайно выдал имя одного из большевистских пропагандистов в старой армии. «Я и теперь не могу вспомнить, — признается Шахов любимой женщине, — как вырвалась у меня эта фамилия — я назвал только одного».

Точка зрения «душевного спокойствия» и личного жизнеустройства определяет его отношение к революции. Пока он был любим Галей, он в какой-то степени проявлял свою общественную активность, ставившую его даже в один ряд с видными

революционерами. После охлаждения ее любви жизненный тонус Шахова быстро падает. И готовность вновь бороться и «делать революцию» возвращается вместе с любовью женщины.

«Кривая его судьбы вдруг представилась ему прямее кратчайшего расстояния между двух точек... Женщина, ради которой он готов был с радостью умереть или радоваться, снова любит его и не скрывает больше того, что она его любит: он был нужен, он должен был любить, делать революцию, стрелять из вот этой винтовки, носить вот эту шинель с оборванными крючками и вот эту засаленную солдатскую фуражку».

Нет нужды подробно рассматривать отношение Шахова к революции. От него всегда был скрыт истинный смысл происходящих событий. Случайностью объясняется то обстоятельство, что он был в числе бравших, а не защищавших Зимний дворец. «Далекий от политики», озлобленный на людей, Шахов способен действовать исключительно под влиянием толчков извне. Глубоко в основе своей пассивный, он светит отраженным светом руководителей восстания, очерченных бегло и схематично, таких как Кривенко И, только чувствуя рядом плечо сильного, находит свое место на баррикадах этот безвольный интеллигент. На всем протяжении романа его связь с революцией была случайной и непрочной.

Образ Шахова — самый развернутый образ романа. Другие только намечены. Образы большевиков (Кривенко, Турбин) нужны автору лишь постольку, поскольку они создают ту атмосферу, в которой черпается мелкобуржуазным интеллигентом волевая зарядка.

Зарисовки исторических событий развернуты и впечатляющи (картина взятия Зимнего дворца в начальных главах, описание штурма Гатчинского дворца, бывшего средоточием контрреволюционных сил).

Привычные для Каверина лирико-публицистические отступления свидетельствовали одновременно и о приятии революции, и о том, что наметившееся снижение отвлеченной романтики еще не достигает реалистической черты. Концовка романа звучит романтическим порывом в космос. «Справа плывут поля, и слева плывут поля, города и деревни мелькают, и революция летит над ними, заключая охладелую землю».

А в целом «Девять десятых судьбы» — свидетельство разрушения формалистских творческих навыков изнутри, начавшегося под влиянием приближения писателя к революции.

Формализм утверждал разрыв между искусством и интересами практической жизни, становясь, таким образом, средством идеологического разоружения народа, формой завуалированного наступления буржуазной идеологии в условиях диктатуры пролетариата. Общие успехи социалистического строительства и культурной революции сузили базу развития русского формализма, мелкобуржуазным спутником которого бесспорно являлся и В. Каверин. Растущие кадры марксистско-ленинского литературоведения нанесли смертельный удар реакционной идеалистической теории и ее вариациям (теории «внешнеэстетического ряда», «литературного быта»). Процесс разложения формализма дополнялся отходом от него мелкобуржуазных спутников.

Прямому разоблачению формалистической школы в литературе посвящен следующий интересный роман Каверина «Скандалист, или вечера на Васильевском острове», направленный также в известной степени и против прошлого самого автора. В нем — характерная для некоторых слоев писательской интеллигенции попытка осмыслить и решить проблему интеллигенции в революции на материале художественного творчества и писательского быта. По тематике и по идейно-художественному способу решения проблемы «Скандалист» является более органичным звеном творчества Каверина, чем, скажем, написанные несколько раньше повесть «Ревизор» или роман «Художник неизвестен», о котором речь впереди. В романе «Скандалист» Каверин, осознав смертельный кризис своей группы, отходит от формализма, окончательно решает вопрос о своем пути к социализму. Революционная ломка мировоззрения писателя непосредственно связана с успехами социалистического строительства, ими обусловлена.

Живая жизнь, правда непреложных большевистских успехов разрушали иллюзии мелкобуржуазной интеллигенции, ломали и перестраивали ее мировоззрение. Не случайно то обстоятельство, что «Скандалист» написан в 1928 году.

Характерная для этого периода резкая дифференциация писательской интеллигенции отразила общее обострение классовой борьбы в стране. Перед различными отрядами «попутничества» с предельной остротой встал вопрос о выборе пути. «Вопрос о выборе пути, — писал В. М. Молотов в одной из статей этого периода, — к социализму или в лагерь сознательных и несознательных врагов его становится сейчас перед различными слоями интеллигенции с небывалой еще резкостью и настойчивостью». Тема отношения интеллигенции к революции закономерно стала центральной в «попутнической» литературе накануне реконструктивного периода. Многие писатели с разной степенью талантливости и мастерства воплотили в художественных образах свое тревожное осмысление дальнейшего пути интеллигенции в революции.

После того, как Каверин доказал, что может работать на революционной тематике, подведя романом «Девять десятых судьбы» итоговую черту под всем положительным, что имелось в прошлом, попытка решить проблему интеллигенции в революции стала естественной и актуальной для самого автора. А глубина обобщений, хотя и суженная несколько фактографическими и даже натуралистическими тенденциями, делала актуальность романа общелитературной.

В основе «Скандалиста» — коллизия революционной эпохи и буржуазного индивидуалиста. Отвлеченное астрономическое время, с которым боролись такие же абстрактные герои романтических новелл, уступило место конкретно-историческому времени — эпохе революции. И самая борьба, ясно осознаваемая автором, — социальная борьба. Осознается это и теми, кто терпит поражение. Некрылов — «писатель-скандалист, филолог» — осознает свое поражение: «Время право, что раздавило». А несколько раньше Драгоманов, прощаясь с ним на вокзале, принимает его идею превращения человека в «драгоценность, положенную в сейф». «А в сейфе хорошо лежать. Лежишь себе под замком, и не нужно ежеминутно читать газету или ежедневно лекции в университете. И не нужно удирать в Персию от жены, от друзей, от китайцев. От времени».

О возникновении «Скандалиста» и его идейном содержании говорит автор так: «Когда проблема интеллигенции и революции и от меня потребовала разрешения, я вспомнил о вечерах на Васильевском острове... В этой книге, работая над которой я учился азбуке реалистического повествования, с каждой страницей падает значение фабулы, и главной фабулой становится время, которое тасует людей, как хочет».

Ощущение «правоты времени» и сознание исчерпанности всех средств борьбы с ним важны здесь как признание правоты самой революции. Непреложность революции очевидна для всех «скандалистов», бессильных «использовать время». Но в романе до конца не осознается вопрос, почему время «тасует людей, как хочет», а отвлеченное признание революции не оставляет места для активности тех, кто не «скандалил», кто сделал полноценной свою жизнь, подчинив ее революционному долгу.

Но кто такие Некрылов и Драгоманов? Почему они спорят? В «Скандалисте» им отведена роль вождей молодого поколения интеллигенции, противопоставленного академической университетской науке в лице Ложкина и его окружения (Вязлова, Боблова и других). Они интересные и оригинальные лингвисты. Это они бунтуют против Ложкиных, эпатируют их науку.

Каверин крепкими нитями связывает представителей двух враждующих между собой поколений буржуазной интеллигенции, ставит их по одну сторону баррикады в борьбе с революционной действительностью. И то время, о котором Каверин говорил, как о главном действующем лице романа, одинаково торжествует победу и над профессорами и академиками, не признающими новой орфографии, и над беспоконными формалистами, наркоманами и истериками, бьющими посуду и устраивающими скандалы в университете и издательстве. И те и другие в итоге неспособны на нужную работу, отчуждены от советской действительности и ей враждебны.

Каверин разоблачает отгородившийся от всего нового академический круг, с его бессилием выполнять живое и нужное дело, с его ненавистью ко всему, что нарушает привычный, автоматический ход никому не нужной жизни ученых-схоластов. И не случайно студент Леман, сам принадлежащий к другому поколению, именно в этом мертвом кругу черпает материал для своих некрологов о живых людях. Выключенные вовсе из реальной жизни, просиживая весь свой век над литературными памятниками ересей и сект XV и XVI столетий, ложкины сознают полную бесплодность своей работы и существования, ей посвященного. Бесславная гибель ожидает всех враждебных новому «академиков»-схоластов. И сам Ложкин в предчувствии ее решается на «бунт». Он пытается покончить с наукой, которая свелась к пропыленным рукописям о царе Соломоне, бреет «профессорскую» бороду, бросает жену, уезжает из дома и пьянствует со старыми гимназическими приятелями. «Бунт» оказался бесплодным, как и наука Ложкина, как и жизнь Ершова. Война оказалась проигранной. После пьяного пикника Ложкин возвращается в покинутое лоно семьи. «Да, его поколение проиграло войну и отступило с потерями, которых не перечесть, с непоправимыми потерями одиночества старости, смерти».

Драгоманов, бунтующий одновременно и против новой эпохи и против эпохи ложкиных, будто бы одерживает победу: «бунт небольшой, университетский, карманный удался, окончился его победой». Но, побеждая Ложкина, он терпит поражение по другой линии: он не «убег от времени», и потому предсказание Некрылова — оказаться запертым в сейфе — только приветствует. Причины этого поражения осознаются Некрыловым, который бунтует уже и против Драгоманова, против «обшучивания» современности, и предлагает «использовать давление времени».

Каверин целой системой «бунтов» ярко, с большим художественным тактом разоблачает буржуазную интеллигенцию. Бунт Ложкина был бесцелен. В итоге бунта Драгоманова — ощущение победы над Ложкиным. «Почти гениальный лингвист» чувствует себя победителем. Но приходит Некрылов и говорит Драгоманову и его ученикам: «Товарищи, больше отшучиваться нельзя, вы хотели обшутить современность, а правы оказались те, которые не шутили. Поверьте мне. Было время, когда я перешучивал целые Госиздаты.. Время нас слопало, как хотело. Не нужно отшучиваться. Нужно это давление времени использовать». Но с кем Некрылов сможет «использовать время, если рядом с ним уже никто не стоит, если старые друзья говорят ему: «скандалы автоматизировались»? Автоматизировался и сам вождь формалистов, который постоянно носится в романе с «сознанием своей исторической роли».

Так показано крушение индивидуалистического сознания, обнажен смертельный кризис системы Некрылова и всей школы, которую он когда-то создал и возглавил. В этом заслуга и удача Каверина.

### 3

В дальнейшем приближении к тематике социалистического строительства огромную роль сыграла поездка Каверина на одну из крупных окраинных совхозныхстроек. «Мне казалось, — писал он, — что поездка в места, лишённые иллюзии, поможет мне яснее увидеть границу между мечтаниями и бытом, без которой так трудно работать и жить». Впечатления от этого выхода за границу мечтаний были закреплены в «Прологе» — книге очерков о совхозном строительстве (1931). Писатель ясно видел трудности реалистического раскрытия героических будней социалистической стройки, новых складывающихся отношений и честно пытался преодолеть эти трудности.

«Пролог» написан в первые годы успешной реализации пятилетнего плана, явившейся основой ускоренного приближения мелкобуржуазной интеллигенции к народу. Поворот старой технической интеллигенции к социализму был закономерным и для гуманитарных слоев интеллигенции. Величие исторических целей революции, размах социалистического строительства, реальные достижения рабочего класса в борьбе с кулачеством, неуклонное продвижение страны к социалистическому обществу — все

эти всемирно-исторические процессы ускорили переход писательской интеллигенции в литературные союзики рабочего класса.

Тема книги — строительство зерносовхоза в окружении патриархальных скотоводческих кочевий, борьба с трудностями строительства. Но люди, носители технической реконструкции, социалистических навыков работы и новых чувств, строители совхозов, к которым устремлены симпатии автора, у него схематичны и условны. Особое внимание Каверина привлекают либо трезвые практики, либо советские фантазеры. Контрастированием противоположных качеств героев он противопоставляет настоящее будущему: настоящее принадлежит дельцам, будущее — «фантазерам и мечтателям». Правда, иногда он совмещает полярные качества и говорит: «это дельцы и фантазеры одновременно»; но и совмещаясь эти полюсы остаются конфликтующими. Каверин не поднимается до образного осмысления ленинско-сталинского стиля работы, снимающего противоречие между работой и мечтой.

Конфликт практицизма и фантастики, реальной жизни и мечты осуществлен в образах Бой-Страха и Береговского. В образе Бой-Страха уничтожается мечта во имя практических реальных потребностей, деловитость доведена до узкого делячества. В нем подчеркнут полный отход от романтики, устремление к производительному полюсу жизни и, я бы сказал, физкультурная бодрость.

«Огромный, он качался в машине, положив руку на мое плечо. Я невольно оглянулся назад, и его раздутые ноздри встали надо мной, круглые и темные, как ноздри монумента».

Сильному, самодовольному, с лицом, обветренным «суховеями», закаленному в борьбе со степью, Бой-Страху противопоставлен Береговский. Мечтательство в этом образе поднято на ходули, обескровлено отвлечением от практических потребностей. Для самого Береговского мир фантазии — убежище от тревог и противоречий действительности.

Многое в книге объясняется высказыванием Каверина на творческой дискуссии в Ленинграде в 1931 году. Он говорил о «Прологе»: «Если бы мне удалось эту вещь организовать как-то таким образом, чтобы в конце концов литературная ее сторона не затуманила идеологического смысла, вероятно, книга была бы оценена по-другому».

В «Прологе» Каверин исходил из подлинного признания действительности строящегося социализма. Стремление ближе подойти к ней и увидеть сильного, волевого нового человека было искренним, эмоциональным и осозанным.

Но старые формы видения действительности привели романиста к ряду неправильных выводов. Новый пафос борьбы еще не всегда основывается на новом реалистическом видении действительности. Такому видению мешает та литературщина (сказавшаяся и в романтической символике начала и конца книги, и в надуманных искусственных образах, и в погоне за «далековатыми идеями»), которая осознана самим автором в указанном выступлении по поводу своей книги.

В романе «Художник неизвестен» (1932), над которым Каверин работал с большими перерывами, старые формалистические формы видения воплощены в образе художника Архимедова.

В этом образе прежде всего утверждается идея особенной природы человека искусства, особенного художественного видения. Не другим героям и не самому автору, а только ему, «зевাকে будущего», открыт тайный смысл прозаических явлений. Вспомним сцену у окна сапожника. Простому глазу открывалась обычная картина сапожной мастерской: «низкий стол со всем беспорядком ремесла, с обрезками подошв, с ножами, обмотанными, вместо рукоятки, куском кожи». Архимедов же видит в окне особый, скрытый для других мир: «Я взглянул на Архимедова. Без сомнения, он видел больше меня, потому что долго еще стоял он, слегка прикрыв ладонью глаза, приподняв плечи». Через несколько страниц художник в теоретическом обобщении открывает смысл по-особенному увиденных будничных явлений: «Я думаю о беспомощности истории, которая движима борьбой за лучшее существование, в то время как следовало бы бороться не за то, чтобы оно было лучшим, но за то, чтобы оно было другим...»



Недавно я видел, как убивают. Как был скучен этот обряд... Но рождение, которое я видел сегодня, — оно было еще скучнее смерти.

Необходимость борьбы за пресловутый «принцип автоматизации восприятия», за его распространение не только на искусство, но и на реальный исторический процесс, — таков вывод из идеи особенной природы художника.

В связи с этим Архимедов утверждает тезис об искусстве как бесконтрольном процессе, основанном на «детском непосредственном» восприятии, на передоверии «чутью материала». «Становясь детьми», художники «вступают в круг бескорыстия и благородства, и многие истины просто спадают с них, как кожа с змеи, меняющей кожу».

Линия борьбы в романе совершенно ясна. Реальной действительности страны, вступившей в период социализма (книга писалась в 1929—1931 годах), новой культуре противостоит гениальный бунтарь-одиночка. Проповедь воинствующего индивидуализма, не имея реальных результатов, уводит Архимедова в химеры собственного сознания, в искусство теней и иллюзий. Он обосновывается за кулисами театра: там его штаб.

И борьба донкихотствующего художника против действительности реально свелась к стычке с администрацией за кулисами театра. В романе не оправдано это полное поражение Архимедова. Почему, собственно, побежден этот театральный бутафор? Почему он ощутил себя одиноким даже в фантастическом кукольном театральном мире? После театральной битвы Шпекторов выносит ему суровый приговор: «Поставь в угол свою шпагу, отдай ее актерам или детям. Иди запишись на бирже труда, ты ведь когда-то служил в аптеке. Пользуясь выходными днями, учишь рисовать. Может быть придет время, когда мы позовем тебя раскрашивать наши знамена».

Но кто такой сам Шпекторов? Какова функция этого образа в романе?

Если Архимедов в тоске по «утраченной морали» борется за «благородство во имя искусства», то Шпекторов, называя попытки создать «новое» искусство ребячеством, в исходном пункте бунтарства Архимедова становится на его позиции и вслед за ним «отрицает право на личную жизнь». И полной солидарностью звучит «полемика» Шпекторова с художником.

«Тезис личной судьбы — вот что ты не хочешь учесть в своих рассуждениях. На протяжении всех культур — греческой, египетской, еврейской — он казался вынесенным за скобки, свободным от законов истории. Мы тратим все силы, чтобы ввести его в эти скобки. Мы знаем, что уничтожение права на личную жизнь будет уничтожением традиций семейных, производственных, научных».

Каверин видит неизбежность поражения Архимедова. Жизнь безжалостно бьет стекла реакционной романтики, и осколки их слепят глаза художника и его учеников. Жизнь Архимедова — бесконечная цепь трагических неудач. Они его преследуют буквально на каждой странице романа. Созданный им иллюзорный мир за кулисами театра учащейся молодежи рушится от вмешательства администрации. Ученики бросают «учителя нравов», и единственными слушателями Архимедова становятся куклы. Жена, от которой унес художник ребенка, выбрасывается из окна. Ребенка, оказавшегося не его сыном, он добровольно уступает Шпекторову. Архимедов окончательно побежден. Но и побежденный, он написал гениальную картину. Он торжествует победу как художник: не в жизни, а в искусстве, как в высшей реальности, побеждает гениальный одиночка. И этот итоговый тезис романа по-новому освещает весь прошлый путь художника. Бесчисленные поражения его в плане житейско-бытовом предопределили его победу в искусстве. Они необходимы для того, чтобы кисть неизвестного художника создала гениальное произведение. «Нужно было разбиться насмерть, чтобы написать эту вещь», — так резюмирует реакционное идейное содержание романа сам автор.

Роман этот показал степень тех опасных колебаний, которым была подвержена часть художественной интеллигенции в начале реконструктивного периода.

«Художник неизвестен» в отличие от «Пролога» выразил не тенденцию основной массы интеллигенции, совершившей поворот к социализму, а настроения меньшинства ее, живущего иллюзиями о самостоятельной роли интеллигенции. Тема «высоко-

морального», «истинного», «честного», аполитичного искусства, за которое борется художник, выражала реставрационные настроения гибнущих классов, злобствовавших против торжества социализма.

Призывы уйти от реальной борьбы за новый общественный строй в искусство символов и теней, возврат к виртуозничанью словом, к формалистическому шукачеству с претензией на гениальное юродство в области художественного мастерства — все это подчеркивает буржуазно-индивидуалистическую сущность устремлений романа «Художник неизвестен».

## 4

Каверин относится к таким писателям, которые медленно преодолевают внутренние противоречия своего творчества, варьирующего немногочисленные мотивы и повторяющего излюбленные темы и образы. С одной стороны, как видно было из предшествующего анализа, он стремится к революционной тематике, пытается создать полноценный образ положительного героя. С другой же стороны, алогический реализм, формалистские формы видения, о которых речь была раньше, затемняют в произведениях Каверина революционную действительность. Писатель часто задерживается в области несущественного и субъективного.

Это противоречие делает подъем художественной линии Каверина медленным и порывистым, нередко останавливая писателя на уровне уже решенных задач или даже возвращая его далеко назад. Оно же определяет и тот узкий тематический диапазон Каверина, о котором я только что говорил. Художественное перевооружение писателя — не механический, а очень сложный процесс. Каждая новая тема в творчестве писателя — не только новый объект описания, но и новое отношение к нему, новое осознание связей, какие существуют в материальной действительности между объектом и смежной с ним областью явлений.

Каверин долгое время стремился совершенствоваться как художник, преодолевая старую тематику на основе нового ее осознания. И такой способ движения вперед возможен, особенно для писателя, несущего огромный груз буржуазного художественного сознания. Этот путь писателя к революции оказался наиболее длинным и извилистым. По нему шел Каверин.

Проблематика «Исполнения желаний» (1934) продолжает линию «Скандалиста», имевшего для автора большое самокритическое значение. Там сарказм и мастерство писателя воплотились в полноценные образы той интеллигенции, над которой торжествует победа время. Положительная же программа не нашла тогда образного выражения. Людям, которые полуживут в литературе и жизни, превращают литературу в биографию, и жизнь в литературный прием, Каверин еще не смог противопоставить образы тех, кто не «шутит», а жил и живет полноценной жизнью. Пятилетие, отделяющее новый роман его от «Скандалиста», подготовило выход писателя за пределы разоблачаемого, к выявлению положительного героя.

Время действия романа — время перехода от восстановления страны к ее социалистической реконструкции. Оно отмечено творческим подъемом всей страны, готовящейся вступить в период развернутого наступления по всему фронту социалистической стройки, в период обострения классово-борьбы. Внимание в романе сосредоточено на той части научной интеллигенции, которая, приняв социалистический трудовой строй жизни, выполняет живое и нужное дело.

Сюжетным стержнем, вокруг которого разворачиваются события романа, являются взаимоотношения студентов — Трубачевского, работающего над архивными историческими материалами, и физиолога Карташыхина. Мастерски вычерченный быт семьи академика Бауэра, с которым связан в своей работе Трубачевский, выполняет роль фона, на котором добиваются «исполнения своих желаний» молодые герои романа. Причем, творческий рост Карташыхина при видимом сходстве противоположен пути Трубачевского.

Роман открывается сценой посещения Трубачевским знаменитого историка Бауэра. Трубачевский начинает работать в архиве профессора над рукописями декабристов,

делает ценное открытие. В доме профессора Трубачевский знакомится с его дочкой Машей, студенткой техникума, и влюбляется в нее. Здесь же он встречается с враждебными Бауэру людьми — сыном профессора Дмитрием и его знакомыми Неворожичем и Варварой Николаевной. Столкновение с этим миром окажет в дальнейшем большое влияние на судьбу Трубачевского.

Герой ищет легкий путь к славе, признанию и богатству. И на этом пути делает неосторожный ошибочный шаг, граничащий с преступлением, Неворожин, контрреволюционер и мерзавец, пытается сделать из Трубачевского сообщника в осуществлении своих авантюристических планов. Если бы Трубачевскому не удалось обнаружить пушкинский автограф в кармане надетого им по ошибке неворожинского пальто, он прочно оказался бы в лапах Неворожина. И крах скрытых индивидуалистических стремлений Трубачевского подготовил подлинное «исполнение желаний» героя. Так, в результате испытания, пережитого Трубачевским, происходит его обновление, он готов «снова испытать свои силы».

По-иному происходит «исполнение желаний» у Карташихина, студента-медика. В романе подчеркнута разница между приятелями во многих их чертах, и в первую очередь, Карташихин, в противоположность Трубачевскому, иначе определяет свое место в жизни. «Ко всему, что он видел и чувствовал, он применял труднейший вариант понимания», — говорит о нем автор.

Трубачевский и Карташихин — две правдоподобные в наших условиях судьбы, разумеется далеко не исчерпывающие всех путей молодежи к вершинам культуры, в частности — к творческому воплощению научной страсти. Автор стремится не только дать индивидуализированный психологический облик приятелей, но и пытается индивидуализировать тип мышления героев, противопоставить человека «медленного созерцательного» опытного ума — человеку с мышлением чисто логическим и импульсивным. Спокойно и трезво прощаются молодые люди с беспредметной отъязгой «своих 19 лет». Трубачевский быстро мирится с тем, что вместо «открытия исторических законов» ему придется всего лишь приводить в порядок спутанные бумаги третестепенного декабриста. Трезвая сосредоточенность Карташихина на вузовских делах освещается сознанием грандиозности будущей его научной деятельности.

В романе есть такой эпизод: Трубачевский с девушкой смотрит в кино «Парижанку». И когда на экране под колесами экспресса гибнет женщина, студент находит ключ к шифру пушкинского текста. Мотиву самоуничтожения противопоставит здесь радость познания, творческая страсть исследователя и открывателя. Главы, рисующие вузовское окружение героев: лыжная вылазка, ресторан, «бунт» Лукина — обнажают крепкие нити, которыми связан живой коллектив молодежи. В нем господствуют неисчерпаемое чувство дружбы, большая непосредственность, веселое и деловое настроение. И как тонко вырисовывается на этом фоне индивидуалистическая отчужденность Трубачевского, черты того эгоцентризма, преодолеть который предстояло ему в будущем. Автор озабочен задачей показать всесторонний рост индивидуальности, шлифовку ее по всем граням. Вот почему с образом Карташихина, определяющим собой основное направление романа, тема любви связывается более органично, чем с образом Трубачевского. Так Каверин расстается с плеядой занимавших его раньше образов неудачников, бессильных отвлекаться от глубокого одиночества и горьких жизненных неудач, и утверждает торжество жизни.

Новиков-Прибой некогда сравнил стилевую простоту с прозрачностью огромного водоема. Очень хорошее сравнение. Сквозь чистую воду даже на глубине океана можно видеть проявление жизни в ее мельчайших подробностях. Таким же чистым мы хотим видеть литературный язык и чувствовать в нем и через него глубину содержания жизни. Произведения, в которых наведено много блеска, а жизни не видно, отвергаются нашим читателем.

Стилистическая ясность «Исполнения желаний» не подлежит сомнению. Каверин очищает язык от ненужной цветистости, стилистической украшенности, пытается опереться на разговорную интонацию. Здесь важно подчеркнуть ту внутреннюю противоречивость, с которой сталкиваешься, читая этот роман, написанный будто бы «раз-

говорным языком». Есть верное средство безошибочного узнавания языка — это синтаксис. Некоторая порывистость, эмоциональная «неправильная» расстановка слов, пропуск их — этих неперменных качеств разговорного синтаксиса мы не найдем ни в одной каверинской фразе. «До сих пор он (Карташихин. — Н. М.) жил так не потому, что решил жить именно так, а не иначе...». «Впервые с большой силой проявилась в нем та память врожденного наблюдателя, благодаря которой он все запомнил, еще не зная, к чему это может пригодиться». И весь роман пишется такими фразами, где все подчиняется конструктивному закону, смыкающим смысловые единицы в замкнутое целое.

И автору, занятому математически точным разрешением языковых задач, удается лаконизм фразы, ее графичность, линейность и обычность. Не нарочитая теория «разговорного языка», а эта строгая скупость к слову дала в итоге интонационное единство романа, ту соподчиненность «реализма деталей», скрепляющую сюжет, которая составляет существенную особенность «Исполнения желаний».

В. Каверин настолько сдержан, даже скуп в своем романе, что кажется, будто он нарочито не исчерпывает всего материала — «бытового, научного, личного», — освоенного им. Но, самые второстепенные детали, указывающие на тщательный отбор материала, находятся в таком соотношении с главными частями, при котором ощутима наполненность романа чувством и мыслью.

И вместе с тем скупость, увеличивающая фабульную емкость, нигде не граничит с неясностью. Роман собран; очертания его поэтому устойчивы и отчетливы.

В нем открывается настоящий мир и действуют живые люди. Их мысли и поступки изображены писателем с превосходным знанием материала. Но в нем есть и другая привлекательная сторона, усиливающая реалистичность всей структуры произведения. История взаимоотношений героев развертывается на фоне событий первой пятилетки. Приурочив действие романа к определенному периоду (1927 и последующие годы), писатель разбрасывает в произведении точные приметы времени, характерные детали, по которым мы безошибочно узнаем годы, озаменованные началом строительства Днепрогэса. Эти подробности быта и политической жизни тех лет менее всего могут быть названы «фоном», они органически входят в повествование, служат цели идейной характеристики героев, их исканий и борьбы.

Первая книга романа заканчивается одной из таких деталей времени — описанием первоймайской демонстрации в 1928 году в Ленинграде. Трубачевский в колонне демонстрантов проходит мимо трибуны, где стоит Киров. И эпизод этот многое говорит нам об истории духовного развития героя, преодоления им индивидуалистической жизненной программы, построенной на честолюбии. Это, в то же время, свидетельство того, что В. Каверин рассматривает политику как одну из основных движущих сил человеческой деятельности и вводит в художественное произведение политический материал с чувством проникновения в историю, понимая его значение в судьбах людей. Карта пятилетнего плана, опубликованная в «Правде», весть о гибели Амундсена, первые сеансы звукового кино, торопливый день ленинградцев, картины неповторимого ленинградского пейзажа и многие другие бытовые и фактические подробности воссоздают исторический колорит времени и живой тканью входят в роман.

Говоря о недостатках романа, следует указать на самый важный из них — на художественную незавершенность некоторых, в первую очередь отрицательных, образов.

Объекты, на которые направляется пафос отрицания, в романе немногочисленны, а главное — расплывчаты. «Черты неблагополучия, — пишет Каверин о семье академика, — были видны во всем — в слове, которое пропускалось или заменялось другим, в той напряженной вежливости, которая так странна между братом и сестрой, между отцом и сыном». Этому «неблагополучию» придан характер домашней исключительности, неповторимой интимности. А между тем, в авторском замысле образам Дмитрия и Неворожина отведена роль другого полюса, на котором кристаллизуются отрицательные начала действительности, данной в романе. Сделать эти образы нитью отрицательного повествования можно было, только выходя из «домашности» к широ-

кому охвату классовой борьбы, к тому процессу резкой дифференциации интеллигенции, который отразил общее обострение классовой борьбы в стране на грани восстановительного и реконструктивного периода.

Вот почему в «Исполнении желаний» все же ощущается противоречие между материалом романа и авторской установкой «сделать роман историей целого поколения, вступившего вместе с пятилеткой в творческую жизнь страны».

Линия социального поведения героев произведения оказалась мало связанной с процессами резкой дифференциации интеллигенции в эпоху «великого перелома». Это несомненно снижает политический и художественный замысел хорошего романа.

## 5

В романе о «поколении первой пятилетки» стремление писателя к глубокому, всестороннему и правдивому изображению действительности сочетается с искусным разрыванием сюжета. Художественные достоинства романа возникли благодаря реалистическому истолкованию типического в жизни и искусстве. Характерно, что даже критика, в свое время благожелательно встретившая появление романа, не смогла верно оценить достижения писателя в «сюжетостроении». Одни критики «объявили сюжет «Исполнения желаний» органически вытекающим из проблематики романа, из быта, из темы». В основе подобной точки зрения, объективно переоценивающей достижения романа, лежит слишком широкое, отвлеченное понимание сюжета в художественном произведении. Сюжет «Исполнения желаний» выводится непосредственно из действительности, изображенной в романе. Другие критики считали сюжет романа чем-то посторонним и даже враждебным его идейному содержанию и тем самым утверждали несовпадение линий его сюжетного развития и развития идейно-тематического. Эта точка зрения, разумеется, преуменьшает заслуги писателя, потому что она основана на слишком узком, примитивном понимании сюжета. Нетрудно заметить, что если сторонники первой точки зрения механически отождествляют идейность и сюжетность романа, то сторонники второй точки зрения механически противопоставляют сюжет произведения его идейной проблематике. Между тем, нельзя ни отождествлять, ни противопоставлять то, что в художественном произведении дано в органическом единстве и образует нечто целостное и неразложимое.

В сюжет «Исполнения желаний» входят относительно случайные, необычные для повседневной жизни события и обстоятельства. Вместе с основным материалом в романе есть и побочный, периферийный. Однако, как указано, центральная сюжетная магистраль и едва заметные повороты в развитии сюжета, его детали согласованы и связаны между собой. Взятые в сложном индивидуальном переплете все элементы сюжета создают в романе атмосферу жизненного правдоподобия. Неразгаданные тайны и неожиданные встречи, придающие роману дополнительную сюжетную занимательность, не противоречат, а способствуют осуществлению основной задачи, которую поставил себе автор: показать крушение иллюзий старой интеллигенции, возникновение нового стиля жизни и работы советских ученых, романтические тенденции в жизни молодежи конца 20-х годов. «Современный роман,—писал В. Каверин в годы создания «Исполнения желаний», — непременно должен быть сюжетным, если понимать под сюжетом энергическое и вещественное «движение идей», на фоне которых совершается развитие действия..

Мне думается, что при правильном понимании времени и людей, о которых пишет писатель, сюжет будет складываться сам собой. Есть какая-то естественность в сложении сюжета. Он легко развивается именно тогда, когда воображаемая действительность совпадает с реальной».

Решая реалистические задачи, автор не отказывался от детектива, от необычного и даже фантастического материала. Более того, он был озабочен тем, чтобы реальное, типическое найти прежде всего в необычном, фантастическом. Стремление к тому, чтобы в произведении «воображаемая действительность совпала с реальной», было плодотворным для писателя. Конечно, надо иметь в виду, что В. Каверин

создал своеобразную разновидность сюжетного реалистического романа, которая в советской литературе не может быть признана основной.

К такому именно решению задачи писатель был подготовлен всем своим предшествующим творческим развитием.

В стилевом отношении тот сложный путь, который привел В. Каверина к романам «Исполнение желаний» и «Два капитана», был отмечен борьбой за реалистическое отношение к художественному образу, сюжету, слову. Мотивы иронического отрицания обычного, повседневного в ранних каверинских новеллах не оставляли места для типического. То, что писателю казалось типическим и важным, в действительности было исключительным, случайным и субъективным. Образ и сюжет были нарочито усложненными, надуманными и выражали не социальные закономерности, а иллюзорное впечатление от действительности. Об этих иллюзорных впечатлениях, лежащих будто бы в основе искусства, писал Каверин в своем произведении «Художник неизвестен»: «Если нажать пальцем на яблоко глаза, раздвоится все, что он видит перед собой, и колеблющийся двойник отойдет вниз, напоминая детство, когда сомнение в неоспоримости реального мира уводило в геометрическую сущность вещей». И не только писал об этом Каверин, но и персонифицировал в образах этот идеалистический подход к искусству. Поэтому роман и явился таким большим поражением писателя. Однако Каверин как художник рос в борьбе с теми формами видения, которые воплощены в образе Архимедова и всей художественной ткани «Художник неизвестен». Преодолевая мотивы случайности и исключительности, Каверин в обычном ищет типическое.

Эти непрерывные поиски, сопровождавшиеся ошибками и срывами, приводят к все большему и большему сближению произведений Каверина с действительностью, к простоте стиля в том смысле, что сложный образный комплекс чувств, переживаний, мыслей начинает выражать не иллюзорные представления писателя о себе самом и окружающем мире, а реальные жизненные отношения. Всей структурой художественного произведения подчеркивается теперь не чисто литературная сторона отдельных компонентов его, а их подчиненная, служебная роль.

Романы «Исполнение желаний» и «Два капитана» открывают В. Каверину новые, подлинно реалистические возможности. Продолжая поиски типического, он находит в этих романах убедительные художественные средства для отграничения типического от эмпирически найденного, случайного. Характерное В. Каверин не отождествляет теперь с обычным, повседневным. Подобное отождествление в прежних произведениях не достигало цели, а лишь замыкало писателя в области несущественного.

Достоевский говорил об одном из своих романов: «Я озаглавил его «фантастическим», тогда как считаю его сам в высшей степени реальным». В этих словах — ключ к реализму великого писателя, умевшего передавать существенное, типическое через фантастическое, необычное. Да и только ли один Достоевский прибегал в художественном произведении к необычному материалу, чтобы глубже проникнуть в историческую реальность. А Гоголь, Диккенс, Бальзак?! Странникам примитивного понимания типичности в искусстве как ординарной обыденности не понять, почему творчество этих великанов прошлого, не боявшихся ни преувеличения, ни исключительности, так много дает нам для познания общественной жизни России, Франции, Англии XIX века.

Вопрос о понимании типического в искусстве до сих пор имеет большое значение для нашей литературы. В этом убеждает, в частности, полемика, возникшая в печати вокруг романа В. Каверина «Два капитана». Многие литераторы и поныне убеждены в том, что создавать типические образы — значит пользоваться заурядным материалом, с точки зрения этих проповедников серости в искусстве тот писатель «нетипичен», который поднимается над обыкновенностью до уровня исключительного или фантастического. Последние романы В. Каверина обращены против подобных вульгаризаторов, против подобного убогого понимания реализма в искусстве. В «Двух капитанах» так же, как и в «Исполнении желаний», сильны тенденции приключенческого жанра. Здесь хитроумные интриги и необычайные совпадения, загадки и тайны, преступления

и путешествия. Но все дело в том, что развитие острого, многопланного сюжета в романе нигде не приобретает самодовлеющего значения. Все эти средства, которые мы привыкли считать принадлежностью одного лишь авантюрного жанра, служат раскрытию действительности большого значения, жизни, полной напряжения, исканий, борьбы, перед читателем встают во весь рост положительные герои, советские люди, создатели нового мира. Здесь бурная, напряженная жизнь героев, при всей ее необычности, в основе своей оказывается будничной, ничем не прикрашенной. Но она интересна и значительна именно потому, что освещена важными и типичными для этих героев и всей нашей жизни событиями. Только теперь для В. Каверина, автора романов «Исполнение желаний» и «Два капитана», приобретают новый настоящий смысл старые слова писателя: «Жизнь человека в нашу историческую эпоху полна до краев любопытнейшими событиями». В прежних произведениях фабульное мастерство, сюжетная изобретательность были связаны у Каверина с разработкой узкого, порой слишком специального, жизненно ограниченного материала. Теперь писатель обратился к иной, более широкой действительности, к иному, более серьезному и жизненно значительному материалу.

## 6

Много лет назад совершено преступление, раскрыть которое суждено было советскому полярному летчику капитану Григорьеву. Он уже в годы Великой Отечественной войны находит следы и останки экспедиции капитана царского флота Ивана Татаринова, совершившего отважное арктическое путешествие и открывшего Северную землю. Гибель капитана Татаринова и его экспедиции в снегах Арктики многие годы была окружена тайной. Первая попытка проникнуть в тайну не увенчалась успехом: вдова Татаринова, ходатайствовавшая перед царским правительством о снаряжении спасательной партии, получила грубый отказ. Равнодушие царского правительства, преступная деятельность организаторов экспедиции, рассматривавших ее лишь с точки зрения коммерческой выгоды, предопределили гибель капитана Татаринова. Непосредственным виновником ее был двоюродный брат капитана Николай Антонович Татаринов. «Можно смело сказать, что всеми неудачами мы обязаны только ему... Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ожидали такого удара», — так говорит о нем сам капитан Татаринов в своем предсмертном письме.

Идейный и сюжетный центр «Двух капитанов» — в раскрытии этой тайны капитана Татаринова, обогатившего русскую науку ценнейшими открытиями и исследованиями и погибшего при загадочных обстоятельствах. «Так, на основании изучения дрейфа, известный полярник профессор М. предположил существование неизвестного острова между 78-й и 80-й параллелями, и этот остров был открыт в 1935 году именно там, где М. определил это место. Постоянный дрейф, установленный Нансеном, был подтвержден путешествием капитана Татаринова, а формулы сравнительного движения льда и ветра представляют собой огромный вклад в русскую науку». Делая сообщение об экспедиции Татаринова в географическом обществе, Григорьев оглашает предсмертное письмо отважного путешественника-патриота, звучащее и как обличительный документ по адресу царских чиновников, и как волнующее признание скромных своих заслуг перед родиной. «Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогали, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение, что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли...»

Так завершаются в романе сложные взаимоотношения советского молодого человека Александра Григорьева и погибшего до революции капитана Татаринова. Так разоблачается в «Двух капитанах» злое наследие прошлого в лице Николая Антоновича, выходяца из враждебного, буржуазного лагеря, продолжавшего и в нашем советском обществе оказывать на жизнь глетворное влияние. Так свершается выполнение клятвы Сани Григорьева, данной в те далекие детские годы, когда герой столкнулся с таинственными, необычайными событиями.

Полые воды реки выбросили на берег в провинциальном городке Энске сумку таинственного почтальона с письмами погибшего штурмана дальнего плавания Климова, участника экспедиции капитана Татарина. Саня Григорьев, тогда немой мальчик, заучивает их наизусть. Отец Сани несправедливо обвиняется в убийстве, случайным свидетелем которого был немой мальчик. Эти первые детские впечатления многое определяют в судьбе Александра Григорьева. И когда под влиянием случайной встречи с доктором — революционером, скрывавшимся в те годы в Энске от преследования царской полиции — мальчик излечивается от «глухонемоты», отец его умирает в тюрьме, и Саня уже не может помочь ему раскрытием тайны преступления. Неудачи начинают преследовать героя, детство которого и без того было крайне тяжелым. Отчим мальчика Гаер Кулий делает жизнь в семье нестерпимой, и вот после смерти матери Саня, не желая идти в приют, вместе с другом — Петей Скородниковым готовится к бегству. Друзья дают друг другу «кровавую клятву дружбы», которая заканчивалась словами: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Эта клятва стала девизом всей жизни Александра Григорьева.

Сложные сцепления обстоятельств последующей жизни героев, вся накаленная атмосфера событий романа, удивительное раскрытие когда-то совершенного преступления—все это служит для художественного выражения основной темы, основной идеи произведения, и сложность фабулы его оказывается сложностью обстоятельств, в которых формируется характер героя, преодолевающего всяческие препятствия на пути к осуществлению своих благородных целей.

Вот почему «Два капитана» являются воспитательным романом. В нем раскрывается на примере Сани Григорьева и других героев, как в нашей советской стране человек, одухотворенный жаждой правды, справедливости и высокой гуманности, под влиянием смелой, полезной деятельности развивает в себе лучшие моральные качества и идет к полноценной большой жизни. Роман «Два капитана» выражает исторические особенности нашей эпохи, ее важнейшие события в их влиянии на судьбы людей.

Саня Григорьев, один из многих миллионов советских людей, честен и смел, стоек и упорен в борьбе, ему свойственно чувство нового и отвращение к рутине, ненависть к чувствам и морали людей эксплуататорского мира. У читателя не остается сомнения в том, что именно Александру Григорьеву будет принадлежать честь провозгласить и утвердить правду, борьбе за которую он посвятил свою жизнь. В борьбе Сани Григорьева, действительно наступает момент, когда он делает важное открытие—верный своему девизу, честный, настойчивый, нравственный юноша устанавливает истинные обстоятельства гибели славного капитана Татарина.

Оптимистический пафос образа капитана Григорьева и всего романа чужд фальши и натяжек. Путь героя не устлан розами, он тяжел и суров. Герой лицом к лицу сталкивается с тяжелыми обстоятельствами, враждебные силы ему приходится преодолевать с детских лет.

В Москве, куда попадает Саня после побега из Энска, начинается борьба с опытным и изворотливым врагом Николаем Антоновичем, преподавателем школы, в которой учится Григорьев. Саня пытается прежде всего разрушить ту среду лицемерия и фальши, которой окружает себя этот тщеславный и трусливый человек. Саня узнает о заговоре, организованном по указке Николая Татарина против хорошего советского педагога Кораблева и предотвращает выполнение подлого плана этого заговора. На борьбу с опасным негодяем Саню толкает не только то, что Николай Антонович был мальчику неприятен лично, но, главным образом, моральное начало: непримиримость к подлости, нравственная чистота, чистосердечие героя.

В. Каверин нигде прямо не говорит о том, что для его героя борьба с Николаем Татариничем и его правоверным «учеником» Ромашкой — это борьба с конкретными носителями корыстных, низменных чувств, порожденных моралью эксплуататорских классов. Однако всей логикой художественных образов автор утверждает именно идею ясно осознанной социальной борьбы. В обществе, основанном на звериной морали, жил и погиб капитан Татаринич. Ныне враги капитана стали на пути Гри-



горьева как его собственные враги, но не они торжествуют победу. Над ними торжествуют победу время, страна, капитан Григорьев, хотя на его долю и выпало немало мучительных бед, тяжелых неудач и трагедий.

Движимый любовью к светлому образу Татарина, герой тщательно изучает случайно оставшиеся от него бумаги и находит в них обвинительный материал против виновника гибели экспедиции. Однако имя этого виновника еще не было известно. Беззаветная вера в правду и справедливость не позволила Сане остановиться на полпути к намеченной цели, и он делает проникновенную догадку, результатом которой явилось открытое столкновение его с Николаем Антоновичем, обвиненным в гнусном преступлении. Это столкновение заканчивается тяжким поражением Сани. Николай Татарин к тому времени сумел убедить вдову капитана в своей любви к ней и ее покойному мужу. Убедил он в своей невинности и Кораблева. Вдова капитана после изобличения Николая Антоновича, ее второго мужа, кончает жизнь самоубийством. Дочь капитана, любимая Саней девушка, отворачивается от него, так же, как и Кораблев, его любимый учитель. Саня остался в мучительном одиночестве, покинутый самыми близкими и дорогими ему людьми. Это было первым поражением Григорьева в борьбе за истину и справедливость. Писатель провел своего героя через ряд испытаний, прежде чем тот нашел на Севере остатки экспедиции и тем самым — неопровержимые улики преступления Николая Антоновича.

В том, что В. Каверин провел героя к победе извилистым путем, показал историю его жизни без прикрас, не безмятежной, а бурной, не розовой, а подверженной тяжелым ударам, — нельзя не видеть победу реализма в творчестве писателя.

Будучи реалистическим, роман «Два капитана» проникнут романтикой мужества, соответствующей общему стилю борьбы и труда советского народа и, в особенности, характеру и направлению устремлений нашей молодежи. В литературе героики и романтики, приключений и путешествий, в литературе, воспитывающей советскую молодежь в духе бодрости и уверенности в своем будущем, роман В. Каверина занял устойчивое место на многие и многие годы.

Люди героического поколения, вступившего в сознательную жизнь в суровые годы Отечественной войны, находят и будут находить в истории Сани Григорьева типичную биографию человека нашего времени, выросшего в годы революции и сформировавшегося в активного создателя социалистического общества, честного труженика и мужественного романтика. Удача романа — в художественном показе органической связи героя с эпохой, с новым общественным строем, с миллионами советских людей.

Капитан Григорьев — не единственный герой романа, реалистически убедительный и законченный. Он живет, думает, действует в плотном окружении молодых людей, своих сверстников. Друзья его детства — Петя Сквородников, Валька Жуков, Саня, сестра Григорьева, Катя Татарина — все они представляют собой одно поколение, привлекательное и благородное. Глубокая заинтересованность в жизни родины, честность и прямота, стойкость и упорство в борьбе, ненависть к подлости, корысти, лжи, глубокое чувство товарищества — основные идейные и психологические черты людей, которых вырастила революция. Они, эти юноши и девушки, являются законными наследниками лучших традиций прошлого, которые связываются в романе с образами старого большевика Ивана Ивановича и капитана Татарина. На их же долю выпадает и борьба с тем прошлым, которому не может быть места в социалистическом обществе. Это прошлое олицетворяется в образах проходимца Николая Антоновича, Гаера Куля и Ромашки.

Понимание органической связи прошлого и настоящего, реалистическая зрелость писателя, достигнутые им в последнем романе, находятся в тесной связи с завоеванием новых идейных позиций, с ростом мировоззрения, углублением исторического мышления. Вспомним, как создавались образы, в том числе положительные, в прежних произведениях В. Каверина.

В повести «Черновик человека», написанной вслед за «Скандалистом», поставлены общие вопросы мировоззрения. Для решения темы повести характерным было то,

что в ней автор не сумел найти выхода для своего героя. Одиноким неудачником остается герой на последней странице повести. «Мне что-то не везет, — говорит он. — Скоро, пожалуй, и меня начнут называть неудачником. В чем же мне не повезло?.. Он загнул палец: «наука». Еще. Он загнул и другой: «жена». И так целую жизнь преследовали героя неудачи».

В детстве он страшился бессоницы и одиночества и, чтобы заснуть, считал мелькавшие на стене тени. «Ему казалось, что если во-время не заснешь, собственная тень придет в кровать и задушит до смерти». Из гимназии его исключили по доносу коротконового гимназиста, у которого «была белая, как будто очерченная мелом, челюсть». В юности неудачи происходили от «белой большой челюсти» другого коротконового человека, после женитьбы — третьего. Вся жизнь героя зависит от этих трех людей, от встреч с ними. «Я ненавидел только трех человек в течение всей моей жизни, — признается он. — И все трое были похожи один на другого, как если бы это был один и тот же человек, который рос и становился старше и преследовал меня за то, что я его ненавижу... Это были люди одной конституции. Коротконогие, с большими челюстями». В этой нелепой «конституционной борьбе» герой побежден. Третьему из коротконогих уступает он свою жену. Единственным выходом герою представляется научная работа. Но и в науке его ожидает неудача. Таков глубоко пессимистический финал этой повести, написанной в плане бессюжетного, бессвязного апсихологизма.

Выход в жизнь для героев не был найден и в лучшем из произведений В. Каверина, двадцатых годов, в романе «Скандалист». При всей насыщенности этого романа волей к разоблачению буржуазной интеллигенции, ее академических и формалистских слоев, при всей его сатирической выразительности, Каверин в нем едва только намечает выход за пределы разоблачаемого. Он не видит до конца той действительности, во имя которой уничтожает своих героев в романе, населенном одиночками, враждебными всему и всем персонажами, каждый из которых «живет на самого себя и ничем не обязан соседу, любовнице, брату». «Скандалист» по сути дела был также произведением пессимизма и мрачной бесперспективности.

Углубление историзма художественного мышления В. Каверина в «Двух капитанах» выражено прежде всего в разработке положительной проблематики романа. Образы положительных героев убеждают в мысли о том, как благотворно воздействие социалистического общества на развитие лучших идейных и моральных качеств человека, на возникновение и утверждение в его жизни великих гуманистических идеалов. Отсюда — торжествующий оптимизм романа, пафос устойчивости новых отношений, чувство уверенности в их дальнейшем процветании. Писатель ныне видит действительность, во имя которой живут, мыслят, действуют, борются герои. Этой действительности по-своему служат и прославленный полярный летчик Александр Григорьев, и талантливый художник Петя Сквородников, и известный ученый-естествоиспытатель Валька Жуков. Эти люди не могут не вступать — и действительно вступают — в борьбу, каждый на своем участке, с Николаями Антоновичами и Ромашками, с Гаерами Кулиями и подобными им людьми, враждебными советскому обществу.



Романы «Исполнение желаний» и «Два капитана» — сильнейшие звенья реализма в творческом развитии писателя. Они рассказывают историю молодых советских людей, раскрывают процесс формирования их идейных устоев и моральных качеств — стойкости, мужества, воли, скромности, правдивости, принципиальности в отношении к себе и окружающей среде.

В них найден тот выход в действительность, который лишь намечался в лучших из прежних произведений писателя. Этот выход в действительность помог Каверину разнообразить и типизировать своих героев, перейти от полуудачи в создании образов-характеров к знаменательной удаче, насытить эти образы оптимистическим пафосом.

Разумеется, и лучший роман В. Каверина «Два капитана» не свободен от недостатков, уже отмеченных критикой. Так, удачнейшие страницы его посвящены все же детству героя, процессу его становления, повествованию о том, как осуществляется цель жизни героя—стать летчиком. В заключительных же главах, где, казалось бы, в полном блеске должна была проявиться богатая индивидуальность героя, облик его, наоборот, тускнеет. Романтика юности показана в романе куда более ярко, чем полная зрелость героя, его внутренние возможности оказались как бы реализованными раньше ее наступления. «Самые интересные мысли приходят в голову, когда тебе восемнадцать лет», — так сам автор склонен объяснить отмеченную особенность романа. Но дело, конечно, не в этом. Трудно объяснить это и тем, что автор «торопится к финишу». Изображение человека, социалистического общества в действии для художника представляет большие трудности. Оно предполагает у писателя как высокий уровень умения анализировать и понимать окружающее, так и огромное накопление лично изученного материала о передовых людях нашего общества. У В. Каверина не оказалось достаточного запаса наблюдений, чтобы показать нового человека не только в процессе его роста, но и в действии, при достижении им полной зрелости.

Своеобразие художественного роста В. Каверина, как показано выше, состояло в том, что его социальные идеалы вызревали быстрее художественного перевооружения. Оттого на каверинских образах нового человека, строителя социализма, долгое время лежал налет условной традиционности литературных приемов. Положительные образы «Исполнения желаний» и «Двух капитанов» реалистичны и свободны от всякого рода литературной условности. Содержанием этих романов стала социалистическая действительность, а не условное отражение эпохи. Их герои — не замкнувшиеся и оторванные от жизни жрецы узких профессий, а люди нашего времени, строители нового мира, смело идущие навстречу новым исканиям и открытиям. На этой основе завоевываются писателем новые идейные горизонты, новые художественные достижения, новые способы обрисовки положительных образов. Пожелаем же писателю расширить и углубить эти немаловажные его завоевания.



# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

## ЛЕГЕНДА О ТОЛСТОМ

*(Заметки о современном буржуазном литературоведении)*

ТАМАРА МОТЫЛЕВА

★

**С**удьба наследия Толстого за рубежом чрезвычайно наглядно иллюстрирует связь литературы и общественной жизни. Характер восприятия творчества Толстого иностранными читателями и критикой всегда определялся не столько эстетическими, сколько прежде всего идейно-политическими факторами.

Значение Толстого-художника ни в коем случае не исчерпывается тем, что он дал непревзойденное по глубине и силе изображение русской жизни прошлого столетия. Реалистическая критика Толстого, непосредственно направленная против царской, полукрепостнической России, по сути дела, подрывала устои всякого эксплуататорского строя. Творчество Толстого, проникнутое горячим, страстным протестом против угнетения человека человеком, против общественной несправедливости и лжи, было органически враждебно не только хозяевам дореволюционной России, но и капиталистическому миру в целом. Оно содержит немало взрывчатого материала, который опасен и по сей день для господствующих классов капиталистической Европы и Америки.

С другой стороны, толстовская «юридическая проповедь» непротivления злу насилем, непосредственно отразившая в себе политическую отсталость, революционную незрелость русского патриархального крестьянства, во многом перекликалась с различными реакционно-утопическими религиозными учениями, имевшими (отчасти и имеющими) хождение в отсталых слоях населения других стран, от Индии и Китая до Англии и Америки.

Религиозная философия Толстого могла приносить — и действительно приноси-

ла — вред освободительному движению грядущих не только в России, но и за рубежом. И вред этот усугублялся тем, что антиреволюционные идеи Толстого освящались в глазах многих читателей авторитетом великого художника; он усугублялся и тем, что философия пассивности и непротivления не только обосновывается в статьях и трактатах Толстого, но и глубоко проникает в художественную плоть даже величайших его произведений.

Ленин указал, что правильная оценка Толстого возможна только с точки зрения революционного пролетариата. Правда, русская революционно-демократическая критика в лице Н. Г. Чернышевского близко подошла к правильному пониманию своеобразия Толстого, как художника. Но первым, кто дал пример глубокого, всестороннего анализа творчества Толстого, был Ленин. Именно он впервые вскрыл социальные истоки его «кричащих» противоречий, именно он указал пути к реальному разрешению тех «великих вопросов», которые были поставлены Толстым. Ленинские статьи о Толстом составили поистине гигантский вклад в мировую науку о литературе. Ленин мудро проник в суть сложнейшего художественного явления, перед которым становились втупик профессионалы-литературоведы.<sup>1</sup>

Буржуазная критика не смогла разобратъся в сложном, противоречивом твор-

<sup>1</sup> Ряд ценных и верных соображений по вопросу о значении ленинских статей о Толстом и их проблематике см. в книге Б. Мейлаха «Ленин и проблемы русской литературы», М., 1947.

честве Толстого. Однако разнообразные ложные оценки Толстого, имевшие хождение в международной журналистике на протяжении многих лет, были выражением не только убожества буржуазной литературной мысли, но и ее тенденциозности, предвзятости. Это убедительно показал Ленин, разоблачив лицемерие поведения русских правительственных и либеральных газет в связи с 80-летним юбилеем Толстого и после его смерти. Многие критики и публицисты как открыто реакционного, так и либерального толка искажали смысл творчества Толстого не только потому, что не могли, но и потому, что не хотели правильно понять его: искажали потому, что фальсификация облика великого писателя была угодна правящему классу.

Справедливо резкие слова Ленина о «грубом лицемерии продажных писак», об утонченном лицемерии «кадетских Балалайкиных» во многом применимы к иным современным зарубежным критикам, пишущим о Толстом. Еще при жизни писателя в иностранной критике стала постепенно создаваться та «легенда о Толстом», которая прочно держится по сей день в буржуазном литературоведении.

В чем основная суть этой легенды?

«Либералы выдвигают на первый план, что Толстой—«великая совесть», — писал Ленин<sup>1</sup>. — ...Разве это не обход тех конкретных вопросов демократии и социализма, которые Толстым поставлены?»

Иностранцы критики много раз, на разные лады, совершали подобный же «обход». Они старательно уводили читателя в сторону от конкретных вопросов демократии и социализма, поставленных Толстым, от острой общественной проблематики его творчества. Толстой и при жизни и после смерти не раз подвергался прямым нападкам справа. И в то же время — в ходе споров о Толстом, которые шли на протяжении нескольких десятилетий на страницах зарубежной печати, возникали разнообразные варианты фальсификации творчества Толстого: фальсификации либеральной, реформистской, эстетской, обывательской, религиозно-ханжеской.

Творцы всех этих вариантов «легенды о

Толстом» действовали двояким образом. С одной стороны, отвлекая внимание читателя от острых социальных проблем, поставленных Толстым, они пытались обеими руками вредить ему, как протестанта. С другой стороны, сосредотачивая внимание читателя на слабых сторонах мировоззрения Толстого, на его противореволюционных идеях, на его религиозно-моральной проповеди, они стремились использовать его, как непротивленца.

В годы войны, когда национально-освободительное движение народов против фашистских поработителей переплелось в ряде стран с освободительным движением народных масс против империализма, творчество Толстого, органически враждебное всякой эксплуатации, всякому угнетению человека человеком, приобрело новую актуальность для широких слоев трудящихся, для прогрессивной интеллигенции за рубежом. И, с другой стороны, понятно, что именно в эти годы обострилась неприязнь реакционных кругов к наследию Толстого.

Бесчинства гитлеровской военщины в Ясной Поляне были не только проявлением шовинистической ненависти немецких фашистов ко всему русскому. Они были, помимо этого, прямым и крайним проявлением ненависти международной империалистической реакции к художнику, сумевшему, как никто до него, выразить в своем творчестве стихийное чувство протеста угнетенных масс.

Враждебность к обличительным и демократическим сторонам наследия Толстого проявилась — в тонких, сложных, замаскированных формах — в писаниях некоторых зарубежных литературоведов.

Ниже пойдет речь о нескольких работах о Толстом, появившихся за границей за последние годы. Работы эти, взятые вместе, представляют принципиальный интерес. Они в известном смысле представляют итог изучения Толстого в иностранной литературной науке. Правда, итог этот — во многом неполный: буржуазные критики ныне говорят о величии и международном значении Толстого гораздо менее категорически, чем говорили их предшественники пять-шесть десятилетий назад. Разумеется, они признают громадную силу Толстого как художника: ее сегодня уже никто не решается отрицать.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. XIV, стр. 403.

Однако существеннее всего, что в этих работах можно видеть различные аспекты той «легенды о Толстом», которая складывалась за рубежом на протяжении нескольких десятков лет. Эта легенда предстает ныне в своем концентрированном, законченном и вместе с тем многообразном выражении.

В рассматриваемых работах высказаны наиболее ходячие за границей неверные суждения и представления о Толстом. Их авторы претендуют на то, чтобы сказать читателю правду о великом русском художнике, но, по сути дела, наряду с теми или иными крупными правдами, говорят вредную ложь. Советское общественное мнение не может пройти мимо этой лжи.

1

В нашей печати не раз уже упоминалось о новом издании «Войны и мира», которое вышло большим тиражом в Нью-Йорке в 1942 году. Успех этого издания свидетельствовал о том, как возросла международная популярность Толстого в связи с событиями Великой Отечественной войны.

Весьма примечательно предисловие к этой книге, написанное известным критиком Клифтоном Фэдименом. В нем много говорится о значении «Войны и мира» как одного из величайших произведений мировой литературы. Однако, если внимательно читать в это предисловие, становится ясна его подлинная направленность. Все усилия критика устремлены на то, чтобы сделать великое творение Толстого приемлемым для американского буржуа.<sup>1</sup>

Фэдимен признает, что в «Войне и мире» проявились характерные черты русской классической литературы, обусловленные своеобразием общественных отношений дореволюционной России. Но в чем

<sup>1</sup> Любопытно, кстати сказать, само построение этого предисловия. Автор в начале предупреждает, что оно распадается на две части, излагает их содержание и замечает, что каждую из этих частей можно читать независимо друг от друга. Какая трогательная забота о сытом бизнесмене, который небрежно перелистывает очередную литературную новинку в промежутке между двумя биржевыми операциями!

видит он это своеобразие? По его мнению, глубина общественно-морального содержания, тонкий психологический анализ, отличающие не только «Войну и мир», но и другие лучшие образцы русского классического романа, обусловлены... крепостным правом, переживаниями русских дворян-крепостников, их чувством виновенности по отношению к порабощенным ими крестьянам. Толстой предстает в его изображении как типический русский барин, дворянин, создатель семейной хроники, обращавшийся прежде всего к читателям из своего класса.

Американский критик не понимает, не хочет понять, что великое произведение искусства не может быть создано художником, живущим в тесном кругу идей и переживаний эксплуататорской верхушки. Не хочет он понять и того, что нравственная тревога, неудовлетворенность, социальные искания — черты, присущие многим героям русской литературы XIX века, — не могут быть объяснены идейными процессами, происходившими в самой дворянской среде. Идеино-моральная проблематика русской классической литературы в значительной мере определялась освободительным движением русского крестьянства, которое на протяжении более чем столетие глухо волновалось, то и дело напоминало о себе разнообразными вспышками недовольства.

Именно правдивое отражение народного недовольства и народного гнева обусловило силу русского критического реализма, его социальную содержательность, присущую ему прямоту в постановке наиболее острых вопросов жизни.

Это относится, конечно, и к «Войне и миру». Задолго до того, как завершился разрыв Толстого с помещичьей знатью, задолго до того, как писатель усвоил точку зрения «патриархального, наивного крестьянина», — в мировоззрении его накапливались черты патриархально-крестьянского мышления, со всем, что в них было сильного и слабого. Но в то же время он подвергался постоянному (иногда очень косвенному, опосредствованному, но все же значительному) воздействию со стороны русской революционно-демократической мысли. Эта демократическая основа мировоззрения художника определила важнейшие особенности «Войны и мира»: резкую

реалистическую критику царской придворной верхушки, утверждение роли народных масс как решающего фактора в справедливой войне. Именно это дало возможность Толстому создать небывалую в мировой литературе народно-патриотическую эпопею.

Всего этого не хочет видеть Фэдимен. Ему остаются непонятными социальные истоки лучших созданий классической русской культуры; ему непонятно и значение того вклада, который сделан русской нацией в культуру мировую. Гений Толстого трактуется им, как изолированное, единичное явление. Он прямо так и говорит: «Толстой прежде всего русский романист, — и романист всемирный лишь в силу случайного обстоятельства: своей гениальности».

Для Фэдимена гениальность Толстого — случайное обстоятельство. Он не хочет вдуматься, в силу какой «случайности» русский народ на протяжении последних полутора веков подарил миру так много великих писателей, художников, ученых, композиторов, мыслителей, общественных деятелей, которые мощно воздействовали не только на судьбы мировой культуры, но и, в конечном счете, на судьбы человечества. Он не хочет признать, что в величии Толстого отразилось величие страны, его породившей, — страны, которая еще в прошлом столетии стала авангардом культурного развития человечества, а в текущем столетии неизмеримо обогнала другие страны и в своем общественно-политическом развитии.

Игнорируя тесную внутреннюю связь Толстого с освободительным движением русских крестьянских масс, с русской крестьянской революцией, Фэдимен в то же время извращает и обедняет содержание толстовского реализма. Пытаясь анализировать идейный смысл «Войны и мира», он фактически исходит преимущественно из тех слабых сторон мировоззрения художника, которые проявились в романе. И даже там, где он констатирует бесспорные, казалось бы, черты художественной оригинальности и новаторства Толстого, — он во многом ложно истолковывает это новаторство.

Так, Фэдимен говорит о том, что «Война и мир» по своей структуре представляет собой совершенно новый тип романа, отли-

чающийся от общепринятых до него форм; он говорит, что в нем нет главного героя в традиционном смысле слова, что в какой-то мере героем эпопей является вся Россия. Но он тут же добавляет: «Однако, безгеройность «Войны и мира» не снижает интереса повествования, а придает ему тем большую естественность и жизненность. Ибо в глазах природы — нет ни героев, ни злодеев, а есть лишь стремящиеся человеческие существа».

С помощью ловкого словесного фокуса Фэдимен совершает здесь весьма сложную фальсификацию. В изобретенное им эффектное словечко «безгеройность» он вкладывает двойной смысл: из контекста приведенных строк ясно, что словечко это должно обозначать не только отсутствие главного героя, но и отсутствие героического начала, героических образов. Таким способом Фэдимен, во-первых, создает представление о композиции «Войны и мира», как о чем-то аморфном, неорганизованном; он не хочет замечать, что в «Войне и мире» есть несколько главных героев, чьи судьбы, переплетаясь с судьбами родины, образуют основу повествования. Во-вторых, он представляет в совершенно ложном свете толстовский принцип изображения характеров, и заодно извращает весь идейный смысл романа.

Казалось бы, на первый взгляд формула «ни героев, ни злодеев» отдаленно напоминает известные, часто цитируемые строки Толстого — концовку рассказа «Севастополь в мае». Да, Толстой, с никем до него не достигнутой глубиной, показал сложность, противоречивость человеческой природы, наличие у одних и тех же людей возвышенных и мелких, хороших и дурных качеств. У него нет «героев» и «злодеев» в примитивном, штампованном смысле этих слов. Но он по существу бесконечно далек от той равнодушной нивелировки всех людей, которую приписывает ему Фэдимен. Во всех действующих лицах «Войны и мира», даже второстепенных — будь то придворный интриган князь Василий или грубовато-прямодушная Марья Дмитриевна Ахросимова — совершенно явственно присутствует авторская моральная оценка. Фэдимен хочет уверить читателя, будто для Толстого все его действующие лица суть в равной мере «стремящиеся человеческие существа». Но

Толстому ни в коем случае не безразлично, к чему стремятся изображаемые им человеческие существа. Ему столь же отвратителен потомок тевтонских рыцарей Берг, стремящийся к наживе и карьере, сколь ему дорог скромный Тушин, стремящийся честно выполнить свой воинский долг перед родиной.

В рассуждениях Фэдимена о «безгеройности» Толстого наглядно обнажается «методология» американского критика, столь родственная методологии многих других буржуазных исследователей, писавших и пишущих о Толстом. Он рассматривает все творчество художника, как прямое проявление его ложной философии, игнорируя тот факт, что творчество Толстого глубоко противоречиво, что оно во многом — хотя и не во всем — идет в разрез с этой философией.

В самом деле. Оказала ли толстовская доктрина «всеобщей любви» влияние на способ изображения людей в «Войне и мире»? Временами — да. Вспомним ощущение растерянности и стыда, которое охватывает Николая Ростова при виде плененного им француза; вспомним тот пафос жалости и всепрощения, которым проникнута сцена на перевязочном пункте, где Андрей Болконский видит тяжело раненого Анатоля. В такие моменты для Толстого действительно нет ни правых, ни виновных. Но ведь не этими эпизодами определяется основной идейный смысл «Войны и мира»! Абстрактно-гуманистические, пацифистские тенденции, дающие себя знать не только в рассуждениях художника, но и в некоторых его образах, в конечном счете отступают перед тем трезвым реализмом, перед той стихийной силой ненависти к врагу, перед тем героическим пафосом, которыми проникнуты наиболее яркие страницы романа.

Иные рассуждения Толстого о том, что участие человека в исторических событиях определяется не зависящими от него законами «стихийной, роевой» жизни; утверждения его, будто большинство людей в критические моменты истории поглощено своими частными делами, — все это, как будто бы, подтверждает тезис Фэдимена о «безгеройности», об отсутствии героического начала в толстовской картине бытия. Но ведь эти рассуждения Толстого убедительно опровергаются внутренней

логикой его повествования. Толстой-художник гениальным прозрением отыскивал героическое в обыденном, возвеличивал патристические подвиги простых русских людей. «Война и мир» — вопреки ложным философским воззрениям ее автора — насыщена высоким героическим содержанием. Только явная, предубежденность могла заставить буржуазного критика проглядеть или намеренно замолчать то, что является самым важным в эпопее Толстого.

Приписывая Толстому равнодушное, абстрактное уравнивание «героев» и «злодеев», Фэдимен временами договаривается до поистине чудовищных выводов. Он ставит вопрос: мог ли бы Толстой — живи он в наши дни — найти в немецком фашистском солдате чувства и переживания, подобные тем, какие он раскрыл в Николае Ростове. И он сам тут же отвечает: «Толстой, я думаю, сказал бы, что все перемены являются лишь кажущимися и временными. Он сказал бы, что человеческая натура постоянна, и что она поднимается на поверхность вопреки всяческому ее уродованию, всей муштре, всем условиям, всему обезчеловечению, которому она подвергается...»

Эти двусмысленные строки звучат, по меньшей мере, странно. Американский критик в статье, написанной вскоре после вступления Америки в войну с гитлеровской Германией, сослался на авторитет Толстого для того, чтобы напомнить о «человеческой натуре» гитлеровского солдата! Иначе говоря, он, опираясь на абстрактно-гуманистические элементы мировоззрения Толстого, попытался как-то оправдать фашистских извергов. Каковы бы ни были субъективные намерения Фэдимена, объективный смысл цитированных строк именно таков.

Так обнаруживается подтекст той тенденциозной обработки, которой подвергается у Фэдимена «Война и мир».

Критик не только выдвинул на первый план наиболее слабые, реакционные черты мировоззрения Толстого, но и постарался сделать из них выводы применительно к современности, точнее — «применительно к подлости», как, сказал бы Щедрин.

Это особенно ясно можно проследить на примере трактовки Фэдименом тех образов «Войны и мира», в которых нашла



выражение толстовская философия истории.

Весьма апологетически говорит Фэдимен о «глубокой духовной миссии крестьянина Каратаева». Он в этом смысле не одинок. В последние годы иностранные публицисты много раз вспоминали об этом толстовском образе, пытаясь представить его чуть ли не воплощением «русского духа», — иначе говоря, используя его для клеветы на русский народ.

Излишне много говорить о том, насколько реакционна и убога «духовная миссия», вложенная Толстым в образ Платона Каратаева, — идеология рабского смирения и пассивности.

Существует довольно распространенное мнение, будто Платон Каратаев представляет собою типическую фигуру русского патриархального крестьянина описываемой в романе эпохи. Мнение это глубоко ложно.

В лице Каратаева крепостной крестьянин изображен односторонне и потому неверно. Русское крестьянство изображаемой в романе эпохи имело за собой немалую историю борьбы против помещиков-крепостников. В Платоне Каратаеве воплотились лишь те отсталые черты, которые были воспитаны в крестьянстве столетиями царского и помещичьего гнета: мягкотелость, косность, заскорузлая трусливость. Черты эти в Платоне Каратаеве преувеличены и раздуты, возведены в некий идеал: ложная философия принудила здесь гениального художника к отступлению от реализма, к явному нарушению жизненной правды.

Известная искусственность образа Платона Каратаева была в свое время замечена А. М. Горьким. В своих лекциях по истории русской литературы он подверг острой критике ложный толстовский идеал «гармонии», ведущий к примирению с самой отталкивающей действительностью. Он отметил, что реализм Толстого-художника должен был притти в неизбежное столкновение с этим иллюзорным идеалом: «...действительные, реальные мужики совершенно не годятся для гармонии...» Именно поэтому и пришлось художнику создать «удобного мужика» в лице «святого Платона Каратаева»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> М. Горький. История русской литературы. М., 1939, стр. 293.

Очень существенно, что образ Платона Каратаева раскрывается в романе почти исключительно через наивно-восторженное восприятие Пьера. «Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом... Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался всегда».

Таким образом, из самого текста романа вытекает, что Платон Каратаев, как «олицетворение духа простоты и правды», существует, собственно, только в сознании Пьера Безухова. Отсюда следует, что нет оснований преувеличивать то значение, которое имеет «духовная миссия» Каратаева в образной системе толстовской эпопеи. Платон Каратаев — лишь одна из сторон, одна из граней глубоко противоречивого мировоззрения Толстого. Мы никак не можем представить себе Платона на поле боя и никак уже не можем представить себе Платонов Каратаевых в роли победителей Наполеона. А ведь в «Войне и мире» с изумительной правдивостью показано, что победа России в Отечественной войне 1812 года была делом народных масс, что победа эта оказалась возможной именно благодаря массовому патриотическому подвигу, в котором деятельно участвовали и крестьяне, призванные в армию, и крестьяне, не состоявшие в ней. Таким образом, философия, вложенная Толстым в образ Платона, приходит в резкое противоречие с художественной логикой романа, и по сути дела опровергается этой логикой.

И уж само собой разумеется, что образ Платона Каратаева — как и вся воплощенная в нем реакционная философия непротивления — не заключает в себе ничего специфически национального. Черты, родственные «каратаевщине», философии пассивности, в разное время проявлялись в общественном быте и идеологии отсталых аграрных народов, в частности народов Востока — в буддизме у индусов, конфуцианстве у китайцев. С другой стороны, своеобразие русского национального характера, русской культуры можно понять только, если учесть ту многообразную активность масс, которой насыщена русская история. Эта активность русских народных масс — как гениально показал сам Толстой

не только в «Войне и мире», но и в «Севастопольских рассказах» — не раз проявлялась в защите родины, когда ей угрожала опасность; эта активность сказывалась и в многолетней освободительной борьбе против царско-крепостнического, а затем и капиталистического гнета. И в ходе этой массовой революционной борьбы, подрывавшей устои господства эксплуататоров, решительно преодолевались та рыхлость и дряблость отсталых слоев населения, те пережитки патриархальщины, которые нашли преувеличенное и идеализированное воплощение в толстовском образе Платона Каратаева.

И если глубоко неверно считать Платона Каратаева типическим образом русского крестьянина, то уж тем более вопиющим извращением истины являются всяческие попытки истолковать его, как обобщенное выражение русского национального характера. Иностранцы публицисты, которые делают подобного рода попытки, обнаруживают тем самым либо свое невежество, либо свою предвзятость.

По-своему логично, что Фэдимен, преувеличивая, раздувая значение «каратаевского» начала в «Войне и мире», в конечном итоге приходит к клевете на современных советских людей.

Он делает это чрезвычайно тонко. Он цитирует знаменитые, замечательные толстовские строки о «глубине народной войны». Он подчеркивает заслугу Толстого как художника, раскрывшего значение морального фактора в защите отечества. Но сам этот моральный фактор в представлении Фэदिмена равнозначен каратаевской косности. Критик делает попытку представить русский национальный дух как пассивную, мистическую привязанность к родной земле, как особый пафос «мученичества». По его словам, этот неизменный национальный дух «сохраняется под тонким покровом коммунистической доктрины и живет особой от нее жизнью».

Так из-под «тонкого покрова» литературоведческой легенды высовывается малоприметное, но ядовитое антисоветское острие. Критик постарался опорочить советский строй, заглушить значение тех грандиозных сдвигов, которые произошли в массе русского народа, раскрепощенного Великой социалистической революцией, ставшего хозяином своей страны и твор-

цом новой жизни. Он попытался — с помощью одностороннего и превратного истолкования «Войны и мира» — внушить американскому читателю ложное представление о советском человеке.

Не приходится удивляться, что Фэдимен, уделяя большое внимание толстовскому образу Кутузова, интерпретирует его в духе все той же апологии пассивности, которой проникнута, в сущности, вся его трактовка «Войны и мира».

Как известно, образ этот у Толстого глубоко противоречив. Многие черты его порождены реакционной толстовской философией истории.

«...Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли, — это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение, и в виду этого значения умеет отречься от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое...»

В этих, как и во многих других строках Толстого, посвященных Кутузову, отразилась концепция исторического фатализма, свойственная автору «Войны и мира». На всем протяжении романа в изображении Кутузова — не только в его поведении, но даже и в его внешнем облике — настойчиво подчеркивается старческая дряблость, вялость, медлительность, созерцательность. Эти черты проявляются и в поведении Кутузова на военном совете перед Аустерлицем, и во время его встречи с князем Андреем в Царево-Займище, когда Кутузов «усталым взглядом» смотрит на Денисова, излагающего ему свой план партизанской войны.

Ложная концепция привела здесь Толстого к частичным отступлениям от исторической правды. Она заставила его недооценить дальновидность, энергию, инициативу Кутузова — те его качества, которые в конечном счете в немалой степени определили исход Отечественной войны. Известно, что «наш гениальный полководец Кутузов... загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления»<sup>1</sup>. Этот факт не может быть осмыслен на основе философии истории Толстого.

Однако нетрудно убедиться, что художественная логика «Войны и мира» и

<sup>1</sup> Ответ тов. Сталина на письмо тов. Разина. «Большевик», 1947, № 3, стр. 8.

здесь во многом уничтожает неоправданные философские построения великого романиста. На многих страницах эпопеи читатель вочую видит проявления смелости и энергии Кутузова. И на Бородинском поле, и перед оставлением Москвы Кутузов — как с большой силой реализма показывает Толстой — именно своей личной волей, решимостью, трезвым воинским расчетом направляет ход событий. В романе проникновенно раскрыты не только личное благородство прославленного полководца, не только его беззаветная преданность родине и глубокая внутренняя близость к народной, солдатской массе, но и его горячий темперамент воина, его страстная, непримиримая ненависть к врагу. Именно в этом — сила образа Кутузова, созданного Толстым, именно в этом — та большая доля жизненной, исторической правды, которая содержится в этом образе.

Фэдимен проходит мимо тех противоречий, которые содержатся в толстовском изображении Кутузова. Он видит в нем только прямое выражение философских воззрений Толстого. Он резюмирует смысл этого изображения в следующих словах: «Кутузов руководит как нельзя лучше потому, что руководит как можно меньше». Он проходит мимо всех тех многочисленных страниц романа, где Толстой, показывая Кутузова в действии, во многом противоречит своей собственной фаталистической концепции. Напротив, Фэдимен с готовностью использует толстовский образ Кутузова для пропаганды идей исторического фатализма.

Развивая ряд весьма двусмысленных и рискованных параллелей между событиями 1812 года и событиями второй мировой войны, пытаясь при этом даже строить какие-то прогнозы, Фэдимен ссылается на толстовское понимание роли личности в истории, которое он определяет, как «теорию, отрицающую великих людей». Он подчеркивает, что, согласно воззрениям Толстого, каждый великий человек «едет на лошади, которой он сам не в состоянии управлять». И Фэдимен ставит вопрос — нельзя ли применить эту теорию... не только к Гитлеру, но и к руководителям государств, входящих в антифашистскую коалицию!

Чтобы ясно представить себе политический смысл подобных рассуждений, необ-

ходимо еще раз напомнить о днях, когда писалось предисловие Фэдимена. Это был острый, напряженный момент второй мировой войны. Гитлеровская армия рвалась тогда к жизненным центрам Советского Союза. Немецкие бомбы еще падали на жилые кварталы Лондона. Германский империализм был безраздельным хозяином бо́льшей части Европы. В этот момент вопрос о темпах ведения войны, о сроках открытия второго фронта имел насущное значение для решения судеб человечества. Всякая пропаганда пассивности, всякая ставка на исторический «самотек» могла приносить лишь вред делу борьбы с фашизмом.

Героизм, проявленный советскими людьми в Отечественной войне уже в первые ее недели и месяцы, вызвал во всем мире широкий прилив симпатий миллионов масс к русскому народу, к русской культуре. Фэдимен в своем предисловии отдал щедрую словесную дань этим симпатиям. Однако вместо того, чтобы дать почувствовать читателю основной смысл, подлинный пафос толстовской эпопеи, запечатлевшей активность народных масс в защите своего отечества; вместо того, чтобы с помощью трезвого анализа «Войны и мира» духовно вооружить своих соотечественников, участников справедливой антифашистской войны, — критик сделал нечто диаметрально противоположное. В основу той морали, которую Фэдимен попытался извлечь из «Войны и мира», был положен не разум Толстого, а его предрассудок, не его сила, а его слабость.

## II

В 1941 году в Швейцарии вышла книга Мориса Кюэса «Живой Толстой». Автор ее в последние годы жизни Толстого находился в Ясной Поляне в качестве гувернера одного из внуков Толстого. В предисловии автор весьма широковещательно определяет свои задачи. Он претендует на то, чтобы дать живой образ великого человека. Разумеется, он широко оперирует материалом личных воспоминаний.

В книге Кюэса — как и в писаниях многих посредственных мемуаристов — присутствует явственный, весьма неприятный оттенок саморекламы. Он на каждом шагу стремится демонстрировать свою осведомленность в деталях домашнего бы-

та Толстого и его близких. Высокомерно иронизируя по поводу бесцеремонных биографов, пытающихся проникнуть в интимную жизнь гениального художника, он сам не менее, а более бесцеремонен, чем многие его предшественники. Он словоохотливо повествует о семейной драме Толстого. Он по разным поводам излагает содержание своих разговоров со Львом Николаевичем и Софьей Андреевной. Он настойчиво стремится создать у читателя впечатление, что он был приближенным, доверенным лицом в семье Толстых. Именно по адресу таких субъектов писал в свое время Горький, о том, «как велика и густа была туча мух, окружавших великого писателя, и как надоедливо были некоторые из паразитов, кормившихся от духа его...»<sup>1</sup>

Познавательный интерес книги Кюэса более чем ограничен. В основном Кюэс говорит о том, о чем не раз писали до него. Если же он и вносит какие-то свежие штрихи, то они относятся к абсолютно второстепенным моментам жизни не столько самого Толстого, сколько его окружения.

Когда Кюэс описывает, как Софья Андреевна Толстая умело и уверенно распорядилась за обеденным столом, неслышно отдавая приказание хорошо вышколенной прислуге, то тут, пожалуй, можно ему поверить, ибо он говорит о предметах, доступных его пониманию. Когда же он пытается повествовать, а тем более рассуждать о вещах более серьезных — становится совершенно очевидным духовное убожество околотитературного пигмея, ползавшегося примазаться к прославленному имени. Дело, однако, не в одном лишь убожестве. Кюэс не только искажает облик Толстого: он фальсифицирует и его наследие.

«Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, — и поэтому совсем мизерны заграничные русские «толстовцы», пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения»<sup>2</sup>. Морис Кюэс, судя по его книге, принадлежит к вымирающей породе мизерных толстовцев. И он на страницах своего «труда» усердно рекламирует

не только себя, но и других представителей этой породы. С большой симпатией пишет он о «единомышленниках» Толстого, о многочисленных юродствующих сектантах и истеричных хлюпиках, наводнявших Ясную Поляну. Он уверяет, что именно в их среде великий художник мог встретить настоящее понимание, услышать «эхо своей собственной тревоги». Реакционный фанатик Чертков предстает в изображении Кюэса, как «ментор, лишенный слабостей», посвятивший всего себя «славе толстовского дела». Кюэс не только не хочет видеть кричащих противоречий доктрины Толстого, не только не хочет видеть громадной дистанции, которая отделяла великого художника от окружавших его прихлебателей и ничтожеств, но и пытается представить религиозно-моральные рецепты толстовства, как самую существенную часть наследия автора «Войны и мира»

Уже с первых страниц книги Кюэса обнаруживается грубая тенденциозность той трактовки, которой подвергается у него личность и мировоззрение Толстого.

Кюэс в высокопарных выражениях вспоминает о том, какое значение имел Толстой для его современников. «Те, кто не пережили славных лет, с 1890 по 1910 год — не могут представить себе, какой неслыханный престиж окружал, подобно ореолу, имя Толстого... Ибо Толстой и толстовство не были делом какой-то одной группы или страны; и человек, и его творения принадлежали вселенной, — и вселенная страстно говорила о них; весь мир был как бы охвачен трепетом идеала и красоты...»<sup>1</sup>

Тут много явных искажений истины. Кюэс ставит знак равенства между Толстым и толстовством, между гениальным художником-обличителем и его реакционно-утопическими идеалами. Он упускает из виду, что мировая известность Толстого, как мыслителя и проповедника, основывалась именно на его бесспорном, громадном мировом значении как художника. Прикрываясь пышной фразой о Толстом, как человеке, принадлежащем «вселенной», он делает Толстого абстрактно-безнациональным, отрывает его от страны, в которой он вырос, от реальных общественных движе-

<sup>1</sup> М. Горький. Литературно-критические статьи. М., 1937, стр. 259.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. XII, стр. 333.

<sup>1</sup> Maurice Kues. Tolstoi vivant. Louvain, 1941.

ний, отразившихся в его мышлении и творчестве. Он создает искусственный, ложный образ Толстого — святого старца, живущего в безвоздушном пространстве, изолированного от реальной жизни и ее тревожений.

Фактически в книге Кюэса Толстой изолирован прежде всего от реальной русской жизни. Читатель его мемуаров никак не может себе представить, что делалось в России в описываемую эпоху за пределами яснополянской усадьбы. Сам Кюэс, проведший годы в России, ни в коей мере не дал себе труда узнать и понять общественную жизнь страны, хлеб которой он ел. Его «знакомство» с русским бытом исчерпывается пошловатыми анекдотами, иллюстрирующими пресловутое гостеприимство русских бар. На фоне такой легковесной экзотики пытается Кюэс нарисовать величественный образ Толстого. И, конечно, в его изображении исчезает всякая связь между обличительным гневом Толстого и стихийным протестом народных, крестьянских масс. Больше того: исчезает даже сам этот обличительный гнев. Кюэс приписывает Толстому черту, которой у него никогда не было: равнодушную отрешенность от жизни собственной страны, собственного народа.

Общезвестно, как страстно и живо отзывался Толстой на все крупные события, которые так или иначе затрагивали интересы народных масс. Известно и то, что многие статьи и трактаты Толстого (в том числе «Христианство и патриотизм», «Так что же нам делать?») возникли именно как отклик писателя на те или иные волнующие события общественной жизни, и что совсем незадолго до смерти Толстого прозвучало на весь мир его знаменитое «Не могу молчать!». Все это ярко свидетельствует о том, насколько подлинный «живой Толстой» отличался от того отшельника-созерцателя, которого рисует Кюэс. Разумеется, во всех общественных выступлениях Толстого сказывалась ложность, коренная порочность его реакционно-утопического учения. Но в них сказывалось и другое: искренняя страстная ненависть художника к эксплуататорскому строю. Эта важнейшая сторона личности Толстого в книге Кюэса абсолютно затупевана. Ни слова не сказано у него о бурном протесте Толстого против всякого классового

господства, о его сочувствии угнетенным массам.

На протяжении книги Кюэс несколько раз берет на себя смелость излагать взгляды Толстого. Иногда он делает это своими словами, иногда же ссылается на высказывания самого писателя. В большинстве случаев записи «бесед» Кюэса с Толстым представляют собой вялый и бледный пересказ общих мест толстовской доктрины. Есть все основания усумниться в достоверности этих записей, публикуемых через промежуток в тридцать с лишним лет. И весьма примечательно, что в пересказе Кюэса недовольство Толстого существующим строем проявляется в высшей степени отвлеченно, совершенно теряет какой бы то ни было социальный смысл. Даже когда Кюэс пространно излагает воззрения Толстого на искусство, он умалчивает о самом важном: о той конкретной уничтожающей критике, которой подвергал Толстой упадочное искусство правящих классов.

Старательно акцентируя те черты пессимизма и мистики, которые были присущи философским взглядам Толстого, Кюэс в то же время порою прямо извращает эти взгляды. Например, он на протяжении нескольких страниц передает рассуждения Толстого на тему о пагубности эгоизма. Известно, с какой силой Толстой много раз — и в своих художественных произведениях, и в своей публицистике — бичевал эгоизм эксплуататоров. Но у Кюэса идет речь об эгоизме «вообще»: в его изложении нападки Толстого направлены на все человечество. Он приписывает Толстому слова: «Наше человечество подобно сумасшедшему, который, желая пробить себе дорогу сквозь густой лес, ломает, топчет, рвет все то, что стоит на его пути... Эта погоня за счастьем, этот поток безумцев и слепцов, устремившихся в погоне за химерическим счастьем — это ужасно». Так, в интерпретации Кюэса, обличительная проповедь Толстого приобретает оттенок декадентского презрения к человеку. Подобных рассуждений о том, что все люди безумны, что их стремление к счастью не более, чем химера — нельзя найти ни на одной странице сочинений Толстого. Зато их можно найти в разных вариациях в писаниях западных мракобесов

и нигилистов разных поколений, мастей и калибров — от Ницше до Сартра.

Так Морис Кюэс не только возводит в догму худшие черты толстовства, но и подвергает наследие Толстого воинствующе-реакционной интерпретации.

Кюэс писал свою книгу в дни, когда фашизм заливал кровью Европу. Было бы естественно ожидать, что человек, владеющий пером, хорошо знакомый с творчеством Толстого, прошедший немало времени в общении с ним и бывший свидетелем его последних дней — сделает ту или иную попытку воспользоваться наследием Толстого, чтобы заклеймить фашистских палачей. Однако Морис Кюэс — обитатель нейтральной Швейцарии — и не подумал сделать это. В книге его нет ни малейшего намека на события, волнующие современное человечество. Но в ней есть политическая тенденция, и притом весьма определенная.

Кюэс размышляет о том, какова была бы судьба Толстого в наши дни: «Несомненно, что если бы Толстой жил в какой бы то ни было стране нашей Европы, он оказался бы в государственной тюрьме, в концентрационном лагере или был бы сослан на остров; ему было бы невозможно писать и печататься...» Но Кюэс тут же напоминает о враждебном отношении Толстого ко всякой политике, ко всяким партиям, в том числе и левым; он сочувственно ссылается на антиреволюционные воззрения Толстого. «Если Толстой непримирим к существующим правительствам, — то он не менее непримирим и к тем, кто хочет заменить существующее государство новым государством, новым порядком».

Кюэс не делает никаких прямых выводов. Его двусмысленные нападки на всех всяческих политиков нарочито завуалированы, лишены адреса. Но вывод подсказывается всей его книгой, выдержанной в бесстрастной интонации мемуариста. Он ни во что не вмешивается. Ему все равно. Лицемерно ссылаясь на букву толстовской догмы, он использует «вечные» истины религии, как противоядие против общественной борьбы. Дополняя толстовскую проповедь квиетизма декадентски-нигилистической клеветой на человека, он во сто крат усиливает реакционное звучание этой проповеди. Толстовский призыв «не противиться злу», повторенный Кюэсом в при-

менении к Европе 1941 года, по сути дела означал требование: не противиться фашистскому злу. Именно в этом — конечный смысл и итог всей книги.

Можно ли представить себе большее надругательство над памятью великого русского художника-патриота, протестанта, обличителя?

После окончания войны книга Кюэса вышла вторым изданием: она, видимо, находит сбыт не только в Швейцарии. В нынешней Европе она приносит несомненный и реальный вред. Она мешает зарубежным читателям видеть то подлинно великое и непреходящее, что есть в Толстом. Вместе с тем, пропагандируя слабые стороны толстовской доктрины, она насаждает настроения общественного пессимизма, неверия, пассивности: настроения, которые делают многих западных интеллигентов вольными или невольными пособниками профашистских, империалистических сил.

Таков позорный итог литературной «деятельности» одного из иностранных эпигонов толстовства.

### III

За границей не раз выходили биографии Толстого. Среди них есть работы разного объема и типа — от тяжеловесно-скрупулезного жизнеописания, составленного англичанином Элмером Моодом<sup>1</sup>, до импрессионистических, полубеллетристических очерков, с какими не раз выступали французы.<sup>2</sup> Но во всех этих книгах есть некоторые общие черты: каждая из них представляет ту или иную разновидность буржуазной «легенды о Толстом» либо в ее религиозно-ханжеской, либо в ее либерально-мещанской вариации.

У иностранных биографий Толстого есть один общий первоисточник — известный четырехтомный труд толстовца П. Бирюкова. Черпая отсюда фактический материал, авторы этих биографий в той или иной ме-

<sup>1</sup> Aylmer Maudé. The life of Tolstoy. London, 1929.

<sup>2</sup> A. Keim et Louis Lumet. Tolstoï. Paris 1913 — Alphonse Siché et Jules Bertaut. Tolstoï. Paris. s. a. — M. Hofmann et A. Pierre. La vie de Tolstoï. Paris 1934 — François Porché. Portrait psychologique de Tolstoï. Paris 1935.

ре заимствуют у него и апологетическую трактовку религиозно-морального учения Толстого: это помогает им выдвинуть на первый план Толстого-непротивленца в ущерб Толстому-обличителю. И в то же время почти все эти книги непосредственно приспособлены к запросам буржуазного рынка. Они не столько ставят себе целью — раскрыть подлинный облик гения, сколько — удовлетворить мещанское любопытство.

Именно такова, например, книга Деррика Лиона «Толстой, его жизнь и творчество». Она вышла в Лондоне в 1944 году. В это время, когда близился конец Второй мировой войны, когда Советская Армия изумляла весь мир своими блистательными победами — массовый английский читатель интересовался Толстым, прежде всего, как выразителем героического духа русского народа. Но именно эта сторона творчества Толстого в книге Лиона никак не отражена. Автор ее просто воспользовался популярностью имени русского художника для того, чтобы преподнести публике дешевую, вульгарную подделку под «научную» биографию.

Деррик Лион проявил в своей книге столько же самоуверенности, сколько и невежества. Он ссылается на большое количество английских и французских источников. Но он взялся писать книгу о гиганте русской литературы, не зная... русского языка. Ему остались неизвестными не только подлинники произведений Толстого, но и работы советских литературоведов, советское юбилейное издание сочинений Толстого. Он не знает (или делает вид, что не знает) ленинских статей о Толстом. И само собой понятно, что он оказался не в состоянии хотя бы в самой минимальной степени осмыслить художественное наследие Толстого. Книга его — не просто компиляция, это компиляция материалов, взятых по большей части из вторых рук. Убогий провинциализм отличает ее от начала и до конца.

Все это не значит, что книжка Деррика Лиона лишена тенденции. Тенденция в книге есть, автор настойчиво принижает личность и творчество Толстого.

На протяжении всей книги автор старается выделить в жизни русского писателя и его окружения такие детали, которые могли бы дать пищу для дешевой

сенсации. Характеризуя эпоху и обстановку, в которой вырос Толстой, Лион с удовольствием воспроизводит вздорный анекдот о русских помещиках, которые, прежде чем уложить спать гостя, заставляли ложиться в его постель слугу, чтобы «накормить клопов». Повествуя о юности Толстого, автор лишь бегло упоминает о сложной и богатой духовной жизни будущего создателя «Детства», но зато не жалеет страниц, рассказывая читателю о его светских удовольствиях и кутежах. В главе о начале семейной жизни Толстого он пытается представить эту жизнь как неблагоприятную с самого начала, старательно подбирает фрагменты из писем и дневников, намекающие на размолвки супругов: это служит ему введением к последним главам книги, в которых он выкидает во все детали семейной драмы Толстого с любопытством захолустного сплетника. Столь же поверхностно-сенсационно рисует он и окружение художника, уделяя непропорционально много места мелочным ссорам и раздорам в среде толстовцев.

Разумеется, в книге Деррика Лиона нет ни цельного портрета Толстого-человека, ни характеристики Толстого-художника. Пониманию биографа остались недоступны важнейшие черты великого писателя: его искренность и смелость в борьбе с социальным злом, его языческое ощущение полноты жизни, его горячая любовь к родине, его стихийное тяготение к народным низам, и вместе с тем — сложный, запутанный ход его идейных исканий. Лион не понимает, как мог сочетаться в одном лице мятежник и проповедник непротивления, жизнелюбец и христианский аскет. Всякий раз, когда он по ходу изложения подступает к этому кругу проблем — он растерянно отступает назад, отделяется бессодержательными или оскорбительными словечками. Он говорит, например, о «разнообразных аспектах широкой карамазовской натуры Толстого»<sup>1</sup>. Тем самым он стирает грань между Толстым и героями Достоевского, пытается осмыслить Толстого в аспекте декадентски-патологической экзотики, — то есть показывает его в абсолютно ложном, реакционном освещении.

По разнообразным поводам английский

<sup>1</sup> Derrick Leon. Tolstoy, his life and work. London, 1944.

биограф мелочно клеветает на Толстого: воздерживаясь от критики слабых сторон его учения, он в то же время в высшей степени произвольно приписывает ему несуществующие слабости и недостатки. Он, например, находит возможным — вспоминая о честолюбивых мечтаниях юноши Толстого — сближать художника... с Бергом из «Войны и мира»!

Конкретность творческого мышления Толстого, его всем известная зоркость в восприятии материального мира, дает Лиону повод для следующего, по меньшей мере неумного, заключения: «... Толстой лишь в малой степени обладал воображением, то есть способностью чувствовать и переживать то, что физически было от него далеко». Сказать о гениальном художнике, с непревзойденной наглядностью воссоздавшем историческое прошлое, проникнувшем в неизведанные тайники женской души, раскрывшем внутренний мир людей самых разнообразных общественных положений, профессий, возрастов, что он «в малой степени обладал воображением», — значит проявить либо крайнюю близорукость, либо прямую враждебность. Второе, разумеется, гораздо более вероятно.

Деррик Лион взялся за ходкую, выгодную тему холодными руками литературного ремесленника. С самоуверенной надменностью англо-сакса решил он писать о гениальном русском художнике, зная его, в сущности, более чем поверхностно. Обширное, сложное, противоречивое литературное наследие Толстого осталось для него непонятным и внутренне чуждым. Эта отчужденность чувствуется в изложении: она определяет и мелкие нападки биографа на Толстого, и общую направленность всей книги. В ней то и дело сквозит скрытая неприязнь британского мещанина-собственника к великому писателю, который своими творениями расшатывал устои собственного мира.

Недавно вышла новая биография Толстого на английском языке. Автор ее — профессор Эрнест Дж. Симмонс, признанный в Америке одним из крупных знатоков русской литературы.

Работа Симмонса иного типа, чем кустарное изделие Лиона. Автор ее хорошо знает русский язык. Его книга — плод длительного и по-своему тщательного труда.

Э. Дж. Симмонс работал над своей книгой несколько лет. Судя по издательской рекламе, он ставил себе целью дать первую иностранную монографию о Толстом, в которой учтены достижения советских исследователей. Книга содержит много ссылок на советское юбилейное издание, на толстовские тома «Литературного наследия», иногда даже на рукописные источники. Все это дало повод некоторым американским газетам превозносить книгу Симмонса, как самостоятельное научное исследование, как «событие в истории русской литературы»<sup>1</sup>.

Однако претензии эти по меньшей мере смехотворны. Книга Симмонса, несмотря на свой большой объем и обилие материала, ни в коем случае не научно-исследовательский труд. Это — еще одна компиляция, правда, более обстоятельная, чем все предыдущие компилятивные книги о Толстом, сфабрикованные иностранными буржуазными литературоведами. Ничего нового в изучение Толстого труд Симмонса не вносит.

Присмотримся ближе к тем цитатам, которые, по уверению автора, почерпнуты непосредственно из рукописей Толстого. По своему содержанию они решительно ничего не прибавляют к тому, что известно о личности и творчестве писателя, тем более, что большей частью относятся к тем или иным деталям его семейной жизни. А главное — те рукописные материалы, которые приводит Симмонс, в большей своей части уже давно вошли в обиход советского литературоведения. Возьмем в качестве примера цитируемые Симмонсом строки из дневника Толстого, действительно представляющие принципиальный интерес — характеристику немецкой школы: «Ужасно! Молитва за короля, побои, все наизусть, испуганные, изуродованные дети». Эти строки широко известны советскому читателю — хотя бы по книжке Н. К. Гудзия «Лев Толстой» (М., 1944, стр. 10). Этот пример подтверждает, что ни о каком научном приоритете профессора Симмонса в изучении наследия Толстого не может быть и речи.

Книга Симмонса не может претендовать не только на исследовательскую новизну, но и на элементарную научную добросове-

<sup>1</sup> „The New York Herald Tribune“ 17 декабря 1947.



стность. Облик великого русского писателя в ней опошлен и обеднен.

Биограф нагромождает сотни, тысячи мелких и мельчайших фактов, относящихся к предкам, родным, знакомым, дому, обстановке, окружению Толстого. И под ворохом этих фактов исчезает сам Толстой. Получается жизнеописание чужаковского русского барина, который провел бурную молодость, затем жил в имении, был счастлив в браке, потом стал ссориться с женой, написал много сочинений на религиозно-моральные темы и, между прочим, иногда создавал художественные произведения... Именно таковы у Симмонса пропорции между биографическим и собственно литературным материалом. Не будем голословны. Истории отношений Софьи Андреевны Толстой с Таневым автор уделяет восемнадцать страниц—втрое больше, чем работе Толстого над «Воскресением».

Суть, конечно, не только в пропорциях. Буржуазные литераторы много раз изображали личную жизнь Толстого в аспекте дешевой сенсации, многократно смаковали его семейную драму. В иностранной «научной» литературе о Толстом немало места занимают изыскания на темы «Толстой и женщины», «Трагедия Толстого и его жены», «Толстой и его жена» и т. п. Профессор Симмонс в этом отношении побивает рекорды. Он повествует об интимной жизни русского гения с неуместной словоохотливостью, кое-где — с пошловатой развязностью.

Местами автор явно принижает личность Толстого до уровня понимания заурядного буржуазного обывателя. Говоря о стимулах, которые руководили писателем в работе над «Войной и миром», он принимает всерьез шутливое замечание Толстого — «хочу быть генералом от литературы» — и заодно тщательно подсчитывает гонорары, которые получил художник за свое бессмертное произведение.

Неприятна сама фамильярность тона, присущая всей книге. Описывая, как Толстой читал вслух рукопись «Войны и мира» в кругу знакомых, биограф замечает: «Папа Берс был на седьмом небе по поводу успеха своего зятя...»<sup>1</sup> Он панибратски именует членов семьи Толстого — «Соня», «тетенька Татьяна». Дурным вку-

сом отмечены названия ряда глав, пошловатые, бьющие на дешевый эффект: «Князь, генералы и подлецы», «Фарфоровая кукла», «Суп прентаньер и фуги», «Иеремия в собственной семье»... Таков, с позволения сказать, стиль заокеанской литературной науки!

При всем этом Симмонс старается казаться объективным. Он рассказывает о жизни и деятельности Толстого, воздерживаясь от каких бы то ни было оценок. Но внешний, показной субъективизм автора не имеет ничего общего с подлинно научной объективностью. Буржуазная ограниченность и предвзятость биографа дают себя знать и в отборе материала, и в подходе к нему: они определяют резкое смещение пропорций, выдвижение на первый план несущественных мелочей, невнимание к самому главному. Они определяют нежелание и неумение биографа ответить на вопрос: в чем же величие, сила, значение Толстого, как художника-реалиста?

В тех случаях, когда Симмонс все же высказывает те или иные суждения об отдельных произведениях Толстого, он судит о них явно превратно. Так, он сочувственно излагает содержание комедии «Зараженное семейство», представляющей собой тенденциозный пасквиль на революционных демократов-шестидесятников: он расценивает это неудачное, ошибочное произведение гениального художника, как «беспристрастное» изображение действительности. Зато замечательный рассказ «Люцерн», содержащий в зародыше основные антикапиталистические идеи толстовской публицистики, освещается Симмонсом, как неудача писателя, как выражение его творческого кризиса.

Так раскрывается тенденция, присутствующая в «научном» труде Симмонса. Автор новейшей иностранной биографии Толстого — как и многие его предшественники и коллеги — стремится обезвредить Толстого-реалиста, Толстого-протестанта. Он вообще весьма мало и неохотно говорит о художественном творчестве Толстого. Он не хочет, чтобы американский читатель знал правду о тех произведениях, тех страницах Толстого, которые отразили в себе мощь и национальное сознание русского народа, нарастание в нем освободительных, мятежных сил. Симмонс умудряется — в книге, насчитывающей около восьмисот

<sup>1</sup> Ernest J. Simmons. Leo Tolstoy. Boston, 1946.

страниц! — не сказать ни слова о патристическом пафосе «Войны и мира», о «дубине народной войны», о гениальном новаторстве батального стиля Толстого. Более чем полвека назад зарубежная критика признала, что Толстой сумел показать роль народа в войне, как никто до него. Симмонс об этом умалчивает. И уж само собой понятно, что он по мере возможности затушевывает толстовскую критику капитализма, буржуазной цивилизации, буржуазного Запада.

Еще при жизни Толстого некоторые буржуазные литераторы пытались «локализовать» действие толстовской критики капитализма, ограничить ее пределами одной лишь России. Так же поступает и Симмонс. В своем (очень беглом и недостаточном) анализе «Воскресения» он исходит из предпосылки, будто в романе подвергалась критике одна лишь русская дореволюционная действительность. Он не хочет видеть, что протест и гнев Толстого в этом романе были направлены против самых основ эксплуататорского строя, и что, следовательно, жизненные проблемы, поставленные в «Воскресении», остаются актуальными для современного зарубежного — в том числе и американского — читателя.

Случайно ли, что старательно акцентируя в Толстом элементы сходства со Стерном, Диккенсом и Прудоном, Симмонс обходит полным молчанием вопрос о влиянии Толстого на мировую, и в частности американскую литературу? Думается, что отнюдь не случайно. О том, как Толстой проявил эпизодический интерес к деятельности американской сенты «шейкеров», Симмонс рассказывает: это, по его мнению, важно. Но он не говорит о том, какой живой отклик нашло творчество Толстого у некоторых лучших американских писателей еще в прошлом столетии. А ведь если бы Симмонс с подлинно научной объективностью подошел к своей теме, он мог бы сообщить очень много интересного о том, как жизненные проблемы, впервые поднятые Толстым, разнообразно преломнились в творчестве крупных мастеров современного американского реализма — Эптона Синклера, Синклера Льюиса, Эрнеста Хемингуэя. Именно в этой области американский исследователь, у которого под руками все необходимые материалы, мог бы действительно обогатить науку, глубже

раскрыть роль Толстого, как новатора реализма, указавшего писателям других стран путь к содержательному, смелому, правдивому художественному творчеству.

Симмонс не осуществляет обещания, которое издатели дали от его имени читателю: по-новому показать Толстого на основе данных, добытых советскими исследователями. Все то ценное, что сделано советским литературоведением в изучении Толстого, основывается на ленинской концепции. А концепция эта осталась недоступной для буржуазного ученого.

Статьи Ленина о Толстом давно переведены на иностранные языки. Но буржуазные литературоведы долгое время обходили их молчанием: так сделал, как мы видели, и Деррик Лион. Однако за последние годы международный авторитет Советского Союза, авторитет идей марксизма-ленинизма настолько возрос, что попросту замалчивать эти идеи нельзя. И Симмонс мимоходом цитирует небольшой отрывок из статьи «Лев Толстой, как зеркало русской революции». И эта цитата так и остается посторонним привеском, никак не связанным со всем остальным изложением. Симмонс не дает себе труда вникнуть в содержание ленинских статей. Он не решается открыто высказать свое отношение к ним. Цитируя Ленина, он придает своей книге известный декорум научной объективности. А в то же время на протяжении всей книги он проводит взгляды, никак не совместимые с ленинской оценкой Толстого, — то есть с единственно правильной, подлинно научной его оценкой.

Симмонс не видит кричащих противоречий мировоззрения и творчества Толстого. Он не подвергает никакой критике философию «непротивления злу». И вместе с тем он пытается загримировать Толстого под буржуазного либерала. Он прямо утверждает, что «течение его мысли вливалось в поток либерализма девятнадцатого столетия, докатившийся до наших дней»...

По разным поводам — наперекор фактам — пытается Симмонс сблизить мировоззрение Толстого с буржуазным либерализмом. Он доходит до смехотворного утверждения, будто Толстой — ярый противник не только царизма, но и всех форм буржуазной государственности — при воцарении Николая II мечтал о конституции, дарованной сверху!

## IV

Доводя свою мысль до конца, Симмонс старается убедить читателя, что современные буржуазные либералы являются в какой-то мере... духовными наследниками Толстого. Он утверждает, что «крайние» взгляды Толстого, отрицавшего частную собственность и войны, нашли отражение в «более умеренных взглядах людей последующей эпохи» — в требованиях государственного контроля над народным хозяйством и «всемирной экономической демократии». Иначе говоря, он оправдывает именем и авторитетом Толстого действия нынешних империалистических политиков, рядящихся в «демократические» одежды. Не мешает по этому поводу вспомнить слова Толстого: «Я — человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть и прямо заявляющий об этом...»<sup>1</sup> Верно, что Толстой мог противопоставить существующему порядку и власти лишь свои наивно-утопические рецепты. Но гнев и протест его были направлены против с а м ы х о с н о в буржуазного общества и государства, против всех буржуазных политических деятелей — в том числе и против их «умеренной» разновидности западного образца. Не ясно ли, что связывать с именем Толстого те или иные ухищрения современных империалистических демагогов — значит совершать акт вопиющего лицемерия?

Ленин писал в свое время, обличая русских либералов, пытавшихся спекулировать на популярности Толстого в своих целях: «...каждое положение в критике Толстого есть пощечина буржуазному либерализму; — потому, что одна уже безбоязненная, открытая, беспощадно-резкая постановка Толстым самых больных, самых проклятых вопросов нашего времени бьет в лицо шаблонным фразам, избитым вывертам, уклончивой «цивилизованной» лжи нашей либеральной (и либерально-народнической) публицистики».<sup>2</sup>

Сами эти ленинские строки бьют в лицо современных буржуазных фальсификаторов наследия Толстого.

<sup>1</sup> «Литературное наследство», № 37/38, стр. 321.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. XIV, стр. 403.

Много раз иностранные литературоведы подменяли анализ творчества Толстого пропагандой худших сторон толстовщины, вдобавок односторонне или превратно истолкованной. Так делают — каждый на свой лад — и Фэдимен, и Кюэс, и Симмонс. Такова вообще господствующая тенденция в работах буржуазных литературоведов о Толстом.

Нина Гурфинкель — автор книги «Толстой без толстовства», вышедшей в Париже в 1946 году, претендует на литературоведческое новаторство. Судя по вступительным декларациям, она поставила себе целью сосредоточить внимание не на проповеднике, а на художнике, сочетать тщательный анализ творчества Толстого с критической оценкой толстовства.

Однако уже само название книги настаивает. Автор исходит из предположения, что можно механически отсечь моральную проповедь Толстого от его художественных произведений. Разумеется, при таком подходе невозможно мало-мальски серьезная критика ложных воззрений Толстого.

Ленин напоминал, что учение Толстого следует рассматривать «не как индивидуальное нечто, не как каприз или оригинальничанье, а как идеологию условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени»<sup>1</sup>. В трактовке Н. Гурфинкель учение Толстого (как, впрочем, и его творчество) полностью оторвано от реальных условий жизни, от реальных общественных отношений, его породивших. Толстовство превращается у нее именно в «индивидуальное нечто», в личную причуду великого писателя.

Гурфинкель пытается объяснить своеобразие реализма Толстого, да заодно и все мировоззрение художника, и всю его общественную деятельность... новизной тех формальных приемов, которые он применил. Исходной точкой ее анализа является «борьба с метафорой». По ее мнению, предпринятое Толстым обновление литературного стиля логически привело его «от борьбы с метафорой» в чисто литературном плане — к борьбе против всяче-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. XV, стр. 102.

ских проявлений лжи, условности, фальши во всех сферах жизни. Гурфинкель последовательно применяет это «объяснение» к различным сторонам мировоззрения и творчества художника.

Она говорит, например, об эстетических воззрениях Толстого; она напоминает, что Толстой, остро критикуя многие произведения современного ему западного искусства, ссылаясь на восприятие простого мужика, которому эти произведения чужды и непонятны. «Неожиданно,— иронически вещает Гурфинкель, — его художественные убеждения принимают «демократический» оборот. Но не в мужике тут дело, а в метафоре»<sup>1</sup>.

Эти строки обнажают скрытый смысл концепции, заключенной в книге Гурфинкель. Под предлогом борьбы с толстовством она сводит все мировоззрение художника к своеобразной артистической игре.

Тем самым читатель избавляется от необходимости принимать всерьез не только слабые, но и сильные стороны мировоззрения Толстого. И, в частности, меткая и злая критика французских декадентов, так взволновавшая полстолетия назад весь литературный Париж, тоже оказывается не больше, чем причудой русского писателя. Ведь не с ложью буржуазной цивилизации, не с мерзостью капитализма боролся Толстой: он боролся всего лишь... с метафорой!

И вот этот эстетски-формалистический вздор Гурфинкель с весьма серьезным видом выдает за научный анализ творчества Толстого; она рассматривает это творчество, как применение одного основного приема — «сведения к обыденному». Она цитирует, например, знаменитое описание церковной службы в «Воскресении». Казалось бы — очевидно, что здесь непосредственно отразился гнев народных масс против господствующего строя жизни. Но для Гурфинкель ясно — «не в мужике тут дело, а в метафоре». Ненависть великого художника к официальной церковности, продиктовавшая ему бессмертные обличительные строки, рассматривается в ее книге лишь как нечто производное от всемогущего, самодовлеющего «приема» — не более того.

Таким образом, Гурфинкель с самого начала искажает и обедняет всё творчество

во Толстого. Она сводит гениальное новаторство Толстого-реалиста к чисто словесной оригинальности. Произведения Толстого, истолкованные таким образом, лишаются своего жизненного значения, своей обличительной остроты. И вместе с тем, в результате интерпретации Гурфинкель, исчезает и та возвышенность, та поэтичность, которая присуща образу мира и человека у Толстого.

Характерна в этом смысле глава книги: «Любовь, названная своим именем». Автор разбирает в ней трактовку темы любви в творчестве Толстого. Притом она ставит в центр своего анализа те произведения Толстого, в которых он, по ее мнению, разрушал условное, традиционное представление о любви — такие, как «Отец Сергей», «Дьявол», «Крейцера соната»: иначе говоря, те произведения, в которых наиболее непосредственно отразились слабые стороны мировоззрения художника, его религиозность, проповедь аскетизма. Зато Наташа Ростова упомянута здесь лишь мимоходом, да и то лишь в связи с тем, как она преобразуется в эпилоге. Согласно представлению Гурфинкель, своеобразие Толстого-художника в разработке любовной темы проявилось прежде всего в том, как он показал изнанку любви, ее грубо-телесные проявления, связанные с нею муки и душевные расстройства.

Нетрудно убедиться, что перед нами и здесь пресловутая «борьба с метафорой» и «сведение к обыденному». «Толстой знает, — пишет Гурфинкель, — что высшее очарование поэзии в том, чтобы не называть вещи их именами. И поэтому он поступает наоборот... В своей яростной ненависти к плоти Толстой грубою точностью своего выражения срывает покровы идеализма».

В прошлом мировая критика не раз восхищалась Толстым-художником, сумевшим, как немногие, раскрыть поэзию любви, красоту большого человеческого чувства. Не раз лучшие зарубежные писатели, современники Толстого, отмечали, что автор «Анны Карениной» представляет для них недостижимый пример нравственной чистоты и здоровья, что он в этом смысле резко противостоит упадочным тенденциям в литературе Запада. Гурфинкель не хочет помнить обо всем этом. На радость современным мэтрам вырождающегося буржуазного искусства, она истолковывает творчество

<sup>1</sup> Nina Gourfinkel. Tolstoï sans tolstoïsme. Paris, 1946.

Толстого в духе декадентски-натуралистического принижения человека. Начав сложной схемы, с произвольного отбора материала, Гурфинкель приходит к прямой и в сущности очень злостной фальсификации наследия Толстого. Это становится особенно очевидным в ее анализе «Войны и мира». Показательно само название главы, посвященной толстовской эпопее: «Борьба с историей».

Гурфинкель видит в «Войне и мире» выражение «исторического нигилизма» художника. Толстой и здесь выступает у нее преимущественно «разрушителем», врагом идеалов, «сводящим к обыденному» то, что принято считать возвышенным. Именно отсюда выводит она сатирическое изображение Толстым Наполеона. Но здесь она не ограничивается формалистической схемой, а дополняет ее вульгарно-социологическим шельмованием Толстого. Она оценивает изображение французской армии в «Войне и мире», как «патриотическую фальшивку», предиктованную консервативными воззрениями романиста, его классовым эгоизмом землевладельца. Она прямо утверждает: «Можно видеть одну из причин ретроспективной ненависти Толстого к французам в его чувствах помещика, для которого была опасна «свобода», обещанная французами крепостным...». И уж само собой разумеется, что Гурфинкель проходит мимо всей социальной проблематики «Войны и мира», мимо реалистической критики Толстого, направленной против придворно-крепостнической верхушки, мимо возвышенного образа народа на войне. Она пытается решить вопрос о степени народности «Войны и мира» арифметическим подсчетом страниц, где упоминаются крестьяне или солдаты. Пространно излагая толстовскую философию истории, она по сути дела начисто отрицает наличие героического начала в «Войне и мире».

Так Н. Гурфинкель, которая в начале книги полемизировала с литературоведами, рассматривавшими творчество Толстого лишь в аспекте толстовства, сама приходит к тому же. Она истолковывает «Войну и мир» как прямое выражение ложных фаталистических взглядов художника: она отказывается видеть все те образы, все те страницы эпопеи, в которых силою художественного изображения опровергаются эти ложные взгляды. Ее «анализ» попросту

зачеркивает все те стороны «Войны и мира», которые особенно актуальны и поучительны для современного зарубежного читателя. Выступив с позиций эстетски-формалистической «переоценки» наследия Толстого, претендуя на доверие публики благодаря своему знанию дореволюционной России и русского языка, Гурфинкель по сути дела беззащитно и нагло порочит наследие русского национального гения.

Справедливость требует сказать, что вздорная и вредная концепция Н. Гурфинкель не может быть рассматриваема как личный каприз космополитической литературной дамы: она выражает одну из характерных новых тенденций буржуазного литературоведения по отношению к русским писателям.

Пример тому — книжка М. Гофмана «История русской литературы», вышедшая во Франции одновременно с работой Гурфинкель.

Вся русская литература рассматривается в ней исключительно под углом зрения развития ее форм и жанров. Тем самым автор до крайности обедняет, местами извращает идейное содержание творчества русских классиков, в особенности классиков реалистического романа. Мимоходом и с барским пренебрежением говорит он о творчестве революционных демократов; зато охотно, многословно, сочувственно рассказывает он о носителях консервативных, аполитичных тенденций в литературе XIX века и о декадентском крыле русской литературы начала нашего столетия. Притом он старается найти проявления тех или иных упадочных тенденций даже у величайших русских классиков — он отыскивает, например, в Пушкине черты «сходства» с Достоевским.

В этой связи должно быть понятно и как обращается Гофман с Толстым (которому, кстати сказать, в его труде уделено ровно пять страниц — гораздо меньше, чем поэтам-символистам). Он категорически отводит постановку каких бы то ни было проблем, связанных с мировоззрением художника. «Мораль Толстого нас здесь не интересует, так как мы занимаемся историей литературы, а не философией». Самого же художника он рассматривает, как человека-двойника, которого «красота и плоть то притягивали, то отталкивали».

Анализ произведений Толстого у Гофмана абсолютно внеисторичен и внесоциален: он весь сводится к беглому перечислению основных «приемов» художника. Гофман не находит места даже для упоминания о содержании толстовского реализма, о патриотическом пафосе «Войны и мира», о великих жизненных вопросах, поставленных Толстым в своем творчестве. В романе «Воскресение», по мнению Гофмана, обнаружилось «оскудение творческих сил» писателя. Больше ничего не находит он сказать о произведении, которое в свое время потрясло широкие круги французских читателей остротой своего социального протеста.

Эстетски-формалистическая трактовка Толстого приводит Гофмана (как и Гурфинкель) к искажению наследия художника, к полному отрицанию социальной значимости его реализма.

## V

Английский профессор Янко Лаврин опубликовал во время войны небольшую книжку, которая представляет собою опыт сводной краткой характеристики Толстого<sup>1</sup>.

Во всей иностранной литературе о Толстом книжка Янко Лаврина — пожалуй, наиболее густой концентрат заблуждений и измышлений, накопленных зарубежным литературоведением за долгие годы. Есть тут и настойчивая фиксация внимания на реакционно-религиозных сторонах мировоззрения художника; есть тут и традиционная переоценка значения «каратаевского» начала в образной системе Толстого, и попытка представить Платона Каратаева, как типический образ русского крестьянина; есть тут и неуместно развязные домыслы относительно интимной жизни Толстого, и поиски «заимствований», якобы сделанных им у иностранных писателей, — и многое другое, что уже знакомо нам по работам буржуазных литературоведов.

Местами Лаврин казалось бы пытается глубже проникнуть в сложность творчества Толстого, чем большинство его предшественников. Но тут-то и обнаруживается

утонченная клеветническая сущность его концепции.

К вульгарно-социологической клевете на Толстого Лаврин добавляет соображения, почерпнутые из арсенала модернистской психологии. По его мнению, Толстой был одержим болезненным страхом смерти; его стремление слиться воедино с патриархальным крестьянством порождалось тем, что он надеялся таким образом избавиться от этого страха... Таким образом, с другого конца Лаврин приходит все к тому же выводу: и протест Толстого против социального зла, и его народолюбие — все это, в конечном счете, объясняется эгоистическим инстинктом самосохранения...

Последняя глава книжки представляет собой развернутое сопоставление Толстого... с Ницше. Лаврин не постеснялся поставить бессмертного художника, великого защитника угнетенных рядом с пророком разбойничьего германского империализма, теоретиком человеконенавистничества, насилия, эгоистического произвола.

Напомним, что книга Лаврина писалась во время войны — вскоре после того, как Советская Армия выбила современных последователей Ницше из оскверненной ими Ясной Поляны, вскоре после того, как успехи советского оружия спасли население Англии от угрозы немецкого вторжения. И в такой момент английский литератор не почувствовал, насколько не только антинаучно, но и чудовищно бестактно какое бы ни было сближение Ницше с Толстым.

У Лаврина так прямо и сказано: «сочетая в одном лице моралиста, искателя и художника, и Толстой, и Ницше создавали произведения дидактического характера и в то же время большой литературной ценности». Так Лаврин уравнивает гениальный в своей простоте реализм «Войны и мира» с напыщенной и циничной риторикой «По ту сторону добра и зла»!

Лаврин незаметно совершает здесь несложный словесный трюк: упомянув мимоходом о Толстом как художнике, он фактически, в ходе конкретных сопоставлений, говорит о Толстом только как о проповеднике непротivления, забывая о тех сторонах художественного и публицистического наследия Толстого, которые развивались в разрез с его реакционной теорией. Таким образом, Лаврин создает

<sup>1</sup> Janko Lavrin. Tolstoy. An approach. London 1944.

себе удобный плацдарм для расправы с Толстым. Ницше заблуждался в одном — Толстой заблуждался в другом. Ницше был односторонен — и Толстой был односторонен. «Утопия Толстого, как и утопия Ницше отражали их собственные внутренние конфликты, были для них средством бегства от действительности и вместе с тем от самих себя...» Лаврин нарочито умалчивает здесь о том, что Толстой вошел в историю мировой литературы в первую очередь не как создатель реакционно-утопической доктрины «непротивления злу», а как великий мастер реализма, великий обличитель жестокости и лжи эксплуататорского строя — того строя, на укрепление которого была направлена реакционнейшая античеловеческая философия Ницше. Лаврину удается строить свои натянутые, фальшивые сопоставления только потому, что он единым махом зачеркивает все подлинно ценное, подлинно непреходящее, что создано Толстым. И сами эти сопоставления представляют у него лишь новый, «оригинальный» способ принизить и опорочить Толстого.

Однако параллель Ницше с Толстым имеет у Лаврина и другой смысл. Принижая Толстого, он в то же время возвеличивает Ницше. Он делает вид, будто не помнит, что в основе ницшеанской философии лежит проповедь аморализма, представляющая теоретическое оправдание грубейших форм угнетения и военного разбоя. Он рассматривает Ницше как глашатая активности — в противовес толстовской пассивности. Он имеет наглость утверждать: «Прометеевская борьба с судьбой у Ницше, разумеется, заключала в себе больше героизма, нежели непротивление Толстого...»

Так вот, оказывается, в чем дело! «Актуальность» лжеученого труда, состряпанного английским профессором в дни войны его народа с фашистской Германией, заключалась в том, что он нашел легальное прикрытие для раболопия перед идеологией германского фашизма. Отождествить Ницше с Прометеем — до этого, кажется, не додумался даже Геббельс...

Спекуляция на популярном имени прославленного русского писателя оказалась для Янко Лаврина удобным способом протаскивания утонченной профашистской пропаганды.

## VI

Как видим, каждый из современных буржуазных литературоведов, пишущих о Толстом, вносит свою «лепту» в ту легенду о нем, которая начала складываться еще несколько десятилетий тому назад.

Аспекты этой легенды очень разнообразны. Но так или иначе, во всех рассмотренных работах — при всех серьезных различиях между ними — есть общие черты.

Важно отметить, прежде всего, что буржуазные литературоведы, пишущие о Толстом, как правило, рассматривают его в отрыве от социальных и исторических условий. Если же они и пытаются что-то сказать об этих условиях, то они приходят к вульгарно-социологической трактовке Толстого как барина, помещика.

Все они полностью игнорируют внутреннюю связь творчества Толстого с русской революцией.

Они вместе с тем рассматривают Толстого и в отрыве от национальной почвы, породившей его. Если же они и пытаются как-то истолковать Толстого в свете национального своеобразия русской культуры, то они усматривают это своеобразие в «каратаевщине», в пассивности, то есть используют слабые стороны наследия Толстого для клеветы на русский народ. Они не хотят видеть, что в критическом реализме Толстого, в его обличительном пафосе отразился протест русских крестьянских масс, выдвинувшихся на арену самостоятельного исторического действия. Они отказываются видеть, что в мировом значении Толстого отразилось всемирно-историческое значение русского народа, становившегося авангардом мирового революционного движения.

Буржуазные литературоведы чаще всего рассматривают Толстого, как некое монолитное целое. В иных же случаях они, напротив, механически рассекают его на «художника» и «проповедника». Но так или иначе — они не объясняют кричащих противоречий, пронизывающих собою его мировоззрение и творчество.

За границей произнесено (и произносится!) немало пышных слов о Толстом как яркой, небывалой, исключительной индивидуальности. Но буржуазные «специалисты» по Толстому, рассматривая писателя в отрыве от его страны и народа, не в состоянии показать, в чем его действительное значение и сила. Анализ творче-

ства и мировоззрения Толстого часто подменяется у них проявлениями неуместного любопытства по отношению к интимным сторонам личности художника, и в центр «исследования» ставятся мелкие, несущественные, второстепенные стороны его жизни.

Неумение (да и нежелание!) иностранных литературоведов видеть то подлинно великое, что есть в Толстом, ярко обнаруживается во всех их попытках конкретно-го анализа наследия художника. В их работах остается в тени Толстой-обличитель, игнорируется критический реализм Толстого, его «протест против всякого классового, господства», замалчиваются героические, патриотические мотивы, присущие его творчеству.

Как правило, буржуазные литературоведы сосредоточивают внимание именно на слабых сторонах мировоззрения Толстого. Даже в тех случаях, когда они не солидаризируются прямо с толстовской философией непротивления — они не подвергают эту философию критике, пропагандируют ее в тех или иных косвенных формах.

Замалчивая социальные мотивы реали-

стического творчества Толстого, выдвигая на первый план его ложные реакционные воззрения, буржуазные фальсификаторы Толстого вместе с тем нередко приписывают ему идеи и тенденции, которых в его творчестве нет. Они истолковывают его пессимизм в декадентски-нигилистическом духе. Они истолковывают толстовский пацифизм, идею «всеобщей любви» в духе либерального фразерства. Из толстовской проповеди квиетизма они делают злободневные выводы, насаждая с ее помощью настроения равнодушия и пассивности.

Словом, они по сути дела пытаются использовать наследие Толстого в интересах реакционных сил, действующих в современном капиталистическом мире.

Но зарубежным литературным фальсификаторам не удастся опорочить и скрыть от человечества величественный облик гиганта русской литературы.

Наследие Толстого, величайшего мастера критического реализма, патриота своего народа, обличителя и жизнелюбца, — было, есть и будет дорого всему трудящемуся человечеству.





# КНИЖКА ПОЛКА

## Поэт и его кругозор

**Г**ода два назад в одном из номеров журнала «Октябрь» я обратил внимание на несколько стихотворений, подписанных П. Комаровым. Стихи Комарова говорили о его наблюдательности и хорошем чувстве колорита.

Я запомнил имя Комарова и ждал его новых стихов. И вот они передо мной, напечатанные чуть ли не петитом в маленькой песчаного цвета книжке с непомерным названием «Под небом Азии».

Перелистывая страницы сборничка, я хотел убедиться в том, что не ошибся в первом впечатлении. И я действительно не ошибся. Стихи Комарова изобилуют удачными строками, еще убедительнее говорящими о его наблюдательности и колорите. Монгольский цикл сменяется маньчжурским, маньчжурский — корейским, и вы остро ощущаете своеобразие этих краев. Оно создается не просто внедрением в русскую лексику экзотических слов типа «черемша», «гаолян» или «фанза», но хорошо схваченными деталями, отлично выполненной живописью:

Мерцает и качается едва  
Цветной фонарь из рисовой бумаги, —

говорит он в стихотворении «Санчагоу», и эта рисовая бумага дает яркое и яркое впечатление о фонаре. В другом стихотворении, уже запомнив этот фонарь, читатель встречается с ним вторично, но уже в образе осеннего леса за городом:

Там осень запоздалая у входа  
Повесила фонарь свой расписной.

Но Комаров не только живописец. Он прекрасный график с очень скупой, но чет-

кой манерой. Нелегко написать законченное стихотворение в четыре строчки. Комаров отлично справляется с этой задачей:

### Рикша

Он возит всех. Его коляска тут  
И день и ночь мелькает на дорогах.  
А час придет — и рикшу повезут.  
Но только раз.

На похоронных дрогах.

Невольно вспоминается «Рикша» молодого советского художника Пророкова, дальневосточные этюды которого мы видели недавно на выставке, посвященной 30-летию Октября. То же скорбное настроение, та же сдержанность языка, та же выразительность рисунка. Но у Пророкова рядом с его «Рикшей» висит другая гравюра — «Митинг», где маленький сгорбленный человечек, может быть, тот же самый рикша, с огромной страстностью произносит речь, да нет, не речь: отдельные опаленные гневом и болью фразы... хриплые междометия... но идущие от души, от сердца, от всего его нутра — и тысячная толпа, которая чувствует то же, что и он, глубоко впитывает каждое его слово.

Такого «митинга» у Комарова нет. И это обедняет его поэзию, несмотря на обилие в ней красок.

В сборничке «Под небом Азии» читатель найдет очень подробно представленный мир дальневосточной природы. Здесь и растения: сосны, дубы, чернотал, чернобыльник, молочай, болиголов, пырей, мышинный горошек, ромашка, солонец; тут и звери: медведь, горностай, олень, лань, соболь, суслик, голубой песец, барсуки и др.; тут птицы: дрозды, дрофы, утки, совы, перепела, выпь; даже насекомые: шмель, «расправивший воцаные крылья», и «комары-



тиях в Китае, о китайской Красной Армии, о народном полководце Чу-Дэ, о Мао-дэ-Дуне, об американской помощи Гоминдану и обо всем том, что происходит в Южной Корее.

Ни коммунизма, ни классовой борьбы, ни фашизма — даже слов этих вы не найдете в сборнике стихов советского поэта, лирический герой которого брал Берлин, а затем дошел до Порт-Артура.

Поэзия Комарова — типичный пример

того, как талантливый стихотворец сам уменьшает силу своего дарования, загоняя его в тесное кольцо чрезмерно узкого кругозора.

Но Комаров молод и талантлив. Серьезная работа над собой, более пристальное внимание к политической жизни своего народа помогут ему вывести свою поэзию в мир широких общественных интересов.

**Илья СЕЛЬВИНСКИЙ.**

★

## Разоблачение правого социалиста

**В** нынешнем году исполняется 79 лет со дня рождения знаменитого датского писателя Мартина Андерсен Нексе.

Творчество этого писателя-коммуниста хорошо знакомо нашему читателю. Страстный борец с реакцией и мракобесием, верный друг Советского Союза, Мартин Андерсен Нексе своею жизнью и деятельностью вполне оправдал высокое звание «писателя-борца». Брошенный немецкими оккупантами в тюрьму, престарелый писатель при помощи преданных друзей, датских антифашистов, бежал из застенка гестапо и в эмиграции продолжал служить своим пером делу освобождения родины от фашистских захватчиков.

Лет тридцать-сорок тому назад Мартин Андерсен Нексе написал два романа из задуманной им автобиографической трилогии: «Пелле-Завоеватель» (1906 г.) и «Дитя человеческое» (1917 г.). Это были широкие полотна общественной жизни Дании начала XX века. Зарождение социал-демократической партии в стране, рост ее влияния среди рабочих масс — все эти новые явления были чутко подмечены прогрессивно настроенным писателем. Герой обоих романов — Пелле, выходец из низов, который, силою своего ораторского таланта и настойчивости, несомненно выдвигается в ряды партийных руководителей и становится одним из наиболее известных деятелей рабочего движения в Дании.

После бегства из гитлеровского застенка, Мартин Андерсен Нексе создал роман, который заключил трилогию, начатую на

заре литературной деятельности писателя. Так появился в свет «Мортен Красный». В новом романе показаны те же герои, что и в первых частях трилогии. Его действие по времени охватывает эпоху 1913—1917 годов.

Но годы, отделявшие появление нового романа от выхода в свет первых двух частей трилогии, были столь значительны и исполнены таких огромных всемирно-исторических событий (первая мировая война, Октябрьская революция в нашей стране, вторая мировая война), что, естественно, не могли не наложить своего отпечатка на мировоззрение писателя, не могли не обострить его умения проникать в глубины общественных явлений. Эта способность писателя-коммуниста, вооруженного самым передовым научным методом марксизма-ленинизма, помогла Мартину Андерсен Нексе создать истинно злободневное произведение. Роман «Мортен Красный» — не только отражение датской жизни кануна и эпохи первой мировой войны, но и яркая аналитическая картина деятельности правых социалистов в современных нам условиях.

В романе датского писателя говорится о политической и парламентской практике датских социал-соглашателей. Однако большая партийная страстность и моментами чисто памфлетный стиль повествования невольно заставляют нас, на место всех этих Пелле, Оскарсен, Фихте или немецкого «партийного товарища» доктора Сервус и прочих им подобных, подставить современных деятелей западного «рабочего движения»: эттли и бевинов, рамады и блюмов, шумахеров и сарагатов. Одни и те же политические биографии, одни и те же

**Мартин Андерсен Нексе. Мортен Красный. Государственное издательство иностранной литературы. 1947.**

приемы в обращении со своей буржуазней и своими «партийными товарищами» из рабочих видим мы у героев романа Нексе и у современных деятелей стран, впрягшихся в колесницу генерала Маршалла.

Удивительно покладистую и удобную политическую философию проповедует Пелле, который «прошел в ригсдаг без всяких хлопот, так как округ был очень хорошо подготовлен». Эта философия призвана оправдывать гнусную деятельность соглашателя точно так же, как и каучуковая философия современных европейских социал-предателей, продающих родину толстосумам с Уолл-стрита.

«Пока что, по-моему, надо работать больше для нашего народа, чем вместе с ним. Люди еще не достаточно созрели, чтобы иметь решающий голос в жизненно-важных вопросах». Эти софизмы «социал-демократа» Пелле подстать любому современному нам Шумахеру. Если же «недостаточно созревшие» сограждане пытаются протестовать против слишком назойливой опеки, то их можно колотить резиновыми дубинками и сажать в тюрьму, оправдывая всё это точно так, как публично оправдывал подобные поступки депутат ригсдага «социалист» Пелле: «Нам нужен порядок, а бульдог — лучший охранитель порядка. Он не ввязывается в переговоры и не понимает красивых речей». Дома, в интимной компании, «социалистический министр» Пелле выражался еще откровенней: «Что толку болтать о перестройке общества, когда рабочие не созрели? Им нужен хлыст». Под этими словами с восторгом подпишетесь господин Мок или его достойный коллега из кабинета Эттли.

Герой нового романа Нексе — прогрессивно-настроенный писатель Мортен. В первых частях трилогии он — друг и соратник Пелле, но в дальнейшем Мортен начинает ощущать постепенное погружение вожака датской социал-демократии в трясины

оппортунизма и приспособленчества. В заключительной части трилогии он порывает с другом юности и начинает бороться за подлинные интересы рабочих против правительства, во главе которого стояли социал-демократы и его друг Пелле. К этому Мортена приводит логика человека, искренне и до конца преданного делу рабочего класса. Продолжительное время Мортен не находит соратников по борьбе. С анархосиндикалистами, критикующими социал-демократов, ему не по дороге: он ясно видит всю убогость и беспомощность их положительной программы. Вести о революционных интернационалистах, во главе с Лениным организовавших Циммервальдскую конференцию, в те времена еще не проникали в Данию. Об этом историческом событии Мортен узнает с большим опозданием во время поездки в Швецию. И это известие озаряет ярким лучом света безрадостные скитания Мортена по «ничейной земле», как он сам характеризует свою одиночную борьбу за дело пролетариата. Вести о Февральской революции в России так воодушевили Мортена и он так усилил свою активность, что Пелле при встрече называет его «большевиком». Так завершилась политическая эволюция Мортена, отныне посвятившего всю свою жизнь борьбе с социал-предателями.

Сейчас перед нами только первая книга романа. Она кончается на этом знаменательном для Мортена этапе его жизни. С нетерпением будем ожидать следующей книги, в которой старейший революционный писатель Европы покажет нам приход своего героя в ряды партии коммунистов — единственной партии, борющейся за счастье и свободу своего народа и всего человечества, против «социалистов», продающих и родину и человечество за океанским бизнесменам.

Николай ГАБИНСКИЙ.

★

### Блуждание в фактах и датах

Есть книги, чтение которых вызывает размышления не столько по существу описываемых событий и судеб героев, сколько по поводу судеб самой книги.

Н. Рыбак. Днепр. «Советский писатель», 1947.

В некоторых случаях мысли, навеянные таким чтением, вращаются преимущественно вокруг издательства, редактора, критика и переводчика, и меньше вокруг творчества автора.

Нечто подобное испытала я при чтении романа Натана Рыбака «Днепр» — произ-

ведения, впервые вышедшего на украинском языке в 1937 году и изданного в переводе на русский язык в 1947 году без всяких следов переработки.

Натан Рыбак—одаренный автор. Внушают полное доверие имена переводчика В. Россельса и редактора Г. Шторма. Однако книга пестрит такими недочетами, за которые наравне с автором несут ответственность все, в чьих руках побывала книга, разве только за исключением метранпажа.

Роман «Днепр» по жанру близок к хронике. События развиваются в южном Приднепровье накануне и в годы первой империалистической, а затем гражданской войн и завершаются изгнанием французской эскадры из портов Черного моря.

Экспозицией к излагаемым событиям служит данный в псевдоромантических сгущенных красках эпизод из 90-х годов — травля помещиком Русановским крестьянина-революционера Омельяна Высокоса, будущего героя партизанской борьбы. Реалистичней и выразительней сюжетная линия, связанная с деятельностью Данилы Кошпура, крупного капиталистического хищника (в трактовке этого образа заметно влияние Горького), захватившего в свои руки весь сплав леса по Днепру и строящего грандиозные планы взрыва днепровских порогов. Образы Омельяна Высокоса и Данилы Кошпура как бы персонажируют те полярные классовые силы, которые вступили в смертный бой за Днепр.

Заглавие книги претендует на широкое историческое полотно, рисующее жизнь Украины. Однако в книге нет именно того, что определяет дух и характер эпохи, что типично для истории Украины тех лет. Своей манерой рисовать отдельные происшествия, исчезающие в движении вещей, расуждений и фактов, автор не выражает, а искажает эпоху.

О том, что «где-то далеко от Дубовки уже гремела непонятная (?) война», впервые и мельком говорится в связи с каким-то эпизодом из частной жизни персонажей романа... в 1916 году.

О 1917 годе упоминается лишь затем, чтобы рассказать, как «тихим осенним вечером 1917 года» приехал в родное село потерявший на войне ноги плотовщик Архип. Зима 1918 года примечательна только своими жестокими бурями и упорной борь-

бой Днепра со льдами. Социальных бурь этого грозного времени автор, а с ним и издательство, не заметили. Только добравшись до весны 1918 года, персонажи романа, а вместе с ними и читатель, узнают, и то по «слухам, от которых кружилась голова», что «царя уже нет, что наступила революция» (стр. 136). И это—на Екатеринославщине, с февраля 1917 года клокотавшей в котле национальной и социальной борьбы, в калейдоскопической смене властей!

Немцы на Украине показаны в одной главе, так сказать, даны вставной новеллой. В книге фактически совсем нет борьбы украинского народа с немецкими оккупантами, то есть нет самого основного, самого характерного, а в свете исторической перспективы, открытой Великой Отечественной войной с германским фашизмом—самого решающего в истории освободительной войны на Украине в первые годы революции.

Если автор мог не понять этого в 1937 году, то в 1947 году это обязан был понять редактор.

В романе немало хронологической путаницы.

Свержение германской империи происходит в романе в октябре 1918 года (стр. 187), а французский десант высадился в Черноморских портах — и в частности хозяйничал в Херсоне до этого. Между тем, общеизвестно, что германская революция произошла 9 ноября, эскадра союзников вошла в море 16 ноября, а десант в Херсоне высадился значительно позднее. Анти-исторично звучит утверждение о готовности Директории, созданной 13 ноября, продать Украину уже несуществующему кайзеру (стр. 166).

Так обстоит дело с расположением событий во времени. Наперекор истории и логике располагаются они подчас и в пространстве. На стр. 132-й мы узнаем, что плотовщик Архип «оставил свою жизнерадостность и растерял свои песни в Мазурских болотах». Между тем, на стр. 122-й и 165-й сообщалось, что Архип был мобилизован в 1916 году и послан на Галицийский фронт, где и потерял ноги.

Надо ли напоминать, что Мазурские болота находятся не в Галиции, а в Восточной Пруссии и что трагедия армии Самсо-

нова разыгралась в Мазурских болотах осенью 1914 года.

Что заставило В. Россельса перевести, Г. Шторма редактировать, а издательство «Советский писатель» выпустить эту книгу, искажающую факты и события, наполненную неправдоподобными, примитивно изображенными персонажами? Книгу, в которой вялое, бессильное развитие сюжета сочетается с нагромождением штампов и дешевых мелодраматических эффектов, местами переходящих все границы безвкусицы?

Можно простить автору такую дань средневековью, как заключение лесопромышленником Кошпуром своего брата в подземелье, где он томился шесть месяцев, но заставить Кошпура везти тело убитого им брата в волчью яму и затем ждать

появления стаи волков — это уж дань не средневековью, а просто дурному вкусу. Совершенно невыносима тирада соучастника преступления управителя Феклушенко: «косточки хрустели — хи-хи-хи... вот так: хрум, хрум, хрум, хрум... Поживились сerye» (стр. 108). Комментарии излишни..

Приходится удивляться неприязнительности критики, не обнаружившей всех недостатков книги, выдержавшей несколько изданий, в том числе и издание «Школьной библиотеки». Издательство «Советский писатель» проявило трогательное единодушие с издательствами Украины в отношении к книге Н. Рыбака и оказало плохую услугу и автору и читателю, увеличив количество тиражей романа русским переводом.

Ф. АЛЕКСАНДРОВА.

★

### Книга действенной ненависти

Советскому читателю повесть Т. Сватоплука «Ботострой» пока доступна лишь в немногих отрывках. Однако и по этим отрывкам можно понять и почувствовать, какой обжигающей силы произведение создал чешский писатель.

В Соединенных Штатах существует в литературном обиходе выразительный термин: «ласкающий реализм». Вряд ли нужно доказывать, что реалистична в книгах этого направления главным образом их внешняя оболочка, но никак не содержание, не изображенные в них буржуазные герои. Имеются за рубежом и произведения более близкие к жизненной правде, но, вместе с тем, поражающие своим крайним бесстрашием или, лучше сказать, равнодушием к описываемому. В их холодном объективизме можно разглядеть, пожалуй, известную долю презрения к «хозяевам жизни» капиталистического Запада, но нельзя уловить и тени гнева, горячего человеческого желания избавиться от них мир.

В повести Т. Сватоплука каждая строка до краев наполнена ненавистью. Его книга — подлинное острое оружие в борьбе против капиталистического варварства.

Центральный образ этой страстной повести — владелец гигантского обувного пред-

приятия «Ботострой» — «шеф», в котором нетрудно узнать знаменитого «обувного короля» довоенной Чехословакии Батю. Об уме, энергии, инициативе, работоспособности, о неутомимом стремлении к техническим усовершенствованиям «чехословацкого Форда», как лстыиво называли его продажные журналисты, в свое время за границей распространялись немало. Повесть Сватоплука показывает, как следует относиться к подобным утверждениям апологетов Бати. Да, «шеф» безусловно умен и энергичен, но весь его ум и вся его энергия направлены к одному — к наживе. И так как это в нем основное, то все, казалось бы, положительные качества «шефа» чудовищно извращаются, теряют всякое человеческое содержание.

Маниакальная жажда все больше и больше увеличивать свои доходы превращает «шефа» в какого-то бешеного зверя. Ему все время не дает покоя мысль, что он использует не все возможности для эксплуатации своих рабочих. Поистине символическа сцена, в которой разъяренный «шеф» разрушает изготовленный по его же заданию автомат, не заинтересовавшись даже, что представляет собой эта машина, только потому, что для нее требуется, по его мнению, слишком много металла. Не менее показателен другой эпизод, в кото-

Т. Сватоплук. Шеф. (Из повести «Ботострой»). Журнал «Знамя», № 1, 1948.

ром «шеф» «рационализирует» уборные, чтобы рабочие не задерживались там ни одной лишней секунды. И этот эпизод вообще не забавен, как можно подумать по пересказу, — он производит такое же тягостное впечатление, как и вся повесть, правдиво рисуя удушливую атмосферу, в которой находятся и хозяин «Ботостроя» и его наемные рабы. Жестокое самодурство, циничное пренебрежение к личному достоинству окружающих отмечает поведение «шефа» на любой странице повести. Даже директора «Ботостроя» не знают, как держать себя в его присутствии. Он безжалостен к собственному сыну — мечтателю и книжнику Чистогану, уничтожил в нем все естественное, человеческое, хотя бы и в буржуазном понимании. Даже любовь зверя к детенышу — недоступная Бате тонкость чувства. Даже забота о наследнике ему незнакома. Не надо думать, однако, что это отвратительное самодурство характеризует одного лишь «шефа»: такой стиль царит на «Ботострое» везде — в цехах и общежитиях. при найме и увольнении.

«Шеф» воспринимается читателем, как явно ненормальный субъект. Но ненормален он — и это ясно показывает автор — в той же мере, в какой ненормален и бесчеловечен и весь капитализм, типичным представителем которого является беснующийся Батя.

Памфлетная природа книги Сватоплука несомненна. В то же время необходимо отметить, что острота беспощадного боевого памфлета сочетается в этой книге с портретной точностью и реалистической четкой обрисовкой характера главного действующего лица. Недаром, когда повесть появилась в довоенной Чехословакии, ее сразу же изъяли из обращения. Закон этим был нарушен, но Батя стоял тогда выше закона. Образ «шефа» в повести Сватоплука — это типичный образ большой обобщающей силы.

Нельзя не пожелать, в заключение, чтобы советский читатель мог познакомиться с «Ботостроем» Т. Сватоплука не только в отрывках.

Г. ЛЕНОБЛЬ.



## Неправда рядом с правдой

Спорить с автором галантливой книги несравненно интереснее, чем спорить с автором книги плохой; и не только интереснее, но, пожалуй, нужнее, потому что в таланте есть заражающая сила. Читая страницу за страницей и подчиняясь обаянию галанта, проходишь подчас мимо того неверного, что сразу заметил бы в книге плохой.

Я два раза прочел повесть Георгия Березко «Ночь полководца», и оба раза — с одинаково глубокой симпатией к талантливому и верному бытоописанию войны, к точному знанию и меткой наблюдательности автора, к тому, что в целом создает ощущение драгоценной правдивости почти всех деталей повествования. И однако, когда я читал повесть еще в первый раз, что мешало до конца ее полюбить и до конца в нее поверить. В ней было так много правдивого, так по-настоящему люди шли в атаку, уставали, надеялись, боролись, лежали в госпитале, брели по фронтовой

дороге, что за этой правдой почти каждого из кирпичиков, составлявших здание, было трудно сразу заметить просчет в общем чертеже: он не был виден, он только угадывался.

И вот книга прочтена еще раз. И мне кажется, я теперь увидел в ней этот просчет в чертеже, эту неправду или, вернее, даже целых две неправды, которые мешают до конца поверить в «Ночь полководца» и до конца ее полюбить. Разбирая повесть, помнится мне, многие писали об Уланове — юноше, впервые попавшем на фронт, о том, что он сам и его переживания не типичны для советского солдата. Чувствуя в повести какую-то неправду, ее искали, но не в том направлении, где она находилась; надо сказать, что именно Уланов написан хорошо. Он может быть признан не типичным только в том случае, если считать типичным для советского солдата нечто среднеарифметическое, не существующее в живой природе; то есть, если считать, что типичный советский солдат — это солдат,

Г. Березко. Ночь полководца. «Советский писатель», 1947.

наделённый в одно и то же время чертами человека, пришедшего в армию из колхоза, с завода и из десятилетки.

А между тем Уланов — типичный представитель только одной из этих трёх категорий солдат. Он из тех юношей, которые пришли на фронт прямо со школьной скамьи. И как раз Уланов написан правдиво. Правдивы в повести и бой, и атаки, и фигуры подавляющего большинства людей. Неправда — в другом.

Вы помните, с чего начинается повесть? С того, что командующий армией задумывает большую операцию, для успеха которой ему нужно отвлечь силы врага от места главного удара и произвести на одном участке атаку демонстративного характера. Эта атака производится силами, недостаточными для серьезного успеха. Но люди идут сражаться всерьез: идет Уланов, идут его товарищи-солдаты, очень тепло и правдиво описанные Березко; идет командир батальона Горбунов, которого мы успели полюбить. Идут почти на верную смерть все герои повести, кроме одного — того, кто посылает их — командующего армией Рябинина. У читателя создается ощущение глубокого трагизма. В самом деле, он понимает, что Рябинин прав не только в своем решении, но и в его результатах. Но тем не менее, перед Рябининым встает большая, суровая и неизбежная на войне проблема ответственности командира за жизнь и смерть подчиненных ему людей, трагическая необходимость в иных случаях посылать их почти на верную смерть.

Так смело и правдиво начата повесть. Но к чему приводит читателя автор повести, как раскрывает реально существующий невыдуманный трагизм этой ситуации? Умирают где-то какие-то люди, о ком автор говорит вскользь, кого он не показал, кого мы не успели ни узнать, ни полюбить. Те конкретные герои, с которыми мы сроднились, как бы обладая некоей чудесной броней, живыми и невредимыми выходят из огня боя. Погибает, в результате, в общем, случайного ранения, только один человек, командующий армией Рябинин, в силу сурового закона войны посланный почти на верную смерть всех героев произведения, в конце концов оставшихся живыми. В этом есть что-то бесконечно ложное со всех точек зрения: то обстоятельство, что все герои, идущие почти на верную смерть ради успеха об-

щего дела, остаются живы, снимает жизненно правдивый трагизм реальной военной обстановки, то есть по существу снимает самый конфликт повести; а то, что объективно — смерть Рябинина — оказывается некоей трагической карой, предназначенной человеку, посылавшему на смерть других людей, вносит в этот конфликт нечто душевно неприемлемое и искусственное. Так выглядит одна большая неправда повести.

А рядом с ней, переплетаясь с ней, существует и вторая. Рана Рябинина не смертельна; он может вылечиться и выжить. Для этого ему нужно, как это делается в таких случаях, покинуть армию и на время стать из командующего просто госпитальным больным. Но начатое сражение в самом разгаре, и Рябинин, жертвуя жизнью, отказывается от необходимой операции для того, чтобы самому руководить боем. Вдруг такой правдивый и точный во всех деталях писатель, как Березко, создает совершенно искусственное построение, поднимает отлично известную ему военную жизнь на литературные ходули и неожиданно переносит нас в обстановку войн XVIII и даже XVII веков. Да, да, именно так. Здесь происходит искусственная подстановка ситуации, возможной и реальной лишь при наличии совершенно другой военной техники, иной ступени развития военного искусства.

Мы знаем из истории войн прошлых веков, что личное присутствие полководца во главе сражающейся армии зачастую было необходимо и решало исход битвы. Хотя и раненый, полководец был вынужден руководить боем. Таковы были условия управления войсками. Невольно вспоминается:

И перед синими рядами  
Своих воинственных дружин,  
Несомый верными слугами,  
В качалке бледен, недвижим,  
Страдая раной, Карл явился.

Чтобы до конца понять надуманность основного конфликта повести Березко, достаточно перенести всю эту ситуацию в обстановку нашего современного армейского штаба с военным советом, с заместителем командующего, с тщательно и специально продуманной взаимозаменяемостью людей, с большим и сложным аппаратом,



руководящим всей операцией после того, как разработан ее план, со всеми средствами связи, со штабом фронта, который непосредственно занимается подобной крупной операцией. Достаточно представить себе реально все это — и вы поймете, что, с точки зрения всех наших военных норм, то, что делает Рябинин — неправда. Его самопожертвование не только не порождено военной необходимостью, но и не влияет решающим образом на ход событий, а следовательно, бесцельно и ложно в самой своей сущности.

Я не хочу быть дидактиком и не намерен отрицать возможности того, что Рябинин мог захотеть сделать именно так. Но неправда заключается в том, что всем содержанием повести автор подпирает это желание Рябинина, канонизирует, превращает его в нечто закономерное и целесообразное, а окружающих командарма и начальствующих над ним людей делает, по существу, пассивными соучастниками выполнения этого желания. Так возникает эта вторая неправда повести, вносящая в ее живую ткань пыльный привкус анахро-

низма, неправда, несовместимая с созданным Берёзко характером мужественного полководца-большевика.

А вместе с тем, в повести столько живого, меткого и глубокого, свидетельствующего о таком знании войны, которого, дай бог, побольше в нашей литературе! Это я говорю не для золочения пилюли, это на самом деле так.

Что же случилось с Березко? Почему так вышло? Не произошло ли это потому, что автор не поверил до конца в собственные силы, не поверил в то, что ему удастся создать глубокий трагический конфликт за счет правды жизни, в данном случае военной жизни, без привлечения схемы канонического героизма одинокого военачальника.

Пожалуй, именно так. И вышло, что, превосходно распахав почву повествования, на которой прекрасно могли бы прорасти настоящие семена, автор вдруг в этом усумнился и для красоты на самом видном месте воткнул бумажный цветок.

**Константин СИМОНОВ.**




---

Главный редактор **Константин Симонов.**  
 Редакция: **Борис Агапов, Александр Борщаговский, Валентин Катаев, Александр Кривицкий (зам. главного редактора), Константин Федин, Михаил Шолохов.**

---

Редакция: Москва 6, Пушкинская площадь, 5. (Почтовый адрес).  
 Вход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 24/II—48 г.  
 А 03402.

Объем 20 печ. л.

Подписано к печати 4/IV—48 г.  
 Тираж 64.300.

Заказ № 358.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», Москва.

Цена 7 руб.